

14 | *Звѣнор АСТАФЬЕВ*

14 | *Звѣнор АСТАФЬЕВ*

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

—

**Собрание сочинений**

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

---

**Собрание сочинений в пятнадцати томах**

**КРАСНОЯРСК  
«ОФСЕТ»  
1998**

---

Виктор  
АСТАФЬЕВ

—

Собрание сочинений

•

Том

четырнадцатый

•

ПИСЬМА  
1961—1989 годы

КРАСНОЯРСК  
«ОФСЕТ»  
1998



**Художественное оформление  
А. Озеревской, А. Яковлева**

**Астафьев В. П.**

**А91**      **Собрание сочинений: В 15 томах. Том 14-й. Письма, 1961—1989 гг., Красноярск: ПИК «Офсет», 1998. — 480 с.**

В 14-й том Собрания сочинений В. П. Астафьева вошли многочисленные письма читателей, критиков, издателей, «собратьев по перу», деятелей кино и театра, кого — так или иначе — не оставило равнодушным творчество писателя. Все они затрагивают 1961—1989 годы и стали своеобразным документом — эпистолярным свидетельством того, чем жило наше общество в то время. В издание включены также письма В. П. Астафьева, адресованные читателям. Заключает том очерк сибирского писателя Н. Волокитина «Соприкосновение», приуроченный к семидесятилетию В. П. Астафьева.

© В. Астафьев, 1998

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1998

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1998

# **ПИСЬМА**



**1961—1989 годы**

•

---

[1961 год]

Когда приходит время очередной подписки на газеты и журналы, вся семья напоминает мне: «Не забудь выписать «Литературку». Это не панегирик, хотя она его и заслуживает. Это ответ на вопрос, если он возникнет, почему именно я в «Литературную газету» решил обратиться. Потому что «Литературная газета» — газета массового читателя.

Итак, через «Литературную газету» я хотел бы выразить большое спасибо хорошему писателю В. Астафьеву за его повесть «Звездопад». Думаю, что к моему мнению присоединится не одна тысяча голосов, голосов людей разного поколения. Какой это замечательный подарок ко Дню Победы над фашистской Германией.

Лично я в войне не участвовал, но я знаю, что такое война. Когда началась война, мне было шесть лет, а моим братьям и сестре еще меньше. Село, в котором мы жили, было временно оккупировано и, кроме того, оно находилось недалеко от передовой линии фронта, так что мы пережили и мародерство оккупантов, и артобстрелы, и бомбежки. Пережили голод и видели смерть. Пережившие это и сейчас говорят: «Да пусть мы будем не доедать, но только чтобы не было войны».

Повесть «Звездопад» — против войны. Против нелепого истребления молодых и старых, мужчин и женщин. В повести нет описаний ни наступлений, ни отступлений, ни других боевых операций. Но через краснодарский госпиталь, где... пахнет горелой соляжкой, карболкой, йодом,

хлороформом, гниющим человеческим мясом и кровью, ощущаешь своей шкурой все ужасы самой бесчеловечной, самой кровопролитной войны. И еще видишь, как вся страна — и русские, и украинцы, и белорусы, азербайджанцы и остальные сто наций и народностей, говорящих более чем на ста тридцати языках, поднялись защищать свою Родину, свою землю. И еще ясно ощущаешь единство фронта и тыла. Сторонних в этой войне не было. Все были участниками. И девятнадцатилетние, любовь познавшие в военном госпитале.

Повесть читается на едином дыхании. И что важно, легко воспринимается на слух. Читая, сам находишься среди героев повести, живых, умирающих, исцеляющихся, так и просится выражение: «оживают страницы». Явно слышится: «Как помрешь? Почему помрешь? Не согласный! Жить хочу! Вина пить хочу! Танцевать хочу! Девушек любить хочу!..»

Такое же потрясение на меня произвела повесть М. Шолохова «Судьба человека». До сих пор слышится голос Андрея Соколова и его приемного сына Вани.

Изучать достоинства и недостатки литературных произведений не мое призвание. Я читатель. И, как читатель, я хочу еще раз сказать большое спасибо любимому писателю Виктору Петровичу Астафьеву за его правдивую и ко времени написанную повесть, которую будут читать, раздумывая над происшедшим, — наши дети и дети детей наших.

**В. Бурлуцкий**  
— инженер-механик. Коми АССР, г. Усинск

**[14 октября 1966 года**

**Дорогая Маня! (Письмо жене)**

Сижу в гостинице «Новосибирск». Идет дождь. На улице слякотно. Я только что «опрокинул» первые 12 страниц в повести и на сегодня все — выдохся. Увы, старый текст остается малыми островками, как тот, который я видел вчера на Обском море, а островок этот — бывший г. Бердск, точнее, то место, где он стоял, а дальше за ним — обрывистый берег, на нем сосняк, и то место, где я служил под знаменами...

Две ночи я ночевал у Володи Сапожникова, потому

что в гостинице не было мест (по всей стране одна и та же история!). За два дня мы обговорили замечания (их много), потом бродили с ним по Академгородку, дивились и трепались. Академгородок — это чудо! Впервые в жизни увидел современную архитектуру, современный городок и вдруг не в кинe, а наяву убедился, как это здорово и даже прекрасно. Народ тоже отличается от основного народа, и мир совсем иной — как будто другая планета: на одной — Быковка, а на другой — Академгородок, и боюсь, что их не сблизить. Академгородок не снизойдет до Быковки, а Быковка не готова взяться до Академгородка.

А дальше — сосны и место моей службы — так и напрашивается начало будущей повести — о запасном полку. Но пока не до нее. Пока «Кража». Чтобы сдать первые 150 страниц в срок, мне нужно делать в день минимум по 25 страниц — это многовато, но в первой части возможно. Хуже со второй половиной, там работы больше, кое-что нужно дописывать и, если учесть, что я к этой поре разряжусь, будет нелегко. Однако сделать нужно.

Вторая часть требуется к 15 июня, и уезжать мне, не сделав ее, нельзя. Значит, все нужно сделать до Кемерово, до 30-го числа. Завтра — 15-е. Работа адская, но надо, надо. 28-го я выступаю на телевидении (запродали тут меня без меня) — буду читать отрывок из повести. Кроме того, запишусь на видеомagnитофон с рассказом о книжке Болотова Вити — он же в прошлом новосибирец, и меня попросили. А вообще, меня пока, слава Богу, не отрывают. Володька трудится в поте лица. Николай Николаевич Яновский человек деликатный, а больше у меня знакомых здесь нет.

Я — умная голова, уехал без рассказа «Синие сумерки», который хотел показать Володе и Николаю Николаевичу. Не захватил в запас книжек Болотова и Домнина. Если по сроку это письмо придет, то ты отправь на Володькин адрес (для меня) по две книжки каждого, а рассказ, уж если отправлять, то 2-й экземпляр. И, пожалуйста, не волнуйся. Я тебя очень люблю, очень ценю, считая, что такое доказывается не словами, а делами.

18-го мне дадут аванс.

Тут продают великолепные латышские мебельные гарнитуры (в Академгородке, разумеется), цена 404 рубля. Купил бы — «зуб горит», но Володька сказал, что дня два



придется бегать насчет транспорта, контейнера и т. д. И я охолонул. У меня такого, мебельного, времени нет.

*Целую — Виктор*

[1963 год]

Дорогой Витя!

Сижу в Переделкино. Вернее, сидел, сегодня уматываю — залили дожди. В прошлые годы купался здесь в пруду, а нынче — сыро, вода холодная. Зато — грибы. Вчера пошел по территории и возле стола, где евреи переводят с немецкого на ваганьковский, нашел два белых, а возле второго — целую кучу валуев, которые отдал тете Дуне — уборщице. И еще — комарье. Народишко тут все ветхий, квелый, шаркающий. Из наших общих знакомых был Юра Воронов, который редактирует журнал и хочет изменить его, повернуть к русской литературе.

Говорили и о твоём романе, и Юра почесал затылок, мол, Виктор наверняка уже кому-то пообещал. Я предложил все-таки к тебе обратиться. А что? Такая была бы поддержка и Юре, и его журналу. Встретил тут твою болгарскую переводчицу, говорила об очках, заказанных для тебя, дорогих, но не знает, как их тебе передать. Я сказал насчет Капустиных, дал ей Женин телефон. Оказалось, она живет в доме с ними рядом и обрадовалась. Ты имей это в виду.

Да, а из Перми какая-то шизофреничка прислала письмо на 10 страницах, а ко мне обратилась, чтоб я на тебя «повлиял». Она уж много куда писала такие письма, и Леонову, и в «Литературку», — шут бы ее побрал!

Напиши, как ты там.

*Обнимаю — Женя (Носов)*

[1963 год]

Дорогой Виктор!

Твое письмо, которое начинается словами: «Петя прислал мне открытку с какого-то курорта...» — я получил исправно. Исправно же ответил на него. И тут у меня в свою очередь возник вопрос: получил ли ты это мое письмо. Его приметы таковы: туда была вложена фотография

проекта монумента для Поклонной горы. Автор проекта Слава Клыков, наш курянин. Он же автор памятника Батюшкову в Вологде, который напечатали газеты по случаю славянских чтений. Против проекта на Поклонной, конечно же, многие восстали — увидели в нем приметы национального русского самосознания. А полковники — за то, чтобы на Поклонной больше стояло пушек и танков. Но ты, Витя, прав: оказывается, в недрах затюканного русского народа еще сохранились силы, готовые постоять за народное достоинство. Организовалось общество «Память» — оно родилось в Москве — с целью защитить столицу от разрушения.

У нас в Курске тоже разгорелись баталии, но уже на курской почве — задумали соорудить мемориал Курской битвы. Выделили большие деньги, взялся было строить монумент Вучетич, но успел заложить только площадку, умер. Тут же, как бы на оказавшемся пустом месте инакомыслящие спешно состряпали свой проект, да получился он бесталанный, главное в нем: поразить громадем, а не душевностью. Но... чтобы заполучить финансы, авторам понадобилось заручиться народным мнением. Народ курский освистал эту халтуру. Потом еще было много всего и всякого, пока наша делегация на съезде художников не подняла вопрос о всесоюзном конкурсе на Курском мемориале и съезд единодушно проголосовал! И это записали в резолюцию. Но... и решение это, и эта резолюция канули...

Витя, так гадко на душе! Боюсь, что кончится все это, как в Китае: начнут надевать бумажные колпаки на всех, жаждавших справедливости...

Витя! Прости за сумбур моей писанины. Меня всего колотит от возмущения и мысли липнут к раскаленному черепку, как блины к сковородке.

Пойду, маленько хлебну винца — для успокоения.

Посылаю тебе фотографию с Глебом Паншиным. Он собрался приехать в Курск и вдруг от него звонок: «А я из больницы. Инсульт хватил...» И вот парень: только выписали, с еще полуживой ногой в Курск. Погостил маленько и махнул домой. Это вместо того, чтобы дома отлежаться, прийти в норму.

Вот опять звонит, зовет на Куликово поле. Но мы пождем тебя и поедем вместе. Только давай чинись, вылазь из хвороб, не давай свалить себя. Хотя, я понимаю, сопротивляться становится все трудней и трудней.

Петя в больнице — проходит барокамеру. Ноги его нуждаются в подпитке кислородом. Такую подпитку он проходит дважды в год. Но ведь курить так и не бросает. Ну да все мы грешны. Как сойдемся, так и начинаем соображать. У нас тут есть приятель — художник, я тебе о нем писал. Он и рыбак заядлый! Попишет пейзажей, схватит удочки и бежит за окунями — на уху. Ну, а какая уха без этого дела?! Там, среди картин и тюбиков, мы и собираемся иногда, когда душа начинает сохнуть. А все трое уже старые, в болячках, как в репьях.

Когда-то мы с Петей мечтали пешком сходить на Куликово, теперь Петя уж на второй этаж без отдыха подняться не может. Время берет свое, а мы помогаем бегу времени.

Меня тоже звали в Вологду, но я поразмыслил — ведь наберемся за Русь и славянство. А чинно встречаться мы не умеем, да и надо ли?

Все мы живем ожиданием тебя, и это греет душу и похоже на светлое будущее.

Милая Маша! Держись и не сдавайся.

*Обнимаю — Женя (Носов)*

[1963 год]

Дорогой Виктор!

Извини, пожалуйста, задержал с ответом. Заела попа грамота. Как знаешь, под Новый год я поехал в Москву. В «Новый мир». Полгода провалялись у них рассказы. Надо было спасать. Или у них добиваться печатать, или где-то еще. Приехал. Берзер прочитала. Она за «Потраву», но против второго. Потом прочитал Виноградов. Он — за оба. Потом читал Лакшин и другие. Но не было Деменьтева. Куда-то уехал. Все застопорилось. И я уехал. Числа 27. Встретил Новый год, прочитал новый рассказ. И вдруг телеграмма из «Нового мира». Поехал. Деменьтев — за оба. Сели редактировать. Снимали с меня кучеряшки. Настрогали, думал, что теперь лысый останусь. А они, шельмы, хохочут: «Ничего. Надо расставаться с троглодитской волосатостью». При мне заслали в набор. Одновременно я хотел пристроить где-нибудь «Затмение луны». Но перед тем показал Лильче. Она, парень, разбирается в этих делах хорошо. Зарубила большой кусок, ближе к концу,

надо, говорит, переделать. А я уже договорился с Зубавиным, что вышлю ему к 15-му января. Думал, управлюсь с переделкой. Но вызов «Нового мира» спутал мне все дела с «Затмением». Пришлось бросить пока. Вот теперь сижу в поте и мыле, дострагиваю. Потому как-то не сумел, не собрался с силенками написать тебе о твоём рассказе. Как-то думал, что это будет трудно. Так что, Витя, не обижайся за задержку. Так вышло. Даже на рыбалку сбегать некогда. Сижу, зарос, глаза очумелые, порой и мысли в голове уже ни единой, а строчить надо, мать ее ети.

Теперь о рассказе. Честно говоря, я тоже сначала не нашел, что в нем надо дотягивать или как-то иначе. Повез его Лильче. Она посмотрела. (Ты не фыркай, что я ей показал. Дескать, тоже, мол, судья!) После того мне как-то стало самому яснее. Дело в том, что мы почти сошлись в оценке. Она так полностью одобрила и даже кое в чем поспорила со мной. Вот какие мои замечания (с которыми Лильча, между прочим, не согласна): мне кажется, что конфликт с Ширинкиным ты трохи измельчил под конец. Ширинкин при своем положении все-таки серьезная сила. Царишка! Самосуд и самодур. И когда Ночка хватает его за морду — тут уж слишком карикатурно! Затрачивается холостую тот огромный морально-психологический заряд, который ты готовил всем началом рассказа; в то же время понимаю, что если как-то делать иначе, то порвется цепь рассказа. Собственно, на удавлении верного друга подонком Сухониным из-за этого курьезного случая с Ширинкиным и держится весь рассказ. Если же к этому добавить тот случай, когда Ширинкин организует убийство молодого специалиста, то Ширинкин проступает как грубая, тупая, глупая и не очень-то потому опасная сила, хотя и наделенная властью. Дело ведь в том, что таких и само наивысшее руководство не терпит. Иваны Иванычи куда хитрее, демагогичнее, очень не прочь побаловаться в демократию! Вот такие балкой убивать не будут.

Они убивают иначе. А у тебя Ширинкин — дурак и дурак. И все знают, что дурак. И должны смеяться, а не бояться его. И высокое начальство долго не будет его держать, поскольку он уж слишком примитивен, как немерный питекантроп.

Витек, пишу тебе без всякой уверенности в своей правоте. Может, все, что я наговорил, — чушь. Лильча, например, со мной не согласна. Говорит, что может быть и такой Иван Иваныч. Тем более где-то в глубинке.

Но вот второе замечание, которое я бы отстаивал. У тебя есть стиливые срывы. Ты начинаешь рассказ широко, плавно, элегически, чистым хорошим языком размышляющего интеллигента. А в середине есть места, где ты срываешься, — говоришь запальчиво и грубо. Например, тебе надо бы посмотреть все место, где описывается житие Ив. Ив. Смотри, как у тебя: «Три дня и три ночи гуляли по случаю возвращения земляка засекинцы, слюной и слезами мазали ему пиджак». И дальше про вошебойку. Это в то время, как вначале все идет как легкое дыхание: «Где-то я слышал, будто в час синих сумерек рождаются ангелы...» Мне кажется, что если бы рассказ был бы выдержан в подобном грустном, сдержанном, элегическом настрое, то он разил куда бы сильнее, чем твое злое ехидство. Об Ив. Ив. надо бы тоже рассказывать сдержанно и печально, как ты прекрасно сделал это в «Индии». (С этим Лильча тоже не согласилась. Она говорит, что рассказчик — это сам Витька. Он может быть и раздумчиво-грустен и вот так, когда надо, резок, непримирим и даже грубоват в запальчивости. Почему же не могут быть люди, подобные Витьке?) Но я с этим доводом так и не согласился.

И третья. Это уже не столь существенно. Надо тебе чуть подправить портрет Ночки. У нее передавленное горло, это вызывает у нас к ней особое, сочувственное отношение, а потому режет ухо, разрушает образ, если так можно сказать, собаки то место, где ты пишешь об ее хвосте. «Мне даже кажется, что Ночка понимает цену и важность своего хвоста и немного форсит, укладывая его на холке с особым, крендельным, шиком». Какой уж там шик, если она, кроме тертых сухарей, ничего есть не может. Несоответствие. И дальше, в том месте, где скребет лапами и чуть сама не снимает с дерева белку, — тут тоже текст работает на разрушение образа. Она ведет себя как здоровая собака. Даже как выдающаяся из всех собак. Бодра, активна, предприимчива. Очевидно, травмированная, хотя и оставшаяся верной своему охотничьему долгу, собака будет вести себя иначе. Что-то приглушится в ней. Она может оставаться все так же умной, добычливой, но все должно соответствовать ее состоянию. Ведь и психология у ней будет после петли иной. Да ты и сам об этом пишешь: она не отзывается на голос рассказчика. Мне кажется, что тут можно поправить, ничего не выбрасывая. Просто и ее хвост, и поведение на охоте сделать в прошедшем времени, т. е. отнести его к тому состоянию собаки, когда над ней так гнусно не расправлялись.



Напр.: «Особый вид Ночке придавал хвост». Или: «В прежнее время Ночка понимала цену и важность своего хвоста и немного форсила...» Или как-то в этом роде. И лишь где-то потом сделать переход, сказать, что теперь что-то изменилось и в повадке, и в облике собаки. И вот как хорошо ляжет то место, где ты сравниваешь теперешнюю Ночку с многосемейной хозяйкой, которая «сама костями гремит...». А у тебя она еще хвост с крендельным шиком носит. Несоответствие. Взаимоисключающие подробности.

Вить, вот и все. А вообще очень хорошо! С болью, с тревогой сделано. Дай Бог каждому так сработать.

«Луну» я тебе не послал, потому что не готова. Сижу, перетряхиваю.

Получил ли ты фотокарточки из Белгорода? Я получил. И еще к Новому году — монографию о городе с серией открыток.

В Москве ничего нового не узнал. За неделю до меня был там Вася Белов, что-то толкал. После него через два дня застрелился сынишка Яшина. Вася как раз у Яшина до того жил. Пишет мне, что написал повестуху на 9 листов об одном мужике Иване Африканыче, которого я знаю. Отдал в «Сов. пис.» и в «Север».

Игорек наш помаленьку учится и пописывает. Читал мне свои новые заготовки. Ну, брат, здорово! Силища какая у парня. Есть у него сцена похорон девочки. С попами, с отпеваниями, дает церковные молитвы прямо по Евангелию. Прошибает до слез. Широко пишет, где-то потолстовски. Что-то из него должно получиться.

Сейчас я помаленьку болею. Грызет меня брюхо и по ночам — бессонница. Сплю с бутылкой под боком, а у изголовья банка соды, которую глотаю среди ночи, когда особенно приспичит. А вот против бессонницы средств никаких нет. Единственное — день на воздухе, на рыбалке.

Витек, пиши. Привет дому. 18—19 февраля приглашают на пленум Союза. Оказывается, я какой-то член комиссии по прозе. Когда собираешься в Москву? Сообщи.

Видел Ваньку Кожевникова. Сейчас он в Костроме. Получил там новую квартиру. Приехал в комитет по защите авторских прав. Хочет судиться с Алтайским издательством из-за своего романа. Что-то ему там недоплатили. Вечно он с кем-то тягается. А вообще, он сильно скатился и произвел впечатление душевнобольного.

И еще видел Борьку Можаяева. Говорит, что у него идет новая повестуха о деревне в «Новом мире». В 3-й книжке. Сейчас у него опять дела пошли хорошо. Громит за луга и пр. И в связи с этим сильно зазнался. Говорит мне: «Ты, брат, извини. Пообещался я написать рецензии на твою книгу, но прочитал и не смог. Говна — лопатой гребни. Не понимаю, что так Витька слезу пустил в своей рецензии?» Держится опять князем и великодержавно похлопывает по плечу. Зануда малый с этой стороны, но хорош. За Россию бьется, а сам женился на латышке, и теперь у него сын Петерс и дочка — не выговоришь. Эх, жизнь! И как она нашего брата не выкручивает!

*Обнимаю — Женя (Носов)*

[1964 год]

Дорогой Витя!

Все думал, думал, как ответить на твое предложение и приглашение погостить у тебя. Так ничего пока и не придумал. Оставь за мной возможность написать более определенно — да или нет. Сейчас просто не могу представить свое время на такой далекий срок. Кто знает, как получится со временем. Пока знаю, что июнь буду работать, а дальше — кто знает. А тут еще вклинивается одно сугубо важное дело. Но все-таки оставь слово за мной — очень уж заманчиво побродяжить с тобой в твоих угодьях. Я знаю: такие приглашения не рассылаются на ветер, и я очень это ценю, как доброе ко мне отношение.

В Москве я был, и разминулись мы с тобой довольно близко. Предлагали мне там пойти на зав. отделом в новый журнал «Волга», но я не захотел. Контора — не мое дело. Договорился с «Советской Россией» о книжечке на 66-й год. Там сейчас Володя Туркин, и если есть у тебя что предложить — куй железо. Кстати, можешь к нему зайти и перетолковать на обратном пути.

Прислал своих «Первых петухов» Сапожников. Книжка ничего получилась, но уж больно размалеванная, похожая на деревенского кочета. Тебе не присылал?

А я свою повестуху забросил. Что-то стало нудно ее писать. Я все лезу в социологию, что-то пытаюсь доказывать, а это вряд ли нужно. Ведь все эти штуки, пусть даже написанные с жаром души, быстро гаснут и покрываются

холодным пеплом. Спустя пять-десять лет их читать уже невозможно. Очевидно, надо подумывать о «вечности» творений, о их всегдашней свежести, и в этом смысле лучшее дело, ты прав, — лирический, теплый и душевный, не обязательно сладкий и благополучный рассказ. Тем не менее, бросив по этой причине повесть (может быть, временно), катаю сейчас опять-таки злой рассказ о деревне, как ты выразился, строю золотой нужник. Уж больно зло берет. Назвал пока «Потрава». Накатал три главки или четыре. Осталось дописать последнюю. Закончу — покажу. Хотя тебе показывать всегда как-то и стыдно, и боязно.

Как там прибалтийские елки-палки и лес густой? Как отдыхается — работается? Где-то там сейчас на своей мызе уединился с Валдой-Милзой Можаяев. Если бы знать адрес, можно бы тебе послать ему открыточку, и он бы подскочил в Дубулты — повидаться и поболтать.

Обнимаю тебя, родной. Напиши, если выберется минутка.

*Женя (Носов)*

[1965 год]

Вить, дорогой!

Чё там у тебя углядели, в больнице-то? Чё с печенками?

Петька мне под Новый год прислал из Петрозаводска открытку, спрашивает, не поеду ли я к ним полечиться. Уже в который раз спрашивает. И о тебе говорил. Может, правда поехать туда вместо Эссентуков? Путевка стоит 150 рублей, отдельная комната, чудесные места — леса, озера, рыба, русские кондовые люди, потомки пришвинской Выжегории. Можно съездить в Кижы, на Соловки, и вообще славное место — и уму, и сердцу, ну и печенкам тоже, поскольку сам Петр Великий там лечился. А что этот затасканный Кисловодск? Как думаешь? Напиши мне. Лучше поехать летом, можно и ружьишко взять с собой, если к открытию охоты. А оттуда можно заскочить и в Вологду к ребятам. Там из Ленинграда есть прямой поезд на Вологду.

А я ездил в Ташкент хоронить Овечкина. Загнулся мужик от инсульта. Вернее, загнули его потихоньку... Закопал его в ташкентскую глину кладбищенский евнух —

узбек, толстозадый, с обвислыми усами, — не лопатой, а кетменем, азиатским заступом. А на ноги положил три валуна, чтоб не вертухался. Грустно было смотреть на ту поспешность и безалаберность, с какими все это было проделано.

Обратно летел, заходил в общагу, две ночи спал у Витьки Коротаева, хотел повидать Лихоносова, но тот уже уехал. Витька славный малый, шебутной, мы с ним были в Карелии, рассказывал, как вы летали с визитом доброй воли в Краснодар и как вам там хотели дать по п. мешалкой.

Игоря не было, уехал в деревню. Пьет, говнюк, и меня замучил водкой. Приезжает часто, за последние два месяца был раза четыре. Два дня как проводил его в Москву, знает, что я подыхаю животом и ругал его за это, а все равно притащил три поллитра и пришлось хлебать. Теперь вот сижу с грелкой и жру соду. Главное, не дает брюхо спать, тем и выматывает.

Зря ты ему насчет Хемингуэя писал. Он теперь с твоих слов его поносит. А сам не читал, хотя бы «Старика и море». И вообще он ничего не читает, кроме Бунина. Так нельзя. Пусть, пока есть возможность, познакомится со всем, ходит в театры, в музеи, а то, кроме бутылки, у него и нет иного интереса. А теперь грозитя вообще сбежать из института, говорит, скучно. А сам и книжки не написал, хотя бы листов на 5—6. Я ему пробил книжку в воронежский план на 1969 год, требуют рукопись, а рукописи нема... Пишу тебе потому, что жалко парня, может свихнуться на пути великорусского начихайства. Сапожников пробил книжку в «Лит. России», вырвал у Туркина договор и укатил дорабатывать рассказы. Ольга Трунова говорит, что рассказы нечто между городом и деревней, о похождениях мужчины на бабьем поприще, в чем он весьма спец и имеет богатый опыт для подобных мемуаров. Ушел Володя от наших с тобой забот и сует, начхать ему и на город, и на деревню, только бы гроши да харчи хороши.

«Храм Афродиты» выскочил в воронежском сборнике, так что все мои заботы о его напечатаньи автоматически отпали. Сегодня закончил рассказ «Во субботу, день ненастный...». Отдал Зубавину. Пусть только не напечатает, бандит. Им там намылили холку, и сейчас он лебезит, всем рассылает заискивающие письма. Ты тоже, наверно, уже получил. А сам мою «Выставку» печатать убоялся.

Вить, как твой нос? Не сделали еще чеченским? Очень по тебе скучаю. Напиши, когда будешь в Москве, может, подскочу, поговорим. Кажется, мне, наконец, дадут квартиру, но пока еще рано говорить гоп. У нас умеют переиграть в самую последнюю минуту.

*Обнимаю тебя, родной. Женя (Носов)*

[1965 год]

Витя, привет!

Обрадовал ты меня своим письмецом, хотя, честно говоря, разобрал я его два дня. Ну и узелки ты вяжешь! Сначала разобрал только отдельные слова, хотя и по ним все понял. А сейчас вот распутал все до запятой. Это с непривычки. Присылай еще — привыкну.

Насчет твоей повести — действительно закавыка. Но, как я понимаю, ты упустил какой-то благоприятный момент. Был такой просвет в нашем многослойном официальном мышлении. Теперь, кажется, дело чуть-чуть меняется. А Сякин и Никонов — что ж? Они мошкара. Но, вообще-то, надо толкать. Я, конечно, тупо представляю, куда ее можно сунуть, тем более что о содержании знаю только с твоих слов. А если, скажем, не обязательно ломиться в столичные? А, допустим, в «Урал» или «Сибогни»? А уж потом издать отдельно в Москве?

Кстати, для сведения: Туркин сейчас в «Советской России», и он может для тебя застолбить место на самое ближайшее время.

А я связался с повестью и чувствую, что очень рискованное это дело по замыслу. Пнут меня под зад за нее, а то и просто никуда не возьмут. Но догрызать повесть надо. Пишу с пробуксовками, застреваю, как худой грузовичишко, да и тема такая — все больше трясины, а сухие бугорки только кое-где маячат. Уходил я с ней, закурил всю хату, и даже сердчишко стало по ночам давить. А передохнуть, сбегать на речку, все как-то не получается. Да и погода распроклятая: сегодня сыпал снег, а у нас об эту пору уже цветет черемуха.

Сегодня закончил четвертую главу и несколько дней поваляю дурака.

Получил от Пети Борискова книжку очерков о Карелии. Славно написана, с истинно Петиной добротой. В



сущности книжка об одном только селе, но в ней — вся Карелия: сплав леса, падуны, озера и озерки, лесные избушки, язи, лоси и пр. Зовет туда и, между прочим, обижается на тебя, что ты уже три года собираешься и никак не доедешь.

А я через неделю буду в Москве — приглашают на какое-то совещание детских писателей. Пробуду там с неделю. Так что наши орбиты сойдутся довольно близко, но все-таки с разрывом в неделю. Если потянуть по несколько дней с обеих сторон, то можно и встретиться. Но время ли: ты ведь будешь не один. Разве только что выедешь на несколько дней раньше своих домочадцев.

Витек, черканул бы ты рецензешку на мою книжку, что ли. Пишу, пишу, а как в кадушку: ни звуку ни грюку. И та прошла незамеченной, и эта, кажется, тоже молчком пройдет. Если будет охота и время.

Как отгулял май? Я — так никак. Болел. Но на День нашей Победы надо трохи тяпнуть, а? И все-таки как-то муторно на душе, что у солдат отобрали их кровью завоеванный праздник.

Поздравляю я тебя сердечно с этим суровым и великим днем, и, ты прав, хорошо бы, если бы еще по двадцать без войны.

Пиши мне тоже иногда. А то больно скверно одному в нашем граде. Тут никого нет, с кем бы можно поговорить так, как бывало на Бутырках.

*Женя (Носов)*

[1966 год]

Витек, здравствуй, дорогой!

Вот черт! Сижу, пишу тебе в очках — в тетки Таниных. Худо стал видеть и вообще чувствую, что сдаю сильно. В эти 2—3 года. Пора! Этот «уголек», который мы с тобой покупаем, дает знать. Непременно посмотрю в магазинах твою книжку. Может статься, что есть, а может, придется как-то доставать.

Вот ведь как получается! То, о чем ты говоришь (касемо работы), донимает и меня. Хочешь сказать фразу, а раздухаришься, наболтаешь страницу. У меня тоже так, с «Затмением» получается. Третий раз уже переписываю и все время прет наружу лишнее. Так хочется выговорить-

ся. Значит, надо тоньше делать, тоньше, Витя, тоньше... Сильнее бьет.

Вот опять получил нокаут, брошен на землю, буду вытирать разбитую морду и снова переписывать. А пороку уже нет, не чувствую вещь, записал, надо бы отложить, но поджимают сроки. Если в течение марта не напишу, то в этом году ни в одном журнале не пробью. Они везде уже планируют 6—7-е номера. Надо поспешить с журнальным вариантом, а то жрать нечего будет. За весь прошлый год, весь мой урожай — 3 рассказа, из которых опубликовали только один. В «Новом мире» тоже может сорваться, это дело такое. Цензура секанет, обстоятельства могут быть не те, не попадешь в жилу, тем более что скоро съезд и т. д.

Развязаться бы с повестухой, малость передохнуть, да сел бы и писать рассказы — милое дело! Есть тройка хороших тем — давно я на них облизываюсь. Одна тяжелая, трудная — «Два сольди» (про самогонщицу, ты знаешь), а две полегче: «Переписка на машинке» и «Лесные дудочки».

«Переписка на машинке» — о бедолагах машинистках, печатающих на дому. Есть среди них хищницы, есть горемыки. Хочу сделать такой экскурс по московским подворотням, ковырнуть эту столичную жизнь. Героиней возьму безногую девку без роду, без племени, без мужика... Тюкает с ошибками... Ну да ладно, может, еще и не стану писать.

В Москве был на пленуме критиков и прозаической комиссии (я какой-то там член). Говорили о прозе 65 года. Я толком не слышал, потому что сидел у Зубавина, вычитывал повестуху. Но в общем-то был бестолковый треп, неподготовленный, кто во что горазд. Выступать я не собирался. Но взял слово Бровман, стал выпендриваться по семирским «Семеро в одной лодке» — де, не показал редакционного коллектива, то-се, вещь ущербная... Я разозлился и давай разрисовывать курские трущобы, где бьют баб, вешают им фонари, колотят детишек, разгульно и дико пьют, где живут барыги, стекольщики, оседлые цыгане, разный зачуханный мастеровой и толкучий люд, где до мая ходят в резиновых сапогах и, выбравшись на центральную улицу, на асфальт, оскребают грязь о поребрики и пр.

Московские небожители слушали и удивлялись: «Как, мол, так? Разве у нас еще есть такое?» Речугу толкнул

горячую, запальчивую, и никто больше о Семине не говорил, не вякнул.

Встретил в Москве Сапожникова — привез продавать начало повести. Кажется, договорился в «Совписе». Повесть о стародавних временах, о самом себе, об отце и т. д. В первый вечер мы что-то с ним не заладили, я побил ему посуду и окна. Но потом обнюхались. Жалуется на одиночество. Хочет с тобой замиряться.

Видел Женьку Шермана. Что-то он говорил, будто ты собираешься перебираться в Тюмень. На кой хрен? Там сейчас наковыряли нефти, поднялась суматоха, понаедут всякие... За пять лет запакосят все леса и реки на сто верст вокруг. Ты же не собираешься писать «Битву в пути?» Видел Фазиля — черкеса, с которым ты учился. Он не пьет, завязал, но все время бегал за водкой. Сейчас у меня чувство омерзения к тем дням. Хочется сбегать на речку, но у нас все развезло и на реке паводок. К тому же болею, вроде воспаление легких — спали с открытыми окнами. Какие-то калмыки, негры... Ужас! Сегодня сидел, рисовал Вологду. Из старых своих блокнотов. Что-то захотелось света, цвета, красок. Они тоже очищают душу. Завтра засяду работать. Если ничего получится — пришло. Я ведь тебя, Витя, стыжусь, когда плохо..

Ты знаешь, нет твоей книжки у нас. Спрашивал в магазинах, в книготорге. Говорят, что еще не получали. Буду заходить, узнавать.

Витек! Прочитал твоего «Монаха». Очень хорошо! Чисто и грустно. Чудесно получилась бабушка. Да и дед тоже. Хотя в начале рассказа ты избегаешь о нем говорить и он тебе как бы чем-то мешает. Очень зримо все путешествие мальчонки в новых штанах. Особенно сильно сделано то место, где парнишка смотрит с обрыва на таежные и заречные дали.

Витек. Очень впечатляют, как-то направляют весь настрой на грустные размышления твои коротенькие вставочки, забежки вперед, вроде того, что да, не знал я тогда, что лучших штанов у меня уже никогда не будет, или о том, как спустя время ты окажешься в низовьях Енисея... Эти забежки делают рассказ очень глубоким, с большим драматическим подтекстом, и становятся особенно ясными нелепость и жестокость расправы над такими трудягами, как твой дед и бабка, которых потом повезли глядеть кузькину мать. Не будь этих твоих отступлений, похожих

на тяжкий вздох, рассказ не имел бы второго, глубинного течения.

Вить, очень хорошо написано: и по мысли, и по языку. Но все же хочется кое-что сказать по сюжету. Ты не сердишься, может быть, это мне только показалось.

Ты знаешь, я читал рассказ с напряжением и душевной болью только до того места, когда мальчонка пришел к деду. Видимо, здесь и кончается рассказ — на том месте, где дед, этот суровый и строгий молчун цыкает на второго парнишку за то, что тот упрекает «монаха» в девчачьем занятии — собирании цветов.

Дальше пошло уже чисто приключенчески — без подтекста, без той легкой грусти, которая, как утренней дымкой, путает все твое повествование. И как ни странно, особенно не принимаешь всю сценку с утоплением сапог. Во-первых, потому, что все это уже было. Во-вторых, потому, что это лежит на поверхности. Раз сшили новые штаны с такими превеликими трудами, то с ними, штанами, должно непременно что-то случиться. И случилось! И это плохо. И немножечко стыдно читать, потому что все известно заранее.

В этом пристегнутом кончике с гибелью сапог и штанов (они потеряли прежний вид) много такого, против чего внутренне сопротивляешься. Совершенно неоправданно появление на заимке бабушки. Не то, чтобы неоправданно, а оно просто не нужно. Бабка здесь рисуется уже не такой, какой я ее запомнил. Здесь она тоже приключенческая, вроде тетки Тома Сойера. Непонятно, зачем она так упорно пытается изловить этого злыдня, который спровоцировал утопление сапог? И опять — не то чтобы непонятно. Понять-то понятно, но не нужно. Лишнее все это. Лишенное подтекста, а, стало быть, и той прелести, которую испытываешь, читая рассказ с самого начала. Все это место — про лягуху, про колдобину с водой, про перебранку ребятишек, про свирепое упрямство «монаха», застрявшего в грязи, — все это написано само по себе очень хорошо, но довесочно.

Вить, сразу на матюгайся. Подумай. Сразу как-то трудно что-то принять. Мне кажется, что так... Но, может быть, и я тут напел и не прав. Но все-таки первое впечатление мое такое: бежал, бежал рассказ ручейком и вдруг растекался мелкой лужицей. Лужицу эту, мне думается, надо отсечь. Тем более, что она отсекается безболезненно. Мне думается, что нельзя специально топить штаны. Достаточ-

но одного того, что он их вымарал и вымочил по дороге на займку (залазил в обожженное дупло, бродил по ручью). И может быть, даже где-то трошки деранул штанину о сук или обо что еще... И все. Рассказ получился оригинальным, очень самобытным, без банальностей. Ведь рассказ в сущности не о штанах! О жизни рассказ! О ее суровых перевалах и перелогах. Он как вздох у тебя. Он очень значителен своим непроизвольным обобщением. Он прекрасен, как строгая линогравюра. Но без сцены утопления. Дальше вздоха нет, рассказ не парит, а волочится по дороге. Его еще несет ветром твоего разгоряченного воображения и расправленных воспоминаний. Но он уже не летит, а только волочится... Ты где-то увлекся, и я понимаю это, коль дело дошло до воспоминаний пережитого.

В общем, написал я тебе целый короб — ругайся не ругайся. Поверь, что написал это с глубокой любовью к твоему рассказу. Он где-то соперничает с «Далекой и близкой сказкой» и соперничает успешно: строгостью своей, панорамностью, лиризмом и многим другим. А еще точнее сказать, что он продолжает твою «Сказку». Молодец ты, Витька! Сколько в тебе всего!

Про кемеровский семинар ничего не знаю. Когда будет — тоже не знаю. Никто меня туда и не звал. Да и с какой стати они позовут меня туда? А вообще, я бы поехал. И вполне согласен с тобой, что хоть так только посмотришь Россию, тем более что в Сибири я никогда не бывал.

Вить, а у нас уже не то чтоб весна, а чистое лето. Я уже загорел на речке, успел опечь плечи до волдырей. Кругом зацветает черемуха. Речки убрались в берега и славно ходить по чистым намытым пескам. Очень бойко клевал в последний раз на червя подъязок икряной. Брал под самым берегом мелким — не больше метра. На хлеб еще не хочет. Скоро пойду с горохом.

Не прочитал ли ты «Привычное дело» у Васятки Белова, в «Севере». А какие у тебя дела с «Кражей»? Что-то Юрий Петухов писал мне, будто дело застопорилось. Не сердись, что не так сказал о рассказе. Обнимаю.

*Твой Женя (Носов)*



[Весна 1967 года]

Дорогая Евдокия Осиповна!

Чудесный, добрый Вы, видать, русский человек! Таким сердечным теплом повеяло от Вашего письма и от Ваших воспоминаний о брате и о себе ведь тоже.

Мне они очень понравились прежде всего тем, что в них нет сочинительства, претензий «на литературу», а есть живая безыскусная исповедь, которая в общем-то и является настоящей литературой.

Я немедленно отсылаю Ваши воспоминания в журнал «Наш современник», членом редколлегии которого являюсь. В номера, приуроченные к 50-летию Советской власти, такие материалы нужны как воздух! Пусть современные молодые люди, а кое-кто и из старших зажавшихся совмещан, узнают, как нам досталось наше относительное благополучие и что сделали и вытерпели люди ради лучшей жизни на русской земле.

Я не знаю, как в нашем журнале решат вопрос с Вашими воспоминаниями, но думаю, если не у нас, то в другом месте, в другом издании их напечатают с большой радостью.

Что же касается Ваших заметок о рижском взморье — я бывал на нем и могу засвидетельствовать, что Ваши наблюдения точны и поэтичны, также и заметки о водителе троллейбуса — их нужно предложить рижской вечерней газете или молодежной — это для газет очень подходит.

Писать Вам нужно, не стыдясь своих четырех классов. У меня их тоже нелишка — шесть! Дело ведь не в классах, а в самообразовании, в прирожденной внутренней культуре, которая порой бывает тоньше, поэтичнее, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака. Не знаете ли Вы писательницу (в Риге) Ингриду Соколову. Она инвалид войны, но хороший, душевный человек, — найдите ее (живет на ул. Горького) — познакомьтесь, наговоритесь, и совет добрый она даст. До свидания!

*Виктор Астафьев*

[Апрель 1967 года]

Маня! (Письмо жене)

Сердце мое — злой вещун и почти никогда попусту не ноет. Сегодня занесло меня в парковый читальный зал, и

там я посмотрел свой рассказ в «Современнике». Что с ним сделали! Кажется, еще никогда так не выколачивали, не изрубали и не искажали моего текста. Я ушел из зала шатаюсь, и, когда пришел в столовую, две женщины, сидящие со мной за одним столом, сказали: «Виктор Петрович! Что с вами? На вас же лица нет!» Я не помню, что им ответил, попытался пошутить, но ничего не вышло. В «мертвый час» я написал Зубавину короткое письмо. Так жестоко меня еще не предавали с текстом. И где? В «Современнике»! В журнале, который я хвалил как раз за честность, и из-за этого пошел туда.

Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой... Отпуск мой испорчен. Настроение ужасно. Мне хочется завять и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, в которое нам довелось жить и работать! Зачем Всевышний наделил еще каким-то дарованием? Для больших мук? Для еще больших страданий? Будто и без того их мало! Мне давно-давно так тяжело не было. Я чувствую, как во мне что-то гаснет, притупляется. Боюсь стать равнодушным. Боюсь отупеть. Боюсь отутюжить. А все идет к этому. Надолго ли еще хватит моей раздольной натуры? Моего юмора? Моей жизненной неспособности? Всего этого остались крохи. Меня все чаще и чаще тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого в себя. Но это — конец художнику! Это уже буду не я, а кто-то другой станет водить моей рукой, а сердце будет молчать.

Я тебе почти не говорю о своем внутреннем состоянии. Я знаю, что у тебя земных забот и земных горестей слишком много, чтобы добавлять к ним мои, да и объяснить их я не сумею — слишком они у каждого индивидуальны и не всегда могут быть поняты даже самым близким и самым разродным человеком. Страшно, когда лишаешься надежды. Ты можешь сказать, что одного испорченного, изуродованного рассказа, пусть и дорогого сердцу, очень мало для таких пессимистических настроений. Но я слишком пристально слежу за тем, что происходит в нашей литературе, слишком сторожко жду изменений к лучшему и даже пытаюсь внушить себе, что они есть, что они придвигаются, и вижу: самообман уже не помогает, что мы слишком часто прибегали к самообману раньше, и такое «лекарство» уже не годится. А другого нет.

Нас ждет великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность — талант — и то нам не дают реализовать, употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже. Мысль начинает работать вяло, покоряться. А чтобы творить, нужно быть бунтарем. Но против кого и против чего бунтовать? Кругом одни благожелатели, все к тебе вроде бы с добром, а потом «отредактируют». Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить.

Ей-Богу, будь у меня побольше сил — бросил бы. В лес ушел бы я и прожил остаток дней в радость себе. Неужели ж я не заслужил такой почести: жить хоть десяток лет для себя?! Неужели постоянно должен мучаться своими и чужими муками, порой даже чаще — никому и ничего не дающими, кроме новых мук?!

Я не поеду к Толе. Я поеду в Москву, пойду к Александру Николаевичу Макарову и, если он присоветует, пойду, доберусь до секретариата, до нашего «отца» Соболева и расскажу ему о том, как меня предали в «Современнике». Откуда я уеду одиннадцатого или днем двенадцатого. Сегодня, естественно, ждал весточки от тебя, но ее нет. Пусть хоть дома все ладно будет, а то я однажды могу не выдержать... Зачем только я заходил в эту читалку? Зачем вообще мучался над рассказом? Только нездоровье нашло.

Целую — *Виктор*,  
г. Эссенуки

[9 сентября 1967 года]

Дорогая Маня! (Письмо жене)

Я уже несколько дней в Овсянке. Здесь погода вроде бы сделалась, и я вчера первый раз сходил в лес с ружьем и удивил гробовозов, которые уверяли меня, что в лесу ничего нет и с ружьем тащиться незачем. А я принес четырех рябчиков! Всего видел шесть, но здесь рябчик в отличие от уральского доверчив и глуп.

Тайга изумительна! Очень отлична от уральской — редкая она здесь и оттого светлая, с травой и папоротником понизу. Горы и скалистые осыпи в лиственницах и соснах, кое-где случаются и ельники, но их мало, и пихты встречаются реденько. Речка Малая Слизневка очень быс-

трая, распадок ее глубок, скалы аж в небо упираются, а пойма речки заросла смородинником и жимолостью, да дикой акацией, и ольховником, и потому удить в ней почти невозможно. Накануне похода я был в школе — приглашали знакомиться с учителями и самой школой. Школа хорошая, чистая, хорошо оборудована, для деревни даже неожиданно. На днях пойду выступать перед старшеклассниками.

Пользуясь погодой, все копают картошку. Мы с дядькой завтра тоже станем копать, а потом пойдём на Ману, через горы. На лодке подниматься невозможно — на двадцать верст от устья стоит сплавной лес.

Получил верстку. Я ее вычитал и шлю тебе, журнала «Детская литература» здесь нет, а ты или найди адрес на конверте, или узнай в Союзе и гранки перешли дальше.

Жаль, что ты не написала ни слова — это уж ни к чему. Поступил ли Андрей? Устроилась ли Иринка? Все наши кланяются тебе и ребятам.

*Целую — Виктор*

[1967 год]

Дорогой, милый Витюха!

Посылаю тебе фотокарточки. Вот уж несколько дней, как я с теплым чувством разглядываю твою родную человеческую морду на фото.

Все-таки славно, что ты побывал. Жалко только, что мало, что был болен и что вклинился этот паршивый семинар. На другой день я орал на заключительном слове, обляя своего турка-шефа, накричал за тебя, что проявили по отношению к тебе свинство. И еще будем добивать его на писательском собрании.

Спасибо, что покрутил мешалкой в застойном котле «Нового мира». Рассказ мог попасть в поток самотека. Им-то что? Хотя бы прочитали, черти!

Получил письмо от Сапожникова. Вопит, что все молчат, не отвечают на письма. То-то! Не заносись, парень! Литература — дело такое. Тянуть ее надо ровно, как положено хорошей рабочей лошади. А он все как жеребчик: норовит лягнуть соседа, хапнуть за холку.

Внял твоему совету: сел писать «Затмение луны». Накатал одну главу. Самочувствие такое, будто ходишь по

канату. Пока что кусок каната прошел, не сорвался. Потопаю дальше, буду строить веселые рожи, но на душе — холод и страх. Наверно, вечно будет этот страх в душе: боязнь сорваться. Все-таки все мы в той или иной мере самоделковые канатоходцы. Но иного выхода нет. Пусть весь в синяках и шишках, а идти все равно надо. Если напишу более или менее удачно — пришлю почитать.

А у нас сейчас дивная погода: солнце, теплынь, что-то около 12 градусов. Завтра смоюсь на речку. Я уже после твоего отъезда один раз был, но не очень удачно. Целый день с Женькой молотили. Он поймал одного окуня (на спиннинг), а я пару щук. Правда, погода была похуже. Сейчас хорошее время ловить окуня на зимнюю блесну с длинной удочки. Можно поймать много. Но я не хочу: еще успею надергаться зимой.

Игорек укатил в Москву. Будешь в Москве — иногда навещай его. Парень он славный, но, боюсь, сопьется в том вертепе.

Прислал письмишко Вася Белов. Сидит в деревушке, жалуется, что не с кем пилить дрова. Сообщил неприятную весть: в озере ихнем утонули два 17-летних парнишки. Одного из них я знаю. Перевернулись с осиновою долбленкой, до берега далеко, замерзли в ледяной воде. С содроганием вспоминаю, как мы с Васькой плавали по нему, и как нас застала буря, и мы держались за колья носом на волну.

Витек, успею ли поздравить тебя с праздником. Обнимаю тебя сердечно, кланяюсь Марье и твоим ребятишкам.

А в деревню ты сможешь попасть из-за ледостава?

*Женя (Носов)*

[Зима 1967 года]

Родной мой!

Ну прежде всего сломал себе руку — хожу с гипсовой культей: выбирали нового секретаря, выпили потом, ну и поскользнулся на наших курских ухабах.

Разозлился я на все это и уехал с Игорьком в его Орловщину. Мотались по заснеженной России, по ее городишкам и весям. Снега выпе грузовиков. Шоферня порзбросала машины по полям и утекла. Едва мы пробались на почтовом вездеходе. А потом несколько дней гу-

дела вьюга и мы отсиживались в избенке тетки Феклы — Игоревой родной тетки. Она жарила нам в русской печке свинину, и мы пили самогонку под завывание метели. И еще наслушались тетки Феклы старинных русских песен.

Какая же это удивительная прелесть — покосные, тропицкие, мясоедские и т.п. Бездна поэзии, чудом уцелевшая в этой одинокой бабьей душе. Живет она одна-одинешенька и от скуки сама для себя гонит самогонку из буряков. А то иногда забредают к ней подружки и сидят за бутылкой «змия», вспоминают жите-бытье, поплачут, попоют... Вот, говорит, китайцы опять что-то на Красной площади порушили, видать, пенсию нам не дадут, раз пошла такая поруха... Народ! Он все соображает и очень тонко отзывается на события.

Висит у нее прибитый гвоздем к стенке «Астор» — пустая пачка английских сигарет, забытая Игорем еще летом. Выбросить пачку не решилась — больно красивая, какой-то лорд нарисован в белом парике, вот и приколола его к стенке — для украшения жизни.

А моя «Афродита», видать, накрылась в связи со статьей в «Правде» по «Новому миру». Им теперь не до этого. И «Пятый день осенней выставки» не в жилу попал. Отдавал я Зубавину. Василевский прислал рецензию, что-де опять «Матренин двор», надо выправить героиню, сделать ее полную достоинства — в полном соответствии с характером русской женщины. А я вот вспоминаю Игореву Феклу, «Астора» на стене — и аж дых захватывает от злости, от того, что вся эта журнальная колда поучает, как и о чем надо писать.

В связи со статьей же по «Новому миру» устроили мне на нашем писательском собрании головомойку (задним числом) за новомирские рассказы. Как же, раз была статья, стало быть, надо искать и у себя космополитов и очернителей. Говорили, что в «Объездчике» даже природа не юбилейная: гроза, ливень и вообще, что я хотел сказать этим рассказом.

Правда, ребята отбили эту гнусную вылазку «хунвейбинов», не дали меня топтать, но все же настроение кислое от всей этой тупоголовой черносотенщины.

Так что и не знаю, о чем теперь писать: о чем ни подумаю, все кажется не пойдет. Вот малость оклемаюсь и буду сочинять, как одна старушка ехала помирать в свою деревеньку после того, как она наняничалась внуков по разным сыновьям и дочерям — сытым и именитым.

Вить, а насчет прошвырнуться по северу — до Вологды, а потом в Карелию. — я не против. Но давай до лета, а? Сейчас всякие текущие дела и у тебя, и у меня: у тебя в «Молодой», а у меня идет сразу две книжки в Воронеже — переиздаю, вот отправил одну двадцатилистовую книжку рассказов, а теперь сижу, составляю вторую — детскую. А там, не успеешь оглянуться — съезд. Я тоже думаю приехать. Там будут и Петя Борисков, и Вася Белов, полагаю, тогда обо всем и договоримся. А то есть и еще вариант: доехать до Вологды и съездить в Белозерск, туда, где теперь отбывает ссылку колокол новгородского вече и вообще чудные места: Белозерская крепость, Кириллов монастырь, древность святая повсюду... Или из Вологды взять билеты на старенький колесный пароходишко и пошлепать не спеша по Сухоне и дальше по северной Двине — чудный русский Север! С замшелыми церквушками, рублеными погостами, белоголовыми ребятишками и буйными двинскими, а вернее — холмогорскими покосами. Взяли бы с собой спиннинги да и не спеша так приплыли бы...

Словом, обо всем можно бы договориться: как, куда.

А у нас на редкость суровая зима — снега, морозы, и уже хочется капли, синичьего тиньканья. Рука меня подкузьмила, и на рыбалку не ходил: нечем долбить лунки. Но еще есть время, и похожу туда дальше. Очень хороша рыбалка в марте, солнце, снег оседает, блестит, начинает брать окунь, судак, а уж сорога и подавно. А главное, растянешься, как тюлень, на льду, так на боку и ловишь. Хорошо! А когда побегут ручьи, все сбивается на озера: там долго еще стоит сухой лед. Уж кругом грязь, чибисы летят, гуси, а там, в лесу, — зима, только синяя, весенняя — синее небо, синие тени, синий лед.

Напиши, что ты сейчас делаешь, как поживаешь, над чем работаешь. Не ходил ли с ружьишком? У нас в этом году хорошо били лис, да и русаков было порядочно. А еще кое-кому выдавали лицензии на отстрел кабанов и лосей. Но это не про меня. Вот сынишка все просит ружье, да я не знаю, какое ему купить — не разбираюсь.

Ну, Витя, пока!

Обнимаю тебя, родной, кланяюсь твоему дому, твоей Марье и хлопчикам.

*Женя (Носов)*

[1967 год]

Дорогой Витек!

Рад, что ты выцарапался из захлестнувшего тебя уныния. Ничего, парень, три к носу, мы еще повоюем! Вон какой славный рассказ тиснули в «Новом мире»! И еще напишутся. Что ж в эту-то пору теряться? Самое набрал силу. Если ты уже теперь уступишь свое место в литературе, добытое с таким потом и кровью, то этому только кое-кто порадуется. Свято место пусто не бывает. Вместо тебя сразу же появятся пижоны и сморчки. Так что зубами удерживай завоеванные позиции и не сдавайся. Теперь это нужно не одному только тебе. Теперь ты уже не принадлежишь самому себе, а прежде всего — святому и великому делу, коим во веки веков было на Руси слово, — будь то былина, песня или простое слово правды. А то Марья твоя напугала меня своим письмом. Писала, что с тобой что-то неладное. Я даже растерялся. Просила, чтобы я написал тебе с тем, чтобы она переслала мое письмо в Сибирь, где ты должен еще побыть маленько. Но я решил, что напишу после твоего возвращения, тем паче, что ты вот-вот должен был возвратиться.

Хотелось бы, конечно, чтобы ты приехал к нам на семинар. Дело это весьма формальное, никаких особых рукописей у нас нет, так что читать пришлось бы немного, а тем более задумываться не пришлось бы. Все сплошное графоманство, и слава Богу, хоть не объемистое — так, жиденькие рассказы на 5—8 страничек. Да дело, собственно, и не в семинаре. Это всего лишь повод. Правда, пора будет весьма унылая — конец ноября. Но зато мы бы с тобой потом слетали или поездом съездили в Воронеж и отвезли бы туда твою детскую книжку. А лучше бы, если бы ты ее туда заслал, а мы бы потом подскочили туда. Народ там интересный — Гаврила Троепольский, Юрка Гончаров, есть и еще народ хороший. Да и в «Подъеме» что-либо сунуть, они только рады были бы. А то бы махнули в Орел, к Ленке Сапронову. Он у меня был, гостил, ездили с ним на лодке по нашей реке, ему понравилось. Живет он весьма одиноко и был бы рад тебе до безумия. Приезжай, Вить.

Чтой-то я слышал, будто закрывают «Наш современник». Так ли, нет ли, а доигрались, дошли они до ручки. Зубавин стал беззуб и вообще на все наплевал, сидит за городом, в журнал не показывается, все ворочает за него



этот дуб, печатает всякие фигли-мигли, зарезал мой «Пятый день осенней выставки», который дал «Новый мир». Между прочим, в «Н. м.» теперь сидит Юра Буртин, его выжили из «Литературки», так что поддерживай с ним связь, парнишка он наш, умный, а главное, русак до кирпатового кончика носа. А в «Новом мире», ты прав, напечататься — великое дело, хороший звон получается — на всю Россию. Уж колокол так колокол, не то что Зубавинские бубенцы.

Кажется, наконец-то, вышла моя книжка в «Сов. России». Я ее еще не видел, но получил телеграмму из «Литературки», просят на рецензию. Если бы Туркин не выкинул из сборника «Храм Афродиты», книжка и вовсе получилась бы добрая.

«Новый мир» просит у меня «Красное вино победы», хотели даже поставить в юбилейный номер, но я им не дал, потому что буду еще работать над рассказом, а потом отдам им. Пусть пока полежит. Вот все в голове мелькает мыслишка написать о Карелии, о Кижях. Но не традиционно-туристически, а как-то поглубже. Тоже насмотрелся я на эти Кижы и на все, что вокруг них деется. Горько становится. Все это балаганно, формально. Пижоны, пижоны, транзисторы, ракеты на подводных крыльях и еще много всякой глупости. А край опустынен, покинули его люди, стоят по островам и заливам развалившиеся, пустые деревеньки.

Только никак не засяду работать. Доконал меня совсем желудок, сейчас как раз самая острая фаза его буйства, не сплю по ночам, корчусь. А это выматывает, утром встаю разбитый, неспособный ни на что. Да и то сказать, как ему, бедному, не бунтовать: весь год как пошел косяком, так и идет, начиная с поездки зимой в Орел со сломанной рукой. Потом был дикий съезд, потом Карелия, потом все лето гости — то сестры с мужьями (каждая порознь приезжала), то всякая братия. Один Игорек Лободин за лето три раза гостил. Парень он хороший, но уж сильно зашибает, а я за ним уже не утонюсь, да мне и не в диковинку с ним пить. Был у меня кроме Леньки еще и Ванька Панькин, поехал служить на Черное море. Выжили его за водку из издательства, теперь охраняет памятники старины. Спился парень вовсе: голова трясется, когда он не выпимши. А на этих памятниках он и вовсе даст дубу в одиночестве и безнадзорности... Вот бы и в Тулу можно было съездить с тобой к прежним нашим ребятам.

Купил я Женьке ружьишко, хороших у нас нет, а главное, нет к ним никакого снаряжения. Взял для начала ему Иж-58, а потом пригляжу получше. Ездили мы с ним на охоту. Уток было — тьма. Пожег все патроны по ним и все — ближе сорока метров. Одну только сшиб. Вот подумываю, не купить ли и себе пушку. Только все сомневаюсь, сумею ли убивать. Больно жалко. Вот летела и — трах-бабах! — готова, кровь из носу. А сама еще живым глазом смотрит. Была в «Литературке» статья против бабахателей. Автор предлагал отобрать все ружья и заменить их луками, а то все поперебили. На каждых пять ружей приходится один заяц.

Сейчас сяду и напишу в воронежское издательство письмо, что ты не возражаешь прислать им детскую книжку. Они очень хотят узнать тебя. А если ты вздумаешь им послать почтой, то вот тебе адрес: Воронеж, ул. Цюрупы, 34, Центр. — Черноземн. книжн. изд., Тамаре Тимофеевне Давыденко. Девка она хорошая, со вкусом, тоже брошенная мужиком, так что ей теперь ничего не остается делать, как с головой уйти в литературу. Кстати, и Семенов там главным редактором, тот, что был с нами на семинаре в Белгороде, напомнить? Он-то тебя помнит.

Ну, Витек, пока. Крепись, не унывай. Береги себя, родной, от всякой унутренней и наружной скверны.

*Твой Женя (Носов)*

Марья пусть меня простит, что я ей не ответил, что-то помешало, мужицкая что ли сдержанность, только не хамство, ей-Богу!

[1968 год]

Здравствуй, Вить.

Приехать не смогу. Все корплю над злополучным сборником для «Сов. России». Мне уже дважды продляли срок, а теперь и вовсе продлять некуда: книжка в плане на 69-й год, а у меня всего только пять листов текста. Над последним рассказом «Красное вино победы» работал все лето — апрель, май, июнь, июль. Вот вчера только отнес на машинку. Собственно, это единственная вещь в этом году. В прошлом году написал тоже всего один рассказ. Продуктивность моя упала до предела, хотя дурака и не валяю, работаю много, пишу по 3—4 варианта одного и того

же рассказа — не правлю, а каждый раз пишу заново. Фактически на один рассказ приходится по 5—6 печатных листов. Вот надо писать следующий, поскольку книжки по-прежнему еще нет, она кажется бездонной. Но, чувствую, устал, нет никаких сил писать и надо бы проветриться, передохнуть малость, и было бы, конечно, не худо поехать с вами. Но, видишь, не получается. А тут уже и с деньгами туговато. Живу-то все на прежние книжки, а рассказов нигде не печатается, так что надо вкалывать, пока окончательно не обанкротился. Да и неловко перед Колосовым: получит, терпит пока, что не шлю рукопись.

Женю моего забрали. Служит в Днепропетровской области. Попал в сержантскую школу. А потом направят куда-нибудь в дальние края. Жалеем, что не остался в Перми, когда был там в командировке. Ему там предлагали зачислить в часть недействительную. Там он пользовался привилегиями как специалист, вешали ему сразу старшину, и жить не в казарме. А тут его гоняют, как говорится, на общих основаниях, подъем, отбой, подворотнички, наряды, чистка автомата и прочие солдатские прелести.

С Васькиной книжкой в Воронеже ничего не вышло. Директор издательства был на заседании Комитета по печати и там как раз Ваську крыли за «Плотницкие рассказы». Директор перепугался и отказался их издавать. Тем более, что узнал, что эта повесть издается в Архангельске. Архангельскую книжку я уже купил, продают у нас, в Курске.

Что-то я не понял, где Васька. В Польше? Это еще с начала лета. Тут один воронежский писатель был в Костроме (в мае) на каком-то совещании, говорил, что были там Коротаев, Викулов, а Васи не было. Это с тех пор он тамotka? Загулял, однако. Валька моя говорит, что не иначе как женился на польке.

Ну, Вить, пока.

Игорь сейчас в своей деревне. Оженился. Выходит у него в Воронеже сборник. В «Современнике» дают его «Родительскую дорожку».

*До побаченья. Женя (Носов)*

[1968 год]

Уважаемые товарищи!

С удивлением и обидой прочел я в Вашей газете отчет Ю. Баулина об играх хоккеистов первой группы (если мне память не изменяет — это первый отчет об играх этой группы хоккеистов, хотя заканчивается уже первый круг. Вниманием команды первой группы, прямо надо заметить, не балуют ни Вы, ни другие газеты, даже сообщения об играх, помещенные в «Сов. спорте», упрятываются так, что иной раз их и не сыщешь. Замечу, кстати, что футболистам первой лиги «Советский спорт» отдавал больше места и уважения).

Вот, кстати, об уважении я и хотел...

Весь отчет Ю. Баулина пронизан каким-то неприязненным чувством к хоккеистам первой группы, а к иным командам — и пренебрежением, граничащим с неуважительностью. Утверждения Ю. Баулина, что команды, вылетевшие из высшей лиги в первую, проигрывают лишь потому, что те-де играют грубо, — субъективны и даже больше, пожалуй, предвзяты. Разрешение применять силовые приемы по всей площадке, утверждает Ю. Баулин, развязали, мол, руки малотехничным хоккеистам, и они-де пользуются этими «козырями» и обыгрывают сильных соперников только за счет этого. Ну, а чем же тогда объяснит т. Баулин то, что нелюбимая Вами команда «Молот» обыгрывала команды высшей лиги и тогда, когда не разрешена была силовая борьба по всей площадке? «Молот» в свое время отнял очко у ЦСКА, то самое, которого не хватило этой команде, чтобы занять первое место, и чемпионом впервые стал «Спартак»? «Молот» бил «Крылышки», «Трактор», «Сибирь» и не единократно сокрушал соседа своего — «Автомобилиста». В позапрошлом году только в дополнительное время выиграло у «Молота» московское «Динамо» игру на кубок СССР. Красиво, с хорошим счетом выиграл «Молот» у чехословацкой «Теслы», в которой играл тогда в Перми всем известный игрок Долеша. Выигрывал и другие международные встречи. И второе: если уж это затрапезная команда, ничего не умеющая и не знающая, а лишь толкающаяся на льду, отчего именно из нее был взят нынче в команду высшей лиги, в «Спартак», защитник Пономарев? Отчего тогда почти во всех командах первой группы играют выросшие

в Перми хоккеисты (Ермолаев, Литюгин, Шитковский, Пономарев и еще Пономарев, Пепеляев, Савин и другие)?

Я так пристрастно говорю об этой команде потому, что много лет прожил в Перми и хорошо знаю команду и дела ее. Конечно же, у нее полным-полно слабостей и недостатков, но что это команда самобытная, мужественная, преданная своему городу и хоккею, — я, ее давний и преданный болельщик, утверждаю это смело, — иначе ей бы не выжить. Бывали такие сезоны, когда почти всю команду целиком растаскивали, а сама она ни разу еще не прибегала к помощи «варягов». Упорно, настойчиво, преодолевая косность и невнимание, растит своих хоккеистов, хотя команде «Молот» в городе, спорту вообще и команде «Молот» в частности, помогают мало и плохо. Меценат — директор завода, от которого целиком и полностью зависит команда, капризен и самолюбив. Он стучит кулаком на игроков, но мало заботится об их быте. Пока ребята-хоккеисты живут холостяками по общежитиям — хорошо, а как женятся, обзаведутся семьями, им приходится покидать Пермь (из-за квартиры в свое время уехал в Минск воспитанник «Молота» Житковский, а нынче в Ригу — Пономарев). Дело дошло до того, что команда вот уж несколько лет играет четырьмя защитниками, и я видел лица ребят в конце сезона — фиолетового цвета были лица хоккеистов, доигрывали они сезон на пределе сил, иногда даже не залечив травм. Вот появился в «Молоте» пятый защитник, и сразу нашелся на него «глаз» — и он оказался в «Спартаке». Бог с ним! Это хорошо, что игрока берут в высшую лигу, но не след противопоставлять командам-труженицам, которые (беру смелость это заявить) мало чем уступают в технике тому же «Автомобилисту» или киевскому «Динамо», но тактически играют примитивно, порой и безграмотно, потому что бегать их есть кому учить, а думать — некому, тренеры-то часто свои же игроки, своей же команды. Ну, а что же за технику и тактику привнес в первую лигу хвалимый Ю. Баулиным саратовский «Кристалл»? Сплошь составленный из «варягов» — болельщики многих городов их уже знают. «Что, ребята, тяжело играете с саратовцами?» — спросили однажды болельщики-пермяки на встрече со своими хоккеистами. — «А они очень хитрые и коварные, они все время играют на грани фола, провоцируют, и молодые наши хоккеисты клюют на эту удочку. Больше

всего штрафного времени мы набираем в игре с этой командой. Да и не только мы...»

Что верно то верно. Забывают саратовцы мало (смотрите таблицу!), бегают слабо — растренированы! Иначе зачем же бы их «попросили» из высшей лиги?! А вот грязной игре на высшем уровне они подучились так, что «простофили» из провинциальных хоккейных городов уступают им в этом (точнее — уступали, но как видно из отчета Ю. Баулина, кой-чему тоже подучились у «опытных» игроков!). У таких истинных хоккеистов, как Якушев, Цыплаков, молодые хоккеисты и в самом деле учатся хоккею, потому что эти ветераны не обучают грязной игре и подвохам. Да вот не все такие, к сожалению! Замечу попутно, что команда «Торпедо» — Усть-Каменогорска, которую тренировал Ю. Баулин и которую я не раз видел, по грубости саратовцам уступала очень мало и именно поэтому более техничная и «мягкосердечная» команда «Молот» ей иногда проигрывала.

Прошу прощения за длинное письмо. Вы сами вынудили меня его написать своим малоквалифицированным, высокомерно и плохо (с газетной точки зрения) написанным отчетом. Больше помощи и пользы вы оказали бы командам первой лиги, если б о них писали так же, как летом писали о футбольных командах — о «Рубине», «Днепре» и т.д., об их нуждах и бедах, о слабостях и достоинствах. А они ведь есть, есть, несмотря на необоснованные утверждения Ю. Баулина. А так что же? Я вижу барски-надменное лицо директора Пермского завода им. Ленина — хозяина «Молота», к которому пришли униженно просить что-нибудь для команды, а он просителям швыряет Вашу газету: «Чего вы ко мне пристааете с этой вшивотой?! Вон чего о них пресса пишет! Они и играть-то ни хрена не умеют!..»

Вот так, т. Баулин! Я — бывший газетчик и хорошо знаю, что печатное слово не всегда помогает, иногда и вредит. Жаль, если вы этого не знаете, но в редакции-то обязаны знать!

И еще: в заключение своего отчета Ю. Баулин безапелляционно заявляет, что-де он не сомневается: «Локомотив», «Автомобилист», «Киевское «Динамо» да еще саратовский «Кристалл» будут оспаривать путевку в высшую лигу. К такому умозаключению приходит Ю. Баулин на том основании, что команды, однажды попадавшие иг-

рать в низшую лигу из высшей, благополучно вернулись обратно.

Но времена меняются и «пасынки» большого хоккея в прошлом году благополучно отправили вниз по лестнице «представителя» высшей лиги — новокузнецкий «Металлург» и сейчас его с переменным успехом бьют даже в третьей подгруппе. Так что где-где, а в хоккее «цыплят только по весне считают».

К слову, о подсчетах. Сообщаю Ю. Баулину и отделу «Сов. спорта», что в прошлом году «Молот» занял третье место и так называемые «саратовцы» из высшей лиги обошли его лишь на одно очко. В нынешнем сезоне, на тот день, когда в «Сов. спорте» появился такой долгожданный и редкостный по содержанию отчет, «Молот», несмотря на то что ушли из него лучший защитник и нападающий, занимал второе место и от «Автомобилиста», находящегося на первом месте, его отделяло одно очко! Неужели все это лишь потому, что пермяки умеют сильнее других толкаться на льду и хамить? Но т. Баулин не мог не заметить тренерским глазом, что пермяки, особенно нападающие, самые малорослые в подгруппе и «физической силой» одолеть им тех же рослых усть-каменогорцев никак уж не под силу. Другое дело, что они очень юркие, выносливые, часто оставляют за спиной тех, кто хочет взять их на корпус и неровит играть только этим самым корпусом, или, как метко болельщики замечают — «мясом»...

Я заступаюсь за свою команду, потому что болею за нее и надеюсь, что «Советский спорт» впредь не будет отделяться отписками, подобными отчету Ю. Баулина, а будет писать и помогать командам (первой!) группы, всыкательно и строго, но помогать, а не обижать их, и без того играющих в тяжелейших по сравнению с высшей лигой условиях.

*Виктор Астафьев*

[1968 год]

Уважаемые Элеонора Петровна, Инга Ивановна  
и Наталья Ивановна!

Я все лето был в Сибири и потому не ответил на Ваше доброе письмо. Да, как и у всякого пишущего, у меня тоже появляется «кинозуд», но уж мало чего от него оста-

лось. «Звездопад» пытались поставить на Свердловской киностудии, даже уже мне и деньги платили, но жена моя напугалась и велела мне их вернуть, ибо ни за один рассказ мне столько не платили, а тут за сценарий, написанный по готовой вещи... Кино не поставили. Сценарий вернули: то я что-то не так сделал, то режиссера не нашли, то и еще что-то, мне непонятное, содеялось...

Но на этом моя киноопупея не закончилась. Узнал об этом Юрий Бондарев, что ввязался я в такое дело, а повесть ему нравится. И спрашивает: «Остался ли хоть какой-нибудь экземпляр?» «Остался», — говорю. «Давай его мне, — сказал, — я его в свое творческое объединение отдам, там ребята хорошие, а про любовь хорошего ничего нет». Я послал. Жду-пожду. Год прошел. Два прошло, а я все жду, но не это главное. Главное, что я работаю там, где Бог мне назначил, — пишу потихоньку прозу. Однажды у Бондарева спрашиваю: «В корзину его бросили иль как?» «Не бросили, но потеряли», — отвечает мне Юрий. Кулик или Калик какой-то потерял мой «Звездопад», как пели в детдоме мои друзья: «Утонул он, утонул, только хером болтанул!..»

Тут я успокоился и решил жить дальше в качестве прозаика и кинозрителя. Но раз! Зазвонили, затрещали телефоны. Студия им. Довженко — сейчас, моментом, с ходу или, как опять же, острили орлы-детдомовцы: «С маху под рубаху!» — хотят снимать полнометражный фильм по рассказу «Ясным ли днем» — режиссер любит меня и обожает рассказ! Директор студии рыдает, ибо сам безногий, а тут герой без ноги. Ну уж, думаю, такое редкостное совпадение даст результат — уж две-то ноги на двоих кино вывезут!

Ан не тут-то было! Есть начальство на двух ногах и даже на трех которое попадаетея и лае: «Як цэ можэ буты, шоб громадянина, та ще червоноармийця бэз лапы на нашему лучшему, передовому, гуманному экране показуваты? Чи мы капыталисти, чи футурусти?.. Пэрэробыты! Пэрэробляв я, пэрэробляв той горемычный киносценарий и однажды выразился, тихо, но матерно...

На том моя киноопупея будто и кончилась, если не считать нескольких коротких фильмов, снятых выпускниками, из которых я ни одного не видел. Говорят, на Одесской киностудии по рассказу «Солдат и мать» — дипломная работа одного выпускника получилась очень удачной,



да и играют в фильме любимые мною актеры — Булгакова и Кононов.

Ну-с, режиссер со студии Довженко — парень по духу мне близкий, не забывал меня и в покое не оставлял — уломал меня написать сценарий по повести «Пастух и пастушка». Студия сценарий приняла на «Ура!» — режиссер уехал в деревню, я в Сибирь, а сценарий пошел по инстанциям. Что, кто, где и как? — я ничего не знаю, ибо повторяю, что лишь вчера вернулся с родины.

Вот и все, что могу сказать я о своих отношениях с кино... Когда-то Джона Стейнбека спросили: имеет ли он какие-либо отношения с телевидением? И этот, проклинаемый нами, которого я, несмотря на поношения «Лит газеты», до сих пор обожаю, ответил перед самой смертью с буржуйской прямоотой: «Ну должен же человек иметь хоть одно достоинство! Мое заключается в том, что я не имею никаких дел с телевидением...»

Но там телевидение растленное, двенадцатипрограммное, там голых девок показывают, и друг в дружку стреляют, да банки грабят. А вот покажете ли вы, допустим, госпиталь в том виде, в каком я его написал, чтобы не рядить больных в пижамки, чтобы кровь... и страдания были не «красивенькие», а раны гноились и любовник Миша Ерофеев ходил в кальсонах, подвязанных юбкой? Нет, конечно. А на нет и суда нет! Пусть дальше показывают Марью-большевичку, которая в берлогу залезла, изнасиловала медведя и вдобавок шкуру с него сняла! Во, баба, а?! Родился в Сибири, крестился в Сибири, а таких впервые вижу! Медведя за всю жизнь нос к носу видел один раз, ружье было в руках, правда, дробью заряженное, но... я — не Марья, далеко не Марья! Только и смог пошевелить губами: «Ну, уходи!..» — сказать. И он ушел, а то бы и письмо писать мне вам не довелось.

Вот предложил бы я вам попробовать снять многосерийный фильм по повести «Последний поклон». Добрый видится мне фильм. И режиссер есть, который «по-телевизионному» его видит, а ну как в «Поклон-то» Марью-большевичку вставят, либо Петю Вельяминова, старого моего знакомого, — сусальненьким большевичком с усиками, речи произносить заставят? А?!

Ой, люди, страшно!..

Ставили у меня в каком-то году «Дикий лук» на Центральном телевидении. Соседи сошлись, расселись. Ребята на полу разместились. Сосед мой в Перми в 28 лет

доктором философии был. Глядел я, глядел кинопродукцию по своим «мотивам» и подумал: «Возьмет сосед мой кирпич да как шандарахнет мне по башке за такое кино и отвечать не будет, ибо за такое говно убивать мало».

Ну и как вы после этого? Согласны приглашать меня еще, или уж Бог со мною!

А телевизор я смотрю регулярно, иной раз с большим интересом. Ваш «Адъютант» мне очень понравился, особенно (в нем) Стржельчик. Я как-то увидел его в Москве в гостинице, хотел сказать ему об этом, да постеснялся. А в «Вызываем огонь на себя» или в «Операции «Трест» — очень понравилась Касаткина. Дай ей Бог здоровья и Вам тоже!

Я только что с родины приехал — брата похоронил (от рака умер). Все лето умирал у меня на глазах, оттого и юмор мой злой. Простите!

*В. Астафьев*

**[Конец 1968 года]**

**Дорогой Евгений Павлович!**

Спасибо Вам за письмо и предложение принять участие в разговоре по моей повести «Кража». В Игарке телестудия — это для меня неожиданная и приятная новость! Я не самый яростный поклонник телевидения, хотя и смотрю его почти ежедневно, однако считаю, что где-где, а на севере, в отдаленности оно самый нужный и незаменимый собеседник.

Итак, о «Краже». Повесть вынашивалась долго, и чем больше появлялось сюсюкающих книг о сиротах и детдомовцах под названием «В родном доме» и т. д., тем больше охватывало меня желание честно и правдиво рассказать о том, что родной дом не может заменить даже самый образцовый казенный дом, что сиротство само по себе есть большое несчастье, калечащее человеческие судьбы, и что надо стремиться к тому совершенному обществу, где бы сиротство вообще было невозможно.

Любой человек, живущий в том или ином обществе, не может быть вне его и даже, казалось бы, отторгнутые от людей сироты многими, порой невидимыми нитями связаны со всем, что их окружает и кто их окружает, поэтому я не мог писать о детдомовцах изолированно от

людей, от города, от мест, где они живут, растут и набираются ума-разума.

Одного моего «детдомовского опыта» явно не достало бы для такой, в общем-то, объемной по содержанию, событиям и судьбам людей, действующих в повести. Много в ней образов обобщенных, собранных по крупице, по черточке, и с фронтовых товарищей, и с фэзэошников, и с соседей по госпитальным койкам. Таков, прежде всего, главный герой Толя Мазов. В какой-то мере собирателен и образ самого города Краесветска, хотя игарчане, особенно старожилы, многое узнают из того, что было и есть в Игарке. Повесть писалась по памяти, а память, даже такая, как у меня, может что-то утратить, подменить, заслонить дальние события и лица недавно виденными, употребить слова и названия случайно где-то услышанные, потому я и не придерживался строгой документальности в изображении людей и места действия в «Краже» — это всегда связывает руки, заземляет мысль, обуздывает фантазию, без которой проза лишается многоплановости, становится достоверной по материалу, но плоской и скучной для чтения.

Была ли кража денег в бане? Да, была, но еще до того, как я попал в Игарский детдом-интернат. Но и при мне случались всякого рода кражи, драки и потасовки с городской шпаной, которую тогда в самом деле возглавляли: «Слепец» — Слепцов и Валька Вдовин, с ним я даже водил дружбу и бывал у него дома. Вообще-то, вопрос, «была — не была», «было — не было», не должен занимать читателя. Главный вопрос: так могло быть? И если читатель говорит «да», значит, написано все точно и достоверно — искусство художника не нужно путать с искусством фотографа — между ними недостижимое расстояние. Но так уж всех читателей занимает вопрос прототипов, что я потрафлю их любопытству, — Мария Егоровна Астафьева, жена моего деда, которую я звал бабушкой из Сисима, жившая во втором бараке на окраине нового города неподалеку от графитной фабрики, часто и с благодарностью вспоминала коменданта, который не дал загинуть многим спецпереселенцам в первую, страшную зиму, — постоянно ходил по баракам, помогал словом и делом, в частности, помог и ей с ребятишками, — фамилию его она не помнила, да это и не имело для меня никакого значения, главное, там, в далеком Заполярье, был, нашелся человек, который, не щадя себя, выполнял свой

долг и проявлял человечность к людям, кои на заботу о них и доброту отвечали еще большей добротой и самоотверженным трудом, иначе городу было бы не устоять, люди вымерли бы от цинги и бесправия.

В 1939 году (за точность не ручаюсь — я ведь в ту пору был мальчишкой) в Игарке умер секретарь горкома по фамилии Хлопков или Охлопков. Помню, когда его хоронили, был страшный мороз и оркестранты грели трубы под мышками и под пальто, но трубы все-равно перехватывало, и они сипели. Какими путями я оказался около гроба — не ведаю, но меня поразило лицо покойного — скорбное и в то же время хранящее печать спокойствия и достоинства. Я прислушался к разговорам и речам — говорили о нем много хорошего, но мне показалось, что у покойного нет родных, что он всего себя отдал людям и что, может, это тот самый человек, который был в тридцатых годах комендантом Игарки. С тех пор и начал во мне складываться образ, который и был написан под фамилией Ступинский. Увы, мало ему досталось места в повести — у сюжета свои законы, своя дисциплина, он не дает разбрасываться и озираться по сторонам.

Репнин Валериан Иванович — это Василий Иванович Соколов. Все, что о нем написано в «Краже», действительно имело место в его жизни. Я слышал, что умер он в 1944 году, будучи директором школы в совхозе «Полярный», что на острове против Игарки. Его давно нет, но я до конца дней буду хранить о нем добрую память, поклоняться его человечности, уму, такту и обаянию — все, что было во мне плохого, начал из меня потихоньку выкорчевывать и возвращать хорошее — он! И еще — Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший в ту пору преподавателем литературы и русского языка в школах Игарки.

А вот зав. горно Голикова выведена под собственной фамилией, и портрет ее ублюдочный в точности сохранен моей памятью и написан в назидание тем учителям и воспитателям, которые полагают, что можно угнетать, притеснять и унижать детей безнаказанно. Дети все равно когда-то станут взрослыми и еще неизвестно, что из них получится. А вдруг из них получится писатель, да еще памятный, да их в «комедию вставит!», как горестно говорит городничий в «Ревизоре». Маруся Черепанова написана под своей фамилией. Где она — я не знаю. Вася Петров, с которого наполовину списан Попик, работал

одно время в поселке Старая Игарка заведующим зверофермой. Зина Кондакова — это Зина Куликова, фамилия ее по понятным причинам изменена и не надо ее объявлять во всеуслышание.

Паралитик так и остался Паралитиком. Слышал, что блатняки отрубили ему голову в исправительно-трудовой колонии. Где Деменков и что с ним — не ведаю, написан он под доподлинной фамилией. Тетя Уля так и была тетей Улей, из Вашего письма я узнал о ее смерти. Пусть ей будет пухом земля! Добрейший, чудеснейший человек! Такими, как тетя Уля, мир держится, только мы этого не замечаем и поздно понимаем. Пусть весной кто-нибудь снесет на ее могилу хоть маленький букетик цветов и скажет, что это от тех, кого она кормила, поила и иногда по-матерински бранила. Доведется мне быть в Игарке, сам снесу, но пока нет такой возможности.

Многие наши ребята погибли на войне, иные в трудах закончили земной путь — ведь нам почти всем уже за пятьдесят!

Скоро будет пятьдесят лет и городу Игарке. Доживу — непременно приеду на этот, главный для всех нас, старых игарчан, праздник.

Прощаясь со всеми вами, дорогие друзья, сообщаю, что работаю над повестью «Царь-рыба». Она тоже о Сибири, об Енисее, о родных земляках. Лежит начерно написанный роман о войне, ждет своего часа. В замысле повесть о войне, фантастическая повесть, рассказы. В будущем году выйдет моя книга «Где-то гремит война» в издательстве «Современник», очередным изданием — «Конь с розовой гривой» в издательстве «Детская литература». Запланирована книга публицистики в серии «О времени и о себе». «По секрету» сообщу, как самым близким людям (писатели, как и охотники, очень суеверны), что в конце 70-х годов планируется издание 5-томного Собрания сочинений.

Как видите, планов, замыслов и работы впереди много!

Вам, Евгений Павлович, и вашим сотрудникам — доброй зимы, здоровья, успехов в работе и радостей в жизни! С Новым годом!

*Ваш Виктор Астафьев*

Раз уж сам быть не могу, то посылаю несколько фотографий — они помогут Вам живее сделать передачу.

[16.4.69 г.]

Дорогой Володя! (Колыхалов)

Ну и толстую же книжку ты написал! Читал я ее, читал... Я ведь толстые книги сейчас читаю трудно и долго — глядело мое поослабело и голова побаливает. Но твою добил — оттого, что люблю книги сибиряков. В них, у талантливых, разумеется, авторов и не наезжих, а коренных сибиряков — всегда покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, не выставленная напоказ честность и правда, правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собой разумеется и потому ее обычно принимают и воспринимают без ахов и охов и никакой излишней подсознательности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда: ее или принимают целиком, или отвергают то тоже целиком, ибо она неделима и неотделима эта «исповедальная проза».

«Верха» наши, наторевшие в надзоре за словом, совсем не случайно относились к этой прозе снисходительно — она была безопасна и «безвредна», ибо скользила по верхам событий и жизни, шибала больше в нос и не трогала сердца. К этакой литературе во все времена все привыкали очень быстро, а настоящего слова, по справедливому и потому уже осужденному в «Огоньке» замечанию Гранина, «Россия всегда боялась».

Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому убеждению, лучшей и определяющей в прозе 20-х и 30-х годов. Зазубрин, Ошаров, Петров, Иван Крафт, Шишков, Березовский, Жуков, Сейфуллина, Вс. Иванов, Черкасов (покойный, а не живой!) и множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали ее с новейшим живописным блеском, они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопилось столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они ее выплескивали удаю, безудержно, темпераментно и иной раз одной страницы (у Шишкова, например), иному современному столичному «художнику слова» хватило бы на целый роман — так они бедно заряжены жизнью, так мало видели и пережили.

Все это, присущее лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам (да и как могло быть иначе? Мы ж

росли и выросли на этой литературе!), и все это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге.

Но я глубоко убежден, что сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин — в прозе; Пушкин, Блок, Некрасов — в поэзии, которые умели — да еще как! — писать, и образно, и живописно, и удачно, и правдиво, и... как хочешь, но от стихийной, порой «голенькой» прозы они постепенно переходили к мысли, и если уж шла война и ее описывали, то не одними батальными сценами отделялись эти воистину мудрые художники, а мятущийся появлялся у них на позициях и мятущийся, чего-то ищущий граф, и мужичок, со «своих позиций» пытающийся понять себя, мир и все происходящее в этом мире. Если уж нищий студент угрожал старухе, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший и случайно завернувший в роман секретарь обкома, а сам он, студент, обращал свой взор вокруг и в самого себя и все вокруг постигал — и высшую нравственность, и падения — путем мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над ее величием и мерзостью.

Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли Высших вершин в слове, потому что сделали это слово мыслительным и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль — в человеческую душу.

Увы и ах! При всем блеске прозы 20-х и 30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской Великой литературы. Она изображала и только. Она, захлебнувшись, спешила вперед, летела, подхваченная круговертью событий и запущенной во всю мощь и на всю «железку» собственной жизни.

Еще раз говорю: дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить — литература эта непременно пошла бы в глубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества.

Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубил под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ошаров, очень много знали и даже сотой доли того, что знали, еще не только не выложили на бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфуллина, Иванов были травлены ли-

тературными гончими и по-существу загнаны в угол. Взамен им хлынула в литературу та самая хевра, которая хорошо усвоила уроки крыловской моськи, которая «счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит».

Думаю, ни Зазубрин, ни Петров, ни тем более Павел Васильев, не написали бы в самые страшные годы слов: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Именно потому, что они, настоящие бойцы-коммунисты, люди с чистой душой и прекрасной биографией, не делали этого и не сделали бы, их и не стало.

Не стало их, нашлись другие, те самые, которые для нас, мальчишек, писали книжки — «Я сын трудового народа», «Белеет парус одинокий» и т. д., готовя из нас патриотов и тех самых бойцов, которые потом с этими книжками умирали в окопах, а авторы их держали в столах или в душах уже заготовки «Трав забвения» или «Святого колодца», чтобы отречься от того, что они делали раньше, умыться руки, предав, по-существу, нас, смотревших им в рот и верившим на слово. «Пора подумать и о душе», — пишет Катаев в «Траве». А о какой душе-то? Души-то нет! Там уже банная мочалка, которой Катаев и иже с ним натирали спины в общественных банях всем, кто казался им шире спиной и влиятельней.

«Его пример — другим наука!» Что и говорить, они многому нас научили, прежде всего тому, что жить и работать в литературе так, как они, нельзя — это подло!

Вот я и подхожу к той мысли, ради которой и развел всю эту прелюдию и которая, так сказать, навеяна твоей книгой. Литература наша сейчас в лучших своих книгах мучительно пытается пойти вглубь, вернуться к тому, что было ею уже достигнуто и развито, и пойти дальше. Логика жизни неумолима. Она требует этого от всякой созревшей или полусозревшей литературы. Все чаще и чаще в книгах талантливых людей делается видно, что они, пусть и запоздало, пусть с издержками, со скрипом в мозгу и в костях, хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан Богом тот же талант, а ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественные.

И снова как прежде! Только начала наша литература заглядывать вглубь, только приступила к осмыслению окружающей действительности, как ее начали трясти за груд-



ки и гнать. Вперед! Вперед без остановки. Некогда остановиться, некогда думать. Помогайте, раз вас кормят, решать хозяйственные и строительные вопросы. А в души заглядывать себе и другим — это потом, это непозволительная роскошь, это — самокопанье! Кому оно нужно?

М-да-с! Цепь снова замыкается. На щит уже снова поднимаются Бабаевские, Семенихины, Андреевы, Горбачевы, которые, опять же по сибирскому выражению, трем свиньям пойло не сумеют разлить, а берутся писать и решать нравственные вопросы. Но как может решать эти вопросы человек, будучи сам совершенно безнравственным, бездарным, оголтело давящий все талантливое вокруг, чтоб утвердить себя и посредственность, коя ему ничем не угрожает.

Сложный сейчас стоит вопрос перед каждым, честно и даровито пишущим человеком. Куда и с кем идти?

Стоит он и перед тобой, Володя, да еще как! Ты, может быть, и сам этого еще не сознаешь, переживая счастливую литературную юность.

Книга твоя хороша, слов нет. Но вся она пока еще от стихийного таланта, неорганизованного, невзнузданного. Я не случайно вернулся и перечитал предисловие Залыгина. О-о, это мудрый мужик! И предисловие он тебе написал осторожное и мудрое.

Книга твоя очень еще бытописательна. Ее можно где угодно остановить и еще сколь угодно продолжать. Из нее можно вынимать целые куски, главы и даже части — и ничего не изменится. Из нее можно вынимать людей или добавлять. А людей в книге целые роты и полки. А смертей сколько! А событий! И все они, за исключением главного героя, исчезают куда-то, как пешки с доски, — отыгрались и долой! Многие брошены неоправданно, и введены также. Многие умерщвлены без всякого лукавства, по одному принципу: так в жизни бывает или было. С середины книги становится утомительно следить за судьбами людей, читать необязательные эпизоды и целые главы. Пятая, да и четвертая часть, начали уже дробиться на эпизоды, и запоминается потрясающая новеллка, как утонул внук Ивана Сосипатьевича и как был убит председатель колхоза. Остается в памяти сенокос и еще кое-что. А остальное уже вяло написано, многословно. Ну вот, спроси ты сам себя: зачем столько страниц написано о медвежонке и как два дурака травили его?

На стихии таланта, на достоверности материала, на

добротном языке и добром юморе, неторопливой и доверительной интонации стоит твой роман, который точнее бы назвать бывальщиной и которую так любят у нас читать везде и всюду.

Ну, а дальше что?

Можно как Петя Проскурин жить. Уровень твоей книги повыше евоных, и можно гвоздить дальше на этом же уровне, эксплуатируя биографию и дарование — это очень простой и легкий путь. А если по-другому? По тому, о чем я, совсем неспроста, толковал почти всю остальную часть письма.

Ох, трудное это дело! Повесть «Перевал», написанную по тому же принципу, что и твои «Побеги», и о том же — я писал несколько месяцев, и ее напечатали мгновенно. А хвалили-то как! Вздох!

Повесть «Пастух и пастушка» (того же размера — 6 листов) пишу уже третий год и конца работы еще не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится ее печатать. Пишу о своем примере не для ради хвастовства, а потому как он ближе.

В заключение моего затянувшегося письма прошу тебя воспринять все тут написанное как субъективное, товарищеское и еще — вызванное тем, что ты — сибиряк, значит, родня, перед которой лукавить грех. Еще извини, что отдал письмо на машинку жене. Почерк у меня ужасный, а тут еще рука болит и пишу с трудом и вовсе неразборчиво.

Желаю тебе работы и творческих мучений, которые совершенно всем нам необходимы, особенно сейчас.

*Жму руку — Виктор.*

[1970 год]

Уважаемые руководители писательской организации!

Старшие товарищи по труду!

Нерадостные думы! Озабоченность нашими делами заставили меня, одного из работников нашей литературы, оторваться от повседневного труда и написать вам это письмо.

Вызвано оно тем, что вы самовластно, не поставив в известность даже нас, членов правления российской писательской организации, не говоря уж просто о членах писательского коллектива, — исключили из членов Со-

юза писателей писателя Александра Исаевича Солженицына, которому и без того выпала доля мученика в жизни и в литературе. А ведь даже в колхозах, перед тем как изгнать кого-либо из членов артели, собирают общее собрание!

Не один я ждал, что нам хотя бы через писательские газеты, наконец, будет объяснено, чем и почему вызвана крайняя акция в отношении к одному из наших собратьев по труду, но и этого не произошло. Объяснение секретариата с надерганными цитатами из письма А. Солженицына и превратно истолкованными, удовлетворить может разве что и без того озлобленного нашего, горя и боли жаждущего, обывателя.

Нам, и так давно уже и прочно устраненным от решения жизненно важных писательских дел (нельзя же всерьез относиться к тем реденьким приглашениям на очередные пленумы, где, по существу, не решается и не обсуждается ничего дельного), как бы стукнули еще раз по носу и дали понять: мол, знай, щенок, свой куток.

Но этак ведь дело может снова обернуться тем, что наши дела и судьбы в конце концов решать будет уже не секретариат, а кто-нибудь один, ответственный, к литературе приставленный товарищ.

Случилось так, что после выхода своей первой книжки я, больной, ехал в санаторий и в Москве оказался в день смерти Фадеева. Никогда не видевший его живым, знавший только по его произведениям, с детства преданно любивший, особенно «Разгром», был я ошеломлен этой смертью. Несколько раз прошел я мимо гроба Фадеева в Колонном зале, я мучительно пытался понять: что же это случилось? Что произошло? Вот он, человек, который меня учил и миллионы таких как я, быть мужественными, прямыми, не жалеть себя во имя друга, земли родной, отцов своих и матерей, — взял и застрелился!

Нет, не там, в Колонном зале, а гораздо позднее, я, еще только вступающий в литературу, сделал для себя вывод, что Фадеев предупреждал нас, литературных юнцов, этим выстрелом, оберегал от тех роковых ошибок и заблуждений, которые совершил он, и не хотел, чтобы мы их повторяли. Может быть, это и не так. Толкуют, этот мужественный (иначе я не могу его назвать) поступок и иначе, толкуют выгодно для себя и текущего времени. Но я склоняю голову перед человеком, который так много сделал литературным трудом своим для того, чтобы мы

выросли бойцами и честными людьми и не задумывались: выгодно это или нет. Взялись за оружие, когда над русской землей нависла смертельная опасность. Я склоняю перед ним голову и за то, что эхо его выстрела звучит в моей душе до сих пор и не дает покоя, предостерегает от легкой жизни, равнодушия и литературных компромиссов, на которые, к горькому моему сожалению, так склонны сделались те, кто учил нас в детстве своими книгами быть непреклонными в испытаниях, быть всегда, в беде и в радости, со своим народом. Для меня этот день — самый горький день в моей жизни, и я, бывает, сожалею, что меня не убило на войне.

Как-то все больше и больше ощущается попытка наших старших товарищей отмахнуться от нас либо заморочить голову. Но ведь мы уже не юнцы! У нас за плечами война и нелегкая послевоенная жизнь. У нас уже головы седые, и мы вправе не только ждать, но и требовать, чтобы с нами разговаривали как с ровней, а не как с бедными родственниками. И тем более вправе требовать, чтобы с нами считались, когда решаются вопросы для литературы насущно-важные, болезненно-острые.

Волевые, келейные решения многих наших дел уже привели к тому, что надзор за словом писательским у нас стал такой, какой не снился писателям в «проклятом прошлом». Он, этот надзор, сделался многоступенчатым, нашему брату даже и допуску нет к тем, кто решает судьбы новых книг. «Невидимки» точат древо нашей литературы, и прав Солженицын, указавший на то, что она утратила свое ведущее положение в мире. Как ни отмаливайся от этого, как ни ораторствуй, ни прикрывайся цифирью валовой продукции литературы, а ведь так. Работать в нашей литературе все труднее и труднее из-за внешнего давления, да из-за того «внутреннего цензора», который в каждом из нас домовито живет и сердце в кулаке сжимает.

Можно от всего этого отмахнуться. Можно и себя убедить в том, что живем ведь, пишем, даже издаемся, хоть и в «кастрированном» виде. Но нас воспитывали не себялюбцами-одиночками, не мещанами, у которых хата с краю, и потому не можем мы быть безразличными к судьбам и делам товарищей по труду, к тем, наконец, даровитым людям, что идут уже следом за нами, дышат горячо в наш затылок.

Мал ведь, невысказано мал для такой страны, как наша,

приток одаренных людей в литературу. Вспомните только, каков был «улов» на обширных семинарах в Чите и в Кемерово: Распутин, Вампилов, Машкин, Колыхалов, Якубовский, ну еще два-три человека, фамилии которых не в друг и вспомнишь. В молодых числимся мы — сорока- и сорокапятилетние — это ли не показатель застоя мысли в обществе, это ли не тревожный сигнал того, что потенциальные творческие возможности сдерживаются у нас?!

А поглядите, полистайте внимательней книги моих сверстников по возрасту и труду. Какая бездонная усталость в прозе сорокалетних, какая печаль в интонации талантливой прозы!

И кабы эта усталость была и оставалась в книгах! Она еще и в душах наших. Закройте глаза и заставьте кого-нибудь вслух прочесть талантливую книгу сорокалетнего — вам послышится голос старца. Неужели вы этого не знаете и не слышите?!

Ныне весной в Москве повесился Юрий Добряков; летом в Красноярске повесился Игнатий Рождественский. Первого я почти не знал, второго знаю с детства — он был моим школьным учителем. Он учил меня русскому языку и литературе в игарской школе. Хорошо учил. Прекрасный был преподаватель и прекрасный человек, безмерно любивший русскую поэзию, землю родную, особенно Сибирь. Всегда он поражал меня юношеской восторженностью, незатемненным оптимизмом в восприятии жизни и вот... повесился, в 58 лет. Кузнецов за рубеж смылся, трусливенько, подло смылся, не по-русски, хлопнув дверью и пославши по матушке тех, кто ему не нравится, а втихаря, исподволь изготавившись к бегству. Теперь вот учинили расправу над талантливейшим писателем России.

Не довелось мне читать его новых романов — не люблю я читать и думать под одеялом — унизительно это для бывшего солдата и русского литератора, но и то, что я читал напечатанное в журнале, особенно «Матренин двор» — убедило меня в том, что Солженицын — дарование большое, редкостное, а его взащей вытолкали из членов Союза и намек дают, чтобы он вообще из «дома нашего» убирался.

А мы сидим и трем к носу, делаем вид, будто и не понимаем вовсе, что это нас припутнуть хотят, ворчим по заулкам, митингуем в домашнем кругу.

Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их сопутницы делают вид, будто ничего не

произошло и не происходит. Будто и не ведают, что кровью нашей завоеванное в мире уважение — распыляется, улетучивается, и те, кто был за нас, отвертываются один за другим. Говард Фаст, Фрэнк, Харди, Андре Стил и покойный Джон Стэйнбек, даже Луи Арагон...

Что же — опять изоляция? Опять пресловутый «железный» занавес? Опять это зловещее: «Я не прошу вас доносить друг на друга, но прошу проникнуться друг к другу здоровым недоверием!»?

А ведь если так и дальше дело пойдет и все мы по углам отмалчиваться будем — до новой беды снова докаться возможно.

Горько и тяжело писать вам, убеленным сединами, много пережившим и передумавшим, но еще горше и тяжелее молчать.

Честный выстрел, пробивший сердце русского писателя Александра Фадеева, не дает права молчать тем, кто пришел сменить его на боевом и нелегком посту\*.

*С уважением В. Астафьев,  
член правления Союза писателей РСФСР*

[1971 год]

Вить, привет!

Прими, старик, мои наилучшие и протчая по случаю Нового года. Потому что если начнешь перечислять все пожелания, которые ныне пишут к делу и не к делу, то как-то само собой получается пошло: все эти «успехи в работе» и «счастья в личной жизни». Единственно, чего бы я тебе от всей души пожелал в Новом году, так это хорошего здоровья, а остальное, как говорится, само придет.

А мне, брат, опять не повезло с Москвой. Подхватил где-то махровый столичный гриппище и до сих пор никак

---

\* В Союзе писателей отмолчались, сделали вид, что письма не получали. Может, и не получали, были конторы, которые, заботясь о нашей нравственности, упрятавали и бумаги, и нравственность, и авторов вместе с тем в долгий ящик. А может, и Господь меня снова спасал от бед и писателей.

Что касается секретариата нашего Союза, то невольно вспоминаются строки из Куприна: «Мама! Письмо, в котором ты просишь денег, я до сих пор не получил», — не хотели там расширения скандала и огласки, шуму лишнего не желали. — В. А.

не отчихаюсь. Вот ведь беда — как съезжу в белокаменную, так хвораю. Перволеде мое из-за этого накрылось. Вот раскатал старый полтинник, сию делую серебряные блесны для утешения. А еще наладил лыжи, думаю серьезно спастись от инфаркта, если еще не поздно.

Начинаю серьезно подумывать о романе. Хочу произвести в прозе «Слово о полку Игореве». Но не просто пересказать, а покопаться в этом времени поглубже. Этот князь противоречив и авантюрен, и я вовсе не собираюсь выдавать его за национального героя. Но до романа еще далеко, если вообще решусь. Отпугивает огромная подготовительная работа, надо много перерывать бумаг и чуть ли не изучить древнеславянский. Без этого ничего не получится.

Завидую вашему застолью, тому, как вы все собираетесь и вам не надо друг друга остерегаться в непринужденном праздничном разговоре.

*Обнимаю, Женя (Носов)*

[1971 год]

Досточтимый Виктор Петрович!

Пишет и низко кланяется известный тебе куряк Евген Иваныч. А еще поклон до земли Васяте, Сашку и Коротаеву тож.

Обитание мое протекает в прежнем единообразии, усугубляемое пыльной жарой и неистребимым окружением сопричастелей, коих не отвадишь ни крестом, ни бранным словом. И живу я как некий ванька-встанька: то загнусь, то опять воспряну. Так и проходит моя жизнь молодецкая, отсчитавшая уже сорок шесть лучших годков, а те, что еще остались, — вестимо дело, не из радостных, коли уже теперь все внутри изгнило и зубов почти не осталось, а которые остались, то все чужие, из курской аномалии изготовленные, а под ними труха и свистит ветер. Вот пора и бороду заводить, дабы прикрыть срам зубовный и не страшать несуразной рожей читающую публику.

Мои «Берега», однако, издали, но портрета, видимо, по вышеуказанной причине помещать не стали, поскольку уж очинно тот портрет не подходит к твоему задушевному предисловию. Слова-то, тобой сказанные, христи-

анские, а на портрете — истинный разбойник. Зарежет и недорого возьмет. А вместе с портретом изъяли из книжки «Объездчика» и «Уплывают пароходы, и остаются берега...». И получилось воистину забавно и курьезно: книжка названа «Берега», а самих-то берегов и нетути... Ох и ловкачи там сидят, ох и парихмахтеры! Так обреют, что и родные не узнают. Под полубокс! А еще обкорнали меня и денежно: за всю книжку выдали мне на мои мозолистые трудовые руки две тысячи рублей. Это при двадцати-то печатных листах и 100 тысяч тираж! А я и не знаю, может, как обшиблись. А ежели не обшиблись, то при такой зарплате жить и питаться дальше нет никакой мочи, поскольку нынче огурцы грузинские довели до 7 рублей, а картошка молодая была два рубля. Такого сраму на Руси никогда не было, и честному, и благородному писателю, да еще который с совестью и не бегаёт в обкомовский буфет, — жить стало невозможно, и иногда, грешным делом, приходит мысль сложить с себя такой высокий сан и пойти в охранщики, поскольку охранщик получает обмундирование, ружье, право на всех орать и бесплатно ощупывать бабенку. А нашему брату за все за это надо платить. И за ружжо — тоже — ныне у нас цены на членство вздорожали, а порох и вовсе не показывают.

Это ты, досточтимый Виктор Петрович, справедливо изволил рассудить, что нам надо повстречаться перед тем, как засесть за работу. Не знаю как ты, а мне это надо, как комару крови напиться. Ежели комар крови не попьёт, то и бесплодным останется. Так и я: ежели тэбэ с прочими друзьями не побачу, так и работа не пойдёт, вроде как бесплодие наступит, маята в душе и беспокойство.

Так что не обессудь, а порешил я нанести свой визит в твой стольный град Вологду в 20-х числах августа сего года. Поздновато для ваших мест, но далее тянуть и вовсе непотребно — заволокотет дороги непогода, к тому же в сентябре в Туле открывается зональный семинар, на коем быть мне означено. А что касаемо Сергия Никитина, то тут уж поелику будет возможно, навещу совместно с вашей братией и я. Но на то еще будет воля Божия. А пока хотя бы сподобиться на неблизкую поездку в землю вологодскую да повидать вас всех, моих давних и любимых сотоварищей. На этом и возгласим аминь и приложим свой перст яко имя свое.

*Ваш Евгений (Носов)*



[1971 год]

Дорогой Виктор!

Спасибо за добрые слова и поздравления, дружище. Теперь вот успею (ли?) поздравить тебя только с Днем Победы. А все пьянки. Как пошли косяком. Ну, думаю, встречу Май и завяжу. Ан 3-го завалился Игорь Лободин — студент, и пришлось продолжить до 6-го. А тут и День Победы — вот он. А только я не сдюжил, вчера жимануло сердце, пришлось отлеживаться. Проводил Игорька, чтоб не было больше соблазнов. А тут и съезд на носу. Надо бы поехать. Черт подери, а когда же работать? Вот и черемуха забушевала под окном, а я и не заметил, когда это случилось. Шумит, кипит на ветру вся в пчелином гуле, и ветер пьяный ходит по избе. Да. Вот так и жизнь проглядишь. Очень ты меня обеспокоил своими недугами, Вить. Ты уж не разваливайся совсем. Что-то предприми.

Купил-таки наконец твою повесть, как-то промелькнула в киосках, нашел один экземпляр в дальнем заводском киоске. Буду читать. А до того читал рукопись Артура Макарова (что печатался в «Н. м.»). Повесть написал он хорошую, очень точную и нелицеприятную. Как один московский корреспондент приехал в дальнюю калининскую деревеньку с заданием написать о браконьерах. И как-то поселился у одного такого браконьера-дедка и как этот дедок оказался хорошим умным русским мужиком, который никак не может понять это слово «браконьерство», потому что ловили мережками его прадеды и деды и рыбы никогда не убывало. А между тем ловят прокурор, рыбнадзор и прочее начальство, и снасти у них капроновые, и лодки-моторки шустрые. Накатал огромную рецензию, но думаю, это не поможет, и повесть не дадут, тем более что к Макарову уже относятся с предубеждением.

Прислал письмишко Белов, пишет, померла бабка Колоколена (есть у него такой рассказ), и еще помер отец Верушки-сорожки, тот самый бессменный бригадир, что в моем рассказе седлал коня и отвозил на нем свою жену на ферму. Задавило его, бедного, трактором.

Мы все тут читали твою статью в «Литературке», спасибо тебе за добрую поддержку братии-рассказчиков. Это очень верно, Витя, ты написал и, может быть, до кого-нибудь дойдет. Я получил из нашего Воронежского изд-ва, там тоже читали и сочувственно отнеслись к твоей мысли о том, что за рассказ надо платить не с листа. Как

видишь, уже аукнулось. Написался тут у меня рассказец «Домой, за матерью». «Лит. Россия» хочет напечатать его где-то в первых номерах мая. Посмотри.

Позволит ли тебе здоровьишко быть на съезде? Я, наверно, тоже подскочу. Прочитал верстку своей книжки в «России». Вроде так ничего, с картинками. Но дадут ли ее или заначат до будущего года?

А вообще хочется писать — «проголодался», не знаю, где только брать время. А теперь везде стенки тонкие и всяк тебя может достать и потянуть за воротник.

*Обнимаю тебя, родной мой, Женя (Носов)*

[Осень 1971 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Кругом Астафьев. Включишь телевизор — Астафьев. Включишь радио — Астафьев. Включать уют не пробовал, но все возможно в наш век технического прогресса.

Вообще-то, я стараюсь реже включать современные каналы массовой информации. Но тут приболел немного, сидел (и сижу) дома и нельзя же все время читать и писать...

Сначала я смотрел передачу (нашу, пермскую) о выставке художников Урала, Сибири и Дальнего Востока в Москве. Ее вела Агата Григорьевна Будрина. Были вмонтированы записи выступлений на заключительном обсуждении выставки. И один из искусствоведов, а затем и художник московский говорили о портрете писателя Виктора Астафьева как об одной из лучших в этом жанре работ за последние годы. И хотя портрета на выставке не было (он путешествует по заграницам), Агата Григорьевна вмонтировала его в передачу. Отличный портрет.

Выключил телевизор. Неожиданно позвонила Светлана — племянница:

— Смотрите ли? Там Астафьев...

Включил. Действительно, Виктор Петрович сидит откинувшись в креслах и очень гладко говорит.

А на следующий день по местному радио передача: «С чего начинается Родина». Разговор о книге Виктора Астафьева «Последний поклон». Немного непонятная передача. Был не разговор, а рассказ, о чем — не сказали...

Все это и побуждает меня написать вам.

Человек я старый и так как привык использовать в личных (хотя и не корыстных) целях всякое свое положение старого человека, которое позволяет поворчать даже на знаменитости.

Виктор Петрович! Вы рискуете перестать походить на свой портрет. Не для этого вас писал Женя Широков. Портрет вас связывает и обязывает. Извольте походить на себя!

Вам нельзя сниматься откинувшись: видно брюшко. Вам нельзя позволять снимать себя снизу, с подбородка: лицо получается припухлое. Вы куда лучше (но не идеально) выглядите с наклоненной вперед головой (когда читали). Ближе к портрету.

Но возникает и общее сомнение: полезно ли вам вологодское масло? Не полезнее ли вам быковская картошка? Не надо ли вам посоветоваться с врачами, установить для себя режим питания в жизни. Подходят годы, когда надо, безусловно надо заботиться о себе и держать себя в форме.

Вам нельзя ни умирать, ни зажиреть. От вас человечество еще должно получить многое. Не следует расходовать свое сердце на обслуживание разжиревшего организма: на этом сердце быстро перетруждается, а оно нужно для другого. Знаю все ваши возражения, знаю, что вы можете раздраженно сказать: что он мешает не в свое дело! И все же пишу.

Прошлое, сделанное — связывает и обязывает человека. Не только и не столько, конечно, портрет, на котором видны ваши бойцовские качества, в частности — умение взвесить свои силы. Обязывает «Пастух и пастушка».

Об этой повести мало пишут. Возможно, и замалчивают. Есть такой прием. Глубоко уверен, что она станет куда более известной в будущем и останется как художественное свидетельство нашего века в памяти народа. О «Последнем поклоне» справедливо говорили, что произошел переход от автобиографических рассказов к большому философского порядка обобщению (об этом последнем неглубоко говорили). Еще большая сила художественного обобщения и энергичной мысли, глубоко устремленной к человеку, в «Пастухе и пастушке». И какой-то круг людей, может быть, не столь широкий, но важный для вас, художника, ждет от вас многого, ждет большего. Почему-то я уверен, что вы не исчерпали своих возможностей

роста, хотя жду «Затеси», жду еще более широких обобщений.

Правда, я на месте вашего Союза писателей поступал бы с такими людьми, как вы, — людьми, одаренными от природы и показавшими, что они способны использовать свое дарование по-иному. Я бы прикреплял к каждому из вас двух-трех настоящих профессоров, обеспечивал бы вам на три-четыре года целковых по 500 из Литфонда (в месяц) и побуждал бы учиться. Античную культуру, историю своего народа, начиная с первобытных времен, историю философской, художественной и политической мысли — надо постигнуть все таким людям. Вот прикрепить бы вас к Арсению Владимировичу Гульге, о книгах которого я вам говорил, кажется, чтобы он давал вам задание, что прочесть, и встречался бы с вами раз в четыре-пять месяцев, чтобы просто поговорить.

Общение с людьми высокой духовной культуры вам, человеку вполне сложившемуся, никак не повредит, не порвет связей с землей, свежести ощущения природы не нарушит. Оно обогатит, разовьет художнический глаз. Способности этого глаза очень велики.

Для всего этого надо держать себя в форме. Быть к себе требовательным во всем. Ничего не сделаешь: талант — жестокий дар.

Сегодня ночью я решил высказать вам все это.

Вчера, 25 января, было семь лет со дня смерти Ирины. Обычно я заранее напоминаю Сергею и зову его. А тут забыл. Он пришел сам, вспомнил и мать, и приемного отца — молодец. И притащил бутылку хорошего коньяка. Пришла и Светлана. Вот мы и выпили, а ночью я допивал остатки, вспоминал и думал.

Ужасное дело смерть. Об этом ведь и «Пастух и пастушка». Мучительно и трудно билось, не поддаваясь ей, сердце Ирины. Потом врач говорила мне, что при ее пороке сердце — чудо, что она дожила и до 50 лет. А ведь сейчас, семь лет спустя, уже умеют с такими заболеваниями бороться, уже могли бы ее и отстоять.

Смерти не надо поддаваться. Никакой. Против нее борьба. И только в движении вперед победа.

Простите, Мария Семеновна и Виктор Петрович, если я что не так написал. Отнесите это за счет старости и коньяка (хотя я давно уже протрезвел вполне и хорошо отоспался).

Не забывайте Перми и Быковки.

Всего вам доброго. *Б. Назаровский*

[1971 год]

Дорогая Каролина Алексеевна!

Я был в отъезде и оттого не ответил сразу на Ваше письмо. Очень рад, что моя новая повесть понравилась Вам. Много взяла она у меня сил и боли, прежде чем появилась на свет.

Но в журнале печатался сокращенный вариант. Может быть, Вы подождете с переводом до середины будущего года? Или все-таки прислать журнал?

«Затеси» тоже немножко подождите. В начале будущего года в изд-ве «Советский писатель» выйдет моя книга «Затесей», и я пришлю ее Вам, где Вы сможете найти и те вещи, которые печатались до и после семидесятого года. Очень рад, что М. Дудин так хорошо говорил Вам о моей повести, он — фронтовик и его мнение мне особенно ценно. Друг Дудина, поэт Сергей Орлов, также был в Чехословакии осенью и говорил о моей повести. И мне тоже захотелось повидаться с Вами и поговорить. Но как это сделать, я не знаю. У меня ведь вышли уже две книги в Вашей стране, и любопытно было бы узнать — читаются ли они? Заметил ли их Ваш читатель?

Что касается слова «затесь», оно есть в словаре Даля и в разных местах нашей страны пишется и произносится по-разному: затес, затеска, а на моей родине, в Сибири, — с мягким знаком — затесь. Происходит оно от слова тесать — рубить топором — затесывать на дереве отметку и идти дальше, а потом, на расстоянии, снова делается затеска — таким образом остаются меты на стволах, чтоб человек не заблудился, а когда он часто ходит по своим затесям — оставляет тропинку, затем может получиться и дорога, так что все таежные дороги начались от затесей. Я и поговорку слышал в Сибири: «Поход начинается с песни, дорога — с затесей».

Вот пока и все. Поздравляю Вас с праздником Октября. Желаю всего доброго и буду ждать ответ. Мое отчество — Петрович. Да, ради Бога, не беспокойтесь насчет какого-то сувенира — ничего не надо.

*Ваш В. Астафьев*

[1971 год]

Дорогие мои землячки, Золотухина и Долгополова!

(Очень жаль, что не знаю ваших имен-отчеств и вынужден так вот, официально, начинать письмо).

Спасибо вам, дорогие люди, за теплые слова, поздравления, за значок и все ваши добрые послания ко мне. Я всегда бываю рад всякому привету и вниманию с Родины и дорога мне память и доброжелательность моих односельчан. Так уж водится среди русских людей: на большой своей Родине они выделяют и любят больше всего свою маленькую родину и, как тому кулику из русской поговорки, — «свое болото всех дороже!».

И вот я если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне, а сон и воспоминания всегда «редактируют» действительность, отбирают все самое лучшее и красивое, и потому сны о родной земле — самые прекрасные и сладкие сны, а воспоминания грустные и в то же время солнечные. Вот из этих воспоминаний, из этой тоски по родине, о детстве, а наше, в частности, мое детство было богато впечатлениями, событиями, потому и вспоминать детство радостно, и родилась книга о детстве, писать которую было тоже сладостно. Оттого так и работалось мне ненатурно, весело и в удовольствие над «Последним поклоном». Сообщаю кстати, что в скором времени эта повесть выйдет в «Роман-газете» № 2.

Ни одна книга не принесла мне столько внутреннего удовлетворения этим воистину каторжным трудом. Я в жизни переработал множество всяких работ, но даже кувада, которой я в свое время орудовал в литейном цехе, не брала столько здоровья и не выматывала так, как «легонькое» писательское перо. Но конечно же ни одна работа и не приносила мне столько счастья и восторга, как это литературное дело. И счастье не тогда, когда выходит книга (хотя и это — всякий раз праздник), но со временем привыкаешь к этому празднику, начинаешь относиться к своей работе так же, как и ко всякой другой. Плотник, построивший дом, или кузнец, хорошо подковавший коня, думаю, испытывают то же самое, что и я, получив книгу из издательства), но счастье бывает самое большое тогда, когда вдруг из ничего, из обыкновенного пузырька с чернилами извлечешь что-то похожее на жизнь, воссоздашь словами дорогу себе, а иногда и другим людям картинку

или характер, и замрешь перед нею, как художник перед полотном, и, пораженный этим волшебством — ведь не из чего получилось! — сам себе удивись: «Господи! Да неужели это я сделал?!»

Вот это и есть счастье творчества, редкое счастье, но ради него и работаешь, напрягаешь память, перенапрягаешь сердце, и все же так оно получается, и никому и никак не сумеешь объяснить и передать. Научить писать нельзя — подучить можно.

Сейчас я начинаю писать роман об инвалиде войны и хватит мне его надолго. Говорить о романе еще очень рано. Все еще в заметках.

Не бросаю работать и над маленькими рассказами, которые именую сибирским словом — «Затеси». Они публиковались в №№ 1-м и 2-м журнала «Наш современник» за прошлый год. Иногда бывают в журнале «Сельская молодежь». Книга «Затесей» включена в план издания 1972 г.

Три последних года я работал над повестью о любви и войне — «Пастух и пастушка». Работа закончена. Повесть включена в мой однотомник, который должен выйти в этом году в издательстве «Молодая гвардия». Кроме этой повести туда войдут: «Стародуб», «Кража», «Последний поклон».

Есть и другие дела и задумки, но о них говорить преждевременно. Времени для работы остается очень мало. С годами обрастаешь знакомствами и всевозможными обязательствами, которые сильно отвлекают. Порою месяцами не удается по-настоящему сесть за стол. Все мечтаю забраться к тетушке в Овсянку, засесть в закутке месяца на два и поработать всласть в стороне от почты, звонков и всяческих мелких забот-хлопот.

Что же касается Вашего вопроса насчет «деревенской темы», то на вопрос этот отвечать не так просто. Думаю, масса книг о дореволюционной деревне и тридцатых годов была вызвана прежде всего тем, что авторы их были свежеевыходцами из деревни и корни их еще не отсохли, и, главное, не отболели, и не оторвались от родной земли. Да и события, происходившие тогда в деревне, были остры, значительны и волнующи по содержанию. Шла ломка старой деревни, тысячелетнего крестьянского уклада — это не могло не вызвать пристального внимания со стороны литераторов деревни, не могло все это не пестрясти писателя своей оголенной жгучей драмой.

Современная деревня, особенно послевоенная, сделалась монотонной в жизни своей, невеселой, неяркой (я говорю о старой, обезлюдившей деревне), а новая деревня, напоминающая не то рабочий поселок, не то городок, очень смахивающий на приснопамятные «соцгородки», не может тронуть сердце и глаз художника своей одноличностью как в домах, так и в отношении к труду.

Эта деревня должна родить своих писателей, которые увидят в ней свою поэзию, свой смысл, свою красоту и философию. Мне же и моим друзьям — «деревенщикам» — ближе, родней и понятней та, разнопестрая, тихая и очень разная деревня, которую мы знали и запомнили с детства.

Вопрос этот и разговор очень больной и в письме не вдруг все скажешь. Этот вопрос задается писателям с трибун съездов, и в письмах, и в критических статьях. Нужно время. Нужно расстояние, чтобы приглядеться к новым явлениям в деревне и осмыслить их. Те, кто пытается наскочить на эту тему не подумав — рожают «слепых котят», которые в отличие от котят живых так и не прозревают, а на корню засыхают и опрокидываются кверху лапками.

Могу расширить список писателей и к тем, которых вы перечислили, добавить: Федора Абрамова — «Две зимы и три лета»; роман Василия Белова «Привычное дело»; повесть и рассказы Евгения Носова, Троепольского, В. Распутина (в 7—8 номерах «Нашего современника» напечатана замечательная повесть этого автора «Последний срок»), можно порекомендовать читателям книги Юрия Бондарева, Константина Воробьева, Александра Борщаговского, Бориса Можая, Виктора Лихоносова, Владимира Измайлова. Эти писатели все пишущие о деревне, в том числе и современной, и пишущие, на мой взгляд, довольно прилично, есть среди них и пишущие о сибирской деревне.

Вот пока и все, что я мог вам написать. Ребята из Овсянской школы прислали мне гербарий цветов, и я часто его рассматриваю и гостям показываю — хвастаюсь, какие дивные цветы растут у нас! Может быть, в начале июня, в пору цветения, мне удастся приехать в Сибирь и побывать в Овсянке вместе с моим другом, хорошим писателем — Евгением Носовым. Но сейчас зима, за окном ярко светит морозное солнце, и лето кажется таким дале-



ким и мечта о нем такой несбыточной, что и загадывать что-либо страшно...

Пожелаю всем вам всего самого лучшего! Еще раз спасибо за внимание и добрые слова — в письмах. Низко кланяюсь родному селу и сердечно приветствую читателей вашей библиотеки.

*Ваш Виктор Астафьев*

17.2.72 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Простите, что отнимаю у Вас время, я хочу поблагодарить Вас за удивительную Вашу «Пастушку». Журнал с повестью уже пошел по третьему кругу моих знакомых, и я им уже немножко завидую, потому что им еще предстоит пережить любовь и горе, о чем рассказано в повести, этот крик сердца...

Первый раз я писала Вам (письмо так и не отправила — постеснялась) в таком же порыве, в каком давно, в детстве, Вы были благодарны Васе-поляку за музыку.

Сейчас я упиваюсь Вашим «Последним поклоном». Радуюсь, что мне удалось раздобыть эту Вашу книгу. Читаю прямо по каплям — от рассказа к рассказу. Ваше детство представлено так блестяще и трогательно, ответило мне на многие вопросы и — главный: почему именно Вы смогли написать и «Пастушку», и про Вашу бабушку, образ которой, то есть Вашу бабушку, ее речь, ее «жизнь», — все это свойственно лишь Вашему таланту.

Вы затронули (или описали) события в повести в 1971 году, когда в романах о войне писали больше о пулях, пушках, самолетах и подвигах, больше, чем о людях. Ваша повесть потрясла меня, и я порадовалась Вашей удаче, той свежести, той индивидуальности, которой Вы добились в ней. А ведь запросто можно было «соскользнуть» на пошлость.

Свое мнение о «Пастушке» и рецензии Камянова я отправила в «Новый мир» — там прочтут и поймут: как вредно пускать в свет такие «критики». А сегодня в «Литературке» прочитала, как умница Чапчахов «объяснил» свое понимание «Пастушки», и я про себя горжусь, что некоторые мысли и выражения у меня с ним схожи.

Дорогой Виктор Петрович! Вы — второй воин, встре-

ченный мной, из тех, кто был в нашем городе в эту трагическую осень 1943 года. С тех пор, как мне стали известны подробности той ночи, меня все мучает мысль: напишет ли кто-то правду о том ужасе? Ведь была же в этом чья-то непоправимая вина?! Я, бывает, подолгу стою у наших мемориальных плит и Вечного огня и страдаю сердцем.

Как-то в нашем цветущем, почти оправившемся после войны городе, в руках играющих детей разорвалась граната... А у Вас, если будет время и позволит здоровье, приезжайте в наш Житомир. В нем есть и много настоящих людей, есть много почитателей Вашего творчества, благодарных Вам за то, что Вы защищали стены нашего города от врага.

Я очень люблю Вашу «Пастушку» и почти уверена: она «лакомый кусочек» для кинорежиссеров, образы в повести и композиция очень «видовые», очень сценарные для кино... И, следуя Вашей идее и ее выражению, ничего не изменяя, — успех фильму был бы обеспечен. И, умоляю Вас, не отдавайте в руки эту Вашу «жемчужину» даже Ю. Ильенко, хорошо бы Ю. Солнцевой. И героиню Вашу должна играть только Ада Роговцева (хотя, к сожалению, время идет и сама Ада не молодеет), — она не допустила бы и тени приземления. А вот Бориса Костяева смог бы сыграть разве что О. Даль...

Еще раз спасибо Вам за «Пастушку» и другие произведения, не менее прекрасные, и извините за «диктаторство»...

*С низайшим к Вам поклоном и уважением —  
Дина Герцвольд,  
г. Житомир*

[1972 год]

Дорогой Виктор!

Вот сейчас смотрели на тебя по телевизору. И волновались, и переживали не меньше тебя самого, особенно когда ты впервые вышел на сцену и было заметно, может быть, одному только мне, как ты внутренне напряжен, я бы даже сказал, насторожен был ты от встречи с незнакомой толпой, сидевшей там, внизу, у твоих ног. Ты все-таки был прав, когда говорил потом о неизбежном чув-

стве нашей провинциальной неполноценности. Но это не столь комплекс, сколь непривычка говорить с народом несвязно, как обучены говорить с ним московские литературные снобы. И даже потом, когда ты обвыкся и стал сам собой, когда все пошло хорошо, когда свободно, непринужденно пошла беседа, когда установился тесный контакт с аудиторией — то и тогда нигде, ни разу не прорвалась, не проскользнула эта развязность, самолюбование, а по-прежнему оставалось все то же уважительное и сдержанно-почтительное отношение к слушателям. И это народ почувствовал и оценил в тебе, и оттого в зале стало как-то свободно, раскованно и непринужденно. Они почувствовали в тебе равного, как бы давно знакомого и близкого человека.

Я видел эти лица крупным планом, видел написанное на них сочувствие и сопереживание, видел, как глубоко осмысливали сказанное тобой какие-то бородатые мужики, как записывали что-то в блокнотах полковники. Но ты ничего не говорил лишнего, хотя я видел, как было трудно тебе сдерживать свою волю, чтобы не сказать того, что ты хотел бы сказать в таких случаях.

Словом, все получилось славно, хотя, может быть, ты и недоволен собой в каких-то моментах, что, в общем-то, естественно.

Большое спасибо тебе, что ты нашел место помянуть и меня, моих «Шлемоносцев». Мне было, конечно, очень приятно слышать это. Тем более, что с этой вещью происходят странные вещи. Прошло уже четыре года, как она написана, а повесть так-таки еще и не издана в Москве, за исключением «Роман-газеты», и по существу ее мало знает читатель.

И это тем паче странно, что она в свое время собрала большую прессу. Но ни одно издательство не предложило мне издать эту вещь, а носить, навязывать ее я не могу, не умею, да и унижительно ломать шапку. И получилось забавно: повесть давно уже переведена на многие языки, ставится фильм, взялись инсценировать сразу четыре театра: в Москве, во Владимире, Куйбышеве и Алма-Ате, а книги самой все нет и нет. Правда, ее издали в Воронеже — худо, пакостно, вот еще запросил на издание Челябинск. Но все это провинция, локальное, очень ограниченное издание и не для всех.

Будешь ли в ноябре на редколлегии журнала? Приез-

жай, охота повидаться, соскучился я по тебе в своей дыре. И эта встреча с тобой по телевизору была для меня как праздник.

Архангельскую книжку получил. Спасибо!

*Обнимаю — Женя (Носов)*

[1972 год]

Дорогой Александр Сергеевич! (Филиппович)

Я слышал, что Вы в Москве. Значит, что-то сдвинулось в кино! Я тоже месяц назад, по просьбе своего несчастного режиссера, побывал у высокого киношного начальства и порадовался тому, что я работаю в литературе и могу от кино не зависеть. У нас все проще, доступней и, наверное, человечней. Когда со стороны посмотришь, конечно.

А на Новый год меня свалило с тяжким приступом — гриппом, а потом начались осложнения, которые и до се не кончились. Болезнь, как всегда, способствовала тому, что когда я смог глазом глядеть и башкой немного шевелить, то прочитал все рукописи, скопившиеся у меня. Первым читал Ваш «Родник» и потом долго не мог отделаться от гнетущего чувства одиночества, тоски и какой-то волчьей зимней озяблости. Часть такого настроения и таких ощущений я списываю на болезнь — при гриппе все они появляются разом и долго не отстают. Остальную же часть все-таки списываю на Вашу рукопись и теперь понял — прежде всего поэтому, отчасти исключительно поэтому Вас и не печатают и печатать скоро не будут.

Конечно, Вы вправе мне заметить — настроение, «дух», саму душу художника не придумывают — она одинока, и в рукописи одинока. Правильно. Вы же еще и усугубляете эту заунывную безысходность, часто неосознанно. В Ваших старомодно и неудачно названных рассказах столько смерти, тлена, старческой покинутости!..

Я понимаю, рассказы писались в разное время и в это разное время Вы целиком выполнили, даже перевыполнили программу российского новеллиста, который вовсе уж и не русский новеллист, если: а) не напишет о собаке, б) о лошади, в) об одичавших и одиноких стариках, г) он не современный русский новеллист, если не напишет об истреблении (бесцельном конечно) огромного и доброго

зверя-лося, и еще о корове. Я тоже обо всем этом писал, и все мои друзья написали. Кажется, у меня еще корова в запасе? А за лошадь я уж раза четыре принимался!.. Но спасло меня то, что об этом обо всем я писал на протяжении многих лет и между этим были другие рассказы, как бы «разбавлявшие» роковую неизбежность тем русского новеллиста. Потом я научился кое в чем себе «отказывать», то есть не касаться тем и предметов, которые как бы заранее «обрекают» на сочувствие и «успех» данное произведение (именно поэтому шибко «очеловеченный» белый Бим с черным ухом пользуется таким ошеломляющим успехом у нашего слабо подготовленного, но «жалостливого» к животным читателя. Именно поэтому я бы и не стал писать, а если бы написалось, никому бы не показывал рассказа о смерти одинокого пса и о псовой одинокости его хозяев. Человек, так хорошо научившийся владеть пером, как Вы, должен взять себя за руку, как хороший ягожник не коснется пусть спелых, пусть ярких ягод, оставляя их легкодоступными ребятишкам, коим пока еще тяжело и жутко ходить в лес одним.

Вы меня поняли?

Ваши рассказы о людях (название «Смерть музыканта» — действительно худое и даже вычурное в данном случае) и опять же плохо названный рассказ «История одной любви» — лучшие и наиболее цельные в сборнике. К ним присоединяется свежо (видимо, недавно написанное), этакое славное вступление к сборнику. Остальное надо как-то «разбавлять», надо как-то «освежать», а то ведь дышать нечем — такая духотища и тоска. Причем рассказ об охотничьей собаке написан в духе «Бима» — это когда собака очеловечивается до того, что и мыслит за человека и ее глазами обсуждаются и «решаются» поступки человека, но так как она все же собака и совсем «по-человечьи» не может — начинается то хитренькое упрощение под хитренького Троепольского, когда поступки человека излагаются как бы со стороны и поверхностно — вот и гадай, отчего хозяин сделался таким. В мать сволочную удался, в армии ли осособчился? От роковой ли любви озверел до того, что собаку свою стрелять взялся!..

Все слишком сверху нахватано, слишком везде в рассказах о животных этот самый натурализм и жалость эксплуатируются. А когда начинается о людях, появляется другая беда: разобщенность, и житейская, и душевная. Есть она? Есть. Но так ли уж остро воспринимается и

претерпевается, как нами — людьми пишущими и, жеманно выражаясь, интеллигентно чувствующими? Нет и нет! Я много лет близко знаю свою деревушку Быковку на Урале — она постепенно вымирает, народу в ней остается все меньше и меньше, но все-таки мои быковцы (а у меня уже есть основания называть их «своими»), хоть и отдалены, хоть и шибко оторваны от остального мира — тоже тоскуют, и работой заняты, и загулять могут. А летом: грибы-ягоды, сено, дрова да гости городские, — им не до тоски, однако, а то, что у них в душе, — они выскажут хотя бы моей жене, и облегчатся, и живут, просто, ненадоедно, попивая, сплетничая, помогая друг дружке. И мир их этот, и жизнь ихняя не нуждаются в нашем «сочувствии». И не нужно навязывать им свое настроение, свой псевдоопыт и взгляд на жизнь хотя бы потому, что их «темной» жизни уже много тысяч лет, а нашей, «просвещенной» — и сотни не наберется. Однако ж нам и сотни хватило, чтоб душевно разрушиться. Не верите мне, прочтите свой сборник — его писал если еще и не разрушенный душевно, то смертельно усталый человек. Вот какие невеселые думы были у меня после прочтения Вашего сборника «Житие».

*Виктор Астафьев*

[1972 год]

Дорогая Маня! (Письмо жене)

Занепогодило, и я сижу дома в своих модных туфлях, а хотелось еще походить по Большой Слизневке и вообще по лесу. Он сейчас здесь дивен, а горы красивы. Я часами сижу у задней калитки в огороде и смотрю на слияние двух рек, смотрю, и слезы, будто плак, в горле... Вверху как было, так и есть: горы, вершины, проплешины леса, а внизу рыбак на рыбаке, моторка на моторке, все куда-то мчится сломя голову, все торопится к концу своему...

Вчера я выступал в Овсянке перед учителями, а с утра дождало, и я едва выдюжил, едва выжал из себя улыбку на совместном фото, ибо уже знал, что умер Миша Шахматов, и меня ждут в городе, на похороны. Даже тут нужен «почетный гость», а умер он от пьянства и чахотки. На похороны я не поехал, и к родичам, и к директору в гости не ходил, пуцай сердятся. Вернулся, принял димед-

рол и проспал часа четыре. А тут гости — Слава Сукачев с супругой и братом. Слава Богу, всего лишь на ночь. Маленько поговорили, погоревали — его тоже на курсы не взяли. Наверное, бравый, чернобровый писатель-оптимист Н. Горбачев сводит счеты из-за меня с ребятами. Подлости нет границ.

Я уже собираюсь домой. Писем нет, но была телеграмма о том, что ты его написала. Соскучился уже по дому, да и незаконченная работа мучает. Никуда не надо ездить, не завершив книгу, не свалив ее с плеч. Все время какой-то долг, все время какой-то беспокой на душе. Хорошо, что в первые дни я «не объявлялся». А сейчас уж бежать надо: были статьи в газете, по радио чего-то трепанули, и кончился покой, даже относительный. Сегодня льет, и потому, слава Богу, никого. Позавчера был в семье Никоновых, у мамы и сестры. Тяжелое свидание! Неприятное! Погиб сын. Внук сидит за коллективное изнасилование, а бабушка и мама считают, что весь свет виноват, кроме него и их. Еще один сын-пердак, 117 кг весу, прыгает в оперетке, на секретном предприятии, ибо там платят 280 рэ.

Ушел с радостью и облегчением из этого дома.

Съемки фильма идут сейчас на запани, когда было сухо, я туда ходил пешком — отрадные дни, прелестные тропы и отдых для души. Съемки идут к концу, и чем дальше, тем тяжелее. Половина группы уже болеет простудой, поносами — нельзя быть в экспедиции 3—4 месяца в отрыве от дома. Думаю, что многое будет скомкано, отснято поспешно в конце, но есть еще не отснятое и в середине фильма. Я дождусь Любу Полехину, напишу для нее какой-то текст и еще маленькую сценку для Сквородника и Ильки и полечу домой, скорей всего 5—6 сентября. Может, полетим вместе с Булатом. Володя Гусев уже отснялся и улетел. Хороший актер! Умеет работать с полной самоотдачей! Булат едва жив: руки дрожат, лицо дергается, глаза бегают, худой — страшно смотреть. А новый директор — жидило, как паук, сидит в гостинице и караулит, кто чего натворит, и тут же «портянку» в Москву. Тут считают, и не без оснований, что его прислали, чтоб не пустить Булата на «Мосфильм» и погубить картину.

Кошмар какой-то! Люди страдают. Миша (Илька) тоже поболел и устал он среди взрослых.

Ну вот пока и все. Послезавтра у меня выступление в «Красноярском рабочем», надеюсь, последнее. Побываю еще в Овсянке (тетки сердятся!) и буду прощаться с ки-

ногруппой, работающей самоотверженно, и много хороших ребят, иначе бы все уже накрылось. Дюжат особенно те, кто составляет бригаду. Кадочников — старик, с пневмонией, а так работает, живет на горчичниках. Ох, этот хлеб киношный! Кажется, горше и нет.

Ну, пока. Витя с фотки на меня смотрит. Как он?

*Целую всех — я.*

25.12.72 г.

Дорогой Виктор Петрович!  
Многоуважаемая Мария Семеновна!

Только что с Музой Николаевной прочитали вслух «Ода русскому огороду». Опынял я, право, от восторга, от неожиданности, русскости, сочности, от чудесного этого гимна России, русскому народу. До чего же здорово и хорошо! Как будто побывал у родной матери в деревне этим летом. Как же мы богаты, россияне, и радостями, и печалями, умом и терпением. До чего же у нас много доброго, талантливого люда, и зачем же иногда мы поедом едим друг друга?

Спасибо, Виктор Петрович, за то, что душа умылась тихой радостью вместе с хорошей грустью. Хочется обнять на расстоянии родную Вологду, родные сельские пейзажи, наших чудесных вологжан.

Да оградит Вас Господь от всякого зла и бед, дорогой Виктор Петрович!

Здоровья Вам, радости, новых книг и счастья в новом 1973 году!

С Новым годом, Астафьевы!

С глубоким уважением, почитанием и благоговением  
Ваш постоянный читатель-газетчик

*А. Сушинов*

Январь 1973 г.

Дорогой Виктор Петрович!

С удивлением и несказанным наслаждением прочел Вашу «Оду русскому огороду»!

Она поразила меня тем, что я вдруг воочию увидел и переживал, что есть такое художественное искусство



во, как оно редко и часто поверхностно выражается средствами литературы, каким потрясающим оно может быть, когда находится на стыке с живописью.

Мы, писатели, редко пишем друг другу. Но я кланяюсь Вам низко, покоренный Вашим талантом.

*Искренне Ваш — Олег Шестинский*

[1972 год]

Дорогие Витя и Маша!

Вы знаете, с какой нежностью я отношусь к вам, и потому не буду перечислять все то хорошее, чего вам желаю, да и вряд ли смог бы это перечислить. Но одно все же назову: здоровье!!! И до сих пор грустно мне, что общались накоротке, хотя, в общем-то, я правильно, наверное, сделал, что не поехал в Душанбе, куда вы вместо праздника угодили на панихиду. Уж чего не стал выносить, так это панихид... Вот и Серега Орлов «сыграл в ящик», побереги нас Бог от сего. Все думаю: если бы он, дурачок, сидел бы в Ленинграде да не рыпался по этим служебным ступеням, глядишь, потихоньку и протянул бы до настоящей бороды. Ох, уж грехи наши... Впрочем, где та солома, которую надо подостлать вовремя.

Будешь ли на редколлегии? Я пока маюсь брюхом и не поехал на большой пленум, на российскую декаду, в Чехословакию. Если подлатаюсь, то на редколлегию съезжу — с надеждой повидать тебя. Все время и живем в таких вот надеждах...

*Обнимаю — ваш Женя (Носов)*

[1972 год]

...Вить! Вот ведь и еще один год отлетел. И сколько их еще нам отпущено? Наверно, не так и много, и потому хочется пожелать тебе на будущее душевного мира и здоровья. А хомут, как говорят, мы себе всегда найдем — тащить есть чего.

Не хочется тебе жалобиться, но что поделаешь, должен признаться, что я окончательно укатался, «подорвался» на своем последнем рассказе и вот слег — отказывает сердце, истощил свою нервную систему. Она и так-то у

меня была не ахти какая, все время «прошибала изоляцию». А теперь и вовсе «провода оголились» и получилось «короткое замыкание». Жаль только, что не успел закончить рассказ.

Большой-большой привет твоей Марье за ее теплоту и женское понимание нас, дураков. Книжечка ее получилась хорошая, но о ней как-нибудь потом. Пока не прочитал, а только заглянул, пробежал отдельные кусочки.

Завтра дадут тебя по радио, буду слушать. Прости, что не собрался написать побольше.

*Обнимаю. Женя (Носов)*

27.1.73 г.

Уважаемый товарищ Горбачев!

Я внимательно ознакомился с перечнем названных книг, уже изданных в библиотеке «Родная земля», с проспектом на 1974 год. Мне кажется, библиотека довольно полно охватила имена писателей, наиболее причастных к «теме земли», хотя некоторые произведения я и не считаю лучшими в нашей литературе и достойными быть представленными в общесоюзной библиотеке, но это мое мнение, оно не бесспорно, и я на нем не настаиваю. Однако же недоумение вызвало у меня отсутствие как среди изданных, так и намеченных к изданию произведений таких, как «Привычное дело» Василия Белова и «На Иртыше» Сергея Залыгина, а также, к примеру, и произведений Анатолия Знаменского из Краснодара и Валентина Распутина из Иркутска. Думаю, отсутствие уже общепризнанных и получивших огромную прессу и известных читателю писательских имен — Белова и Залыгина, их произведений, вышеназванных, не могут заменить такие, как «Пласты» Грачева, либо «Белый свет» Бабаевского и др. Замена настоящей литературы литературой второстепенной не делает чести ни библиотеке «Родная земля», ни планам общественного совета, ни комитету по печати, да и никому вообще, просто массовому читателю лишний раз подсовывается книга серая вместо настоящей, делающей большое дело литературы, всеми принятой с любовью и почему-то игнорируемой нашим комитетом. Я надеюсь, что это печальное недоразумение будет устранено, и имена умнейших и одареннейших писателей нашего

времени: Сергея Залыгина, Василия Белова, Валентина Распутина еще украсят библиотеку «Родная земля», в противном случае мое присутствие в общественном совете теряет смысл — я никогда не был склонен к тому, чтобы вместо хорошего произведения поддерживать посредственное и плохое, какие бы соображения «высшего» (читайте — перестраховочного) порядка тому ни были причиной. Они не могут и не должны влиять на взгляды литератора так же, как и на само литературное движение. От этого нет никакой пользы, а вреда много.

*Желаю всего доброго, Виктор Астафьев*

[1973 год]

Милый, родной Витя!

Сейчас, когда я пишу тебе, ты, наверное, летишь в самолете. Летишь домой усталый, измученный говорильней, гостиничными бутербродами, неприютностью взъерошенной, расхристанной Москвы, где все переругались, заплевали друг друга... Всего один раз видел тебя на экране во время съезда, ты сидел усталый и неприкаянный, и мне подумалось, вся эта суета не для тебя.

На днях был у меня Паша Кривцов, переночевал и поехал к своей матушке в Белгород. В «Огоньке», видно, им тяготятся, его русской направленностью, да и держат его на вторых ролях. Но даже то, что дают опубликовать, всегда философски насыщено, посмотри хотя бы последние его снимки в 49-м номере о ярославской переправе на Волге.

У нас прошел очередной семинар, приезжала и Т. Давыденко, по-прежнему лучащаяся доброжелательностью к пишущей братии. Это тот тип российских редакторш, который сделал для литературы гораздо больше, чем весь комитет по печати!

Глеб Паншин, бывший директор спортивной школы, мастер спорта, виртуоз резьбы по дереву и много чего умелец, тебя по-прежнему любит. Сейчас у него дырка в черепе величиной с блюдце после операции. Ходит по-стариковски с палочкой, при встрече прослезился и все твердил: «Мне бы еще Витю Астафьева повидать...» Ах ты, жизнь наша...

Обнимаю тебя, милый, дай Бог тебе еще маленько здоровья и крепости, и Марье твоей тож!  
С Новым годом, дорогие мои!

*Женя (Носов)*

23.4.73 г.

Дорогой Артур! (Войтецкий)

Вчерашний разговор не ободрил меня, наоборот — расстроил, и я почти до утра не спал. А тут работа над новой вещью идет к концу, силы на исходе.

Знаешь, что мне не понравилось вчера, да и раньше не нравилось и настораживало? Вот это самое: «Витя, никому ничего не говори!..» Какие-то недомолвки, прятанье, хитрости и намеки — зачем мне все это? Я ведь еще во время разговора в комитете понял: отчего завалился первый раз сценарий — ты намеревался, да уже и начинал ставить «Вишневый сад», а мой сценарий держал на всякий случай, потому и не знали о нем ничего и никто в комитете...

Теперь опять какие-то секреты, увертки постоянные, снова разговоры о деньгах! Вероятно, ты так и не поверил мне, не захотел поверить из объевренного Киева, что я не хочу получать никаких денег, боюсь быть ими связанным.

В доказательство своей искренности могу тебе сообщить: я так и не востребовал недополученную мной тысячу рублей со студии Довженко за «Ясным ли днем», и вполне может быть, что ее кто-то присвоил.

Мне на мое житее хватает заработка прозой, и поэтому я и сейчас не хочу ничего получать со студии, а если переведут деньги, я их верну в бухгалтерию либо положу на отдельный счет и буду держать на нем с надеждой, что смогу всегда вернуть их. Кроме того, 28—29-го я на месяц уезжаю на Урал и перевод могут вернуть на студию по причине неполучения (на почте).

И все это потому, что нет у меня ни от тебя, ни от студии никаких гарантий на то, что вы готовы и можете сделать фильм на уровне если не повести, то хотя бы того сценария, который я, а не ты предлагал для съемок. Ты же лишь обстрогал мой сценарий, и он сделался вроде шуки — везде проходимым. Но побудь одну минуту на

моем месте и посмотри моим глазом на все: при печатании в журнале повесть претерпела выкидыши и кастрации. Предупрежденный и настроенный тобою, я многое обошел и многое обстругал при переработке повести в сценарий сам, затем прошелся по нему ты, уже с режиссерским, а точнее, цензурным топориком. И теперь вот еще предлагается мне: «подумать над этим», «заменить то-то», «выкинуть это»...

Плюс к этому твоя твердая настойчивость поставить на главную роль 35-летнюю Аду Роговцову; твои осторожные намеки: «Вполне может быть, что я и вытяну», затем упорное стремление «украинизировать» героев, но так, чтобы это было «сладко», отчего исчезли из сценария две хохлушки, имеющиеся в повести во время прощания, да и еще кое-что...

Я живу не на Украине, и фильм должен делаться не только для украинцев. Мне на всю эту «национальную» гриппозную погоду начхать, и потому я не пойду ни на какие заигрывания по этому вопросу ни с тобой ни со студией.

Но... но где гарантия, что ты, начавши снимать фильм и ставши его хозяином, не распорядишься во всем по-своему и не сделаешь такую штуку, что мне стыдно будет на люди показаться?

Я хотел бы эту гарантию иметь хотя бы в письме от тебя и не хотел бы, чтоб темнили и хитрили вокруг первого моего фильма.

«Пастушка» — вещь долговечная, это-то я знаю твердо. И может ждать долго. Я — тоже. Подумай и ты: готов ли ты для работы над нею. Недавно один режиссер, возжаждавший во что бы то ни стало снять что-нибудь из «Последнего поклона», отказался от этой затеи, признался, что «не созрел» и пошел работать оператором к хорошему режиссеру, мол, «а потом уж... может быть...» — написал он о своей мечте. Вот такая честность и прямота мне по душе.

И еще. Я посмотрел «Ромео и Джульетту» не так давно. Шедевр. Шедевры и в мире снимаются не каждый день, но каждый должен к ним стремиться, а уж если и стремления связаны условностями работы, характером, жизнью и т. д., то уж хотя бы понять после этого фильма, что молодых должны играть молодые, тогда половина успеха гарантирована!

Вот такие мои мысли и соображения. Со сценарием я

ничего делать не буду и прошу не посылать мне никаких денег, пока не получу от тебя, желательно и от студии, на мое письмо прямого и внятного ответа.

Будь здоров!

*Виктор*

[Первая половина 1973 года]

Дорогой Слава! (Марченко)

Ну вот, посылаю свою новую вещь, очень мне дорогую, по-своему. Честно говоря, ей бы еще надо месяц-другой полежать, но раз надо... Поэтому я выговариваю заранее условие: прислать мне гранки и дать возможность в них черкаться, сколь я захочу, ибо еще есть ритмические сбои, и незаметные повторы, и словесный сор, который вылавливается только свежим, т. е. отвыкшим от текста глазом. Я знаю места — их два, где повиснет драконова карающая рука редактора и цензора над грешной головой непокорного автора, но при всем при том заранее настаиваю все мои «неправильности» править только с моего согласия, а такие слова, как «мулька», «акусит» и прочее — не подвергать скрупулезной корректорской правке. Мне известно, что у нас в журнале люди сплошь грамотные, и меня этим не удивишь, правьте других, кто по безграмотности в самом деле искажает слова.

Еще вот что — Вера Звездаева из Смоленска прислала на твое имя рукопись о Николае Рыленкове и письмом ко мне просила ее прочесть. Сейчас я не в состоянии не только читать, но и еще кой-что делать, поэтому уезжаю на юг — подлечиться и сил набраться. Пришли мне рукопись Звездаевой к концу октября, ладно?

И еще: в отдел критики поступила статья моего друга и замечательного человека Николая Николаевича Яновского — о творчестве В. Сапожникова из Новосибирска, пожалуйста, если можно, передай мою просьбу Метченко — поскорее дать ей ход.

Вот и все пока... Очень худо я себя чувствую, работу над «Одой» заканчивал совсем больной и посему боюсь, наоставляя много в ней мусору. Всем приветы. Сожалею, что не смогу быть на редколлегии.

*С поклоном — Виктор Астафьев*

[Декабрь 1973 года]

Дорогой Сергей Павлович!

Сердечно поздравляю Вас с шестидесятилетием, несколько удивленный, что Вам уже столько лет! Ваша молодая внешность и звонкий голосок немалая тому вина, да еще и бег времени, сумасшедший, часто бестолковый, когда и свои-то года не видишь — как и куда улетают!

Прежде всего желаю я Вам крепкого здоровья и теперь уж навечно остаться тем, что Вы есть — совестливым человеком и писателем, коих после смерти Твардовского у нас осталось так мало. А Вы есть и Вы помогаете нашей, не такой уж и здоровой литературе устоять на ногах, не потерять веры в совесть и порядочность человеческую, а значит, и писательскую.

Давно мне хотелось чем-нибудь отблагодарить Вас за все то, что Вы делаете для нас — литераторов, живущих в провинции, и, в частности, за себя: я-то ведь знаю, что не раз на меня налаживалась облава, и Вы ее прихватывали в самом начале, не давая разогнаться «борзым кобелям». И вот, как мне кажется, написалась вещь, которую я, не стыдясь, могу подарить Вам — это новая глава — рассказ из «Последнего поклона». Как и все главы, она совершенно самостоятельная и в то же время каким-то нервами, а где и нитями связана со всей книгой. Всего я, вдруг, накатал пять новых глав! «Вдруг!» я обронил не случайно — вся книга писалась и пишется как-то «внепланово» и настигает меня неожиданно. И эти главы схватили меня на пути к совсем другой работе. Как когда-то сказал покойный Коля Рубцов: «О чем писать — на то не наша воля», — воистину так. Они, новые главы, заполнят «прораны» до «Где-то гремит война», после «Бабушкиного праздника». А та, что посвящена Вам, встанет за «Где-то гремит...» перед заключительной главой. Я много над этой главой работал, много «себя» в нее вложил — мне все хотелось написать что-нибудь высокое, но не риторичное, не демагогичное о нашей, такой Великой и такой горестной Победе. Саму Победу я встретил препаскудно, горько до слез — после госпиталю был в Ровно, в полку по борьбе с бандеровцами и стоял на посту у казармы в ночь с 8-го на 9-е мая. Поднялась стрельба, крики, ликование, и я выпал с радости вверенную мне обойму из винтовки, за что и был отправлен на губу дураком старшиной, да и проре-

вел до вечера, одиноко лежа на деревянных, карболкой воняющих нарах.

А хотелось написать о торжестве души, хотелось много-много дать свету, подурачиться хотелось, как мальчишке, на траве поваляться, отпраздновать, погоревать и подумать о жизни будущей — все это в одном рассказе.

Как я ее, эту задачу, выполнил — судить не мне, но дарю Вам эту вещь от чистого и благодарного сердца. Все вологодские ребята гордятся тем, что был у них Яшин, и скорбят, что не стало его. Я горжусь тем, что есть у нас Залыгин и слово «земляк» поставил в том большом и братском смысле, с каким оно воспринималось и жило в нас всю войну на фронте, да и сейчас не всеми и не везде еще захватано нечистыми руками.

Низко вам кланяюсь, Сергей Павлович! Обнимаю Вас! Живите долго.

*Вечно Ваш по земле родной и помыслам — В. Астафьев*

[1973 год]

Дорогой Николай Андреевич! (Драган)

Приветствую Вас и поздравляю с Новым годом! Надеюсь, что старый Вы благополучно отплавали и теперь стоит Ваше судно пустое и грустное, а Вы проведываете его и, небось, уже тоскуете по весне, по путине и своей неспокойной работе?

Я давно собирался Вам написать, но так сложились обстоятельства, что ни Вам, ни в газету написать не сумел. Заболел воспалением легких, а когда вышел из больницы, закрутили меня дела и до сих пор не дают передышки. Надеюсь, в январе буду здоров, повезу в Москву рукопись. А тогда, расставшись с Вами в Туруханске, мы с Женей Городецким (ребята через несколько дней улетели в Красноярск) подались на Тунгуску. Комара была тьма-тьмуца, но я все равно рыбачил, не сдавался, поймал десятка полтора сигов, с десятков хариусов, насмотрелся, надышался и вместе с Женей вернулся в Туруханск, затем три дня побыл (съездил из Красноярска) в родной Овсянке и затем уж улетел домой...

В то лето поездка с Вами оказалась единственной, но не только поэтому я ее так хорошо вспоминаю. Думаю, повезло нам, что с нами был такой общительный и слав-



ный капитан, прекрасная повариха и весь коллектив какой-то «свой в доску!» — так и остались в душе родственные связи, и я очень прошу Вас и всех, кто есть из команды в Подгесово, поздравить от меня с Новым годом и пожелать, чтоб все были здоровы, счастливы в жизни, скорой, дружной весны и всегда глубокой воды под килем!

По сей день перед глазами у меня стоят Осиновские пороги — ничего красивей я в своей жизни не видел и едва ли уж увижу. И вообще для меня нет красивей реки, чем Енисей. В моем рабочем кабинете, за спиной у меня, висит карта Красноярского края, и я часто «путешествую» по Енисею — это помогает мне жить и работать. Работаю я сейчас над продолжением повести «Последний поклон», а потом продолжу работу над новой повестью «Царь-рыба». Ее мне хватит надолго.

В 77-м году в Красноярске выйдет том новых моих произведений, а пятидесятилетие свое мне очень бы хотелось отпраздновать в родных местах. Я постараюсь найти Вас, повидаться с Вами и подарить свою «толстую» книгу. А пока еще раз поздравляю Вас и Ваших близких с Новогодьем! Всегда о Вас тепло вспоминаю. Поклон заснеженному Подгесово и всем подгесовцам также от Виктора и Саши.

*Обнимаю. Ваш Виктор Астафьев*

[1973 год]

Дорогая Ингрида! (Соколова)

Как раз сегодня, когда пришла от Вас телеграмма, я собрался Вам писать. Раньше никак не мог — второй год нахожусь в страшной запарке, нет никакого роздыха, и запарку эту сделал я себе сам — добиваю новую повесть «Царь-рыба», делал пьесу и массу других текучих дел, не отдыхал нисколько — болит контуженная голова, скопилось масса рукописей и почты. Недавно, болея гриппом, я взялся читать Вашу рукопись, а читаю я медленно...

У меня очень сложное, если не сказать — растерянное состояние после прочтения ее. Я совсем не был готов к такого рода чтению. Прочитав «моя», я полагал, что буду читать книгу «о себе», т. е. о Вас, которая не может быть неинтересной, ибо сам «материал» не позволяет ей быть таковой. Но вышло все не так, как ожидалось. Книга про-

извела на меня удручающее впечатление. Что это? Мемуары? Исповедь? Самодоклад? Для мемуаров слишком мало оснований. О себе писать мемуары, видимо, надо как-то иначе, какую-то форму надо искать. Лекция, исповедь? Но тогда личный материал в ней выглядит оказанным, случайным, часто — давно известным по газетам и мемуарам маршалов. Но такого жанра никогда еще не было, да он и невозможен, ибо докладывающий о себе человек, хочет он того или нет, впадает в самовосхваление, а где и в бестактность по отношению к близким своим... Часто Вами поминается Островский. «Как закалялась сталь» — эта книга уже набила мозоли на наших мозгах, но тем не менее пусть она и плохо написана, да в ней найдена форма повествования от третьего лица, герой имеет отличную от автора фамилию (это уж стараниями всевозможных лизоблюдов, демагогов произведено полное, безоговорочное слияние героя и автора, что сам он едва ли согласился бы с этим живой да в здравом уме и памяти), у Вас, да и в любой вещи, где есть «я» — оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я», и, главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше и именно наша бригада, вооруженная гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе, гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником, оказалась на острие атаки немцев, сначала нас смяли наши, отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться, потом хлынули танки — мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, спихнуть и раздавить; конечно, нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия — одно без колеса и что-то около трехсот человек из двух с лишним тысяч, но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил еще один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой...

Был я и в Опошне, и в Катильве, и в Миргороде. Эти гоголевские местечки стояли в первозданной целостности, с беленькими хатками, как и села вокруг них. Мы обжира-

лись там фруктами и после страшного удара приходили в себя.

Были и еще какие-то попытки хоть слабо изобразить, написать свою жизнь, потом они совершенно исчезли. Без изображения? Не знаю, возможно ли без изображения рассказать о чем-либо художественно вообще, а о войне и сложной бабьей доле на ней — в частности.

Очень гнетущее впечатление произвело на меня то, что рассказано о войне — виденье виденью рознь, как и память памяти, но какой-то привычный, газетный стереотип у Вас присутствует во всей книге. Странно. И, по моему, нескромно названной. Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по моему, заняла 27-я армия и устремилась вперед, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон — от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вел генерал Трофименко вперед. Наши и вообще те места были мало побиты. Кстати, мы и сами ведь разбивали очень много, порой без нужды, из-за плохой разведки, которую Вы возносите до небес (я был один раз в разведке, ходил за «языком» — ничего похожего на то, что Вы рассказываете. Что это за разведка, где могут сразу погибнуть десять человек? Фронтная? Но она ходит в глубокие тылы. Армейская — тоже. Дивизионная? Полковая?). Так я и не понял: почему разведкой может распоряжаться, пусть и бездарно, какой-то хмырь, явившийся из тыла? И вообще, к концу войны чины всякие реже и реже появлялись на передовой — хотели выжить, обзавелись бабами и комфортом, а на передовой их обманывали или пугали. За полгода я только раз видел газетчика на передовой, из нашей, дивизионной газеты «Сокрушительный удар», который, пощелкав фотоаппаратом, мгновенно смылся, хотя обстановка была далеко не смертельная. Никакого комиссара на передовой ни разу не видел, кроме капитана Мартынова из нашего артдивизиона, он был совестливым человеком и, зная, что солдатам не во что завернуть табак, иногда приносил нам газету. Комиссар бригады товарищ Сафонов или Софронов, точно уж не помню, нажил на войне брюшко и румянец,

имел две легковых машины и первым, даже вперед комбрига, мирового мужика, получил боевой орден.

На встречу ветеранов нашей дивизии приезжала какая-то шушера, обвешанная орденами и медалями, хвалилась подвигами, жаждала о себе книг и кинофильмов, а хватились их спросить мы, четверо солдат, в конце концов угодивших на встречу, почти никто из них на передовой и не был, там ведь убивали, ранили, там орденов мудрено было дождаться...

Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трех), ранен там, и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь, те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги»; а мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счета, гранат нету, лопат нету, подышали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувших в окопы.

Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы еще живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу — страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всем, как иные закаленные, нестигаемые воины!

Сейчас, когда я Вам пишу, по телевизору показывают спектакль «Из записок Лопатина» в исполнении «Современника» — этому автору все дается, все нипочем! У него сердце не останавливается и не болит! Экая тепленькая, удобненькая всем демагогия! Экая рассудительная война! Экая литература! Задача которой — забыть, что счет нашей Победы — 10 к одному не в нашу пользу (это официально!), да миллионы, десятки миллионов калек и умерших сразу же от ран, болезней и голода... Правильно, хоть и нечаянно кто-то из националов назвал этукую стряпню — таратурой. Именно таратура — иначе не скажешь!

Не знаю я, что Вам посоветовать? Кроме всего прочего, вещь плоха по языку, изобилует выпренными отступлениями «по поводу искусства», а об этом надо бы в другом месте, в другой раз. Здесь же место лишь судьбе женщины на войне и изувеченной войною. Где она, та жен-

щина? В книге всего лишь тень ее, какая-то парадная вывеска.

Надо, видимо, Вам написать о себе «для себя», вот тогда, глядишь, выйдет «для всех», а пока же всего лишь сумбурный набросок с претенциозным заголовком.

Я знаю, что Вам нелегко будет читать мое письмо, надо бы «повежливей» быть с женщиной, но литературу я ставлю на один шаг с тяжелейшей службой и мужской работой. Вы часто употребляете «фронтовики», «солдаты», а солдат перед солдатом не должен кривить душой, мы, во всяком случае, избегали это делать на передовой, иначе все погибли бы. И вот я как солдат солдату говорю то, что думаю, а Ваше дело принимать — не принимать!..

*Кланяюсь Вашему мужу и дочери. Виктор Астафьев*

2.1.74 г.

Дорогой товарищ Секретарь!  
(Извините, не знаю ни фамилии Вашей,  
ни имени-отчества.)

Я, надеюсь, Вы видели и читали в «Литературной России» № 52 от 27.12.74 г. публикацию рассказов покойного Вашего и моего земляка — Бори Никонова? (на всякий случай газету посылаю). Прекрасному, даровитейшему от природы, мужественному юноше суждена была короткая жизнь и мучительная кончина. Но судьба так распорядилась, что иногда короткая жизнь бывает ярче и полезней людям и Родине, чем иная, слишком затянувшаяся, тусклая, иногда и вовсе бесполезная.

Я пишу Вам это письмо не для того, чтобы заниматься философскими изысканиями, а с чисто практической целью — мне бы хотелось, как земляку Бори Никонова, любящему людей родного края и все, что в нем есть истинно ценного, привлечь внимание краевого комсомола к удивительно редкой судьбе покойного юноши.

Пока он не избалован вниманием. Видимо, Вас — краевой комсомол, и меня, и многих из нас заела текучка, мы слишком привыкли к решению вопросов общих и глобальных, забывая, что какими бы те вопросы ни были глобальными и вообще все, что есть и будет — вытекает из жизни и судьбы человеческой, ибо каждый в отдельности взятый человек есть уже мир, мир неповторимый и никогда вновь не возникающий...

Придут тысячи, миллионы людей, пройдут годы, десятилетия, может, и столетия, но Борю Никонова, этого мальчика с капризными губами, девчоночьими ресницами и удивительно талантливой душой никто и никогда не повторит...

К чему вся эта «увертюра»?

Не знаю, как Вы, а я, глядя на юное, почти детское лицо Бори, снятое на мертвую пленку, читая его рассказы, стихи и этюды, ощущаю какую-то необъяснимую вину перед ним и его памятью. Ну, это бывало и будет — благодарная память живущих перед умершими, вина перед ранними смертями, которыми часто оплачивалась наша жизнь и наше будущее — есть «кирпич» в том основании, которому название — «нравственность», и забота о нашем нравственном фундаменте, о том, чья жизнь и есть «кирпич» в оном, заставляют меня обратиться с нижеследующей просьбой, можете считать ее «частной» — но может ли просьба такого рода быть частной? — о том, чтобы Красноярский крайком позаботился вместе с другими молодежными организациями края об увековечении памяти дивногорского юноши, который, уже будучи обреченно больным, вступил в комсомол и торопливо, пусть иногда и очень торопливо (его в этом можно понять!) попытался утвердить себя как личность, трудовую, творческую, созидательную.

Жизнь Бори Никонова, его мучительный, титанический в его и наших масштабах труд — должны стать известными молодежи Сибири, а сама молодежь должна сделать все, чтобы память о юноше Боре Никонове не загасла, не затерялась в суете...

Предлагаю выступить крайкому комсомола от моего ли имени, от имени ли дивногорских комсомольцев с предложением:

1. Присудить Борису Никонову за его произведения (посмертно) краевую премию комсомола.

2. Краевому издательству, не торопясь, вдумчиво отобрать все лучшее, созданное покойным писателем и издать с хорошим предисловием книгу произведений Б. Никонова в хорошем и строгом оформлении.

3. Установить на могиле юного патриота стелу или положить надгробный камень от имени молодежи Дивногорска.

4. Не забывать о том, что у Бори Никонова осталась многострадальная мать и безмерно любившие его родичи.

Словом, отнестись к памяти юноши с той заботой и отзывчивостью, которые он заслужил своей короткой, но удивительно мужественной и яркой жизнью, должной послужить примером для многих молодых людей нашего края, Сибири, может, и всей нашей страны.

*Виктор Астафьев, писатель*

[1974 год]

Дорогой мой Виктор!

С застарелой, неискоренимой любовью обнимаю и поздравляю тебя по случаю Нового года! И Марью твою, и все твоё семейство!

Только-только въехал я в новую квартиру, и все вокруг перемешалось: кони, люди... Ничего не найдешь, даже твой адрес. Живем без воды, без огня, как доисторические волосатые неандертальцы. Но все образуется. Так что жду на новоселье и день рождения. Созову своих ребят и друзей. Сообщи о согласии, чтоб заказать гостиницу, и запиши мой новый адрес:

Курск-4, ул. Блинова, д. 2, кор. 2, кв. 17.

Не хворай и приезжай.

*Твой Женя (Носов)*

13.1.74 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

По счастливой случайности попала мне в руки Ваша книга «Пастух и пастушка» — прекрасное произведение! Спасибо Вам!

В Вашей повести описаны быт и война, кровь и смерть, грязь и ужас. Все есть. Но за всем этим сохраняются тонкие человеческие чувства. У Люси и Бориса. У них любовь!.. Нет-нет! Это не любовь. Это порыв человеческих душ, истосковавшихся по любви. Это пока еще только тоска по любви.

Но вот то, как Вы это сумели донести до читателя, — удивительно. В этом и сила Вашего таланта. До обнажения правдиво и в то же время целомудренно показаны взаимоотношения Бориса и Люси.

Нет, любовь (назовем условно так) здесь не фон, это — частица войны...

Кровь, смерть, грязь, а душа хочет любить, душа хочет прекрасного, она не затоптана, и тогда подобные душевные порывы выплескиваются в прекрасное чувство. Это замечательно! А ведь при описании таких взаимоотношений можно впасть в ошибку. Легко впасть.

Вы этого талантливо и счастливо избежали. Спасибо!!

*Антропов Иван*

**[Весна 1974 года]**

Витек, привет!

Не поздравил я нынче с Маем, прости: три недели лежал пластом с животом, а тут еще признали воспаление поджелудочной железы. Кололи меня самыми длинными шприцами и поили всякими пилюлями, едва оклемался, так вот и прошли праздники в бессонных ночах и одурении. С каждым годом болею все тяжелее — дело к старости. Сажу на самой жесткой диете — одно молоко. Даже чаю нельзя пить. Вот в таком состоянии получил от тебя письмо с приглашением в Сибирь. И сам не знаю, как быть. Очень хочется поехать. Но куда же я такой поеду? А уже 7-е число. Ясно, что за неделю я не стану на ноги как следует. Так что 15—20 мая срок для меня тяжеловатый. Вить, а нельзя ли хоть чуть отодвинуть? Ну где-то поехать числа бы 1-го июня? Если ты поедешь один, то это хуже. Хорошо бы ехать вместе. А то где там тебя искать и вообще.

А тут еще такое дело. Прислал мне письмо Викулов. Хочет в конце мая — начале июня приехать в Курск с бригадой. В бригаде называет Васю Белова, тебя, Троепольского, Васю Емельяненко, Васю Шукшина.

С одной стороны, это разбивает наши с тобой задумки поехать в это время в Сибирь. Но с другой стороны, было бы здорово, если бы вы с Беловым и Шукпиным приехали бы ко мне. Сам понимаешь, для меня это большая радость. Я бы покатал бы вас по курской земле, по хорошим местам. У нас в это время теплынь, купайся сколь хошь, жарься на песках. А, Вить? Как считаешь? А уж потом бы мы махнули с тобой во Сибирь-матушку. От нас идет туда прямой поезд «Киев — Хабаровск», поезд тихо-



ходный, поволок бы он нас по черноземным областям, через Воронеж, Мичуринск, Тамбовщину. Тоже ведь интересно! Да и я к тому времени пришел бы в справку: что-бы и рюмочку по дороге можно было выпить и все такое. Да, а ежели и Васята Белов с нами увязался, и вовсе славно-то получилось. Вот решай, посоветуй, как поступить. Напиши скоренько ответ.

А тут еще Женьку охота встретить. Сам понимаешь, радостные это минуты — дожждаться из армии сына: пойти с ним в магазин, купить ему костюм, рубаху. Тем ведь и живем теперь — ребятами.

А то разминемся с ним — я буду в Сибири, а он придет — неладно как-то получится. Да и надо бы с ним сразу решить — будет ли он поступать тем же летом в институт или как... Я ведь до сих пор точно не знаю, когда он придет. В апреле написал, что их будут отпускать в три срока: первая партия 15 мая, вторая — 25 мая, а третья — в июне. А вот с какой партией его отправят, он пока сам не знает. Хорошо, если бы в мае, тогда я быстро освободился бы.

Вот такие всякие препоны возникли у меня. Ты уж сам сообрази и напиши, как лучше поступить. А уж если ничего не получится, тогда езжай один, что поделаешь. А я потом приеду в Вологду. Для меня Вологда и то хорошо.

А лучше, если бы ты с Васятой (да и Сашу Романова прихватить) — приезжали бы с викуловской бригадой ко мне. Сашу Романова хорошо бы, потому что Викулов хочет взять еще 2-х каких-то поэтов. А на хрена каких-то, когда Саша Романов самый подходящий для такой поездки поэт! Ты ему скажи про эту поездку.

У нас дома пока все нормально, ну, за исключением того, что я малость прихворал. А так — ничего. Правда, ничего не работаю. Ну да — успеется.

Прислали мне из «Современника» твою вступительную статью. Читали с Валентиной. Ну, ты, брат, разукрасил меня: по буханке хлеба съедаю! Правда, если посмотреть на мою фотокарточку, которую дают в книжке, то поверят: и две буханки слопаю, такая харя. А в общем написал славно, аж я растрогался. Спасибо, Витек! В «Современнике» уже всем расхвастались этой статьей. Толя Соболев узнал про нее и мне прислал просьбу, чтобы я и про него написал такую. А я как раз заболел, да и не знал, что про него писать: думал, думал, и вижу, что я о нем ничего не знаю: ну ходит красивый пижонистый парень,

да и только... Это ж надо перечитать все его книжки, а ты сам знаешь — некогда нам читать.

Вить, ну пока, напиши мне сразу.

*Женя (Носов)*

28.5.74 г.

Дорогой Николай!

(Извините за фамильярность — забыл при встрече спросить отчество.)

Я пишу Вам из далекого уральского села Быковки, куда забрался поработать сразу после пленума, да что-то не очень пока работается.

А пишу я Вам вот по какому поводу. Несколько лет мы с Евгением Ивановичем Носовым доводили до ума повесть Вашего саратовского парня Виктора Политова. Когда вроде бы довели и настала необходимость ее печатать — «Наш современник» без особых объяснений повесть отклонил, а автор, дописывавший и вторую повесть, духом слаб, решил все бросить писать, и стихи, и прозу, ударился в рыбаки, пить начал, а жаль — парень он очень способный и внутренне чистый, глубокий, судя по письмам.

Не напишете ли Вы ему письмо (адрес его в конце сообщу) и не попросите ли для ознакомления рукопись? Мне кажется, она Вам хорошо подошла бы, а Евгений Иванович Носов, читавший последний вариант повести, весьма высоко о ней отозвался, написал бы предисловие к ней.

Будьте любезны! Жаль, если талантливый и умный человек делается забуддыгой, их и без него многовато.

Низко кланяюсь. Привет Вашим саратовским художникам, гармонистам и коллегам по труду.

*Виктор Астафьев*

9.8.74 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Ну вот, закончен труд, завещанный от Бога иль от черта?! Знал бы, что он так много займет времени и сил, ни за что не согласился бы. Работу затянул не по своей воле — в Сибири обострилась моя пневмония. Вернулся

домой, подлечился, забрался на озеро Кубенское, раскачивался несколько дней, разламывался и только начал работать, как новая беда: сварил ногу супом! Деградация! Почти такая же, как у твоей любимой команды ЦСК! Таежник! Рыбак! Знаток быта и жизни — сварил ногу супом! Ожог третьей степени. Сижу дома, а больше лежу. В лесу тьма грибов, а я их с базара кушаю! Во, интеллигенция?!

Саша! Беседа наша получилась такая, что от журнала потребуется определенная смелость, чтобы напечатать ее полностью. Выковыривать и приглаживать не давай, лучше уж пусть тогда лежит в столе, как память о нашем разговоре, отраженном на бумаге. Говори в журнале, мол, авторы писали, авторам и отвечать, чтоб подписи их набирали жирно, и будет все в порядке.

В сентябре собираемся с Марьей в Польшу, да что-то нынче идет так все наперекосяк, уж и не знаю — ехать ли? Документы-то оформлены и поехать надо бы — и для работы, и для обновления памяти — ведь собираюсь всерьез и вплотную заняться «военной» темой после «Царь-рыбы», которая перележала и теперь никак не дается в руки. Однако добывать надо — написано много.

Чего нового в столице? Поклон тебе и всем твоим от меня и Марьи.

*Обнимаю — Виктор*

**[19 сентября 1974 года]**

**Дорогая, родная моя! (Письмо жене)**

Ты, наверное, уж не знаешь, что и думать, — не пишу, не звоню и почему звонила Света по моему поручению... Все равно, чего бы ты ни думала, а на край только могла отнести то, что я заболел, и тяжело. Вякнула на прощанье: «Ты только не заболеи!» Да, я вот уж четвертый день лежу в больнице с воспалением легких. А заболел и того раньше. Заболел — где-то не поберегся, на сквозняк ли попал, или то, что в Буге искупался, но скорее всего — лег в сырую постель без шерстяной кофты... Дом-то у хозяйки в Сокольниках кирпичный, летом не отопляющийся. Комната была у меня отдельная, все тихо-мирно, для работы условия идеальные, и места очень красивые, но... но очень сырые, как в Ходыженске когда-то, помнишь? Я уже на другой день почувствовал неладное, но подумал — из-за

пищи, кою потреблял в местном кафе, гулял по берегу реки. 14-го числа я вовсе скис, но сценарий все же закончил. Закончил и сразу свалился, температура 39. Сначала еще подумал, что отравление, но ночью все началось, как всякий раз при пневмонии, озноб, безумная головная боль, руки-ноги отнимаются...

Утром Артур бедный, сам ангиной больной, набегался, пока в съемочной группе Одесской киностудии добыл машину. Пятьдесят верст до города, да в городе. Мест нигде нет — все забито. Его школьный соученик, профессор Шкляр освободился лишь вечером (еврей, а мужик хороший, твердый, чуткий) — аж побелел, обзванивая все и вся. К ночи уж меня увезли в санлечуправление (так здесь называется спецклиника). Положили меня одного в 4-местную палату и сразу уколы и прочее. Правостороннее воспаление легких, сама знаешь, что это такое...

Гулять пока не дают. Но сидеть уже могу и хоть с перерывами, но пишу тебе. А отправляю, как будет возможность.

Дни идут. Как получишь сценарий, постарайся напечатать поскорее, из Киева постоянно звонят, просят, торопят. В легких уже делается лучше, к твоему приезду буду молодцом. Учти, в Виннице идут постоянно дожди и во дворах по колено воды. Захвати одну книгу «Повести о моем современнике» и одну «Роман-газету». Прочел Женину повесть. Прекрасно! В ней он главного-то «героя» вроде бы как с Сельверстова списал — быдло это руководящее везде на одно лицо.

Напиши или как по-другому сообщи, что и как у вас. Как Иринка-то? Моему студенту сегодня тоже будут драть гланды, оказывается, это не так уж и просто...

*Ну, целую — Виктор*

Если соберешься ехать (только не спеши, что ты тут будешь делать одна-то?), то захвати мне пальто, шляпу, черные ботинки. Сегодня, если смогу, начну клеить сценарий — весь он в клочках, но пока не принимался, примусь уж после обхода. Вчера мои розочки завяли. Я их выбросил в ведро, а они прощально пахли так трогательно, будто последние печальные вздохи выпускали, Мать Артура, Лидия Петровна, приносит мне цветы и фрукты. Вчера принесла георгины, а ты же знаешь, я их не очень, но эти такие, что я рот открыл, — нежные, прозрачно-розовые с постепенно угасающим где-то в глубине цветка

и на кончиках лепестков розовым сиянием, совершенно живым, осязаемым. И есть солнце или нет, они будто пронизаны насквозь солнечным мягким сиянием. В Виннице такие георгины только у одного знаменитого садовода, и, хотя он человек, как о нем говорят, незлой и нескупой, корень цветка никому не дает, это, говорит он, как мое дитё, мое создание, как же, мол, я его отдам?! Вот умру, тогда... Чудо! Чудо! Чудо! Я уж говорил Лидии Петровне, что Маня моя в штаны бы написала от восторга. Лидия Петровна хохочет.

Принесла она мне и «Современник», № 8, и газеты. Смотрел статью свою. В трех местах все же подрезали... И когда уж это кончится?! Читал газеты. Оглушен суесловием — митинги, встречи, выезды — «рабочая тема», «тема труда». О, Господи! Как будто литература, отражающая жизнь общества, честно отображающая, осмысливающая, может обойтись без темы труда, хлеба, то есть без смысла жизни? Нарочно дробят, запутывают простые истины, загоняя тем самым литературу по углам, давая магистраль сиюминутным приспособленцам и бездарям, умеющим тут же и на все откликнуться, отразить, «осмыслить». Чуть какая-то! Бред! И бред не стихийный, бред организованный, дробящий мысли и направленность творчества. Видать, худы дела у общества, коли оно хочет звоном колоколов заглушить обычное слово, обыкновенный человеческий голос! Увы! Увы! Среди звонарей на первое место начинает вырываться Юрий Васильевич Бондарев. Неужели и он курва?! Если так, то это уж и вовсе прискорбно. Да что делать — не он первый, не он последний, и «идут они, солнцем палимы», и орденами да тиражами покупаемы...

Маня! Я попробовал клеить, и клей-то мне Лидия Петровна хороший принесла, в тюбике. Да куда там? Весь я измазлся, ножницы в плевательницу уронил, руки дрожат, лоб вспотел, раздражился я и скоро устал. Ты уж как-нибудь, по помеченным кускам-клочкам напечатаешь, а что невпопад или не разберешь — допечатаем где-нибудь.

Ну, держись. А я устал шибко. Ложусь.

*Целую — Виктор*

[После 19 сентября 1974 года]

Дорогая Маня! (Письмо жене)

Пришло от тебя первое письмо. Слава Богу, теперь я в курсе ваших дел.

Артур вчера был у меня, сказал, что по телефону с тобой обо всем перетолковал, и, наверное, правильно сделал, что отговорил. Сколько мучительных хлопот только с билетами! Лучше соберись с духом да отдохни хоть немного после всех этих передраг, которые, если уж наваливаются на нас, то поленицей!..

Ничего. Бывает хуже. У меня от лекарств болит голова, и я почти не могу читать, лежу, думаю. Все не идет из головы судьба Марии Егоровны, ибо надумал я в «Царь-рыбу» вставить рассказ о ее последних днях, да сие от меня ведь не зависит — думать или не думать, раз «пошел» рассказ, значит, пошел и избавиться от этого можно только написанием его — так вот лишь теперь, столь времени спустя, я полностью осознал весь ужас того человеческого падения и страшной трагедии семьи, которую заканчивали собой Мария Егоровна и Колька...

Что-то зловещее и в то же время закономерное было и есть во всем этом. А я несу «моральный крест» за всех их, Богом мне назначенный. Видимо, так нужно было, чтоб последний «отпрыск» семьи, первый внук за всех их мучался памятью, душой и, мучаясь, пересказал их долю, в которой, кажется, все муки нашего народа отразились, как в капле утренней росы, отражается свет солнца. Так уж все банально, так обыденно, так похоже на все остальное, что и сравнение банальное обретает банальный и оттого особенно трагичный смысл...

Я поправляюсь. Уколы почти все отменили, процедур добавили. Делают лишь глюкозу. Ты, пожалуй, не приезжай, лучше отдохни маленько. Тут еще и ремонт этот несчастный! Я тоже малость мечтаю уже о починке: сесть бы с удочкой на бережок и подергать окуней, может, и язь попадетсЯ?! За грибами бы в бору побродить! Рыжики к той поре будут. Читала ли ты Женину повесть? Прочти. Какая сила! Женя становится писателем, с которым на всей Руси некого сейчас сравнить! Нет другого такого крепкого, убористого и честного писателя, чем он да Вася сейчас. Нету. Эстеты есть, пестрые, вроде меня, а таких, цельных и целеустремленных, — не знаю. Я написал Жене письмо, в котором сравнил его с боксером Попенченко,

уж он если поймает мысль какую, або «идею», пока ее к канатам не прижмет, не добьет до «нокаута», — не отпустит.

Врачиха у меня суетливо-заботливая, говорит, «через 6—7 днів усе будэ добре...». Я говорю: «И домой, до старушки полечу?...» — «Га, там видно будэ!..» Значит, где-то после 1-го я все же буду дома. А ты не ездй, не мучайся. Я все тут выполняю безропотно, слушаюсь всех и поскольку настроил себя на лечение и терпение, то уж не так и сиротливо. Третий или четвертый день уж нет дождя, аппетит налаживается. Я подстригся и побрился. Волосы коротко остриг, а то мыться пока нельзя и голова вся в перхоти.

Соседу моему, Сашку, вырезали гланды, и я все видел и понял, каково было Викторовне. Жаль, что она курит и не понимает, чего творит — Сашка не курит и покрепче ее, а вон сколько дней мается.

Я почитываю книги «Генерал Де Голль» и «Герой нашего времени» — попеременно и потихоньку. От «Героя» я по-прежнему в неописуемом восторге, хотя вроде уж знаю его, а «Де Голля» открываю заново. Почти не пишу, если не считать маленький кусок в «Такую долгую зиму», но уж не отправляю тебе, сам привезу — спешить некуда. Лидия Петровна принесла цветы, я дописываю письмо, чтоб с нею отправить. Не беспокойся, постарайся быть умной — новые легкие мне все равно не вставят, а эти подлечат. Лечат здорово. Всем поклоны. Андрюшка пусть бережется, а то будет маяться, как я. Книжки и одежку вышлй.

*Целую — Виктор*

**[Конец 1974 года]**

**Дорогой Игнатий Иванович!**

Не знаю, сколько пролежало Ваше письмо дома, — я был на Украине, занимался кино и оказался в больнице, схватил обострение хронической пневмонии. Почти месяц пролежал в Винницкой области, в больнице на казенных харчах. А делали, точнее, доделывали мы с режиссером как раз «Пастуха и пастушку». Режиссер Артур Войтецкий давно мечтает экранизировать что-нибудь мое. Одна работа по рассказу «Ясным ли днем» — уже накры-

лась. Он три года сидел без работы, ждал. Первый вариант сценария нам не завернули (по «Пастушке») в комитете, все уж замерло было, но где-то и что-то «щелкнуло» наверху, и все закрутилось снова. Я не думаю, что сценарий нам и сейчас затвердят — очень уж я «поперешен» и подлаживать материал под чью-то дудку не желаю. Однако и без того это ни разу не поставленное кино взяло у меня столько времени и сил, что я уж и плюнуть на сие искусство готов и буду заниматься своим «тихим» делом, хотя и относительно независимым. Идея Ваша и Григорьева мне не по душе. Как это я «оживлю» Бориса? Меня же мои друзья, честные писатели, мнением которых я дорожу, курвой назовут и правы будут. Кроме того, я уже понял, что сделать, как хочется, как мыслится, — кинодеятели не дадут, тем более в пятисерийном фильме — большой работе — конечно же, будет особо подозрительное внимание. Не те сейчас времена, когда можно было бы сказать «свое слово» в кино. В литературе и то не дают, на верхушки и ширпотреб склоняют всячески, даже премии дают, только чтоб нос не совали в глубь земли, тем паче в душу человеческую.

Поживем. Подождем. А пока пусть мои повести живут своей «тихой», но цельной жизнью. Не хочется их деформировать, подгонять под конъюнктуру времени, которое чем дальше, тем подлее делается. Повести уже отлиты в определенную форму и довольно с них. Короткий, но поучительный опыт работы в кино настроил меня пессимистически по отношению к нему, не стоит оно времени и сил, которых остается не так уж много. А замыслов много и надо хотя бы часть из них реализовать. Для этого нужно быть собранным, не расплываться на посторонние, во все неблагоприятные дела, какими я отныне считаю дела киношные.

Извините, коли расстроил Вас и раздосадовал.  
Желаю Вам всего хорошего! —

*Виктор Астафьев*

[1974 год]

Дорогой Николо Христов!

Пишет Вам из далекого русского города Вологды русский писатель Астафьев. Не знаю, насколько точный Ваш



адрес дали мне в журнале «Советская литература», но, надеюсь, письмо мое найдет Вас.

Я с большим волнением и болью прочел Вашу «Колючую розу» в журнале «Иностранная литература». Сам я родом сибиряк, мое родное село близко от Красноярска. Вырос на берегу Енисея и с детства научился почитать и любить нашу родную природу, и, когда начал писать — в 1951 году на Урале, — тема природы заняла главенствующее место в моей работе. Вот почему мне так близка и понятна Ваша боль и Ваше страстное слово в защиту природы. Вы совершенно точно назвали одну из причин такого тревожного положения на земле — человеческая беспечность, от которой до преступности всего шаг, и шаг совсем небольшой.

Я недавно закончил большую повесть «Царь-рыба», она напечатана в №№ 4—6 журнала «Наш современник» и должна скоро выйти в сокращенном виде в «Роман-газете». Большинство глав-рассказов в повести как раз о человеческой беспечности и безответственности за себя и за свои поступки. Особенно безответственно ведут себя люди в тайге, в сибирской, ибо кажется им, что она нескончаема, вечна и сколько бы ее не тиранили — конца ей и ее терпению не будет. То же самое, наверное, думают люди, истребляющие джунгли Амазонки, — они так широки и дики, что создают обманчивое представление о неисчерпаемости земных богатств.

В Болгарии у меня выходило несколько книг, слышал, что начинается издание двухтомника. Может, что-то и попадалось Вам на глаза. Буду рад, если мои чувства и моя боль перекликнутся с Вашими чувствами и с Вашей болью, ведь живем-то мы все на одной земле и заботиться о ней надо бы всем людям, но пока очень и очень многие не понимают, что пилят и уже опасно подпилили сук, на котором сидят. У нас тоже пока больше тревожатся и заботятся о природе пишущие люди и ученые. Люди же, непосредственно занятые работой на земле, в лесу, в недрах земных, махают на все это рукой: «На наш век хватит!..»

Мы свой долг посильно исполняем, но, думаю, недостаточно страстно делают свое дело многие пишущие люди. Все бы вот писали так, как Вы свою «Колючую розу», наверное, скорее заставили бы задуматься человечество о своем будущем.

Еще раз благодарю Вас за великолепную прозу. Же-

лаю Вам доброго здоровья, а людям земли — благоразумия!

Кланяюсь Вам с почтением.

*Виктор Астафьев*

[1974 год]

Дорогой Альберт!

Я как-то спрашивал у Сергея Васильевича, сызнова жаловавшегося, что «печатать нечего». «Неужто, — спрашивал я, — из самотека нашего не отыскивается?» — «Ничего. Верь мне — ничего». Я не поверил и остался при своем мнении, да и не верю этому. Вспомните старый «Новый мир», все авторы, в том числе и ныне уважаемые «Н. современником», оказались в нем из «самотека».

Просто у нас не умеют или не хотят — нет «заинтересованных лиц» в том, чтобы работать как следует с «самотеком». Согласиться с тем, что в течение года ничего интересного не приходило с почтой, я не могу и не хочу — это значило бы согласиться с тем, что нация наша уж вовсе оскудела, что хорошие произведения высохли, как грибы в прошлогоднее лето от засухи.

Как свидетельство того, что с «самотеком» в нашем журнале работают наплевательски, спустя рукава, — я посылаю Вам письмо Политова, с которым знаком уж несколько лет и рассказ которого добивался по моей просьбе и указаниям несколько раз, после чего я разрешил послать его в наш журнал и заставил автора добавить (для нас же) повесть.

Все мои рекомендации последних годов журналом игнорируются, ни одна вещь не прошла, а и было-то их очень немного из потока рукописей, идущих ко мне, я выбрал лишь крупницы. Так или иначе, хотите вы того или нет, но таким отношением не только авторам, мной рекомендованным, Вы ставите и меня как бы в умственно неполноценные, отобравшего неполноценные рукописи. А раз так, то и смысла мне нет работать на и для Вас, чего-то читать, фамилию свою оставлять «дежурной» на последней страничке журнала я бы не хотел. Соглашался идти в редколлегию — работать! — но не дежурить и работать не для себя, мои вещи и без Вас найдутся «храбрецы» печатать, а согласиться в надежде, что авось, что еще какого-ни-

будь провинциального горемыку удастся пристроить и напечатать, ибо уж совсем стало глухо и плохо работать провинциальным писателям. Не удалось напечатать Филипповича с его великолепной повестью и рассказами; не удалось пристроить Ромашова из Перми, повесть которого, может, и не фейерверк, но не хуже многого из того, что мы печатаем; не удалось и не удастся выполнить основные мои обязанности как «члена» — «мы сами с усами», — как бы дают понять в редакции, но и с «с усами» печатают такое дерьмо, что за журнал и за свою, даже «дежурную» фамилию стыдно делается (я имею в виду хотя бы тот же рассказ Рослякова или убогие стишки Иванова из Ярославля), да и еще кой-чего.

Наверное, я не смогу быть на редколлегии — лечу зубы, и на 24-е назначено отчетно-выборное собрание нашей писательской организации, но попрошу это письмо зачитать как мое выступление, письмо Политова тоже зачитать, потом вернуть его мне. Стишки не читать (их он писал уж «не от ума»), хотя они на том же уровне, увы, на каком мы иной раз печатаем в «лучшем» журнале!

*Виктор Астафьев*

11.3.75 г.

Уважаемый тов. Чернявский!

Я даю согласие на включение моей повести «Пастух и пастушка» в болгарское издание, но это мое согласие последнее. Прошу больше не обращаться ко мне с подобными просьбами и не отнимать у меня, работающего человека, время по той причине, что гонорарные условия, которые предлагает мне ВААП, считаю грабительскими. Думаю, что нигде еще автора не унижали такой нищенской платой за переводы, как это делает ВААП на узаконенном основании.

При первой же возможности я попрошусь на беседу в ЦК и скажу там об этом или выступлю с общественной трибуны. Мне лично моя работа дается тяжким трудом, и хлеб своей писательский я добываю остатками здоровья, потерянного на войне, и потому не могу и не хочу, чтоб меня обирали и обдирали, как оброчного пахаря.

Уверен и знаю, что мое негодование разделяют большинство работающих писателей — слишком много по-

средников развелось меж писательским столом и работодателем, и часто последние кушают слаще, спят мягче и главное спокойней, чем сами работники.

*С приветом — В. Астафьев*

**[5 марта 1975 года]**

Дорогой Женя! (Носову)

Как мы расстались под звон медалей, так с тех пор ни слуху ни духу. Я почти месяц был в Москве, сдавал в «Наш современник» повесть и в «Молодую гвардию» книгу. Очень устал и подпростудил легкие. Наш хитромудрый Серега добавил мне головной боли. В письме не хочу писать, но если он выкинет еще такой же пируэт по отношению ко мне, я и его, и журнал этот выкину куда подальше. Разговаривал с Ингой Фоминой, и она мне с потрясением сообщила, что ты до се не прислал книжки на расклейку. Ты что, хвораете или забыл, но ведь книжки-то должны выйти уже в нынешнем году. Тебе же боятся лишний раз напоминать и надоедать, а сроки поджимают. Расклейку сделают в издательстве, и стоять это тебе будет рублей 18—20, так что сам себя и семейство свое клеим не мажь.

Женя, я числа 20—25 улечу в Туркмению с Марьей, греть свои преющие легкие, потом съезжу на юбилей к Толе Соболеву (совсем он плох — подвиги водолазные его добивают), а после безвылазно, вплоть до съезда буду в деревне, так что приезжай погреться на нашем незнойном солнышке, подергать окунишек да сорожонку, которая еще не выдохла. Если брюхо болит — наладим диетой — молоко в селе замечательное, птичек тебе настреляю. Приезжай обязательно, а то так и не увидимся до съезда.

Петя Сальников прислал мне письмо и «Братуня», но я пока еще не прочитал, голова болит шибко. Привет твоим.

*Твой Виктор*

**[1975 год]**

Дорогой Витя!

Прости, грешен: не поздравил я тебя ко времени ни с Маем, ни с днем твоего рождения, ни с Победой. Никому

нонче не сподобился послать привета, хотя и накупил красивых открыток и конвертов. А завертели меня непредвиденные визиты (от которых я опять маюсь брюхом — все разъехались — а ты майся!). Но, в общем-то, и визиты не богопротивные: сначала сестра под Май приехала в отпуск. Потом 3-го мая нагрязнул Петя Сальников. С тем было похлопотней, поскольку загуляли мы, а на всякий пир муха курская липнет, в окно крылами бьет, гони не гони — залезет. Поналезло в дом всякой шушеры, никакие запоры не держат. Ну а мы с Петей все одни бессменно за столом. Те нажрутсЯ и отваливают — в пьяном виде дальше деньги зарабатывать, зряплату, на их место новые «мессера» заходят, а мы все бессменно... Только проводил Петю — хлоп! — Федя Сухов 7-го числа нагрязнул из Волгограда, и опять пошло... Да вот только-только очухался, стал разбирать кипу писем на столе, что накопилась за эти дни. Ну а брюхом мне еще долго маяться. А главное — только-только выпцарапался из предыдущей болезни. Я ведь тебе не писал — еще на юбилее захворал, но крепился, держался, нельзя уже было слечь, колесо закрутилось, ребята едут... А как разъехались, сразу и рухнул с температурой под 39, а потом дало осложнение на башку и глаза, не мог читать-писать, всю зиму — с января по середину апреля кололи меня во всяческие места, едва оклемался. И все время так: только выпцарапаешься, только голову поднимешь — тебя опять — бац! Сиди, гад, в яме, в собственном дерьме, сиди с нами, как все...

Ну а Петя — бедолага тоже только из больницы, 40 дней пролежал, тянул доходяжку. А приезжал он ко мне по великой своей нужде. Так Петя не придет, не обеспокоит, ты его знаешь. А нужда его вот какая. Заела его вконец собственная баба — шизофреничка. И вот, наконец, решилсЯ Петя от нее мотать. СписалсЯ со своей старинной, довоенной любовью, поехал к ней в Харьков. У нее уже дочки-студентки, мужа схоронила. И вот Петя приехал: что ему делать? В таких случаях разве что посоветуешь? Вот поедет он искать пристанища в Калугу, хлопотать себе угол и кусок хлеба. Правда, в Курске сейчас складывается благоприятная обстановка, наши писателя так передрались, что не могут никого избрать в секретари и назревает вопрос о приглашении со стороны. Наш нынешний секретарь даже звонил в Тулу, но Петя живет в Плавске, у матери, и разговор с ним не состоялся. Хотят

посадить его. Но я не хочу. Не хочу, чтобы потом Петю сожрали, не таких едали. Деться Пете сейчас некуда, он ползет в любой капкан и, может даже обидеться на меня, но я-то добра ему хочу: горькое это счастье — править курянами, «с конца копыя вскормленными». Пусть берут Лешку Леонова. Тот еще в прошлом году наведывался из Ленинграда на разведку. Малый он хороший, и тоже жалко, но он похарактернее Пети, может, и усидит на этом горбатом курском троне. Да и молодой, поболее силенок.

Ну, ты уже знаешь, Васю Юровских приняли в Союз. Не верит, дурачок, своему счастью. Пишет такие слезные письма, готов целовать ноги. Вот Россия-матушка! А еще прислал ящик с посылкой, грибов-ягод. Да набор стаканчиков со штопором и открывашкой бутылок. Да ножик с ложкой и вилкой. Совсем опалел от счастья. Вот сяду, наругаю в письме. На кой хрен мне его стаканья да ножики — последние деньжата тратит. Вся эта мишура денег ведь стоит, а у него их как у латыша... Штанов, поди, нет, вот-вот в подштанниках побежит. Как он не поймет, что не надо нам никаких купеческих подношений, лишь бы помнил да когда помянул добрым словом, а не обещал, взойдя на олимп, как Игорь Лободин или ваш Толя Петухов — этот вепс с волчьими глазами. Вот из моих читинских семинаристов троим написал рекомендации, все трое были в Москве на всесоюзном совещании, одного даже приняли, двое — оформляются. Теперь забота — всех троих определить на Высшие курсы, чтобы обтерлись, счислили с себя дальневосточную кетовую шелуху. И ничего за это не надо, пусть пишут на здоровье, только правду пусть пишут.

А за Машу мне горько и стыдно. Вернее, не за Машу, Марья-то молодец, а стыдно за вологодских: что же они так? За что? За Марьин хлеб-соль, за ее доброе к ним всем отношение? Что же они все так измельчали? А еще лезут из кожи, лезут в великие писатели, жаждут всенародного поклонения. Не представляю себе старого порядочного писателя, чтобы так был тупо слеп и недоброжелателен. Наоборот, надо радоваться, что в литературу придет еще одна наша единомышленница, на себе испытывавшая все тяготы жизни, свято, через бедность и великий труд пронесшая свою бабью долю и сохранившая в чистоте тягу к искусству и русскому слову. Посмотреть, во что превратятся их бабенки в Машины годы, хотя их сы-

тую и мордату жизнь и близко нельзя сравнить с Машинной жизнью. Печально все это, Витя.

Ну, какие еще новости? Витя Ермаков подумывает перебраться в Томск, заел его Чмыхало. Петя Борисков полетел в Архангельск делать глазную операцию. Толя Соболев слег в больницу с сердцем, совсем доедает его война. Емельяненко приняли в Союз, обещал заехать по пути из Керчи, да что-то нету. Наверно, прямым ходом полетел в Москву — устраивать свою новую квартиру.

За всю зиму и весну ни разу не был на рыбалке — проболел. А весна у нас нынче ранняя, и была она без водополя, лед так на месте и прокис, не пошел даже. Но это раннее обернулось бедой: дуют страшные сухие ветры откуда-то из Азии, стоит жара, удушье, гляжу с балкона — и не видно горизонта от хмари и пыли, да и глядеть на это как-то тревожно, не по себе. Наши края вообще частенько подвергались губительным засухам, ведь за Курском сразу начинается «Дикое поле», которое уходит в Задонье, к Волге и Каспию. В старину там шастали разбойные шайки печенегов и половцев. Ну а ныне и вовсе нечему бороться с засухами: обмелели реки, иссякли родники, вырубали остатные перелески — все, что некогда смягчало сушь. Наша бедная речушка совсем обнажила свое дно, поскольку сейчас пошла мода на овощи, а их надо поливать. И каждый колхоз приобрел мощные насосы, которые денно и нощно выхлебывают из реки последнюю ее влагу. Теперь от моей деревни до Курска я могу идти руслом реки, закатав штаны до колен. Как-то на днях поехал на одну яму, водился там и язек, и лещ, и голавль. Подхожу, а посередине ямы стоит цапля — стоит на пачке...

Я бы к тебе заехал на недельку, поглядеть на чистую лесную водицу, да, Витя, заела забота: я ведь все еще ничего не пишу, надо бы что-то поделать, а то кормить свою ораву скоро нечем будет. Знаю, что время проведу так, в суете, ничего не напишу и лучше бы съездить к тебе, но все думается про работу, мучит совесть. Тебе это должно быть знакомо — такое рабское состояние долга перед чистой бумагой. И на Байкал, видно, по этой причине не смогу поехать, хотя очень хочется.

Ну, мои все живы-здоровы, Ромка все теребит за штаны: «Деда, когда пойдем на речку?» Вот вырезал ему из картона рыбку, прицепил к хворостине нитку с крючком, сидит на кухне, удит.

Друг мой милый, хотя и с запозданием, но обнимаю тебя сердечно и воздаю хвалу Небу за то, что ты остался жив и мне представилось тебя видеть, знать и любить.

*Обнимаю еще раз — твой Женя (Носов)*

### [Весна 1975 года]

Маня, дорогая! (Письмо жене)

Я третий день в Овсянке. Отмылся, отоспался в избушке у Апрони, там тихо и спокойно. С Августой и Апроней был в лесочке, нашел два стародуба и подснежников. Весна здесь затянулась, и потому все цветет, смешавшись. Цветки отнесли на могилки, а на могилках живые жарки растут (Августа садила) и такие яркие! Цветов много всюду: на окнах, в магазинах и везде. А вчера Нюра с внуком, Августа и я на лодке отправились на Усть-Ману, нашли Тоню Вычужанину с Карпо и весь день проговорили, говорили, вспоминали, смотрели. Живут они по другую сторону Маны, где когда-то был кордон и — Господи! — до чего же там красиво! Конечно, отставные военные чины времени не теряют, расхватывают там землю и воздвигают себе дворцы.

Завтра с Витей Краснобровкиным, нашим Юрой и дядей поедем на Ману на машине — Люба, дяди Колина дочь, достанет машину в ДОЗе. Обратное двинем пешком. Надо бы уже ехать вниз, да нельзя — Августа собирается в воскресенье делать сороковины и не отпускает меня. Она все ревет, ревет о Лийке. В Троицу собрались, посидели, она весь вечер проревела и нас расклевила.

По тону письма ты уж чувствуешь, что я «отошел», и не беспокойся обо мне. Я нарочно не пишу о том, что было. Но если б не Галькин Виктор со своей машиной, я бы до сих пор носился по Красноярску и хлопотал. Словом, не дай Бог все это видеть даже со стороны, а уж страдать и переживать — и подавно...

Наши все тебе кланяются и жалеют, что ты не приехала. Зубоскалы все такие же. За завтраком Апроня загнула матюка. Августа говорит: «Ты чего это материшься-то?» А Апроня: «А я люблю», — невинно так ответила.

И вообще, деревня наша как была забубенной, такой и осталась. Вчера Бобровские дрались, с гаком, матом —



как в старые добрые времена. Дядя Миша тоже полез было драться, но зять ему так подвесил!

Ну, ладно. Целую —

*Виктор*

[1975 год]

Дорогой Виктор!

Что-то совсем захирела наша с тобой связь. Понятия не имею, как ты там живешь-можешь? С годами все больше чувствую, как ты далеко от меня, за горами, за долами, а теперь уже и за искусственными каналами и водохранилищами. А бывает, так не хватает тебя рядом. Из всех ребят, что у меня были, ходили в друзьях, ты один остался мне близок и дорог — так распорядилась судьба и ее строгий отбор.

Этот год для меня оказался отчимом: всю зиму до мая проболел в лежку, а летом и вот теперь, осенью, перемог две пневмонии. Так я отметил свои 50! Что же будет дальше?

Между болячками все хлопочу насчет Пети Сальникова: мы его уже взяли на учет, выбрали в нашу ревизионную комиссию, чтобы показать обкому, что он наш, но там все мурыжат и никак не дают добро на его избрание секретарем. Правда, хлопоты в обкоме подстегнули в другом, и он смог обустроить свои личные дела, но, увы, сидит на мели...

В память о моей многострадальной земле шлю тебе открытку с обелиском. Густо утыкана она вот такими сооружениями, но... почему-то эти боевые ребята с бицепсами никаких серьезных мыслей не вызывают, наверное потому, что их можно назвать как саперами, так и забастовщиками, — куда-то тырятся, театрально устремляясь вперед...

Не такие веселенькие композиции, смахивающие на балетную сцену, надо ставить в память о русских саперах — великих мастеровых войны, как, впрочем, и об остальных солдатах тоже. Но мы почему-то боимся мыслей, раздумий, стыдимся печалей, стыдимся утрат и сердечного воздаяния жертвам.

Витя! Хорошо написал о тебе Потанин. Я вырезал эти его штрихи и вложил в твой «Последний поклон».

*Обнимаю. Твой Женя (Носов)*

[Весна 1975 года]

Милый мой друг Виктор!

Вчера возвратился с рыбалки (пробыл там два дня и ночь, конечно, без сна, потому как разве же найдешь время на реке для сна), устал, разумеется, дорога до курской рыбалки всегда винтом, да и на себе рюкзак громадный — с палаткой, шмутьем и пр., так вот устал, а было уже десять вечера, и, увидев твое письмо на столе, не стал распечатывать, не было сил разбирать твои каракули. Но засыпал с хорошим чувством, что твое письмо лежит на столе. И вот проснулся и прочитал. И сел сразу отвечать, чтобы не утратилось за суетой нежное чувство к тебе, пришедшее от прочитанного. Спасибо тебе, старина, за твое неутомимое беспокойство — видно, до конца дней будешь ты стараться всех устроить на земле, укрыть от ушибов. Вот и с Капустиным... Парень он дивный, в наше время редкий, и ты сделал доброе дело, купив для него избушечку. К старости вот только такие, как Капустин и Сальников, и останутся возле тебя, верными тебе навсегда. Такие не продадут. А «конвой» — ты это верно окрестил их — все это преходящее. Народец самолюбивый, чудовищно эгоистичный и жесткий.

Вот и Миша Колосов жалуется в письме на Белова. Белов прислал им фитюльку о Шолохове, пишет Миша, статейка говенная, сырая. Они звонили ему, хотели, чтобы он доделал, но не нашли. И рискнули кое-что сами поправить. И вот теперь Белов разразился бранью и угрозами — как посмели трогать его текст, мол, все, что я пишу — безупречно и пр. А Миша, ты же его знаешь, нервничает, переживает вторую неделю, боится, что Вася уйдет из редколлегии и подаст в суд. Да и вообще я не прощу Васе Ваньку Пузанова. Я тебе уже говорил, как мы однажды до утра в присутствии Распутина лаялись с ним из-за дешевой Васиной пьесы «Над светлой водой». Вася говорил мне: «Чего ты лезешь? Я вот с Пузановым прожил пять лет в одной комнате и ни разу ни одного слова не сказал, что он пишет плохо». То есть Вася молчаливо, со свойственной ему жестокостью наблюдал, как Пузанов\* бился в своей бесталанности, как мучился над рукописями, и позволил ему сделать роковую ошибку — стать писателем.

---

\* Дело закончилось быстрой, ранней смертью Ивана Пузанова.

Я очень рад за тебя, что ты свалил «Царь-рыбу», и понимаю твое блаженное чувство исполненного дела. Знаешь, когда что-то висит на душе, то и отдых не в радость. А так ты, полностью отключившись, славно отдохнешь на Байкале. Кстати, передай всем ребятам мой огромный привет: Пакулову, Ляпину, Жемчужникову, Распутину, Машкину, Петьке из Култука (забыл фамилию), я их как-то всех полюбил и привязался. Но, может, Бог даст, еще свидимся с ними.

Ну и рад, конечно, что ты, наконец, купил машину. Это — благо. Я по себе чувствую, что силенки уже не те, чтобы, как раньше, с огромным рюкзаком ходить за 10—12 км. А кланчить у кого-то транспорт я не могу — умру, а не попрошу. А машина — конь добрый, особенно «Волга», да при твоём-то семействе.

Витя! Значит, так: числа 26-го, а может, чуть раньше (июля) я уеду в Волгоград. Хотелось бы, конечно, на Байкал. Но надо туда: от моей сестры сбежал мужик, зараза, завербовался и уехал на Индигирку, на прииск. Она осталась одна, больная (всю жизнь проработать на химдыме, где делают хлор и всякие прелести), вся изнутри изъеденная хлором, и вот теперь одна, за два года до пенсии. И надо поехать, как-то поддержать морально, ты меня понимаешь, сам все время мотался в Красноярск с такой миссией. Ну, а заодно повезу Валюху. Так вот, ежели и ты в это время будешь в Астрахани, то заезжай. Там же ходит поезд «Волгоград — Астрахань», 10 часов ходу. А то и на «Метеоре», тот еще быстрее, будешь маленько у нас там, Нинка — сеструха, добрейшая простодырка и превосходная кулинарка. А уж оттуда посадим тебя на поезд «Волгоград — Москва». А? На всякий случай адрес сестры такой: Волгоград, 400067, ул. Зои Маресевой (не Маресьевой), дом 9, кв. 41. Хотя бы дай телеграмму. Но было бы славно, если бы заехал. А ежели это дело твое отложится на осень, то, конечно, ко мне с батей хотя бы на денек в Курск.

Вить, а на Байкале ты поосторожнее. Что-то не понравилась эта приготовленная шляпка. На кой она ляд? Чё на ней делать-то? Да ежели «еще под мухой...»

Ну, браток, кончаю и я, ты прав: нам общаться не с помощью бумаги: всего не обговоришь. Вот когда отправишь письмо, вспомнишь: то надо бы сказать, это бы. А с моими нахлебниками та же история. Все работают, а я — корми, покупай шифоньеры, плати за квартиру. До какой

поры? А все-таки вместе, кучей — лучше. Я бы очень без них скучал. Особенно без Ромки. Ну, артист. Как-то пошли на речку, взошли на мост, а он восклицает: «Друзья мои! Вот речка!» Как Жак Паганель, увидевший Кордильеры.

Мане великий земной поклон.

Поедешь в Астрахань — дай знать.

*Обнимаю. Женя (Носов)*

14.9.75 г.

Дорогой Женя!

Вчера пришла ко мне баба по имени Анна из соседнего села и говорит: «Давай, Виктор Петрович, звонить куда-нибудь — от сына из армии более двух месяцев писем нету, мы уж с мамой ревим...» Баба чистенькая, в новой телогрейке, полушалок на ней еще моды тридцатых годов, и история ейная совершенно российская: 26 лет было, как пошли они с мужем в гости, в деревню Стегаиху, к братьям мужа. А муж-то ейный если пьяный, то шибко буйный. Ну и тут, как выпил, так и кулаки в ход. Братья его связали, ткнули рылом в подушку — утром рано хватились — успокоился буян, навеки — неловко в подушку-то уткнули. С тремя детьми осталась, замуж не выходила, теперь вот в единственном жилом доме среди пустой деревни зимогорят. Ребята выросли, разлетелись...

Думали мы с Анной, думали и решили позвонить кому поближе, дочери, что работает на станции в буфете. Поговорила Анна, узнала, что и им ничего от Миколая нету, и пошла обратно в пустую деревушку Деряжницу — «крымовать», как выразилась она. А я долго сидел потрясенный и умиленный: это ж надо такое ироническое, горькое и неунываемое отношение к жизни сохранить, чтоб сказать слово экое! Гоголевское прямо.

Вот, стало быть, и я крымую год уже в деревне, как это татаре-то поют: «Сидит заче на бирюзом и долбит своим нога». И я долблю, только не «нога», а «жопом своим», пытаясь додолбить «Царь-рыбу», совсем дошел до ручки, если б не тишь деревни, не леса да доли... Повесть эта, начавшаяся без определенного сюжета и замысла, вытянула из меня все кишки, надоела мне до смерти, а надо кончать, уж финиш виден, но работы еще немало.

В конце сентября я выбрался в Астрахань, за отцом, обернулся за десять дней, с обострением пневмонии. Сначала кашель бил, затем насквозь пробивало-промывало, но я смылся в деревню,пил прополис, медвежий жир, ушел от городских сквозняков, много бродил по лесу и... больницу миновал.

Октябрь был прекрасен. Я ходил с ружьем и, хотя вологодский рябчик напуган еще более, чем японец в Хиросиме, утащил из леса их более трех десятков, ибо надо было питать сына. Приобрел Андрей в студентах, больше месяца лежал в больнице, и теперь все еще чахнет, погас весь, апатией охвачен. Одна долгоязыкая баба брякнула: «Да не рак ли?!» ...Каждый день я теперь звоню домой и каждый раз думаю; «Чего-то мне скажет Марья сегодня?» — Она-то, бедная, извелась совсем. И отца-то я полудохлого привез. Он там с астраханскими кирюшниками вовсе записался. У Ирины беременность что-то опять ненормально протекает, тоже в больницу кладут. Но более всего боязно за Андрея — не дай Бог переживать детей. Это лишь моему доблестному папе под силу. Нынче, в июле, умер еще один его сын (от мачехи) — пил здорово, колесил по свету, перед смертью явился в Дивногорск, выпил, уснул и готов — сгорел от вина — это по-ранешнему, а по-нынешнему — «алкогольный токсикоз». Положили его рядом с сестрой Ниной, которая, я говорил тебе и показывал место, сорвалась со скалы и разбилась. Я папе сказал о смерти сына, но он был так пьян, что и забыл об этом. Через день я ему напомнил об этом, он ко мне с претензией: «Ты мне ничё не говорил!..»

Да Бог ему судья. Как я его вез, как он полз на карачках в самолет, почти слепой, обезноженный, всеми оставленный, — тоже не мажорная картина. Нет у меня к нему любви, хотя и грешно это, но и злобы на него уже нет — все перегорело, перетерлось в муку — жизнь учит терпимости, которой так людям недостает, терпимости и жалости друг к другу.

Днями звонил Викулов, интересовался моими делами (нечего печатать). Сказал, что звонил и тебе. Я маленько порасспрашивал, и он мне про твою повесть сказал, а про болезни нет, да ты, наверное, ему и не говорил. Слушал по радио передачу — я в деревне-то давно один, топлю печи, варю еду, помойки таскаю и радио слушаю, — по случаю выдвижения тебя на премию, читали, как всегда,

не лучший рассказ, на душе все одно приятно. Передо мной на полке стоит японский сборник, изданный «Прогрессом», — там мы с тобой на одной корочке, и я иной раз подмигну тебе своим кривым глазом и говорю, и даже говорю тебе чего-нибудь на японском наречии: здорово, мол, живем, старичонка!..

Хотел позвать тебя в октябре к себе — жаль такой благостью одному пользоваться, побродили бы по тихому осеннему лесу, да все боялся, сорвут меня, в город вызовут, из-за Андрея, и тебя собою с места, от работы оторву. Ладно уж, теперь до весны. Весной тут рыбешка хорошо берет, а к осени река обмелела. Днями я покину деревню так и с незавершенной повестью, хотя работаю, как вол, но стал вовсе короткий день, да и нет его почти, сумерки все время. Север-то шибко сказывается, слепнуть и печи топить не хочется больше, и опять в шум городской, к суете и на сквозняки. Ох уж эти сквозняки! Так я боюсь больницы. Оказывается, с воспалением не легче, чем с сердцем.

Все же думаю в декабре приехать с повестью и книгу надо сдавать, задолжал большой аванс. Во, сивый дурак! Прежде никогда не заключал договор заранее и авансов не брал, а тут забарахололся: дом, машина, квартира молодым — и попал впросак.

Старичок! Ты осилься да на редколлегию-то приезжай, и с ребятами повидаемся, и пить не будем, я и не могу уж — видно, выпили мы с тобой свое к полсотне-то лет, лимиты наши кончились.

Ну что же, друг мой сердечный. Писать я могу без конца, да ведь лучше воочию поговорить. А Маня моя, человек деликатный, и она мне все напоминала: «Ты Женето не написал еще?» «Не написал, — говорю, — все собираюсь». А у вас в Курске юмористы не перевелись. Галя, наша знакомая, в своем поздравлении написала, рассказывая о своем физкультурном муже: «Толя чувствует себя хорошо. У нас много работы: всякие спортивные соревнования, кроссы, эстафеты — конца не видно. Но когда-то и куда-нибудь прибегут, а пока все бегут, бегут...» Прелесть, правда? Нам — сочинителям — так и не написать!

Ну, остаюсь «крымующий» в деревне Сибле, кланяющийся твоему многочисленному семейству, Виктор, сын Петров, а тебя к сердцу прижимаю. Не болей, пожалуйста, надо до весны как-то доживать, а там и лето наступит.

пит, солнышко обогреет и легкие наши сипеть перестанут и можно будет аж до пупа дышать!

До встречи, родной мой братан!

*Виктор*

[1975 год]

Дорогой Женя! (Носов)

Давай-ка я тебя обниму побитыми, рематизменными лапами и помянем-ка мы средь ликующих толп, вспоминая солдатские пути-дороги, которые только в воображении современных классиков так прямы, победны и сплошь цветами усыпаны. Но они, классики-то, сплошь из второго эшелона и нам не родня. Меня грусть и печаль охватывают в День Победы, хочется молчать, и я не могу видеть радостных лиц, все они мне кажутся ненатуральными, кощунственными, да и как после Днепровского-то плацдарма я иначе могу все это воспринимать?!

Пожелаю тебе здоровья, сердечный мой друг и солдат, сколь Богом отпущено прожить еще и поблагодарить судьбу за то, что не зарыла она нас в «шар земной», а дала возможность еще подышать, детишек слепить, друг с другом повстречаться, поговорить, рыбы половить, цветов порвать.

Я вот вчера щучонку на спиннинг выдернул, а позавчера голова и ельца на удочку на глазах у изумленной Марьи. То-то радости было! Тем радостней, что это первые рыбы, пойманные на новом месте, после ледохода и под окном моего деревенского дома!..

Сюда я забрался почти сразу после возвращения от тебя, выезжал лишь на свадьбу дочери. Вошел в деревенскую жизнь, в работу, и понеси же меня лешаки в Белоруссию и после гулянок свалился в городе Могилеве (и город-то выбрал соответственный), что едва со мной отводились, на одну ночь даже сиделку из больницы дежурить заставили. Во, герой!

Домой едва добрался, с месяц не только писать, а и читать-то не мог. Давление подскочило аж за 220, потом наоборот, низкое, как у земноводного (чуть не написал земновозного! И, пожалуй, правильной было бы!).

Ан и весна вологодская меня нынче с моей пневмонией угнетает — все время льет, льет, всего пять дней за

весну солнечных простояло. Сходил с ружьем в лес (у меня все это рядом!) и прошвырнулся-то верст восемь, а бывало, хаживал с ружьем по 40—50 километров за день, — и скололо у меня всю спину, потом и грудь — едва домой приволокся. Но отлежался. Очень здорово, что я домишко этот купил. Это мое спасение. Люди, как озверели, пристают с просьбами, все чего-то надо, все чего-то празднуют, суется, говорят и вот не дают покою. Я и спрятался! Хрен тут возьмешь, во глубинах-то болот!

Не помню, говорил ли я тебе, что «Молодая гвардия» планировала мне пятитомник, а комитет зарубил — «не созрел, мол», — я знаю, как «зреют». Надо поторговать именем, письмишки подписывать, начальство похваливать, а «ху-ху не хохо!» — как говорил Василий Макарович, землячок мой. Есть вещи подороже пятитомников, в моем понимании. Я и без него проживу, без «собрания», зато спокойно в гробу лежать буду.

Из бытовых подробностей моей жизни радостного мало. Работаю немного. Ирина опять в больнице. У папы моего — бродяги — умерла жена. Остался один, больной, почти слепой, пока он в больнице, но скоро надо будет ехать за ним и брать к себе. Дети его о нем и слышать не хотят, как прежде и он о них. Мне ж надо выполнять мамой заказанный долг. Но на Байкал мы все же поедем.

В остальном пока все более-менее. Книга моя, изданная в Красноярске, помогла найти трех содетдомовцев — уже всем за пятьдесят и все не верят, что они уже старики, как сговорились, пишут: «А жизни-то не видели». Вот и все. Маня и я целуем вас всех. Не хворай!

*Вечно твой — Виктор*

**[Конец 1975 года]**

**Дорогой Витя!**

Вот дождался газетки с постановлением и, когда лично, собственными глазами нашел тебя в списках, вздохнул облегченно: «Ну, слава Богу!» — и сел за открытку, чтобы поздравить тебя от всей души.

Конечно, меня скребануло, когда меня вышвырнули из претендентов, чего уж наводить тень на плетень — обидно было. Но я это пережил, знал заранее еще в Москве и говорил об этом Маше. Я и раньше знал, что это



ненужная и скверная затея — выдвигать нас сразу обоих: кому-то так и так не дадут и, может быть, просто рассчитывали хоть таким образом нас удастся разлучить и поссорить. Но про себя-то я трезво отдавал себе отчет, что, мол, очередь еще не настала, что всей своей жизнью, всей своей страстной, полной боли и скорби работой ты заслужил ее, эту премию. И было бы по-человечески, по-товарищески несправедливо, если бы случилось наоборот — дали бы мне, а тебе не дали. Пишу это тебе так потому, чтобы, Боже избави, у тебя не мелькнула мысль, будто моя любовь и нежность к тебе дрогнут и поколеблются.

Досадно вовсе другое, что вышиб-то меня из списков человек, который, в общем-то, плевал на Россию, как, видно, плевали и те, кто его выдвигал за высосанную из пальца вещицу. Одним словом, они сделали все, что возможно, по принципу: «Коси коса — пока роса...»

И вот теперь, когда страсти улеглись, я подумал: подождите, братцы, а где же моя книжка? Где же мои «Шлемоносцы»? Оказывается, кроме провинциального Воронежского издания в 50 тысяч тиражом... Я в задах уже четвертый год. Вроде и хорошее это дело, но скучное... Зато где-то после года наступает отрада души.

И еще огорчает, что нынешние папы-мамы скупы на ребят и сильно внуками не балуют. Вот у меня один Романтей, уже пора бы быть и второму, ан нет, говорят, аудки.

Вить! Не болей и хоть лето продержишься на ногах. Насчет вологодской рыбалки пока не знаю, надо отдышаться.

*Твой Женя (Носов)*

[1975 год]

Читателю Цепенко Леониду Евдокимовичу!

Леонид Евдокимович! Я работаю в литературе с лишком двадцать лет и, естественно, за это время получал всякие письма, самое их большое количество пришло на еще не завершённую повесть «Последний поклон». Есть среди них и восторженный отклик покойного Черкасова, которого Вы употребили в качестве дубины, дабы расширить меня. Но я не из робких людей, более того — из упрямых, а еще и чувство собственного достоинства имею и посему не только не отвечаю на письма, написанные

прокурорским тоном, но вообще удостаиваю их общением лишь в работе своей. Вам Митроха из главы-рассказа «Ночь темная-темная» ничего не напомнил? Он ведь Вашим тоном общается с людьми: «найти истинного виновника (или виновников)», «не должен был, не мог допустить таких грубых ошибок», «как никто, обязан», «я не хочу умалять вины автора, во многом он виновен», «живой поклеп на сибиряков» и т. д. и т. п.

Не стал бы я тратить время и слова на этот ответ, ясно сознаю, что это бесполезно — человек, старающийся изобличать, притираться к стене, обычно считает себя умней всех и есть он крайняя инстанция во всяком деле, в общем-то типичная позиция воинствующего обывателя, который склонен думать, что история и все в этом мире началось с него, им постигнуто, до конца исчерпано и, значит, с ним и кончится. Но... Ваши требования и угрожающий тон обращены не столь к автору, сколько к издателям. Вот уж это напрасно! Коли Вы есть «потребитель продукции», а «продукция» эта подписана мною, мне и отвечать за нее, а то, неровен час, на задерганных, работающих за мизерную зарплату редакторов обрушится «меч карающий»...

Но по существу. Итак:

Куть — кутья. И это мне ведомо, любезный «потребитель продукции». И про поминальную кутью, и про куть, но... повесть вот именно «автобиографическая», при желании Вы могли бы найти в ней куда более существенные сдвиги и «неправильности» в языке, однако в данном случае я сознательно, а не по лопоухости употребил слово, ибо так оно употреблялось в моем родном селе. Повесть издавалась уже несколько раз, вышла в «Роман-газете», и читатели не раз и не два обратили внимание на то, что возникает путаница с кутьей и кутью. Правда, в отличие от Вас, читатели те допускали возможным употреблять такие слова, как: «мне кажется», «я думаю», «по-моему», «может быть, так будет точнее», и вот в следующем издании слово «кутья» будет уже заменено (книга на выходе). В издании «Роман-газеты» или в первом издании вкрались вроде бы маленькие ошибки: бродень сделался бреднем и пр. Возможно, это прошло еще в рукописи на машинке.

Книга в Красноярске издавалась сложно. Я живу от Красноярска далеко. Добрые люди на родине спешили выпустить книгу к моему полувековому юбилею, и мне не

довелось вычитывать гранки и верстку, ведь есть такие вещи, которые выправлять должен только автор; редактор не может трогать текст автора, тем более издававшийся, ибо не знает — сознательно автор допускает то или иное языковое отступление, употребляет тот или иной образ или оборот (тем более, что все редакторы, работавшие со мной, знают, как я порой свирепо отношусь к любого рода вмешательствам в мой текст и обычно сам все редактирую, не полагаясь в этом сугубо-индивидуальном деле ни на кого) — вот по этой причине в красноярское издание вкралось немало ошибок, которые идут еще с моей машинки, например: вместо «станок Карасино» получилась «станция Карасино». Досадно!

Сейчас я заканчиваю работу над «Последним поклоном», дорабатываю старые главы и соединяю их с новыми. Вижу, как еще несовершенен местами текст, как много надо доделывать, дописывать, сокращать повторы — этим я и занимаюсь, вижу также, как много скопилось всякого рода ошибок при многих изданиях глав отдельно и книгой.

Творческий процесс — живой процесс. В нем, как и во всякой работе, ошибки неизбежны. Письма читателей часто помогают их заметить, исправить, но только не такие письма, как Ваше. Повластвовали Вы, видать, Цепенко, на своем веку, пусть где-нибудь и в маленькой конторе или в школе, однако помордовали людей всяких, ведаю, и язык Ваш находится в вечном движении, а жизнь весьма многообразна.

Даже Сибирь неодинакова и неоднородна. Не знаю, как у Вас в Ирбее, но в нашем селе не было ни одного дома одинакового, ни одного хозяина или хозяйки, похожих друг на дружку. Двор моего дедушки был так небогато построен, что к сеновалу на санях не подъехать, потому сваливали сено во дворе. А Вы уж сразу — «поклеп»! Я пишу Вам это письмо из деревни, где сижу и работаю. У меня тут дом куплен крестьянский, у него крытый двор, так в этом дворе есть въезд прямо на поветь и, стало быть, прямо с возом заезжали наверх и сваливали сено под крышей. В этом же селе еще до сих пор многие моются в русских печках, чего в Сибири давно не наблюдается, зато здесь отделяют дома, как терема (отделявали), а у нас больше о крепости дома и заплота заботились.

Есть такая поговорка: «На свой аршин не меряй». Работу же писателя и вовсе ни на какой аршин мерить не-

льзя. Каждому писателю «аршин» этот дан природой или Богом, а не выдан в конторе, как диплом или ордер на квартиру.

Родился я в Сибири, жил и живу почти все время в деревне. Что дала и чего отняла у русских мужиков советская власть, знаю не хуже Вас. Преступлений не совершал. К суду не привлекался. За участие в боях за родину солдатом награжден орденом и медалями. За работе в литературе награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и потому считаю тон Вашего обвинительного акта (письма так не пишут) недопустимым.

*В. Астафьев*

[1975 год]

Дорогой Евгений Васильевич! (Бахтин)

Приветствую Вас, Елену, маму Вашу и ребят, шлю всем самые наилучшие пожелания, прежде всего женщинам, и поздравляю их с праздником и началом весны!

Евгений Васильевич, вот чего я беспокою Вас. Не живет ли мне спокойно и все тянет меня написать чего-нибудь сердитое, и вот написал я начерно роман о форсировании Днепра. Роман небольшой, «тургеневского размера», но тем не менее очень сложный, и долго мне еще предстоит с ним возиться, и хотелось бы, чтоб он был точнее в изображении частностей войны, особенно переправы. Выберите, пожалуйста, время и напишите мне поподробней о наших гаубицах. Почему они шнейдеровками называются? Каков эффект их стрельбы? Как готовились к переправе? Как вели бой с другого берега? Делалась ли какая-то разведка и пристрелка заблаговременно? Поподробней и как можно больше напишите терминов, которыми пользуются при ведении и подготовке огня с закрытых позиций и на прямой наводке. Какие чувства переживали Вы, когда находились на плацдарме, особенно к тем, кто остался на левом берегу, попивая водчонку, щупая баб и требуя от Вас «активных действий», сводок и донесений?

Словом, все, что припомните о плацдарме, — напишите. Я пишу роман не о нашей дивизии, и люди, и действия в романе обобщены, собирательны, но кое-чем из того, что застряло в памяти, естественно, воспользуюсь.

Перечитал я кучу литературы, мемуарной и документальной о «битве за Днепр». Боже мой! Я и не предполагал, что можно так и столько наврать, исказить все! Значит, есть причины не говорить правду, а причина-то, в общем, одна: наши колоссальные потери на Днепре, безалаберность и неподготовленность при захвате плацдармов и неспособность полководцев, таких в том числе, как Ватутин, вести операции крупного масштаба и полное пренебрежение к человеку — солдатами сорили, как песком. Да и сейчас полководцы, увешанные орденами, все делают, чтобы доказать, как они блистательно воевали и чуть ли не с каждым солдатом целовались — такие они добрые отцы! Никто никого не застреливал, не расстреливал, заградотрядов, штрафных рот в помине не было, а уж храбры, храбры были, особенно политручки! Прямо врага так и ломили молодецкой грудью!..

Передайте мой привет Александру Кондратьевичу и Ване Вересиянову.

*Обнимаю Вас. Виктор*

[1975 год]

### Письмо в «Пермь вечернюю»

Недавно из Перми мне пришел подарок — пластмассовая коробочка с доброй и дорогой сердцу надписью. А в коробочке микронабор слесарного лекального инструмента, сделанного, изготовленного руками учащихся пермского ПТУ № 3, что в Мотовилихе.

В теплом и большом письме, написанном мастером группы — Константином Александровичем Королевым, были такие слова: «Ручная работа слесаря-лекальщика, особо точная, ювелирная, «умственная», как говорят про нее ветераны-лекальщики, и она, наверное, чем-то сродни сложной и удивительной работе писателя. И то и другое — дело творческое, требующее больших знаний и умения, того, что в рабочем цехе называют мастерской смекалкой. Результат труда, качество и отделка изделия по самым высоким требованиям должны соответствовать самому неумолимому ОТК — совести исполнителя, его работе и писательской чести.

Такие вот письма, посланные тружеником-читателем, доброжелательным, тонко и точно разбирающимся в ли-

тературе, умеющим отделить зерно от плевел, — есть самая большая радость и благодарность за наш нелегкий труд.

В том же письме мне сообщили, что ПТУ № 3 (прежде ФЗУ) седьмого декабря исполняется пятьдесят лет.

Пятьдесят лет в мотовилихинском училище учили и учат мастерству и рабочему делу молодых ребят и девушек. Да это ж целая армия! И, наверное, нет уж такой области в нашей стране, где бы не жили и не трудились бывшие фэззошники, гордо и с достоинством продолжающие дело своих дедов и отцов — мотовилихинцев! И в такой славный для молодых парней и девушек юбилей я, бывший фэззошник, начавший трудовой путь в лихие и тяжелые военные годы, шлю им самые добрые пожелания успехов в труде и в жизни, творческих свершений и дерзаний, а их наставникам — здоровья и много-много терпения, потому что знаю, как нелегко воспитать нашего брата, научить не только профессии, но прежде всего уважению к труду — властителю всего сущего и святого на земле.

Еще раз благодарю за чудесный подарок, буду стараться каждую строку в моей «продукции» делать так же тонко и точно, как вы сделали слесарный инструмент в дорогом мне подарке.

*В. Астафьев*

[Июнь 1975 года]

Дорогой Женя! (Носов)

Письмо твое застало меня в момент, когда я после двухгодичной муки и проволочек, наконец-то, раскачал себя на славную и самую большую главу «Царь-рыбы» и уж не оторвался, хотя мне, как всегда, захотелось тут же засесть и хоть на бумаге поговорить с тобой.

Глава эта была какая-то неловкая, все что-то мешало ее написать. Да и вся книга так идет: то воспаление легких, то супом ногу обварил, то дети женятся, то папу надо везти, то самому юбилей справлять, и если б не самодисциплина и сибирский упрямый лоб, бросил бы все. Но теперь уже легче — глава начерно написана, вся книга, пусть и сырая, но в сборе, а доделывать, домучивать — это уж дело писателя, а не человека, тут уж профессио-

нальная машина пусть скрежещет шестернями, но домальвает.

Впереди еще часть июня и июль. В июле, может осенью, надо съездить за отцом — и все, можно отправляться на Байкал — заработал моральное право быть там, считать себя в отпуске, хотя с деньгами и туговато.

Мой деревенский дом взял и берет много — все детки, замужние и холостые, сироты братовы — все, считай, на моей шее, хотя им кажется, что живут они сами собой, на свои средства. Да я и не угнетаю их сознанием нахлебничества, пусть так и думают, а умру — почувствуют. Работоспособность, хотя уж и не прежняя, еще сохранилась. Конечно же, и страх сохранился: не так получилось, видеть, весь порох вышел, выписался, издержался...

Деревня и дом мой здесь принесли мне не только радость, а счастье — такая здесь тишина, красота, рыбалка, уединение, физический труд и хлопоты отвлекают от самокопания и политичских размышлений. Убухал все деньги — купил «Волгу», чтобы еще и транспортную зависимость аннулировать, да и от вологодских «друзей» быть подальше. Разглядел я их, убедился, что пристального к себе присмотра они не выдерживают и не стоят — дерьмо, собранное в старинный крашеный туесок из милой бересты, прикрытое сверху благолепной иконкой русского письма, но уже осыпавшейся, растрескавшейся и отцветшей до доски, потерявшей все, кроме сознания: «Это мы на ней изображены!..» Знаю теперь, отчего родилась и приводящая Белова в бешенство оттого, что точно, поговорка: «Вологодский конвой шутить не любит!..»

Ну-с, вот значит, главу закончил, хотя и не без греха, заболели зубы, — все вынес, вытерпел и в Союз не ездил, пока ее, проклятую, не завершил.

Машина стоит в конюшне, где раньше корова и конь жили, молча стоит, ждет Андрюшку — он заканчивает университет, распределили в Вологду. Сюда же и Толька с семьей переедет — запился, бродяга, по бабам ходит, пропадает, надо, чтоб на глазах был.

Был у меня по весне Женя Капустин несколько дней, нарыбачился, задохнулся, глядя на меня печальными глазами, — понял я его, бедолагу, мечту выговорил, купил ему тут избенку аж за 150 рублей — старенькая, хроменькая, но славная избушка. А Женя свалился — сказываются раны, отнимаются ноги, лежит вот в больнице и мечтает лишь о том, как скорее попасть в деревушку. Жду его

на следующей неделе. Марья посадила в их огороде редиску, лук, чеснок, салат, морковь, репу и картошку. Я сегодня ее окучил. Хорошо на участке, белый морковник цветет чуть не выше избы, яблоньки растут, красная смородина под окном вызориваться начала. Когда покупал избушку, думал: может, и другой Евгений, который Носов, приедет, когда захочет поработать — вот ему и угол отдельный, топи печь, пиши, думай, а потрепаться ко мне придешь — двести сажен ходу. Право слово, Женя, придет осенью и увидишь, что сманивал я тебя не зря...

Рассказ твой «Переправу» мне прислали из Курска еще до появления его в «Лит. России». И я подумал: не написать ли тебе — для раскочки — таких вот «мелочей» побольше, и про муравьев в дровах, и про повара, и про все, что ты помнишь, — это можно и нужно делать — для поддержки «формы» и в малом промежутке времени, иногда и «на ходу». Мне очень хочется, чтобы ты работал, ибо работа наша — жизнь.

Я получил письмо от Пети Сальникова и не знаю, куда ему писать. Очень я люблю этого дивного мужика и будь на месте бабы, никого, кроме Пети, не выбрал бы себе в «вечного спутника». Но как и чем ему помочь? Думаю, что в Курске, возле тебя, ему было бы полегче, поспособней, что ли. Ну, смотри сам, а я боюсь, чтоб он не потерялся.

Я если из Астрахани поеду (туда полечу), дам тебе телеграмму, хоть коротко повидаться на вокзале. Миша Колосов вроде бы собирается на Байкал. Очень жаль, что не получается у тебя. Там нас ждут — шляпку, удочки — все приготовили. Но работа есть работа.

Милый ты мой старичок! Сколько бы я тебе ни писал, все будет мало, все не выговорится, потому закругляюсь. Кланяюсь тебе и твоему семейству: Вале, Жене, Тане, Ирине, Ромке — всем-всем! А перед моими глазами стоит книга на японском языке и на ее корке твой и мой портреты.

*Целую — твой Виктор*

**[Октябрь 1975 года]**

**Дорогие друзья!**

Если бы Вы знали, как для меня важно, что Вы есть в моей жизни. Казалось бы, мы так редко видимся, так ред-



ко пишем друг другу, а все равно я Вас чувствую как одну из главных опор душевных, я знаю, что Вы есть.

Благодарю сердечно за Вашу телеграмму, которая наделала переполоху на нашей почте в связи с непривычным текстом. Спасибо!

Не мог сразу ответить Вам, так как непрерывно находился во всевозможных разъездах: вначале был в Хельсинки, на премьере «Агонии», которая прошла отлично и по сей день, говорят, идет при полных залах. Потом был две недели на юге с братом, затем ездил в ФРГ — сидел в жюри международного фестиваля и привез главный приз советскому неплохому фильму «Ночь коротка».

Теперь здесь и надолго. «Агонию» продают налево и направо, а у нас, судя по всему, она пока не пойдет — это, кстати, первый и уникальный случай в истории кино, когда фильм демонстрируется где угодно, кроме собственной страны. Даже интересно!

С «Матерой» дела тоже неясны, но есть надежда, что она появится в кинотеатрах в феврале.

Новый сценарий, который мы написали с братом уже полгода назад, на днях закрыли окончательно, так что я вновь у разбитого корыта.

На следующей неделе я надеюсь закончить установку памятника Ларисе. Это очень, как мне кажется, талантливая, одухотворенная работа Славы Клыкова. И как жаль, что дура Федосеева отвергла его изваяние, которое он сделал для могилы Шукшина. На днях состоялось открытие надгробия Василию Макаровичу. Сделал его какой-то еврейский график, друг ее нового мужа Аграновича, сделал нечто похуже-расхуже с хлипким намеком на крест. Единственное, что там хорошо, так это переведенная на фарфор трагическая фотография Шукшина, которая была на его похоронах (Вы ее знаете). Выступали на открытии несколько человек, среди них, конечно, неизбежный С. Михалков, что-то стандартное прочел по бумажке. И очень хорошо, по-русски страстно говорил Михаил Ульянов.

Скоро и нам предстоит открытие нашего мемориала. Вы знаете, очевидно, что мы делаем мемориал на шесть могил и в центре ее будет стоять скульптура Ларисы. Но пока не можем довести это дело до конца, так как не хватает денег. Но, конечно, доведем.

Вот сколько новостей я вывалил на Вас сразу. Давно ничего не слышал от Вали. Где он? Что? Надеюсь все же, что меня пустят в Иркутск с «Матерой», и тогда, может

быть, заодно прилечу и в Красноярск. Очень бы этого хотел.

До сих пор жалею, что Вы не были на нашем ужине после премьеры. Было прекрасно! Мы все ощущали себя победителями, веселились, разговаривали, а теперь эта «победа» ушла куда-то в болото, аннигилировалась.

Страшно хочется работать. Страшно. С каждым годом все острее ощущаю утрату возраста, а наша работа, как никакая, связана и с возрастом, и со здоровьем, с наличием сил и настроения.

Не забывайте меня.

*Всегда Ваш — Элем Климов*

Большой Вам привет от Петренков.

[1975 год]

Дорогой Витя!

В этом году так получается, что посылаю привет и братские объятия по случаю Победы только тебе одному и больше никому. Много у меня приятелей застольных, шапошных, но ты у меня один — друг, товарищ, с кем хочется говорить, молчать, пить водку, горевать, радоваться, раскрыться душой — словом Друг с большой буквы.

А еще — некогда писать всем остальным: засел за работу, начинаю помаленьку звереть — это меня по-настоящему бодрит, гонит застоявшуюся кровь и мысли, что я их взбалтывал вот уже два года после «Шлемоносцев». Пишу повестушку про войну, про русского мужика в этом пекле; но пока не знаю, что получится. Целых три месяца подступался к ней, подходил к столу и уходил с позором, не написав ни строчки. Но теперь, слава Богу, что-то сдвинулось. И меня радует, что и ты начинаешь о том же. Удачи тебе, здоровья и сухого пороху.

Как хорошо, что ты уцелел и протопал еще по материк-земле целых тридцать годов. Кажется, я был бы вдвое беднее и одиночей, если бы тебя убили и я бы никогда тебя не узнал...

Вот этим и живу на сегодняшний день! И этого, оказывается, немало, когда на свете есть один верный друг.

Марье и всем твоим поклоны. Тебя прижимаю к сердцу.

*Твой Женя (Носов)*

27.7.76 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Привезли сегодня мне на Байкал газету со статьей на «Царь-рыбу», и я не выдержал, сел писать, хотя время сейчас не почтовое и письмо мое найдет вас, очевидно, нескоро.

У критики нашей выработался удивительный дар: говорить так, чтоб ничего не сказать, хотя есть о чем говорить, и даже когда она хочет что-то сказать. Ан нет, не тут-то было, из хомута не вылезешь. Я этого Чупрынина совсем не знаю. Вполне может быть, что он порядочный и честный человек, к Вам, по крайней мере, расположенный, но ведь с завязанным ртом пишет и ни единого слова удивления, ни единого возгласа нигде ни в чем не вырвалось, будто прочитал он Бабаевского или кого там еще! И что за рыба кровь у этих ценителей литературы! И о плохом, и о хорошем, и о выдающемся (ведь должны же они чувствовать, если не понимать, выдающееся) писать одинаково спокойно! На это способна, наверное, только наша критика, для нее — все «соспок».

Дело, конечно, не в этом, главное — «Царь-рыба», и Вам, понятно, с большой колокольни чхать, что там о ней пишут. Но ведь должен же существовать какой-то закон прямой связи: температура и энергия прозы — температура и энергия критики. Русская критика всегда умела быть и умной, и горячей, а тут все будто подсохнуть не может, из грязной воды вылезши, все назад оглядывается. Зато на живое слово — они, как орланы: глаза по чашке у них на то, как народ, помимо их дачной прислуги, разговаривает и зырк-зырк, высматривает и определяет: сорняк! На это они профессора. А после и кивают друг на друга, выражаясь, конечно, на чистейшем языке их родного эсперанто.

А впрочем, черт с ними! Ничего с ними не сделать, они всегда были и будут. Важно, что и с Вами тоже ничего не поделать. Русское слово не вдруг удастся вырвать и за забор выбросить, когда Вы пишете «Оду русскому огороду» и «Царь-рыбу».

Ваш ультиматум «Роман-газете» настолько смутил эту чистопородную девицу, что Пациенко сломя голову кинулся разыскивать меня по Москве. Послушал я его: ну прямо костями все последние пять лет ложился человек, чтобы меня напечатать. И с огромным трудом, оказывает-

ся, добился, но и этого показалось ему еще мало. На другой день звоню, как с ним договорились: Беляев из ЦК против — и как это за день, даже за полдня успеть докатиться до Беляева! Уму непостижимо! Но Пациенко собирается разговаривать с Бондаревым. В семь утра поднял его, теперь вот успокаивает его...

Конца этой истории я не стал дожидаться, улетел домой. И выходит, дорогой Виктор Петрович, даже если и напечатают, то это не Вам, а ему как бы я уж обязан по гроб жизни. А я во всяких этих обязанностях уж теряться стал, чувствую себя настолько, что и писать, и дальше залезать в долги всем, кому обязан?.. И почему это мы всем им обязаны? За то, что читают, жмут руку и не выгоняют пинками, за то, что изволят смилостивиться и отнестись по-человечески. Только, может быть, в «Молодой гвардии» с этими женщинами и Ганичевым я легче и более менее спокойно себя чувствую. Они не набивают себе цены, они делают то, что нужно делать, и я им всегда буду благодарен. Они, что могут, делают от души и без игры, а к тому же еще и с уважением к автору.

Нынче я и без водки в Москве устал и теперь вместе с ребяташками на Байкале бездельничаю, варю им еду, хрумкаю вместе с ними морковку. Так ли хорошо вдали от суеты. Да ведь ненадолго, что-нибудь да вырвет и закрутит опять.

Будьте здоровы, Виктор Петрович!

*Ваш В. Распутин*

[1976 год]

Дорогой Витя!

Мы с тобой как сговорились хворать: я тоже за 3—4 дня до праздников схватил махровый бронхит, завалило бока, чихну помаленьку, так что праздники обошлись без тостов, в постном чтении талмудов и газет. Сегодня первый раз был на улице, прошелся до почты, но будто одолел енисейский перевал: весь взмок и дрожь в коленях. А все оттого, что месяца два марал бумагу и источал из себя табачный дым, как Везувий. Написано с гулькин нос, а дыму за два месяца напушал на всю Курскую область. И на этом подорвался.

А сейчас глянул на написанное, и пришло уныние:

никуда не годится, надо все сначала, а сил уж и нету. Тяжеловато стало писать, дряхнут мозги, деревенеет язык.

Толя все зовет, да куда ж мне ехать-то, если до почты с трудом добрался. Не поеду, хотя и надо бы навестить Восточную Пруссию, поискать то место, где мне отхватило пол-лопатки. Впрочем, уж и не найти. Тогда эти места и хутора назывались по-немецки, да я и не запоминал их в то время, а карты у меня не было, один вещмешок, а что в том вещмешке было, что носил — тоже не помню. Помоему, ничего там и не было. Разве что два погона, которые я так и не прицепил за всю войну со дня выдачи.

Вить, ну, брат, это здорово, что ты уже дед! Поздравляю!

Желаю тебе доброго здоровья да радости во внуке.

*Женя (Носов)*

[Осень 1976 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Извините, что долго не давал о себе знать, а до меня от разных людей доходили разные слухи-сведения, что в разных местах Вы хорошо обо мне отзывались.

Однако же, прочитав «Царь-рыбу», я не считал себя вправе писать Вам. Чтение же откладывал, так как заканчивал «Житие». И верно, оказывается, это сделал, так как после прочтения Вашей вещи вторую неделю ни до чего своего взяться не могу, ибо многое следует передумать и переосмыслить, так как... так как... уж так вышло, что перекликалась «Царь-рыба» с кое-какими моими замыслами и чувствами и надо мне другое кое-что искать!

А теперь про «Царь-рыбу»!

Дорогой Виктор Петрович! Читатель я въедливый и искренний. Так вот: Ваша последняя работа потрясла меня! Ничего подобного я еще не читал и, откровенно, не ожидал все же, что так у Вас выйдет! Почему не ожидал? Да все же «первое лицо» очень меня смущало: а не получится ли типа путевых впечатлений — раздумий — воспоминаний? Нет, нет и нет! Прекрасная и невиданная доселе книга, где столько искренности и заботы о простом человеке, где столько откровенности и заботы о его судьбе и столько к нему, великому и несчастному, любви!

Книга вся цельна в замысле и воплощении, и главное

для меня вовсе не вопли о природе, а о народе, она и написанная народом! Что ж, сломав сословность, революция дала все же народному таланту, Вам в данном случае, чистым, впервые народным, а не литературным языком, спеть песню народному человеку, потому что... потому что все ведь о простых, нормальных-то людях писывали раньше все же снисходительно дворяне и интеллигенты. Они любили его, конечно, люди русские, но любили со стороны. Потом — с точки зрения «идей» (это после революции), а Вы сказали не о нем, а через Вас он сам заявил о себе! Это для меня самое главное, и это самое ценное, и в этом, пусть для меня, — уникальность Вашей последней вещи.

Правда, Вы шли к этому все годы и именно это делало Вас всегда уникальным. А Ланщикова, к сожалению, и тогда этого не углядел, вот почему его книга о Вас меня все не удовлетворила. Я, правда, иногда думаю когда-нибудь восполнить этот пробел, но, поверьте, живу в такой нервности, что сил хватает лишь это скрывать, а на глубокие раздумья о критических задумках — не хватает пока спокойствия, не житейского от домашних (мне ведь, наконец-то, повезло!), а общей крохотной устроенности! — Опять я со всеми схватываюсь...

Недавно по телевидению делали обо мне передачу. Я о Вас говорил и со мной кое-кто заспорил, ослепленно, эгоистично спорили. Да Бог с ними! Но вот недавно с Артюшиной схватились на Вашей «Царь-рыбе». Она вдруг: но вещи не прочла, дескать, рука редактора! Тут я и не сдержался: да ведь это, говорю, счастье, что язык сохранен и мысль тем самым сохранена. И Россия получила наконец шедевр! Ну, она и сказала, что «Урал» вряд ли со мной сможет в дальнейшем сотрудничать. Она ждет благодарностей за изуродованную донельзя «Травинку». Значит...

Простые люди в «Следопыте» восхищены тоже, кстати, «Царь-рыбой». И моя Люся читала ее с вечера и всю ночь и, не выспавшись, пошла на работу.

Да-а, именно то, что Вы рассказали не о народе, а что посредством Вас как бы русский человек — народ заявил сам о себе и тем вещь Ваша лишалась литературной искусственности («художественности» — так я это издевательски определяю!), делает эту Вашу работу первой из всех пока важных произведений многих лет, если не всех...

«Привычное дело» — слишком все же стилизовано.

«Пряслины» — не знаю, а трудно читать, местами не-

интересно и тенденциозно, нет взволнованности повествования, а есть «изображение».

Носов прекрасен, конечно, но все же не столь пронзительно искренен, чтоб волновать до самоотречения. Может быть, язык у него слишком курски классичный для меня?

Вот таково мое взволнованное мнение о последней Вашей работе, о которой я бы мог рассуждать очень долго.

Поражает меня Можаяев с его замёткой — наскоком на Ваш язык. Жаль. Я очень люблю его «Кузькина». Ну и критика наша невнятная, которая до сих пор неспособна четко сказать, что мы получили Вашей «Царь-рыбой»!

Еще же, скажу откровенно, хоть мне и понравился беспредельно отрывок в «Лит. России» (жаль, что он в журнале исчез — хоть Дамка и повторяет Грохотало в ситуации со штрафом), я все же ждал «Царь-рыбу» с нетерпением после... «Пастуха и пастушки»!

Все же не буду до конца искренен, если не скажу, где меня кое-что несколько смутило.

1. Все же название. Оно красивое, но слишком далекое от глубины вещи. Мне казалось, что лучше бы типа «Енисей», или же «Река», или же просто «Е-ка-лэ-ме-нэ!». Ну, что-то такое и конкретное, и обобщающее, ибо книга совсем не о природе, а о комплексе судьбы и жизни и характера народного (наряду и о природе).

2. Мне последние, журнальные афоризмы показались лишними, потому что они бледнее тех чувств, какие вызвала вся книга.

3. Очень тяжело мне было читать про библиотекаря Люду. В ее лице как-то получилось так, что несколько цинично, что Вам вовсе несвойственно, обижена и женщина вообще, и наш интеллигент. Я понимаю, что интеллигент наш, особенно современный, благодаря современному устройству общества и современному образованию выходит в жизнь даже лишенным той самой интеллигентности, какую должен был бы иметь, и все же... как-то не надо бы добивать русского интеллигента (редкий сейчас тип, почти что невозможный) в его стремлении к служению, пусть к служению, выражающемуся подчас в формах диких, нелепых, фантазмагорических... А еще — Люда все же женщина, а она — свята же — как ни крути.

Может, здесь и личное мое примешивается, но я, сколько зла и низости от них ни натерпелся, все же как-то больно воспринимаю их соблазнения... Я не ханжа, я сам

в свое время Бог знает, что творил, но если это не была любовь, так это было скотство по взаимному уговору, а ведь Люду-то обманывали. Герцев — ладно, ему и положено, а пилоты-вертолетчики? И ведь Люда-то не блядь! Если б блядь — тогда другое. Да и она в лице матери-то Акима какое существо прекрасное, боготворимое?

Ну, все это, может быть, мое личное, но мне сдается, что Люду так мог бы себе показать «москвич», типа Герцева, но все же... все же... но Вы столь беспредельно бескорыстный и добрый к людям!

Вот теперь почти все!

От меня и Люси примите большой привет! Мы оба восхищены, и, как выйдет книга, Вы уж, Виктор Петрович, пожалуйста, пошлите мне.

О себе: «Житие» закончил. Отправил в «Дружбу народов». Рецензию послали почему-то в двух экземплярах, одну посылаю Вам — любопытная писулька... и горькая. Другую, новую вещь, отправил в «Новый мир», ответа пока нет. О «Нашем современнике» никаких надежд и вообще сотрудничества не связываю. Однажды посылаю им свою рукопись, а она с хулиганскими по языку подчеркиваниями вернулась, однако с просьбой присылать новое. Нет, не обойти мне Викулова с его «рабочей» редколлегией.

В издательстве «Молодая гвардия», у Луконина, лежит моя рукопись, пока ни ответа ни привета, кроме сообщения, что будет направлена на рецензию.

В «Урале» глухо.

Снова да ладом переделываю «Тихую Родину», бьюсь над ней, бьюсь, а что оно выйдет?! По вечерам спасаюсь рыбалкой на крохотной под боком речке — щучек таскаю. Люся меня понимает и как увидит — почувствует, что мне плохо, сама гонит на реку.

В общем, живу в ожидании приема в Союз (в сентябре) и выхода книжки в «Современнике». Конечно же, жду хоть какого-то отклика на роман и на книжку, а их в местной печати все нет и нет, и только по закоулкам слышу, что за «Травинку» мне предстоит краснеть...

Низкий поклон от меня и Люси Марии Семеновне.

*Ваш Саша Филиппович*



10.10.76 г.

Дорогой Виктор Петрович!

При чтении Вашей «Царь-рыбы» был у меня порыв немедленно написать Вам, но сдержал я его, полагая, что и без меня Вы не можете никуда скрыться от всяческих откликов. А теперь жалею: нет уж той непосредственности, зато не страшно лезть к Вам с посланием, авось не так уж сейчас ими Вы завалены. Это, право, атомная бомба для наших рабовладельцев над нашей природой, только они поймут сие позже «безоплатный счет».

Лет десять назад в Тбилиси я купил Вашу книгу «Синие сумерки», и с тех пор мне легче живется на свете. Рассказ «Еловая ветка» я занес бы в хрестоматию лучших рассказов русской прозы. Может быть, в литературном отношении у Вас есть и лучше, но уж очень он мне дорог как охотнику-таежнику, хотя и имею несчастье быть москвичом и потому порода иная, но уже почти тридцать лет ни одной осени не провел вне тайги, так что могу почитать Вас как таежного былинника и поэта, — огромный талант и одновременно великий словесный художник, и это позволяет Вам заглянуть в самую суть, самые глубины явлений — в этом всегда была сила нашей литературы. Только Вы, беловский Иван Африканович да Скалон со своими «Живыми деньгами», вселяете надежду, что литература у нас этих традиций не утратила.

Еще с далекого 1954 года, когда я впервые поехал на Енисей (отец был в ссылке в Маклакове), я связан жизнью с Сибирью. Жил в Красноярске несколько лет, жена моя Надя — чистокровная сибирячка с Абана на Абакане. Мы с ней читаем все Ваше вздохом, знаем и любим всех Ваших близких, видим их, потому что вращались с ними в жизни, в поездках, в тайге. Помню я, как жалел, что так и не довелось мне быть с Вами в «походе». Ну да что теперь? Не вздыхайте.

Отец показал мне Ваше замечательное письмо — спасибо Вам за внимание. Есть у меня уже кое-какой «материалец», но, право же жалеть не о чем, нет нужды искать помощи у науки. Нет, она должна искать помощи у Вас! В самом деле, я твердо знаю, что в полной мере достичь правду глубинную невозможно ни в какой статье, ни в художественном очерке, это может, хотя бы в какой-то мере, пробить только истинный художественный талант, как трава сквозь асфальт!

Я не раз бывал в Вологде и даже подумывал зайти к Вам, но, прямо скажу, не посмел, ибо прошли времена, когда и к Чехову, и к Толстому перся каждый прохожий. Однако же прошу иметь в виду, что живу по той самой ярославской дороге на краю Москвы, в Лосе, совсем недалеко от Хотьково, и места у нас относительно много, ибо 4-комнатная квартира куплена за эти самые «Таежные дали», — прошу принять во внимание как оправдание к книжке, которую осмеливаюсь у Вас выпросить, ибо достать-купить ее нигде не могу.

Я сейчас занимаюсь заповедниками и набрал столько, что волосы дыбом. Вот бы рассказать! Какая могучая была бы у нас литература, если бы было доступно писать правду, и сколько бы талантов еще появилось! О заповедниках пишу одно вранье — сил уж нет, но кое-что доподлинного все-таки постараюсь написать в пределах возможного — для «Нашего современника».

Сейчас бьюсь как рыба об лед — по исполкомам — начальники всех мастей, как бесы. На месячишко хочу убежать в тайгу, в недорубленную еще. На Дальнем Востоке сейчас только и остались гари да недорубы... Наш северо-запад и то, однако, лесистее...

*Сердечный Ваш почитатель — Ф. Штильмарк*  
г. Хабаровск.

[1976 год]

Дорогой Иван! (Акулов)

Ну прежде всего спасибо тебе за то, что ты доверился мне и дал прочитать свой роман. Ничего я честнее, мужественней и талантливей не читал в нашей литературе о нашей горемычной деревне. Даже такие книги, как «Прялины», «На Иртыше» и «Комиссия» Залыгина — все-таки написаны «деревенскими гостями». Только через себя пропустивши нашу деревню, со всем ее говном, святостью, свинством и величием, возможно было написать о ней так глубоко, с таким проникновенным страданием, как это сделал ты. Все же твое преимущество в возрасте сказалось, — несколько лет работы на земле, истинной, взрослой, заменяют всю память и интуицию, какая, например, дадена мне. Добро еще, что я не взялся писать о деревне к ряду, а написал лишь то, что выхватила память. Думаю,

возраста не хватает и беловским «Канунам» — совершенно схожим с твоею книгой по материалу, времени и героям.

У меня к этой твоей книге хорошее чувство и отношение. После прочтения твоего романа незрелость «Канунов» сделалась совершенно очевидной. Тем подлее на фоне этой и особенно твоей то действие, какое сотворил Шолохов в «Поднятой целине» или Можаяев в «Мужиках и бабах» (первая книга). Из такой-то сложности, из горе горького и тревожного времени они же состряпали оперетку на «деревенскую тему», которую Можаяев, к примеру, знает по цэдээловскому трепу и редким наездам к матери на черной «Волге» в качестве писателя-гостя. А Шолохов так испугался самого себя после «Тихого Дона», что пустился в разноплас с самим собою. Он — самая трагичная фигура в нашей завшивленной литературе. Эдак-то и я ее знаю, деревню-матушку. Эдак-то и мне народ жалко. Тут жалости мало, тут ум и знания требуются да еще трезвая голова.

Нашим в «Нашем современнике» я выскажу свое мнение и особый разговор у меня будет с моим другом, Евгением Ивановичем Носовым. Он подло отнесся к твоему роману, он с точки зрения функционера рассуждал о книге, которая ранит, не может не ранить всякого порядочного человека, если он истинно русский. Наверное, после этого разговора я потеряю друга, но мне уже не привыкать терять в литературе друзей. Самая горькая потеря была — Владимир Черненко (Пермь), который блестяще начинал и плачевно кончил свой в литературе путь оттого, что много пил, полюбил быть начальником над писателями и отсюда неизбежно — закриводушничал. А он так много сделал для меня, особенно в начале «моего пути».

Но что делать? У меня оставались два пути: или сказать ему все, что я о нем думаю, и расстаться или самому начинать пить беспробудно и опускаться до написания рассказиков о сладеньких товарищах-коммунистах, нестигаемых ни в труде, ни в бою.

С тобой разговор у нас будет длинный, поэтому с письмом я закругляюсь. А тебя прошу приехать числу к десятому января. Примерно в это же время из Москвы должны приехать показывать картину по «Перевалу», режиссер и оператор, а днем позже приедет с концертом наша заочная знакомая Виктория Иванова. И мы послушаем в ее исполнении много прекрасных романсов, в том числе

и мой любимый роман: «Вам не понять моей печали». И иконы посмотришь, город оглядишь. Соберись на несколько дней.

Я не знаю, как складываются твои дела в «Москве». Знаю одно: Алексеев не менее лукав, чем Викулов, и я думаю, согласится печатать роман в пику Викулову. Но при этом потребует такой правки, что ты за голову схватишься и откажешься сам. Сам! — понял ты меня?! Так у меня было с «Пастушкой». Я сам отказался и сам виноват остался. Никто меня не ругал, за груди не брал — все ласково, ласково...

Так что будь к этому готов. И еще, как мне кажется, готов будь писать продолжение, вторую книгу, к которой у тебя уже есть блестящее название: «Ошибись, милая». Материал твой реализован только наполовину. Ты только взял разгон. Никто уже не напишет так о начале коллективизации, как ты. А в том, что роман будет напечатан со временем — я совершенно не сомневаюсь. С твоего позволения рукопись прочтет и моя Марья Семеновна.

Будь здоров! И тебя, и близких поздравляю с Новым годом! Передай привет Вале Сорокину.

*Обнимаю — Виктор*

[Январь 1977 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Рад послать Вам свою книжку. Неизвестно, напишется ли что-нибудь еще. А тут что-то вроде есть, хоть и немного, это я понимаю, но души и жизни взяла она порядочно, потому что спокойно, с методой и планом работать я не умею и пишу как попало. Как, впрочем, и живу.

У нас нынче ахнула зима, каких давно уж не бывало. Как направились с половины декабря, так и не споткнулась ни разу, все за — 30! Я вот уж больше двух недель прожил у матери в деревне. Перед отъездом два утра подряд было за 49!.. И холодно, и приятно, и радостно как-то — есть, значит, еще силушка в матушке Сибири, голыми руками ее не возьмешь. И все время утром солнце, туман разойдется, и ярко, весело, крепко — воистину праздник зимы. Ребягишки в школу не бегали, но лес валяли без перерыва, без всяких актированных. Только водку с собой на лесосеку прихватывали. С водкой, рассказыва-

ют, и встречный плот брали. Это едва ли не единственная наша так называемая отрасль, где нет перебоев. Пьют жутко — я им в подметки не гожусь. А они и пьяные работают, хотя и калечатся тоже жутко.

Да Вы все это знаете. А книги им не нужны — не читают они ни черта и читать не будут. Читатель сейчас, похоже, выделяется в какой-то особый класс, многое понимающий, но бессильный что-либо изменить. Он всего лишь читатель, рад, когда встречается в книге какой-нибудь тихонький протест — и то счастье. Порадуется, попечатлится и — спать. Утром снова в ляжку.

Мне тут попалась на глаза рецензия на «Царь-рыбу», и я решил послать ее Вам. У нас и в большой критике ныне положение, понимать — понимаю, а сказать не могу — что уж с маленькой спрашивать?

Будьте здоровы. Сердечный привет Марье Семеновне.

*Ваш В. Распутин*

25.3.77 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Простите, что обращаюсь к Вам так, но другого слова не получается. С тех пор, как прочла Вашу чудо-книгу «Царь-рыбу», окончательно поняла, что Вы мне по-человечески дороги и что для меня Вы — Писатель № 1. Никогда не думала, что мне захочется написать, удивлялась людям, пишущим на радио, телевидение. И вот, поди ж ты, сама пишу, ну просто ничего не могу с собой поделаться! Ваша книга меня совершенно ошеломила, вывернула наизнанку — это, пожалуй, со мной впервые в жизни. До чего же нам повезло, что Вы есть и не потерялись, что щедро поделились с нами своим теплом, добром и талантом! Уверена, что Ваша «Рыба» никого не оставила равнодушным, поэтому так и пишу от многих. Спасибо Вам за то, что Вы есть и пишете! Да что я, Вы же умница и сами лучше всех знаете, что Вы сотворили! Извините, что отнимаю у Вас время. Честное слово, я долго боялась, боролась с собой, стеснялась, уговаривала себя не мешать Вам работать, но ничего не вышло — пишу. Сидят во мне Ваши земные герои и никак не уходят от меня. Уж месяц ничего не читается, хочется только на Енисей, до слез жаль,

что кончилось чудо, всю бы жизнь читать про Акима, Игнатича и ребятишек. Ой, что это я, хватит. Я ведь и не хочу от этой занозы избавляться, пусть сладко ноет всю жизнь. Пишите, пожалуйста, пишите еще, и дай Вам Бог здоровья и побольше минуток радости! Если Вам будет потеплее от этих слов — я порадуюсь. Адреса не знаю, но пошлю, вдруг дойдет. Отвечать мне не надо, разве новой книгой. Простите мне мою эмоциональность и не ругайте очень. Спасибо за то, что прочли мое сумбурное письмо. Будьте счастливы. Напишите о детях — вам, мне кажется, дано.

*С уважением, Смирнова*

Я инженер, 43 года, все нормально — и вот потрясение.

[1977 год]

Дорогой Виктор!

Вернулся из Белгорода и среди накопившихся писем нашел и твое письмо из винницкой больницы. Надо думать, ты оттуда уже давно выпцарапался, а вообще в наши годы негоже подхватывать воспаление легких. Этак, брат, и подзагнуться можно. Дело все в том, что такие болезни не проходят, как, скажем, насморк или чирей. После воспаления остаются какие-то там рубцы и спеклости и легкие уже не те, что были до болезни. А если учесть, что ты уже пырянный трудягой, то и вовсе надо беречься. Но это вовсе не значит, что ты теперь никуда не годный инвалид и многое тебе заказано. Напротив, единственное, что помогает в таких случаях, это свежий воздух, лес, рыбалка, ну, конечно, в разумных пределах. Ну как в разумных: не спать на сырой земле и не лезть по горло в ледяную воду. А остальное — все можно! И даже обязательно нужно. Меня-то когда-то тоже спасло. Когда фрицы отравили меня газами, я ведь совсем подыхал, нечем было дышать, кашлял до рвоты месяцами, даже сосед по ночам стучал кулаками в стену, чтобы я не мешал ему спать. Весь я высох тогда, ходил блеклый и шатало ветром. Делали со мной врачи всякое, пичкали всякими микстурами — ни черта не помогало. И вот один умный врач-старичок посоветовал мне заняться рыбалкой. Я послушался, бросил жрать ложками собачье сало с колючим цветом и ушел на речку.

Через два года я уже спал на сырой земле, как дикий пес. Бывало, иной уже, в бутылке вода замерзлая, а я сплю на кучке бурьяна между двух кизячных костерков. Совсем недавно, года четыре назад, я тоже подхватил воспаление после гонконгского гриппа, пролежал сорок дней, едва выходили уколами, и опять же, уже зная по опыту, что делать, я обратился к матушке природе, и она безотказно поставила меня на ноги, и опять я привел себя в порядок, в «спортивную форму», как пишут в газетках, то есть могу на реке и в лесу жить дико и неприхотливо. А вот дома — простываю! Вот это-то и может подставить ножку. Помещение, сидячий образ жизни, курево — вот где враг. Враг — в этой коварной цивилизации. Вот так посидишь за столом месячишко, попишешь, насосеешься табаку, как паук, — и гнет тебя долу, давит какая-то колода. А побежишь туда, к себе, в свой исконный дом, где крыша — небо, пусть хмурое, дырявое, с моросящими дождями, и опять все в норме. Дня три отплевываешься цивилизованным холодцом. Так что не отчаивайся, ходи себе, рыбачь. Без рыбалки нам с тобой — край. Мы еще не довели себя, слава Богу, до такой цивилизованной дикости, чтобы нас тащить под выхлопную трубу, без которой теперь уже многие дышать неспособны.

Месяц я, Витя, прожил на Волге. Хоть ты и ставишь ее ни в конский гвоздь, эту зачуханную, замусоренную реку, но ведь на Курщине и вообще не стало никакой воды. Всю повыхлебывали, поразбрызгали из дождевальными установок, просушили все болотца. Наши курские лягухи уже все пешком ходят, перестроились стерввы на новый лад. А уж дикая утка — редкость теперь. Теперь, ежели где обнаружат беднягу, по всей области на мотоциклах гоняют, дробь по крышам барабанит, горизонт пороховым дымом затягивается, гоняют, пока та не сбежит к Игорю Лободину, в соседнюю область, где еще кое-где сбереглись мочажинки. Один Михайловский железорудный карьер целый район со всеми ручьями и речушками выпил. Раскопали недра матушки-земли до самых кишок, вся грунтовая вода устремилась в эту прорву, бьют фонтаны по стенам карьера, и оттого речки пересохли и последние наши дубравы засуховершили. Но не то еще будет: и копают, и копают, строят всякую чертовню, чудовищный индустриальный молох встал и поднялся над нашей землей, дышит огнем и гарью. А тут еще попер сытый мордатый турист и всякий отдыхающий люд, всем

давай моторки, пляжи. Пляжев никаких нет, те песочки, что были, давно истолкли и засрали, теперь насыпают самосвалами и по нашему Сейму устроены лежбища на много верст от Курска. Даже там, где мы с тобой бывали, в местах относительно тихих, в Дичне, даже там теперь все изрыто, храпят экскаваторы, бульдозеры, дыбом встала земля, допотопная глина, повалили пилами весь окрестный лес — строят атомную, а вокруг нее — Курчатый городок. А там пока одни зеки, да всякие освободившиеся. Бомбят они рыбу взрывчаткой, опускают в реку высоковольтные провода, делают рыбе короткое замыкание. И все это — с хохотом, с пьяным разгулом. Вот и сбежал я на Волгу. Там рыбы уже не стало, но хоть воды еще полно против нашего. Есть еще всякие тихие незаплеванные ерики в глухих поемных лесах, где дура-красноперка доверчиво хватает и хлеб, и перловку. Да и вообще одна уже перемена места маленько скрашивает серость провинциальной жизни. Ведь у нас годами все те же, все то же: пьют в союзе, сплетничают, доносят друг на друга. Уже много годов, как в смутное время при Годунове, идет борьба за курский писательский престол. Отвратительная грызня вокруг этой «миски» с дешевой административной баландой. Каждый день у секретарши раздаются телефонные звонки, спрашивают, не поступила ли какая-нибудь рукопись на рецензирование. И если поступила, то наперегонки спешат в отделение хватать рукопись, поспевают наперегонки, рвут из рук друг друга. Одну и ту же рукопись рецензируют по нескольку раз, пока не выскребут все лимиты.

Подходит, Витя, глухое осеннее время, время, когда я стараюсь заставить себя работать. Я засесть за стол с ходу не могу. Долго, неделями подступаюсь к столу, привыкаю. Вот пишу сейчас письма — это тоже привыкание к бумаге, к словам. Сейчас я в таком состоянии, будто никогда не писал, ничего не умею. А вообще-то, тем, сюжетов — полна голова. Есть хорошие. Но сколько уже было хороших и сколько их отболело, остыло, занесло временем, так и ненаписанных. Что-то мне мешает работать в полную силу, а что — не пойму. Вот хожу, мучаюсь около стола, откладываю со дня на день и никак не могу засесть. Всегда начинаю с отвращением. Потом, когда раскачаюсь, приходит интерес, даже не интерес, не то слово (с самолюбованием пишет Солоухин), приходит злость, горячность, ну как если бы копать траншею, что ли... Од-



ним словом, обычное чувство физического труда, и оно, это чувство, это состояние само по себе прекрасно, со всей этой одуряющей усталостью и отрешенностью от суеты мирской. Но это потом... А пока вот эти муки выжидания какой-то внутренней погоды.

Вить, очень рад, что ты есть среди кандидатов на премию. Это уже кое-что. Хотя я понимаю, всегда могут подставить ножку. Много еще среди пишущей братии завистников и пакостников. Но если ты все-таки пройдешь, я считаю, что это будет справедливым, праведным судом. Я очень люблю «Белого Бима», но когда увидел его рядом с твоим «Поклоном», то, не задумываясь, принял твою сторону. Твоя книга неизмеримо выше и по значительности, и по вложенной в нее душе, по всей ее сути и неизбывной, хватающей за сердце мелодике. И еще подумал: не надо таким образом сталкивать двух русских писателей — лоб в лоб. Это ведь самопожирание, когда так делается. Пусть-де они сами объедят друг друга, кто кого. Тогда как писателя надо бы побереечь, повести дело так, чтобы достойное было вознаграждено по заслугам. Я бы Троепольскому тоже бы дал премию, но не сейчас, не за счет тебя. Почему-то всякие «чурки» идут вне конкурса, и только русскому устраиваются скачки с препятствиями, со всякими рвами, наполненными помоями.

А повесть про войну задумал писать давно, но и до се не решил еще, ее ли писать или что-нибудь другое. Хорошо писать по сюжету. Но я их делать не умею, сюжет — это всегда придумка. А жизнь — она без сюжетов. И чем ближе к жизни, тем безыскуснее должна быть вещь. В этом-то вся и трудность написания. Повесть о том, как отступал солдат. Один. Часть разбита, кругом по дорогам немцы, и вот он пробирается. Никаких особых событий. Но надо сделать так, чтобы это вылилось в образ, в судьбу, в символ русского человека. Тут заранее ничего не выдумаешь, тут все должно прийти уже во время писания, всякая мелочёвка, всякие подробности этого отступления, потому что, как я сказал, особых событий и сюжетов там нет.

Вот предстоит ехать на редколлегию. И как всегда — не вовремя. Только-только настраиваешься на работу. А если поедешь — то, наверняка, улетит еще месяц. Неделю будешь очухиваться после редколлегии, а там ноябрьские праздники, обязательно кто-нибудь припрется с поллитрой и гнать в такие дни неловко. Хотя бы, например, Игорь.

А он, стервец, все еще ничего не пишет. Я его за это пилю, и он стал меня избегать, неделями не заходит, видно, совесть его гложет. Живет тем, что наскребает маленько за ведение кружка на заводе.

Ну, Вить, пока.

*Обнимаю тебя, твой Женя (Носов)*

**[Декабрь 1977 года]**

Дорогой Михаил Александрович! (Ульянов)

Когда Вас чествовали в связи с пятидесятилетием, я находился под Москвой, в Переделкино и хотел было тоже поехать, чтоб позвать Вам руку, но такая была гнусная погода, что я едва ноги волочил и, закончив работу, поскорее подался домой, где и отдыхаюсь до сих пор.

«Работал» я — сдавал «Последний поклон» в производство. Нынче это сложная процедура, много крови испортишь, пока сдашь, пожалуй, не меньше, чем в период работы над самой вещью. Ныне я все чаще вспоминаю старую британскую поговорку: «Чем хуже дела в приходе, тем больше работы звонарю». Дела неважные, а вроде как мы виноваты — за нами следят и бдят немилосердно. Воистину: «Нигде так не боятся слова, как на Руси».

Но, как ни болела, померла! Труд, который и радовал, и изводил меня на протяжении двадцати лет, закончен. Можно и дух перевести. Я ведь и старые главы все перетряс, подтянул и сделал новую редакцию всей первой книги. «Поклон» теперь состоит из двух книг и как выйдет (к лету), непременно книга будет у Вас. Сибирякам дарить книги о Сибири — мне особая радость.

Сняли на «Мосфильме» и первую картину по моей повести «Перевал». Фильм называется: «Сюда не залетали чайки». К картине отношение хорошее — она очень скромная, но сделана с большим уважением к нашим людям и земле. Побывал я на съемках. Ну и хлеб киношный! Уж наш вроде бы нелегко и с польнью пополам, а этот не знаю, с чем и сравнить. Разве что с солдатским, фронтовым — столь много надо самоотверженности, преданности и любви к этому шабутному делу.

Сейчас я упорно готовлюсь писать о войне — с этой целью ездил в ГДР, в Польшу, на Украину, и снова отправляюсь в Киев. Я воевал на Украине, там дважды ра-

нен и вот собирают нас на той земле — поговорить за «круглым столом» о войне. За «столом-то», я знаю, путного ничего не скажут, а вот меж собой может возникнуть много интересных разговоров.

О войне мне хочется писать «по-своему», это трудно, но нужно.

Я посылаю Вам на память свою первую в жизни пьесу. Этот вариант я сделал после двух спектаклей — у ермоловцев и в Вологде. Пьеса была написана давно, залежалась в столе, и я не поработал над нею вместе с театрами — не хотелось, да и самый разгон набрал в работе над «Царь-рыбой». И твори Бог волю! Сырой материал дал возможность режиссерам заниматься любой отсебятиной. Вот почему я вернулся к пьесе, прибрал лохмотья, немного выстроил ее «по законам». Вернулся потому, что пьеса, вернее, материал этот дорог мне тем, что все это было в жизни и главные герои по сию пору живут на Урале, в Гремячинском районе. Я скептически отношусь ко всякого рода «прототипам» — автор должен убедить: «Было!» — и баста, иначе он и за дело не должен браться. Но сейчас, когда бездуховность, безнравственность вроде бы на телегу сели и ножки свесили, совершенно необходимо, на мой взгляд, поддержать в человеке все, что способствует его здоровью, а не разрушению. Особенно русский человек нуждается в поддержке, которого вроде бы уж и с весов сбросили и приговорили к вымиранию, как пьяницу или дистрофика.

Все, что описано в пьесе, случилось в пятидесятых годах, но и сейчас есть такие люди, есть, пусть и поубыло их. А вот к написанию второй пьесы я готовлюсь уже серьезно. Надо ее написать так убедительно, чтоб у режиссеров не возникало потребности «домысливать, дописывать» и «творить» за меня. Так отвоевывал я свое место в прозе, только работой, только убедительностью, везде много охотников подправлять, направлять — хлебом не корми, дай пошариться в рукописи.

Когда я был в Переделкино, то посмотрел последний фильм Ромма: «И все-таки я верю», где и Вы поговорили немножко. Ночь я не спал после этого фильма, лежал в глухом коттедже, за окном шлепала мокреть, было тихо, пустынно и длинно-длинно шло время. Какое предостережение благодущию нашему! Как далеко мы зашли в «этой жизни!» И где выход?!

Я не знаю. Право, не знаю. Но надо жить и исполнять

свои обязанности! А как с внуком быть? Ему всего год и восемь месяцев. Что останется ему? Кто будет вокруг? Что сделают с его душой, да и с телом тоже?

Вчера я Вас видел по телевидению в «театральных встречах», откуда и узнал, что Вы начали работать над шукшинским «Разиным». Я знал Василия Макаровича, он бывал у нас дома, и рад, что самый дорогой ему материал попал в Ваши, а не в какие-то другие руки. Рад, что Пугачева будет играть Матвеев, манит исторический материал, слово Шукшина, звучное и неистовое, поворотит его на назначенную Богом стезю и уведет из придворья?

А позавчера я слушал Вас по телевидению в передаче о художнике Попкове. Мы ведь здесь, в провинции, сидим по домам, смотрим телевизор и постепенно покрываемся паутиной обывателя, которую потом трудно с себя обирать...

Ну, извините, что утомил Вас длинным письмом. Спасибо за новогоднее поздравление! За труд Ваш постоянный. Со всеми Вас праздниками: с 50-летием, с Новым годом! Пусть он будет милостив ко всем нам, сущим на земле! А Вася Белов лежит с пневмонией в больнице. Мучает она и меня...

*Кланяюсь, Виктор Петрович*

[Осень 1977 года]

Вить, родной мой!

Чудо-то какое ты мне прислал! Богов-мужиков! Сидит, бедолага, держится рукой за ушибленное место, а в недоуменных глазах вопрос: «За что, братцы?» И сколько в этом современного прочтения... Громадное спасибо тебе за книжку!

Вить, а мы, кажется, буквально разминулись на день-два в Москве. Если ты там пробыл восемь дней и уехал, как говорил Игорек, числа 7—8, то мы могли встретиться даже: я отбыл 1-го. А? Вот черт! Ходишь ты где-то вокруг да около и никак тебя не увидишь.

Получил от Сапожникова открытку. Он в Переделкино со 2-го. Приглашал меня к нему приехать. Вот хамло! Разве сани до лошадей? Да и не в этом даже дело. Уж коли нужда, так брось на пару дней казенную кашу и сам приезжай. Но Володя кашу не бросит и доест ее до конца,

не может он допустить, чтобы зазря каша пропала. Послал я ему открытку с приглашением заглянуть ко мне, но ни слуху ни духу.

А я, Вить, тоже весь разохся. Ездил в Москву, к Петелину, простуженный, на ногах все перетаскал и вернулся домой с воспалением легких. Валялся, хрипел, чихал, кашлял, курил; крутился от горчишников, которые сам себе по ночам наляпывал и — читал всякую семинарскую галиматью: надо было спешить. А потом — сам семинар. Понаехали ко мне домой всякие «литераторы», как в дом колхозника, даже Игоря пришлось определить в гостиницу, всякие сирые да убогие (кто от жены сбежал, кого не печатают и пр.), а жрать без водки не хотят, нет аппетита. Скормил-споил я им все деньги, кои мне выдали на семинаре, да еще на дорогу дал, а сам остался дохрипывать, докашливать недодавленную болезнь. Потерял я на этом семинаре более двух недель и, как пермский божишко, спрашиваю: «За что, братцы?» Такое ощущение, будто телега переехала. Все тебя хватают за грудки, все трясут: «Осчастливь, дай урвать, сам урвал и с нами делись». Как в гоголевской «Страшной мести». Дурачье! Что можно у искусства урвать. Хрена! Об него можно только расшибиться, как о стену. Эти все мудаки понимают искусство как некую золотую жилу, а нас с тобой — незаконными счастливыми. Поломали бы они так хребетину. Ну да ладно, какой с них спрос. Вот Игорек знает, что к чему. Я ему говорю: «Пора, брат, тебе делать книжку. Ведь уже на третьем курсе». А он: «Нет, литература — дело серьезное, и книжек делать пока не научился». А какую он штуку написал! «Родительская дорожка» называется. Полуэпос-полуповесть. О том, как померла на деревне бабка. И где он, каналья, берет такие слова! Молодец! Только чтобы не пропился. Голодает парень и на голодное брюхо пьет. Ходит бледный, худой, как зэк. И, вижу, нервишки стали сдавать.

Вить, а про Кизи писал, но так и не написал, что-то не получилось. Пока бросил, может, потом ляжет на бумагу. Да и вообще как-то разладилась моя писанина, подрастерялся малость. Опять все тот же вопрос: о чем писать? Я знаю, он приходит, этот вопрос, в минуты малодушия. Писать есть о чем, бродят хорошие темы и образы. Но теперь вот кажется, что это не то, что всем это надоело. И начинаешь метаться, лихорадочно перетряхивать свои запасы тем и сюжетов. Вот для разминки решил пока

написать маленькую дорожную историю. Перед отлетом самолета из маленького городишки зашел я переждать ненастье в одну крайнюю хату, и о том, что я там увидел — будет этот рассказ.

Мою «Афродиту» Сякин таки зажал. Заходил я к нему. Не глядит, глаза бегают. Говорю ему: «Чего же ты юлишь, говори прямо, я не дамочка, за водой не пошлю, в обморок не упаду» «Да,— говорит, — зарезали, в последнюю минуту... Никонов зарезал. Но мы, — говорит, — отдали ее в «Лит. Россию». Пусть там попробуют».

Получается как в чеховском «Произведении искусства». Каңделябр хорош, но не знают, куда его поставить. «Помилуй, батенька, у меня же в доме женщины. Ну куда я его дену, эту пикантную вещицу?» Вот и пересовывают друг другу. Нравится, но страсть как боятся пикантности.

А у меня, как нарочно, одни «пикантности» в голове. За какую тему ни возьмусь. Вот и переживаю. Потому что на это тоже надо силы. Просто всякий халам-балам для прожитку писать не хочется. И вот какой результат: за весь год написал всего-навсего один рассказ. Правда, лежат две заготовки. Но обе надо переделывать заново, т. е. на каждую затратить по полтора месяца с непременноми после того болезнями и нервными расстройствами, которыми обычно кончаются наши с тобой труды.

Ай-я-яй, Макарова нет! Что за человек был! Бренны, бренны мы, Витя! и поэтому надо нам держаться друг за дружку. Ибо — конец нам тогда.

Вот думаю насчет поездки в Вологду. Хочется очень к ребятам. И ты прав, негоже нам ссориться. Но Васятка уж больно меня обидел. И до сих пор не пойму, за что. Рассказал я ему один сюжет. Поехали мы с двумя инспекторами на рыбалку. Попали в проливенный дождь. Приехали ночью. Ни костра, ни сена. Попили всю свою водку — так зазябли. А утром — голова болит, опохмелиться нечем и денег нет. Идет парнишка из деревни, из гостей. Праздновали Троицу. Парнишка лет 12-ти, но под хмельком. Зазвали. Спросили, не знает ли он, где можно загнать канистру (пустую). Он охотно показал и привез нам за нее две бутылки мутного самогона. Попили. Парнишка раздухарился, стал рассказывать похабные анекдоты. Потом один милиционер вытащил банку сгущенного молока и стал подговаривать парнишку выменять ее на самогон. Парнишка никогда не видел сгущенного молока, и он задумался. Но потом сказал, что за молоко никто самогону

не даст. Своей крестьянской башкой он понял, что самогон всегда дороже молока. Тем более, что банка уж больно мала. Милиционер стал ему объяснять, что эту банку можно на целое ведро развести. Тогда парень сообразил, что тут собрались жулики, и заскучал, засобиравшись уходить. Сюжет очень интересный, злой, с убийственным подтекстом — дети до тонкости разбираются в самогоне, но еще не видели сгущенного молока... Вася слушал, слушал да как завопит: «Грязно все это!» И побежал. Была ночь, мы сидели у Петьки Борискова. И он проштатался всю ночь где-то по городу. Я так и не понял, почему все это его так возмутило. Не понял я его чистоплюйства. Мы расстались, в общем-то, нормально, но какие-то волосья стрижки колоди за шиворотом. Впрочем, об этом в письме рассказывать бесполезно. И вообще Васятка маленько подыгрывает в святого. Плыли мы по Онеге. Васятка (уже не помню, по какому случаю) сказал, что он никогда не плюнет в такое озеро. И даже кепку свою закинул в дар Онеге. А тамошние мужики ссут за борт и сморкаются, и святости у них от этого не убавилось, глядеть больно на их деревеньки, на их горький хлеб.

Вот такой пустяк и вывел меня из равновесия, обиделся я на Васю, на его святошество. Но главный конфликт с ним по его же вине возник тогда, у Петьки за столом. Правда, тогда же, утром, я подарил ему свой охотничий нож, сам его делал и очень его любил. Вася не хотел брать, но Петькина жена, карелка, сказала, что когда карелу дарят нож, это вроде знака братства. И тогда Вася взял и затырил его в боковой карман, но нож был огромен и торчал из пиджака под самым подбородком. Так он и уехал.

Вот все думаю: пустое это. И время прошло, должно бы все успокоиться. А — нет, другой раз опять обидно станет. А главное, непонятно: «За что, братцы?» Вот как глубокий и многозначительный твой Христос-мужичок!

Вить, купил я Женьке своему ружьишко. «Иж-58», простенькое. Еще летом. Рад был. Мотался с ним на мотоцикле. Кое-что привозил из птицы: лысух, кричальных, даже гагарку шлепнул. А вот за зайцами бегаёт-бегаёт и — ни одного не угнал. Смотрел я в Москве ружья, хотел купить ему получше. Но сначала ничего не нашел, а потом, когда поизрасходовался, нашел за 140 р. с вертикальными стволами на экспорт. Ружье хорошо, но денег уже не было, и не купил. А еще видел — 736 рублей! Обалдеть! Даже бумажных патронов не купил. Нету. И дробин нету зим-

ней. Привез тройку. Можно и ей палять. Но он сам приловчился катать «нолевку». Все хочет лису обхитрить. А сам я с этим семинаром даже на окуня не ходил. Так и прошло без меня перволеде. А сейчас снега, морозы и окунишко затаился в потемках подо льдом до весны. В последние 3—4 года совсем стала плоха рыбалка. А тут еще металлургический завод начали строить на нашей бедной речушке. Хоть возьми да езжай куда-нибудь.

Вить, Маш, ребята! С Новым годом вас, дорогие мои. Обнимаю сердечно, держитесь, не сдавайтесь!

Вить, воронежской книжки еще нет. Посылаю московскую.

*Женя (Носов)*

12.01.78 г.

Уважаемая редакция!

Вчера я закончила чтение книги Виктора Астафьева в «Роман-газете» № 5 за 1997 год «Царь-рыба», а сегодня все еще хожу сама не своя. Произведение В. Астафьева первый раз мне пришлось прочитать, до этого я не читала его произведений. Эти рассказы-повествования «Царь-рыбы» меня потрясли и взбудоражили. Очень правдивы, интересны, проникновенны. Прочитав его рассказы, как будто побываешь там, в далекой северной Сибири, испытываешь суровый климат, проникнешься уважением к жизни рыбаков и прекрасным, добрым жителям братьев наших малых народностей, которые все время там живут.

Я никогда не писала отзывов о прочитанных книгах, но об этой я пишу. Это не отзыв, а это благодарность писателю за прекрасное произведение.

Чувствуется, что т. Астафьев многое пережил и испытал сам, что он описывает свои места, свой край, свою Родину, своих людей, что он такой же щедрый и добрый, как Николай и Аким, — хочется об этом думать!

Прочитав повести В. Астафьева, как наяву, побываешь там и уже никогда не забудешь эпизоды ихней жизни. Вот один из них. Про обычай, сохранившийся с войны, — кормить всех ребят без разбору бригадной ухой.

«Всякий народ перебивал в Боганиде, но не было случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством, наоборот, даже самые лютые, озлобленные в дру-



гом месте, в другое время нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались благодушием, милостивым настроением, сердечным высветлением, приходящим к человеку, который делает добро и удовлетворяется сознанием, что он еще способен его делать. И не потерял, значит, для семьи, для дома, для той, другой, утраченной жизни».

Право, что-то напоминает Шукшина, Виктор Астафьев поднимает тот же вопрос. В суровом крае работают, если не в основном, то много «побывавшие в не столь отдаленных местах». Любовно и человечно описывает местных жителей наших малых народностей — матери Акима, Касьянки, Кирыги-деревяги и главного замечательного человека Акима. Повесть «Сон о белых горах» — не хватает слов говорить об этой повести. Скажу только, что такие повести надо, необходимо экранизировать. Это очень умные повести, имеют большое воспитательное значение, рассказывают о суровом крае, о красоте нашей Родины и, самое главное, о красивой душе наших советских людей. Эти фильмы невыдуманные и, наверняка, будут с аншлагом, не пустые, что встречается часто.

Передайте, пожалуйста, большое спасибо Виктору Астафьеву за прекрасные, проникновенные, правдивые произведения — «Царь-рыба» в Роман-газете № 5, и очень бы хотелось, чтобы редакция издательства «Художественной литературы» порекомендовала кинематографистам произведения т. В. Астафьева для экрана — это будут лучшие фильмы.

*С уважением, Андрияк Муза Ванифатьевна,  
г. Владивосток*

24.04.78 г.

Дорогой Виктор Петрович!

С превеликим вниманием смотрел привезенный сюда Булатом фильм по «Перевалу» — «Сюда не залетали чайки». Честно говоря, от Астафьева, человека с затаенной улыбкой в слове, там мало чего осталось. Но лента очень мужская и мужественная. Как хорош Кадочников, артист прежний и нередко слащавый, а как много там у него находок!

Мы были растроганы, а Булат сидел перед залом, как

на суде, который грозил отсечь ему голову — минимум. Он даже ладони упрятал меж коленями — чтобы не дрожали.

Началось с национализма при обсуждении (заседали кинодеятели). Один черномазый лохмач пытался обосновать тезис, что Булат, уехав с родины, изменил и искусству и что фильм тому подтверждение. Зал взвился. Парень один, артист ТюЗа, сказал, что от такой ленты и в ночи светло. Выступал и я, хотя не собирался этого делать.

Короче, Булат воскрес душой и телом — он явно талантливый режиссер и в Ваши руки влюбленный.

Предполагается наш очередной переезд, не в Ростов, от этого я наотрез отказался, но в такую однокомнатную республику, как Эстония. Порядок там и настоящая Россия рядом: Михайловское, Ленинград, да и Вологда, в которой Вы — свет наш и тяга.

Преданный Вам всегда —

*Ваш Вадим Летов.*

[1978 год]

Милый Виктор! Дорогая Маша!

Годы как холмы, живешь — переваливаешься с одного на другой. И вот еще один перевал... Что-то будет за ним, что откроется душе и зору... Дай Бог, чтобы вам, дорогие мои, с этого еще одного житейского рубежа открылась ясная, незамутненная даль и пошли Господи силы одолеть в мире отпущенное нам.

Большущее спасибо за вологодский гостинец, который мы получили в целостности и сохранности. Ромашка — книголюб, особенно обрадовался книжке, да и ягодам-конфетам был рад и тотчас все это стал пользоваться единовременно. Были на пленуме с Петей, потерялись с ребятами, видели Потанина, Ягана, Толю Соболева, В. Быкова. Все тосты за жизнь Петя принял на себя, но и я не избежал кары за поездку, и вот опять пошли «дни золотые» — корчит меня, катаюсь с грелкой в обнимку, опять уколы, опять неработа. Устал, устал от всего этого, от себя, от маяты. А так все ниче.

*Обнимаю. Женя (Носов)*

[1978 год]

Дорогой Слава! (Марченко)

Посылаю свою вещь\*, очень для меня дорогую, по-своему. Честно говоря, ей бы еще месяц-другой надо бы полежать, но раз надо... Поэтому я выговариваю заранее условие: прислать мне гранки и дать в них возможность черкаться сколь я захочу, ибо есть еще, есть ритмические сбои, и незаметные повторы, и словесный сор, который вылавливается только свежим, то есть отвыкшим от текста глазом. Я знаю места — их два, где повиснет драконова карающая рука редактора и цензора над грешной головою непокорного автора, но при всем при том заранее настаиваю: все мои «неправильности» править только с моего согласия, а такие слова, как «мулька», «акусит» и прочие — не подвергать скрупулезной правке. Мне известно, что у нас в журнале люди сплошь грамотные, и меня этим не удивишь. Правьте других, кто в самом деле по безграмотности искажает слова.

Еще вот что: Вера Звездаева из Смоленска прислала на твое имя рукопись о Николае Рыленкове и письмом ко мне просила ее прочесть. Сейчас я не в состоянии не только читать, но и... еще кой-чего делать, поэтому уезжаю на юг — подлечиться и сил набраться. Пришли мне рукопись Звездаевой к концу октября, ладно?

И еще: в отдел критики поступила статья моего друга и замечательного человека Николая Яновского из Новосибирска — статья о творчестве Сапожникова. Пожалуйста, если можно, передай мою просьбу Метченко поскорее дать ей ход.

Вот пока и все. Очень худо я себя чувствую, работу над «Одой» заканчивал совсем больной, посему боюсь — наоставляя в ней мусору?

Всем приветы. Сожалею, что не смогу быть на редколлегии, но если вы ее перенесете на конец октября — постараюсь быть. Мой адрес на юге: Сухуми, п/о Гульрипши, цитрусовый совхоз им. Ильича, дом 16, Летову В. Г., для Астафьева.

---

\* Речь идет об «Оде русскому огороду» в «Нашем современнике».

[1978 год]

Дорогой Сергей Васильевич! (Викулов)

Я оставлял трудный этот разговор до личной встречи в Москве, но обстоятельства сложились так, что я не могу пока никуда двинуться из дому (покалечил ногу и засел вот дома), и все равно я не начал бы этого разговора, ибо он в большей степени касается все же меня, а уж потом и авторов, рукописи которых похоронили в редакции «Нашего современника» или их поуродовал завравшийся, вконец обнаглевший Марченко.

Сегодня пришло письмо от Голубкова из Перми, в котором он с воплем описал, что сделал Марченко с его повестью. В свое время Марченко такое же «добро» сделал В. Политову, сократив его повесть в сотню страниц до одиннадцати!! — мастерство невиданное, наглость неслыханная. У меня уже давно накапливалась на сердце тяжесть — ни одна, ни одна моя вещь в «Н. современнике» не прошла без кастраций, причем таких, которые, по мнению редакции, видимо, спасли ее от «неприятностей», зато трещал мой лоб. Так, в статье, в начале ее — «Сопричастный всему живому», вырублены два абзаца, после чего статья приобрела характер саморекламный и нескромный. Много бед надделано и в «Оде огороду». Но верх всякого терпения произошел при публикации глав «Последнего поклона». Меня раздражали, а местами просто бесили Ваши, Сергей Васильевич, замечания на полях рукописи — они во многом перестраховочны, трусливы и, увы, простите уж за резкость, малопрофессиональны, зато самонадеяны без меры. Я, к сожалению, не умею защищать свои тексты и вещи словесно (видимо, надо быть Ф. Абрамовым, чтобы брать Вас за горло), ибо полагал и все еще, возможно, наивно полагаю, что дело автора говорить на бумаге, и с болью в сердце претерпел и Ваши замечания, и работу с Марченко, в надежде, что слова главного редактора «теперь мы не исправим без ведома автора ни единой буковки», — это слова главного редактора, а не коридорного служащего!

Каково же было мое изумление, когда в верстке я не нашел многих кусков, абзацев и фраз, причем характер «обезжиривания» текста, кастрации его все тот же — убирание «натурализмов», «грубостей» и смущающих «эстетический слух» выражений. Все это сделано было не по цензурным соображениям — все, что касалось таковых

опасений, я выполнил сам, зная, под каким богом живу! А соображений чисто вкусовых — о вкусах же, как известно, спорят, тем более о таких, кои все ярче заявляют себя в «Н. современнике».

Я сделал поправки в верстке и приехал с ними в Москву. Шла подготовка к редколлегии и было не до меня. Марченко сказал: «Хорошо, хорошо, бу сделано, но потом...»

Перед отъездом в Иркутск я спросил у него: «Мою правку перенесли?» — «Перенесли, перенесли, будь спокоен». Мне тут же дали сигнал журнала, и я уже в дороге обнаружил, что правку мою не только не перенесли, но никто даже не удосужился посмотреть гранки, мной правленные. Я это утверждаю с полной уверенностью, потому что даже ошибки не исправлены. Опять в тексте множество ошибок! Причем не только грамматических, таких вот: я пишу, что «шарился по библиотеке» — я искал этот абзац, не с бухты-барахты ставил его, я вообще, было бы Вам известно, стараюсь с бухты-барахты ничего не ставить в своих вещах — «шарился», потому что все видится глазами воришки, пакостника, боящегося того, что он совершает, и даже презирающего себя за это. Вместо же этого вроде бы и незаметного, но очень важного абзаца вставляют «ширился» — и безлико, и дежурно, и нелепо — где сполуху шириться, в книжных стеллажах, скажите Вы мне на милость?!

Ну, а то, что Марченко сделал со сценами в школе, то, что снял стих-загадку, снял частушку и не перенес ее замену — это уж полный произвол! Я уж не говорю о более тонких и спорных вещах в тексте — им нет числа. Ну и врать своему автору, члену редколлегии, уважаемому, наконец, в литературе человеку, уже поседевшему от этой проклятой литературы, врать в глаза — это-то как?! Что же тогда говорить о том, что Марченко не выполнил ни одной моей просьбы, с которыми я обращался к нему, отдавая или отсылая рукописи молодых авторов (Сукачева, Смолина, Филипповича, Политова, Юровских, рассказы которого так изуродовали, что он плакал на моих глазах) и многих-многих других. Я уже не говорю о том, как Марченко поставил меня в неловкое положение — два года маринуя рассказ жены и каждый раз заверяя: завтра отдаю читать!..

У автора есть одно-разъединственное право справляться с редакционным произволом, протестовать против него —

это не давать свои вещи в данный орган или как его назвать?

Я уже ушел таким образом из «Молодой гвардии», давно я не печатаюсь там. Вот и новую вещь отослал в другой журнал, не в «Наш современник». И всем молодым, знакомым мне ребятам сказал, чтобы они с «Н. современником» дел не имели, слово работающих в нем стало несамостоятельным, работа своевольна, несолидна.

Я знаю Ваше настроение и журнала всего. Да, журнал стал лучше, но в этом не только Ваша заслуга, а и наша, в том числе и моя, как члена редколлегии и как автора. Спасибо, что напечатали «Пастушку», но говорите спасибо и за то, что «Пастушка» дала журналу больше всех, в нем напечатанных произведений, читательского внимания, причем не проходного, а настоящего читателя.

Недавно я листал старый «Новый мир» — мое ощущение вот какое: далеко еще «Н. современнику» до него, он, «Н. современник», пока в разлохье между журналом солидным, высокохудожественным и примитивной безвкусицей, и способствует этому произвол, как в отборе рукописей, так и в подготовке их в печать. А поскольку уже и немалая доля зазнайства, пока еще ни на чем не основанного и мало чем подкрепленного, я уж не говорю, что просто вредного в любом деле, а в журнальном тем паче.

Ответа я не жду, да и не хочу его, говоря откровенно, но выговориться хотел давно и сожалею, что нездоровье заставило провести этот разговор эпистолярным способом.

*Кланяюсь — В. Астафьев*

[1978 год]

Уважаемый товарищ Е. Поротов!

Спасибо Вам за газету «Кадр», за письмо и предложение ответить на Вашу анкету. Коротенько отвечаю (на подробности нет времени). 1. Я — зритель с детства. В деревенском клубе крутил «динамку» немного кино, чтоб заработать право бесплатно смотреть кино... Каждому огольцу доверялось прокрутить целую часть. Силы хватало не у всех, слабела рука, слабел свет на экране, исчезало изображение. Публика громко выражала негодование, и слабака немедленно подменяли. Из фильмов, увиден-

ных в детстве, мне ярче всего запомнился — «Когда пробуждаются мертвые», с участием молодого Игоря Ильинского. Видел я первый звуковой и цветной фильм — «Соловей-Соловушка». То впечатление чуда, сколь его потом ни пытались уничтожить наши и заграничные ремесленники кино, так и не исчезло до сих пор. Сейчас, в силу суеты и занятости, я уже не такой активный зритель кинематографа, появилось чувство усталости (не пресыщенности) от огромного количества фильмов серых, привычных, вторичных. Из двухсот фильмов, выходящих за год, запоминается два-три — это очень мало. Даже в литературе, переживающей сложные времена, нет такого многопроцентного серого потока продукции, а ведь воздействие кино на массы (не отдельных читателей и зрителей) куда более напористо ныне, нежели влияние литературы.

Из последних фильмов студии «Ленфильм» (мною увиденных) запомнилась картина «Старые стены», а в картине больше всего мне понравилась Гурченко, сделавшая сложную, если не сложнейшую работу, перешагнувши через образ и стереотип той, что засела в памяти зрителей, скорее и не героиней, а персонажем, исполняющим песенку: «Пять минут, пять минут...»

Проблема «писатель и кинематограф» будет до тех пор, пока существует то и другое — уж очень разные это вещи, а, думаю я, что было и будет в этой проблеме главным, главенствующее лицо — писатель, ибо сколько бы у него не было надзирателей, они не смогут проникнуть в его тайну, тайну замысла, и, следовательно, никому не дано распоряжаться писателем, сколь бы ни старались, как бы ни изощрались в этой бесполезной и бессмысленной работе люди, присваивающие себе право судей, директоров или «добрых советчиков». И еще — писатель свободней кинематографистов был и будет потому, что процесс его работы стоит недорого — бумага, перо, а место, если приспичит писать, — хоть на чердаке. «Киношник» обложен со всех сторон надзором, словно медведь в берлоге, и я удивляюсь даже, как это иным режиссерам при таком огромном количестве финансовых, идейных и прочих надзирателей еще иногда удается извернуться и выпустить что-нибудь интересное на экраны! Считаю это не просто удачей режиссера, сценариста, художника, оператора и актеров, а их творческим подвигом. Думаю, дальше будет еще труднее — очень уж много (год от года все больше и больше) появляется желающих руководить, на-

правлять, указывать, ковыряться в душе художника, и все меньше желающих нести тяжкую каторгу творца. Демагог, если судить хотя бы по журналу «Экран», становится все более напористым и властным диктатором и если уж учесть, что художник, как собака, «все понимает, но сказать не может», — битву наглядно проигрывает он, хотя, когда демагог срубит «последнюю сосну» и окажется лицом к лицу с пустыней, ему снова придется замолчать и ждать, когда другие, способные к труду и творческому подвигу люди, насадят и вырастят «лес». И ему, демагогу, снова будет что рубить...

Сейчас одновременно ведут со мной переговоры три студии — о постановке картин. Вот и все.

*С уважением — Виктор Астафьев*

14.4.79 г.

Дорогой Миша! (Шламов)

Бесконечно был рад получить от тебя письмо. Такая приятная неожиданность! Сейчас уже такой возраст и век такой, что больше и чаще друзей теряешь, чем обретаешь, а тут — старый друг, который лучше новых двух — не зря говорится.

Я после большой работы. Очень устал. Волосы на голове дымятся от усталости и потому напишу немного и, наверное, сумбурно.

Знаешь ли ты, что нынче юбилей нашего незабвенного города детства? Да, 29 июня Игарке отмечается ее пятидесятилетний юбилей. Многие старые игарчане собираются туда. Собираюсь и я. С 1959 года не бывал в Игарке, а в Туруханске, на Тунгуске, рыбу ловил. Хорошо бы поехать вместе. С начала июня я буду в родной деревне — час езды от Красноярска, в деревне найти меня легко. Там пробуду до начала июля, а потом, видимо, поеду на Алтай, на юбилей покойного собрата по перу — Василия Макаровича Шукшина.

Расскажу немножко о себе.

Летом 41-го года — учился в ФЗО на станции Енисей, поработал полгода и на фронт. Воевал сперва на Брянском фронте, а потом все время на 1-м Украинском. Воевал рядовым солдатом в артиллерии, был трижды ранен (бойкий наскочет!) и рядовым снят с учета в 50 лет. Осе-



нюю 45-го года женился в нестроевой части на военной девушке да и поехал на ее родину жить, на Урал, в город Чусовой. И прожили мы там 18 лет и хватили горя и нужды по ноздри. Но молодость была, и мы все перебороли, вырастили трех детей, сейчас уж дважды дед и бабка. Писать я начал в 1951 году, с тех пор этим делом и занимаюсь. После войны работал на всяких работах, и на тяжелых, и на грязных. Как начал писать, взяли на работу в газету, потом на радио. В 1959—1961 годах учился на Высших лит. курсах. После курсов 8 лет жил в Перми, затем переехал в Вологду. Написал и много, и немного. Нынче начинает выходить мое Собрание сочинений в 4-х томах. Есть и кино, и пьесы, созданные по мотивам произведений, переведен и перевожусь на многие языки. Работать я люблю.

А ты, наверное, все такой же художник? И левша? У меня жена левша. Почерк у тебя все еще прекрасный. А у меня не почерк, а сплошные каракули, которые разбирает только жена и печатает на машинке. Рисуешь ли ты? Или буришь землю и забыл про искусство. Нам обязательно нужно повидаться. Если ты не сможешь приехать в Овсянку или в Вологду, то в сентябре я буду на Байкале и свяжусь с тобой.

А пока крепко тебя обнимаю. Поздравляю с праздником и весной! Мы с женой завтра едем в Польшу, на места боев. Там я был ранен последний раз. Задумал писать книгу о войне и надо все прошлое пропустить через сердце заново. Поэтому извини за торопливость.

Еще раз кланяюсь —

*Виктор*

[Май 1979 года]

Дорогой мой старина!

Как твои болячки? Что-то ты замолчал. Дошел слух, будто вызывал тебя на прием Красноярский гос-арь и звал к себе на жительство. Уж не сгношил ли переезжать? Не пересилила ли родина? Чудные у тебя там места, однако твоя Овсянка на берегу незамерзающего Енисея — для твоего жительства из-за слабых легких вряд ли годится.

А я-таки довел один-единственный жарок до дому —

остальные умаялись в самолете и сникли. Мы ведь тогда очень долго торчали в аэропорту.

Купил тебе обещанные «рыбацкие» штаны, прямо с сапогами (приваренные к голенищам насмерть. Пернешь — год будут газуху держать!)...

Дорогие мои Виктор и Маша! А как ваши солдатские кружки, не заржавели ли? Давайте чокнемся через российские леса и доли, через расстояния — в память о пережитом и за благополучие наших солдат-сыновей.

Всяческого вам добра — здоровья!

*Обнимаю — Женя*

А я ведь чуть было не околел: отказал желудок, ничего не проходило, четыре недели рвало, и уж думал, все, конец! И телефон отключил, чтоб не досаждали, стал прибирать архивы, рвать кое-какие «веселые» письма. А выдох! А то — невестка собралась в Москву, дал ей денег на карманные расходы и попросил из них истратить рубль на свечу в церквушке на Соколе. И как я ей об этом сказал, в тот же вечер меня отпустило. При одном упоминании о свече. Без всяких врачей. Я от них утаился. А на другой день, вернее, глубокой ночью я жадно, по-волчьи, сожрал с костями соленую рыбу. И — ничего! Выспался и блаженствую!

А мы ведь думаем: все про все знаем.

Обнимаю тебя и Машу по случаю праздника.

*Твой Женя (Носов)*

28.03.79 г.

Дорогой Константин Михайлович! (Симонов)

Посылаю Вам самую дорогую книгу о самой светлой поре моей жизни, несмотря на все ее внешние тяжести. Я знаю, что лучше мне уже ничего не написать, мастеровитей (слово-то какое нехорошее!), наверное, а свободней, раскованней, когда вроде бы и не пишешь, а как зяблик на острой пике ели сидишь и на всю округу звенишь о том, как солнечно вокруг, как светло, приветно! И оттого, что ты рад, рады и тебе. Но зяблик зябликом, а благодушный тон критики на первую книгу помог мне настроиться более серьезно и написать вторую, которая, как мне кажется, уравнивала мое отношение к прошедшему и приутишила как бы эту самую благодать.

Но пишу я Вам не только и не столько потому, а с просьбой, хотя и знаю, и вижу, как Вы заняты. Но что делать?

Дело в том, что я написал книгу об Александре Николаевиче Макарове, основанную на его письмах ко мне. В письмах этих часто присутствуете Вы, да и материал книги в той или иной степени касается либо Вас, либо того сложного времени, в которое пришлось Вам работать, а потом совместно и преодолевать эти самые сложности. Не сможете ли Вы взять на себя труд — прочесть рукопись книги до того, как она будет опубликована (если будет?), и помочь автору избежать каких-то переხлестов, неправильностей, посоветовать что-то с высоты своего возраста и опыта? Я бы мог выслать Вам рукопись в начале апреля и не торопить Вас с прочтением, а потом, если бы Вы нашли время для разговора, я бы подъехал в Москву (обычно я останавливаюсь от Вас близко, на ул. Красноармейской, в двадцать пятом доме). Отбейте телеграмму или позвоните в Вологду по телефону: 2-21-07, и, если согласитесь, я и вышлю рукопись.

Буду чрезвычайно Вам благодарен. Желаю доброго здоровья!

*Кланяюсь — Виктор Астафьев*

4.9.79 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Хочу отнять у Вас несколько минут, чтобы выразить восхищение «Одой русскому огороду», хотя это, скорее, элегия, а может, и философская поэма. Во всяком случае, это большая поэзия, которой так недостает во множестве рифмованных строк, выходящих под таким псевдонимом. Я разыскал «Оду» в 1-м томе, достал его не по подписке, а вещь оказалась для меня незнакомая и радостно-неожиданная. Какое-то новое качество русской прозы, вроде бы вовсе бессюжетной, бесфабульной, но проникающей до глубины души. Жалею, что незнаком с Вами лично, хотя знаю в лицо и по рассказам многих друзей. Помню также, что Вы проявили великодушную теплоту к Виталию Семину, чья писательская судьба сложилась столь трагично. Спасибо за все, горячо желаю Вам здоровья и новых вдохновений.

*Л. Лавлинский*

Виталий, прочитав «Царь-рыбу», говорил:

— Никогда не встречал в литературе ничего подобного!

Я должен, хоть и с запозданием, сказать то же самое. Истовое, косолапистое, богатырское слово!

22.6.79 г.

Дорогая Маня! (Письмо жене)

Вот я и на пароходе! Прошли уже устье Ангары — все пока, слава Богу, на месте — еще не осчастливила рука преобразователей это изумительное место, где такая своенравная, такая брыкливая река, опершись о стену скал с правой стороны, почти лениво вливается в Енисей, оградив себя плоским, зеленым островком, а поляны на крутом правом побережье светятся лампадно-зелено, и кажется, что они кем-то раскатаны на крепкой столешнице. Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, кодовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом.

Мне говорят, что я тоже — душа Енисея, да ведь мало ли что говорят, да и очень ведь растяжимо понятие — душа, наверное, моя смертная любовь к этому, ко мне всегда как бы чуть отчужденному краю живет во мне и какой-то згой, искоркой малой проблескивает в моих жалких словах, но в совсем не жалких и немалых чувствах, которыми наградил меня Господь Бог.

А я проспал почти весь день, и Казачинские пороги проспал. Слышал, как било в скулу парохода, как его чуть покачивало, и что-то тревожное чувствовал, а проснуться не мог. Я вообще тут много сплю и с 18 июня (точно помню число!) ощутил вдруг отсутствие головной боли. Ах, какое это счастье чувствовать себя пусть и не совсем, но почти здоровым. И тут я тебя понял и пожалел. И понял также, что мое постоянное раздражение, вспышки характера, какое-то гнетущее состояние, непременно распространяющееся и на окружающих, — это все нездоровье, это все угнетенное состояние духа. Так никто никогда и не узнает, как, преодолевая свои недуги, я садился за стол

и заставлял себя работать и в кровь разбивал морду о стол. Вот почему я ненавижу всех, кому легко жилось и живется в писательстве, для меня сей труд был и остается каторгой. Я уж много-много раз ловил себя на мысли: «Умереть бы...» — как избавительной. Но кто знает об этом? Близкие? Ты? По раздраженности? По отчужденности? По тяжким каждодневным усилиям заставлять себя работать, ибо в работе есть жизнь...

Ах, как просто и потому так легко живут люди вокруг. И как я им завидую.

Однажды я шел пешком с красноярского базара, нарочно шел пешком и смотрел на лица людей — ты же знаешь эту мою слабость — читать лица, — и сколь много повстречалось мне хороших лиц, особенно женских, преимущественно проукраинских, пробелорусских, но облагороженных или, наоборот, испорченных межкровьем? — этого я не знаю, думаю, что облагороженных. Хорошо одетые, свободные по случаю выходного дня, как прекрасны были люди, и как мне не хотелось заглядывать им «за спину», угадывать их судьбы, ибо я заранее знал, судьбы их хуже их. Ах, если б люди походили на себя в жизненной сути, помнили бы, как они добродушны, хороши и светлолики, то оскотиниваться, то есть придя в понедельник на работу, красть, материться, обманывать друг друга и предавать, не смогли бы.

А скоро Енисейск! Самый любимый мой и самый жалкий ныне городишко! Что меня влечет к нему? Зачем? Не знаю. Это вроде как моя любовь к матери — обыкновенной крестьянке, но с такой трагической и пространственной судьбой, что вроде бы уж в Космос прорастает, судьбой, которую и Шекспиру бы не постичь.

А телеграмма твоя пришла вечером, и что на нее отвечать — не знаю. И посылки обе пришли. Все в порядке, все сохранилось. И книги мне во как нужны! Вот и Енисейск. Закругляюсь.

*Целую — Виктор*

23.6.79 г.

Дорогие Маня и Ирина!

Вчера в Подтесово я отправил вам письмо, сегодня пишу снова — от нечего делать. Идем мы медленней, чем думалось и хотелось бы — мешают туманы. На нашем тепло-

ходе очень покойно, команда всего 10 человек. Капитан — очень славный и разговорчивый мужик. Вчера попотчевал стерляжьей ухой. С ним жена и маленькая дочка, а старшая уже в институте учится.

Вот в 10 утра лишь подняли якоря и пошли. Ребята отправились на нос судна — загорать, а я сходил в душ, сменил белье и немного полежал. Сон мой восстановился, и я даже днем сплю, но от этого, конечно, прибавляю в весе, но спать охота — спасу нет и противиться этакому желанию на воде трудно.

Вечером прошли Ярцево. Возле Опарихи и Сурнихи горели рыбацкие огоньки — так бы и выскочил, и вообще время сейчас очень хорошее — тепло, светло. Вчера сполоснул нас грозовой дождь, за кормой стояла радуга. Енисей красив непобедимо, но деревни по берегам сплошь брошенные — это здесь, в среднем-то течении, а внизу, говорит капитан, вообще ничего не осталось. Из мне известных поселков осталась лишь Курейка и Горошиха — меж Игаркой и Дудинкой нет ни одного живого поселка, начинают обнажаться и пустеть даже райцентры. Что будет дальше? Капитан говорит, что ни хлеба, ни рыбы купить негде. Очень тяжкое зрелище — пустые поселки. На всем пути видели один-два построенных дома и один новый поселок — Сурниха. Во как! А флоту много, что твоя дорога ездовая Енисей сделался. А красот много. Сегодня будем проходить Осиновские пороги. Давно я их не видел. Завтра или послезавтра утром будем в Туруханске.

*Ваш Виктор*

**[Осень 1979 года]**

**Дорогой Виктор!**

Спасибо тебе за подарок — всякая твоя книжка всегда радость, потому что, считай, вот уж вся жизнь прошла вместе и, хотя живем порознь, в разных городах, но никогда не покидало меня чувство родства к тебе, соучастия и сопричастности ко всему твоему — радостям и печалям. Встретились-то мы, в общем, уже зрелыми людьми и до нашей встречи у каждого за плечами уже было по большому куску жизни — было голодное детство, неприкаянная юность, война, но вот и то далекое твое, что прошло без меня, но узнанное из твоих книг, из общения с то-

бой — стали моей реальностью, и впечатление таково, будто знаю тебя весь осознанный век, с самого далекого мальчишества — так близко, памятно и трепетно любимой мной все, что написал ты о себе в своих книжках. И потому книжки твои в моем доме не просто книжки, как все прочие, а будто ты сам: стоит открыть страницу — и ты заговоришь со мной во всей осязаемости твоего живого голоса, со всеми одному только мне понятными и воспринимаемыми тональностями и оттенками доверительного, дружеского разговора.

Вот и смерть отца твоего отозвалась во мне родственной печалью и пониманием твоего надломленного состояния. Да, брат, каковы они ни были наши старики, но все же это была хотя бы мысленная, воображаемая, но ограда, межевые столбушки, ограждавшие нас от чувства края, и это было неосознанной защитой, позволявшей нам заниматься собой, транжирить свое время. Теперь дорога туда расчищена, подгнили последние колышки, ограждавшие нас от бездны, уже никто нас на заслоняет собой, теперь уже сами мы стоим у края, заслонив собой всех, кто за нами, и в этом теперь наша роль и мудрость жизни. И это ощущение своей очереди, края и скорбь по ушедшим оставляют необратимый след, как раз тот, которого недоставало нам, чтобы окончательно почувствовать себя стариками. Но что поделать. Надо как-то жить дальше.

Этот год прошел у меня всуе, еще по весне отпустил на волю своего Пегаса, и он пасется, бездельничает, отмахивается хвостом от мух.

Повесть о войне, начатая было зимой, не пошла — что-то навалилось на меня, утрачен интерес ко всякой писанине. Нигде этим летом я не был, не ездил даже на декады, секретариаты, редколлегии. Словом, прозябал, молча переживая в себе этот свой затяжной кризис. Да и как посмотришь вокруг, что делается, право, не хочется ни о чем писать — такое ощущение, что все это бесполезно.

А нас опять взялись шельмовать в печати: поди читал статью А. Проханова, затеявшего дискуссию по деревенской прозе. Кто-то спустил на нас собак, будто мы виновны в тех безобразиях, что ныне творятся на полях России. Попало тебе от Проханова за твой низкий поклон родным углам, за ту сыновнюю дань, что вознес ты своей дедовской Сибири, и требуют от нас, чтобы мы пѣ озрели и начали писать романы о целине.

Редколлегию в «Н. современнике» перенесли на ноябрь. Я собираюсь быть и надеюсь увидеться с тобой. По Пикулью секретариат заседает в понедельник, но меня туда не пригласили ни как члена редколлегии, ни как секретаря. Наше мнение их не интересует.

Пишу тебе, а за окном летит снег, белеют крыши, сидят нахохленные вороны — погода как раз к моему дурному настроению. Напиться бы, да не пью теперь, трезвому особенно видна суета сует и всяческая суета..

Ни в одном издательском плане не числюсь. В журналах пошумели-пошумели по случаю выдвижения, а когда теперь дым рассеялся, то за дымом выплыл большой кукиш. В том, что книжки моей нет, повинен главным образом один тип (ты его знаешь). В свое время он вышвырнул из плана одного нашего парня (хотя план этот был уже отпечатан и разослан по книготоргам). Мне пришлось вступить и под нажимом Госкомиздата парня вынуждены были оставить, зато не включили в план меня (в отместку), сделав вид, что моей повести не существует в природе. Последствие этого (и не только) случая прислали мне из «Сов. России» предложение на собрание сочинений. А по условиям туда можно включать только вещи, переиздававшиеся не менее пяти раз. И выходит, из-за этого «издателя» мои «Шлемоносцы» не попадают и туда. А повесть эта, в десять листочков, — самое крупное мое сочинение, весь мой и моральный, и денежный капитал. А без нее какие же собрания сочинений. У меня при всех стараниях едва ли наберется одна книжка. Я ведь из-за болезней да всяких передрыг не работаю годами. Вот и теперь. Последний раз писал в 76-м году, т. е. прошло уже два года в хвори, не дававшей мне писать. А ведь жить-то надо. Я же по дурости своей, по российской безалаберности даже не брал бюллетеня, отвалывшись семь месяцев с желудком, 500 уколов вогнали в меня. А это — 1400 рубликов сучке под хвост. И когда еще смогу работать — Сам Бог ведает.

Маша мне написала, что избушку в Овсянке ты все же сторговал. Не знаю, насколько она понадобится тебе практически — далековато, но понимаю и тебя — как-никак родина. Оглядишься и, может, обдумаешь, да если она все-таки крепка, то и надстроить сверху можно чем-нибудь, светлым и уютным мезонинчиком для работы.

Что-то Маша невнятно написала о вологодцах. Пишет: «Что-то пошатнулось в их общем настроении, какие-то



темные, раздражительные течения, что ли? Может, и раньше так было, только так обостренно не чувствовалось...» Что она имеет в виду?

Вить! Я слышал про твоего «Макарова». Зачем в «Знамя»? Может, в «Н. с.» — поможешь журналу. А то, что Макаров работал в «Знамени» и потому им отдавать рукопись, — это ж чистая формальность. Иль я не прав?

А так — жизнь бежит к своему уклону. Петя Сальников частенько хворает. Лето отвалялся в больнице, а через месяц опять схватил воспаление. У него это уже хроническое, у каждого свои болячки. Они нас и доконают.

*Обнимаю. Твой Женя (Носов)*

[1979 год]

Дорогой Юрий Тарасович! (Грибов)

Я с недоумением узнал, что Вы сняли рассказ Филипповича и при этом сослались на меня, что якобы «говорили» со мной. Да, говорили, но ведь не сказали, что снимаете рассказ, а говорили о том, что Вам нравится, чего не нравится и т. д.

Но сколько читателей — столько и вкусов! Вот послушайте доподлинное высказывание одного, уже покойного, редактора журнала: «Я терпеть не могу Паустовского и Казакова, но у моего журнала 120 тысяч подписчиков, стало быть, миллионов пять читателей и половина из них обожает почему-то этих писателей, так почему же я не должен считаться с этой половиной?...» — Эти слова принадлежат покойному Панферову, человеку, категоричному в жизни и гибкому в редакторском деле.

На мой взгляд, гибкости (не хитрости и извиваемости), а именно творческой гибкости и принципиальности не хватает «Литературной России», она как имела постыдное, провинциальное личико, так его в сути своей и не меняет, суть ее — литература», и никакими «хрониками», юмором и разнообразными находками на последней странице еженедельника не улучшить.

По опыту «Нашего современника», который находился в куда более худшем положении, знаю, нужна смелость и даже не кутузовская, полководческая смелость, а элементарная, редакторская и гражданская, для того чтобы ликвидировать провинциализм и наладить дыхание

еженедельника — этой смелости нет ни в критических статьях, ни в беллетристике. Рассказ Филипповича Вы спокойно и свободно напечатали бы, если б он был «прикрыт» именем, допустим, моим, Распутина, а еще лучше — Маркова или Сартакова. Но Ваша задача не только «отражать» литературную жизнь России, но и открывать в ней новые имена, возбуждать творческие силы, поскольку во многих областях закрыты и альманахи, и издательства. Мне кажется, Вы и Ваши помощники не совсем еще поняли, какая огромная ответственность лежит на Вашем еженедельнике и на Вас лично за духовную и творческую жизнь российской провинции, и то, что она прокисает, покрывается все большей пленкой плесени, что царствует там бездарность и воинствующие графоманы, должно Вас не только встревожить, но и настроить на несколько иную, беспокойную жизнь.

Почему Вы так спокойно и охотно печатаете до сих пор рассказы вторичные, безликие, а стало быть, и бесспорные? И почему превосходно (я настаиваю и говорю о рассказе Филипповича), профессионально написанное Вы своей властью сняли? Что, с серостью спокойней живется? За серятину не взыщут. Да если Вы боитесь печатать суровый рассказ, далеко не криминальный, совсем не опасный для Вашего служебного благополучия, — отдайте его читать «по кругу», доверьтесь людям, проверьте свой вкус, который, я надеюсь, Вы не считаете безупречным?! — как это делается у нас в «Н. современнике».

А на этом уровне, как Вы работаете сейчас, требовательности и принципиальности Вам не улучшить еженедельник — подняли Вы тираж за несколько лет на три тысячи, так они, эти тиражи, везде автоматически поднялись — не обольщайтесь! И еще я настаиваю, чтоб рассказ Филипповича был напечатан, поскольку с меня просили предисловие. Или хотя бы объяснили мне, отчего он не может быть напечатан и не передоверяйте Вы это дело «подчиненным», тем, кто рассказа не слышал.

Будьте здоровы!

*Всем кланяюсь — В. Астафьев*

[Осень 1979 года]

Дорогой мой Жора!

Когда пришло твое письмо, я был в деревне (есть у меня там домик для работы — место глухое, дичающее год от года без людей, как и вся Россия) и жена по телефону мне сказала о письме. Я так был взволнован, спать не мог.

Я еще когда жил на Урале, пробовал найти тебя и писал по памяти: Мелитопольский район, село Ялта, колхоз ФОС, но ответа не было, и я очень жалел, что след твой затерялся.

Первое письмо писал еще в 1946 году — нашел меня Ваня Гергель, потом Слава Шадрин, потом Равиль Абдрашитов (в конце письма я напишу их адреса). Все они бывали у меня в Вологде, а два года назад я сговорил их собраться вместе и мы рванули к Славе с Равилем, заехав по пути к Ване в Орск.

Ваня уже второй год на пенсии, а Слава покидает Темиртау, переезжает в Нижний Тагил. Слава из рабочих вышел в начальники, работает заместителем директора комбината по транспорту, бывал и на партийной работе — трижды избирался секретарем райкома. Равиль работает инженером-конструктором на Карагандинском комбинате, а Ваня ведал заводской лабораторией. Я же хватил лиха после войны такого, что и не берусь описывать, спало, что склонен к литературе. В 1951 году начал писать и работать в газете на родине моей жены, в г. Чусовом Пермской области. Вырастили мы с женой Марией Семеновной троих детей, двух родных, дочь и сына, и племянника жены. Ребята уж большие и есть уже внук Витя — 3,5 годика. У племянника жены тоже есть сын Арсений и тоже считает меня дедом, так что я уже дважды дед.

У Славы двое детей — парни, с ними он хватил горя, сейчас они уже женаты.

Бывал я на встрече ветеранов нашей 17-й дивизии, в Киеве и в Ленинграде, чувствовал там себя неуютно, никто меня не знает и я никого, — одни господа-офицеры, много евреев, которых я на передовой и в глаза не видел, все герои, все обвешаны регалиями, все задаются.

На второй встрече были Слава и Ваня, так повеселее. Бывали мы у Бахтина Евгения Васильевича в Ленинграде,

---

\* Георгий Федорович Шаповалов — однополчанин.

он уже не тот, что был на фронте, и здоровья нет, и гонору поменьше, и я к нему все же не очень расположен, как братьев люблю Ваню и Славу, и Равиля, мне с ними хорошо, да вот ты теперь нашелся, тебя я считаю совсем уж родным, и это хорошо. Пишут мне многие из дивизии, со всех концов страны. Будущей весной они, ветераны нашей дивизии, собираются в Житомире, где собирались осенью прошлого года и где их, как «киевско-житомирских» встречали очень хорошо. Если тебе захочется побывать на встрече, а разок побывать любопытно, свяжись с Бахтиным, он поможет тебе связаться со штабом ветеранов дивизии. Бабецкий, нач. штаб дивизии, живет вблизи от тебя, в Запорожье.

Теперь о том, как нам увидаться. Ноябрь меня дома не будет, а в декабре надеюсь быть дома. В январе — пока, как и что у меня будет, не знаю. Где-то поближе к теплу мы бы приехали к тебе в Жданов вместе с Марией Семеновной. В Жданове у нас есть еще уральские приятели, но если у тебя есть возможность — милости прошу к нам.

Повидаться и поговорить хочется. По весне на лето я обычно улетаю на родину, в Сибирь. Здоровье в общем-то бы и ничего, но болит голова и мучают легкие — пневмония. Давно уж не курю, стал толстый и рыхлый, а выпивать еще выпиваю, под настроение так и лишковато. Марья переживает, да где со мной сладить!

Посылаю тебе 1-й том Собрания сочинений, три остальные пришлю потом, по мере их выхода. Сейчас я сдее, веселее и толще! — это учти. Ну, родной мой, мне писать не переписать — оставляю многое для разговора. Обещанные адреса ребят высылаю. Обнимаю и целую тебя по-братски. Кланяйся маме своей и супруге.

*Вечно твой — Виктор*

[1979 год]

Дорогой Яков Семенович!

Отправляю Вам целую посылку: «мой» экземпляр пьесы со всеми уже добавками (в таком виде пьеса будет печататься в № 5 журнала «Наш современник», кстати, кому любопытна первая моя пьеса «Черемуха» — печаталась в журнале «Театр», № 8 за 1978 г.).

Пусть «мой» экземпляр постоянно будет у Вас. Посы-

лаю пленку, где в самом ее начале напеты мною песни, чтобы Вашему музыковеду не рыскать по кладовым радио, где не вдруг найдут и дадут просимое.

Посылаю фото, того, госпитального периода, чтобы и Вы, и актеры имели конкретное представление о тех далеких солдатиках, которых собираются изображать на сцене.

Думаю, что в работе Вы уже продвинулись далеко, и, ничего не навязывая Вам, все же просил бы обратить особое внимание на сцену с Афоней и Матреной — она — «ключ» ко всей пьесе. Мне кажется, актер излишне «играет» Афоню, появляется много эмоций, а он должен быть в отрешенном состоянии, ибо как сказали «изолятор» — ему стало все понятно, и вообще мужики умирают естественней интеллигентов — это еще Толстой заметил. Только в минуты крайних проявлений он, Афоня, может всхлипнуть, пошевелиться — (с перебитым хребтом не больно много натрепыхаешься) и, когда, умирая, он приподнимается — это уже срабатывает «сверхсила», и это должно потрясать. Нужен будет Афоне грим — шевелюры поменьше, а желтизны на лице и теней под глазами больше, он небрит с неделю, а может, и больше...

Еще одну слабость заметил — уж извините, что говорю об этом напрямую, но слабость всеобщая всех современных актеров и театров — актеры неважно играют паузы, т. е. пока говорят, трещат и «игра идет». А ведь это госпиталь, жизнь в нем монотонная, замедленная — обратите на это внимание, поищите поводы «помолчать» вместе с актерами...

Извините за вмешательство, но я тоже «лицо заинтересованное» и хочу, чтоб наш спектакль был хорошим.

Кланяюсь. Жду письма с именами и фамилиями актеров, чтоб послать им книги.

*Виктор Петрович*

[1979 год]

Дорогой Виктор Татарский!

Так случилось, что о передачах «Встреча с песней» я не раз читал в газетах, а вот услышать довелось лишь нынче Вашу передачу и порадоваться тому, что в замусоренном эфире зазвучал чистый голос настоящей песни и разговор о ней идет доверительный, душевный.

Мне тоже захотелось рассказать Вам одну любопытную историю, связанную с песней, а точнее, — с романсом, редким и, на мой взгляд, незаслуженно мало исполняемым.

В детстве довелось мне жить в детдоме заполярного города Игарки. Однажды в детдом был приобретен патефон и пластинки, которые, конечно же, очень скоро были превращены боевой детдомовской братией в лом, уцелело пластинок совсем мало. Среди уцелевших оказалась пластинка, которую редко играли, потому что она была «неинтересная», т. е. ребятам не нравилась. Я очень любил наш поврежденный патефон и часто его заводил, и, когда пластинок совсем почти не осталось, начал заводить «неинтересные», в том числе и ту, на которой было написано — «Ясным ли днем или ночью утрюмою» — романс. Не хочу хвалиться, будто сразу мне понравился, поразил меня. Нет. Я «вживался» в него постепенно, и когда слушал Пирогова, то мне он не казался артистом, а очень доступным человеком, может быть, даже из родной моей деревни, который думал вслух, а я слушал его, и отчего-то виделся мне солдат (наверное из кино!), который сидел в холодном ночном окопе и думал, тосковал о «ней». «Она» мне представлялась какой-то воздушной, заоблачной, взгляду и пониманию моему недоступной...

Увы, спустя не такое уж большое время мне наяву довелось увидеть солдат, которые сидели в окопах, не спали ночами, думая о своих любимых, о матерях, сестрах, женах, — и образ тот, бесплотный, как бы пребывающий за облаками, начал обретать вполне земные черты — это образ великой, прекрасной и многострадальной русской женщины, и слова: «Ясным ли днем или ночью утрюмою все о тебе я тоскую и думаю...» звучали в моей душе с такой грустью и горечью, что иногда хотелось заплакать, хотя лично обо мне никто «не тосковал и не думал», потому что на фронт я еще совсем молоденьким ушел, ни с какой девушкой не встречался, а матери у меня уже давно не было.

Проходили годы. Война давно закончилась. У меня появилась семья, заботы, но мелодия теперь уже навечно полюбившегося романса не умолкала во мне, и однажды, уже будучи опытным литератором, я решил посягнуть на дорогой мне романс, на дорогое для меня творение, и написал рассказ под названием «Ясным ли днем». В 1967 году в седьмом номере журнала «Новый мир» он был опубли-

ликован, и после, когда рассказ получил добрые отзывы и я понял, что он получился, я печатал его уже с таким посвящением: «Памяти великого русского певца Александра Пирогова». Однако самого романа я так с детства и не слышал, слова писал по памяти, мелодию напевал, какая сохранилась в душе. Друзья и писатели при встречах и в письмах спрашивали меня, где взять романс «Ясным ли днем» и не выдумал ли я его? Я и сам уж начал сомневаться в себе, с недоверием относиться к своей памяти.

Но совсем недавно дочка моя, немножко играющая «для себя», купила сборник «Арии, романсы и песни из репертуара Александра Пирогова», и там, к великой моей радости, обнаружился романс «Ясным ли днем»...

Очень дорогая встреча с давно любимым романсом очень растрогала меня, и я всем друзьям написал, где его можно найти, но спеть-то не могу. Если возможно, передайте этот романс в исполнении Пирогова, передайте привет его супруге Жуковской, передачу о которой я также слушал с большим наслаждением.

Заранее Вас благодарю и низко кланяюсь —

*Виктор Астафьев*

23.12.79 г.

В Пятое творческое объединение  
киностудии «Мосфильм»  
от автора сценария «Царь-рыба»  
Астафьева Виктора Петровича.

Я получил заключение сценарно-редакционной коллегии на литературный сценарий «Царь-рыба» и внимательно с ним ознакомился.

Замечаний по сценарию немного, и они, в общем-то, легко выполнимы. И все же я буду просить коллег и руководство объединения снять сценарий из плана и отложить его на какое-то время.

Дело в том, что в двухсерийном телефильме материалу «Царь-рыбы» очень тесно. Первоначально фильм затевался в 3-м объединении, и поэтому мы «ушли оттуда» именно потому, что нас не устраивал односерийный полнометражный фильм. В телеобъединении собирались делать сценарий для четырехсерийного фильма.

Уже и тогда было ясно, что для материала «Царь-рыбы»

маловато и четырех серий, но при определенном «уплотнении» все же возможен был пусть и беглый охват материала повести. Когда же дело завершилось тем, что решено было лишь две серии, то все наши попытки «втиснуть» материал в рамки двухсерийного фильма не имели успеха. Автор начал отходить от книги, упрощать материал и сделал-таки сценарий совершенно далекий от оригинала, и получился он удручающе упрощенный. И сейчас в заключении коллегии содержится просьба пойти на еще большие упрощения — из-за финансов, трудностей производства и т. д. и т. п.

Вот почему я прошу снять сценарий из плана и, если объединение заинтересовано в том, чтобы фильм по «Царь-рыбе» бы поставлен, поставило бы все-таки вопрос о многосерийном фильме, а две серии заранее обречены на беглое, конспективное фиксирование материала, а не на добротное, интересное и художественное изображение того сложного, остросовременного материала, который заложен в повести «Царь-рыба».

Упрощенных, убогих по мысли и чувству фильмов и без того многовато на нашем телеэкране, и я не хочу, чтобы к ним добавился еще один обрывок из отрывков, уже с моей фамилией. Думаю, и телеобъединение в этом также не заинтересовано.

*Виктор Астафьев*

20.2.80 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

К сожалению, с Вашим творчеством внимательней и углубленней я познакомилась после Вашего выступления в Останкинской студии, вызвавшее у меня чувство безмерного восхищения.

Экранизацию Ваших произведений я не видела и не знаю, смогли ли они передать все очарование Вашей прозы. Нелепый и, как мне кажется, грубо сформулированный вопрос: «Зачем Вы пишете?» — вызвал у меня возмущение, ведь писать — это не профессия, это дар Божий, дающий радость людям.

В своих произведениях Вы описали незабываемые картины быта, характеров окружающих Вас людей — тружеников сибирской земли, а также широкую палитру на-



родного языка, мудрые присловия, сравнения и шуточные, в рифму сложенные прибаутки.

Прочитав Ваши произведения, невозможно уже забыть образы: бабушки Катерины Петровны, которой Вы воздвигли нерукотворный памятник (праздник ее имени!), дяди Левонтия, Саньки, дяди Васи, конюшыхи Дарьи Митрофановны, Акима, тетки Августы, Култыша — всех, к кому прикоснулся талант Вашего ума и сердца!

Навсегда останется в памяти и «Уха на Боганиде» из «Царь-рыбы», нельзя перечислить всего, что восхищает в Ваших произведениях.

После прочтения Ваших книг пришло мне на ум, что мир — не пустая коробка, в которой бегают одни только атомы (когда-то услышанная фраза).

Философские вступления в Ваших произведениях полны поэтического очарования и глубокой интуиции, может быть, научного предвидения?

Например, манящая, чудесная страна Вашего воображения, которая не умирает, а замирает, чтобы возродиться через столетия в другом.

Я слышала, что у некоторых людей бывает видение, как будто когда-то прошедшей жизни и каких-то далеких ее миражей.

Может быть, это возрождение и запланировано для избранных, в электронно-вычислительных центрах вселенной, так как, по мнению ученых, мысль не сводится ни к материи, ни к энергии. Она идеальна.

И еще одна Ваша мысль — о том, что Вы не можете мириться, когда за счастье одних надо платить муками других, наверное, имея в виду войны?

Это кому как повезет, кто в какую эпоху родился. Пока на протяжении всей истории человечества такие трагические вспышки продолжаются, несмотря на непривычную говорильню в периоды затишья.

И все же справедливые освободительные войны для блага будущих поколений и революции нравственно очищают общество. Конечно, без них было бы лучше. Наша страна стремится к этому. И все же, в конечном итоге, все рождается в муках, все погибает в муках и все, как это ни странно, очищается муками.

«Человек растет испытаниями», — писал Л. Н. Толстой.

Коли бы общественно-социальное и государственное устройство во всем мире было одинаково справедливым,

тогда мир был бы успокоен, но для этого надо переделать человеческую природу, а ее, как утверждает Голсуорси, переделать нельзя (можно ли переделать природу полностью? Этот вопрос я задаю и самой себе. А Вы как думаете?).

Д. Иванов в журнале «Огонек» за 79 год пишет в статье «Встреча с Виктором Астафьевым», что дело небольшого ума — вспоминать мысли Великих по поводу и без». А я все же беру на себя смелость привести мнение если не Великого, то известного писателя по этому вопросу, хотя оно, может быть, известно Вам, тогда простите.

«Войны исчезнут лишь тогда, когда изменится человеческая природа, но человеческая природа остается неизменной. Холодные, расчетливые люди всегда будут преследовать свои собственные цели, всегда будут слепые, тупоголовые фанатики националисты, всегда будут слабые, пассивные люди, которые спохватываются, когда уже поздно, всегда будет стадная психология толпы».

Мне представляется эта мысль справедливой в свете современной международной обстановки, а Вам?

На этом я заканчиваю свое послание, смахивающее на беспорядочное и плохо продуманное школьное сочинение. Такое письмо я пишу впервые, так как не могла удержать сердечный порыв благодарности.

Шлю Вам низкий поклон за Ваш «Последний поклон», за все остальные произведения, за всю правду жизни в них, за искренность и чистоту Ваших помыслов, за глубокое понимание всего сущего на земле.

Желаю здоровья и благополучия Вам и всей Вашей семье и дальнейших успехов в работе.

*Александрова М. П.*

[Май 1980 года]

Дорогой Виктор!

Не так уж много осталось у нас с тобой этих скорбных Побед. И все меньше остается людей, с кем хотелось бы разлить красное вино Победы, терпкий вкус которого ни заесть, ни запить... Можно благодарить только самого Господа, что Он не дал нам сгнить в этой мясорубке и позволил потом сколько-то пробыть на белом свете, чтобы своими глазами увидеть, за кого и за что рекой лилась народная кровушка...

В печали обнажаю голову перед миллионами павших, а тебя обнимаю и хочу одного, чтобы ты был здоров.

А я, брат, залег на самое дно, ничего не пишу, совсем обмякла душа после перенесенной болезни, так что ты не сердись на меня за долгое молчание: трудно мне стало даже водить ручкой, чтобы ответить на письмо. Я по-прежнему полон к тебе неувядаемой нежности и из всех людей, каких помню, ты остался для меня единственным светом и примером.

*Твой Женя*

Да, на студии им. Горького вроде хотят ставить фильм «И уходят пароходы». Но меня больше беспокоит судьба «Шлемоносцев» — на «Мосфильме» — берется ставить молодой дебютант, не напортил бы, не заземлил бы до мелкого бытовизма — там ведь надо сохранить эпос, парение черного орла над потрясенной Россией...

*Твой Женя (Носов)*

[1980 год]

Секретарю ЦК КПСС т. Яковлеву  
Министру финансов т. Гостеву  
Секретарю правления Союза писателей СССР,  
т. Карпову

Ни в одном известном нам государстве система унижения человека не доведена до такого совершенства, как у нас, в государстве рабочих и крестьян, где гражданские права и достоинство человека гарантируются и вроде бы охраняются Конституцией, многими законами и постановлениями.

Здесь не место перечислять все, организации, документы, справки, рекомендации, характеристики, всю бюрократическую управленческую систему, поджидающую тебя за каждым барьером, пропускным бюро, за углом, в каждом присутственном месте, чтоб спросить у тебя пропуск, бумагу, справку, удостоверяющих и устанавливающих твою личность и благонадежность.

Но порой и бумагу некому показать и личность некем удостоверить, — перед тобой стена с изошренной пропускной системой и равнодушием, граничащим с враждебной подозрительностью.

Таким местом является Министерство финансов СССР.

Здесь бездушные и крючкотворство доведены до такого уровня, который и не снился многим нашим конторам. «Не пущать и не давать!» — вот девиз этого министерства, и многие наши управления позавидовали бы такой четко отработанной системе, и опыт переняли бы, да и ни в одну дверь там не пустят, ни одной фамилии не назовут. Все покрыто в этом министерстве тайной многозначительности.

С тех пор как Союз писателей СССР вступил в международную ассоциацию писателей, у нас в стране появилось управление по авторским правам, сокращенно — ВААП. Это управление осуществляет контроль за изданиями книг, постановками фильмов, спектаклей, заключает договоры с иностранными издательствами на издание книг советских авторов за рубежом. Оно не извещает автора о перечислении во Внешторгбанк гонораров за издание книг. Деньги эти невелики. С перечислений удерживаются налоги в счет государства, и все финансовые операции и формальности соблюдаются до тех пор, пока гонорарные перечисления не попадут в недра Внешторгбанка.

ВААП извещает, что во Внешторгбанк на Ваше имя перечислены деньги в таком-то валютном начислении, в такой-то сумме. Банк извещать об этом автора не торопится и по какому-то закону, точнее, — по собственному произволу, вообще их не выплачивает автору. Только в том случае, если автор едет за границу, уже с иностранным паспортом в руках, он может попросить в Министерстве финансов разрешение на выдачу ему Внешторгбанком, как правило, очень незначительной суммы от им же, автором, заработанных денег.

Но попробуйте получить разрешение из Министерства финансов! Здесь сделано все, чтобы вы ничего не получили иль были доведены до сердечного приступа, унижены и растоптаны. Во всех подъездах Министерства финансов стоит охрана. Она вежливо спрашивает: куда вы идете и зачем? Вы отвечаете, что едете за границу и вам нужно получить разрешение на выдачу денег. Вам говорят, что нужен пропуск. Вы снова суете красный паспорт и толкуете в окошко-бойницу насчет разрешения. На вас смотрят жалостно и снисходительно. «Мы не можем куда попало выписывать пропуск. Позвоните Тамаре Алексеевне или Наталье Ивановне, телефон — сто-диста-тире-ва». «Как? Повторите, пожалуйста!»

Заветный телефон записан, но по нему никто не отве-

чает. И дежурный милиционер (о, эта родная милиция! Что бы мы без нее делали?!), жалеючи тебя, говорит: «Нужно сходить в этот вот подъезд, спросить того-то и того-то, может, он чем поможет».

Увы, который может помочь, тот редко бывает на месте, а день заканчивается, а иностранный паспорт выдается накануне или в день отъезда. Под него, под паспорт, денег в ВААПе дают ровно столько, чтоб доехать на такси до отеля или разок скромно пообедать. Что делать? Домой возвращаться? Потасили меня черти в Европу. Сидел бы, работал бы!

Наконец появляется ТОТ, кого вы с вожделием ждете. Кивает, просит проходить, что у вас, спрашивает. Где вы раньше были? Это же финансовая операция, она за час не делается! На сколько дней едете? Сколько денег просите? Мы можем разрешить вам небольшую сумму. Звонит: «Тамара Александровна, сколько мы можем?» — и вежливо называет небольшую сумму, от и без того небольшой суммы, числящейся на моем счете. «Но это же мои деньги, мной заработанные!» — пусть и робко возражаю я. И совсем неробкий следует ответ: «А мы здесь ворованные и не держим!»

Пишется под диктовку длинное, довольно сложное по содержанию заявление, которое кем-то и где-то разбирается. Наконец сделано тебе великое одолжение, выдана бумага — разрешение. С нею надо мчаться со всех ног в банк, на Чкаловскую улицу. А там! Хоть бы кто-нибудь посмотрел, что там делается! Словом, изведешься, изнервничаешься, натолчешься в очередях, пока получишь свои собственные деньги — на мелкие расходы, на то, чтоб чувствовать себя повседневней за рубежом и не унижать своего достоинства крохоборством и ограничениями в еде, даже в воде.

В особенно трудное положение поставлены живущие на периферии. Им, чтобы преодолеть преграды, чинимые Министерством финансов, надо приезжать в Москву за неделю до отбытия за рубеж. Но недель этих в нашей жизни остается уже мало, ими приходится дорожить.

В недавнем интервью писатель Габриель Маркес уже говорил с недоумением и возмущением об абсурдной системе оплаты писательского труда в нашей стране. А ведь он не бывал в Министерстве финансов, не обивал его пороги, не прел в очередях Внешторгбанка.

Мы об этом говорить стесняемся, а ждать наведения

порядка устали. Хотелось бы узнать при нашей жизни: изменится что-то или все надежды опять на будущее, на то, что и до нас дойдут и о нас позаботятся.

Министерство финансов — учреждение огромное. Наши дела там никакого весомого значения не имеют, так может передадут всю нашу «мелочевку» в тот же ВААП, и оно, осуществляя контроль за нашими изданиями за рубежом, будет контролировать и осуществлять все финансовые дела и операции с авторами?

Думаю, все заинтересованные лица — авторы согласятся делать отчисления из своих гонораров на содержание дополнительных работников ВААПа.

Но проще и доступней делать это так, как век от веку везде и всюду делается: выделить писателю, имеющему счет во Внешнеторгбанке, чековую книжку, и чтоб при наличии иностранного паспорта и документов о выезде, сам мог выписать положенную или разрешенную сумму денег — для поездки\*.

Нас на огромных просторах Родины, получающих гонорары из-за рубежа да и изредка по приглашению или в командировки туда едущих — единицы и большинство этих «единиц» уже в преклонных годах, имеющих свои заслуги перед государством нашим, и труды, по достоинству оцененные. Если наши небольшие суммы гонораров нужны государству, пусть нам об этом скажут, и мы без особых колебаний их отдадим, но отдадим на тот счет, в то место, куда посчитаем нужным, а так, втихаря, по-шулерски обращаться с нами, обирать нас по мелочи нехорошо, недостойно ни солидной финансовой организации, ни отечеству нашему, во имя и во спасение которого мы не только проработали всю жизнь, но и кровь пролили.

*Виктор Астафьев — лауреат Государственных премий,  
инвалид Отечественной войны*

*Валентин Распутин — Герой Союзного труда, лауреат  
Государственных премий*

---

\* В период перестройки мне решилось положительно. Открыты отделения Внешторгбанка в провинциальных городах и туда переведены счета писателей, и ВААП имеет свой счет.

15.10.80 г.

Дорогой Анатолий Михайлович! (Абрамов)

Письмо Ваше нашло меня в родной Сибири, в родном селе, посреди осенних дел в огороде, который я, к ужасу моих теток и родичей, превращаю в лес, как я делал и всюду, где жил, а они же садили помидоры, картошки!

Отвечаю сразу, ибо все лето после переезда болел и нигде не бывал, вот и хочу, пусть и осенью, съездить на юг края к друзьям-детдомовцам в Абакан и к моему однополчанину — Великому воину-разведчику Ивану Исаеву.

Переезды в нашем возрасте - дело трудное и сложное, было бы еще труднее, если бы не родное село. Городская квартира пока мне совершенно чужая, и в город я еду по нужде и неохотно.

Но здесь и климат, и многое действует на меня умиротворяюще, лучше стало с легкими, голова меньше болит, и суеты пока меньше, и многолюдства пока удастся избежать.

Но все еще вплотную не работаю.

Однако зимой соберусь, думаю засесть вплотную за стол.

Сегодня 15-е. До 30-го письмо мое дойдет, поэтому лучше в письме несколько слов, а телеграммы, справки и автографы — не «мой жанр».

*Алеша Прасолов*, также его стихи — поразили меня с первого раза своей глубиной. Но о «глубине» я к той поре уже слышался в досталь, только что кончил Высшие. лит. курсы, поштался по комнатам Литинститута, да и в книгах, как тех лет так и нынешних, почти как пропуск в предисловии слово «глубина», но никогда не пишут слова — неотгаданная.

Я думаю, и Лермонтов, но прежде всего «всем доступный» Есенин, как раз и притягивают, до стона и слез волнуют тем, что дотрагиваются в нас до того, что ныло, болело, светилось внутри нас и что ноет, болит и светится внутри нас, и дано им было каким-то наитием, каким-то неведомым чувством коснуться того, что именуется высоко и справедливо — «волшебством поэзии», и только ей, да еще музыке, и дано растревожить в нас самим нам непонятное и никем еще непонятое и необъясненное (слава Богу!) чувство, в котором тоска по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, мечты о всепрощении, желание любви и братства, и еще, и еще чего-то как

бы приближаются к тебе, делаются осязаемей, — недаром от музыки и поэзии плачут, это плачут люди о себе, о лучшем себе, о том, который задуман природой и где-то осуществлен даже, но самим собою подавлен, самим собою побужден ко злу и малодоступен добру.

Алеша Прасолов не прочитан нашим «дорогим» широким читателем и не может быть прочитан, он не кричит о времени, он заглянул в него и, как Лермонтов, содрогнулся от того, что ему открылось. Это заблуждение, что он говорит об обыкновенном и обыкновенными словами. Коля Рубцов тоже «обыкновенен» — на первый, поверхностный взгляд, а вся поэзия его проникнута предчувствием смерти. Своей! И это страшно. И это пугает своей «избранностью», и мы невольно и смущенно толкуем его вкривь и вкось, только чтобы самим — Боже упаси! — не заразиться тягой поэта к загробным и предсмертным чувствам. Всем не хочется умирать, и тем мы живы, потому и хитрим с самими собой прежде всего, играем в телевизионные куклы, в радиоугадайки, в тью-тью с жизнью, а в это время над головой летают самолеты с боеголовками, варначат так называемые космонавты в погонах, сытые и, как было во веки веков, толстодумные генералы нацеливают друг на друга ракеты и, жуя казенную пайку, подсчитывают, сколько оной ракетой сметут с земли супротивников, а «супротивниками» стали все, ибо при современном оружии нет ни «белых», ни «цветных», ни маленьких, ни больших, ни границ, ни пространств, ни социальных систем, ни кастовых разделений.

Вот тут-то и вся закавыка.

Коля Рубцов предчувствовал свою только смерть и где-то жило в нем тоскливое предчувствие угасания Родины — России. Оно у него с годами все явственней и заунывней звучало, ибо он видел и ощущал, как оголяется, пустеет Вологодчина и как вместе с ним запиваются и дичают на городских просторах вчерашние крестьяне, деревенские устои и семьи, прежде всего, распадаются под натиском малогабаритного городского «рая».

У Прасолова все это от частной судьбы прорастает в общечеловеческие масштабы и предчувствие трагедии во всем таком, что нашим мелким душам и копеечному, обрахлившемуся обществу страшнее всего читать, а тем более, пущать в себя такое. Люди, как на пожаре, тянут барахло, машины, дачи, «участки!», бьют животных, жгут и покоряют пространства, торопят, лезут друг на дружку.



ку, зашатывают родителей, детей, отмечают в хламе старые морали, продают иконы и кресты, а тут является человек и спокойно спрашивает: «А зачем это?» — и толкует о счастье самопознания, о душевном укреплении, о мысли, как наиболее ценном из того, что доступно человеку, что создало его — человека, и что он должен материализовать в улучшении себя и будущих поколений, а не в приобретении «Жигулей» и теплого одеяла — для этого никакой мысли не надо, для этого довольно двух хватающих рук. И литература наша вполне удовлетворяет «духовные запросы» потребителя, делает это с нарастающим успехом, что от нее и требуется на «данном этапе».

Выдающийся поэт редко бывал современен. Несовременен и Прасолов, но современны его ощущения и предчувствия, к сожалению, в слове его далеко не реализованные, — участь выдающихся поэтов России разделил он: преждевременная смерть — это не только рок, но и закономерность жизни — чтобы не смущал нас своим высоким светом, не тревожил своей мыслью и словом, нам достаточно и лампочки Ильича, а если семилинейная лампа или горнушка с нефтью в землянках засветится в конце нашего пути — и этим обойдемся, только чтоб сыто и спокойно было. Мы, и только мы, убиваем своих поэтов, как цветные выбивали белых, а белые цветных — пусть не портят нам цвет кожи! Пусть создадут себе отдельную землю «поэтов» и живут там. И поют там. Мы не готовы к восприятию высокого слова, высоких чувств и трагедий — поэты всегда рождаются «рано». И Прасолов родился «рано» и ушел «не вовремя». Не будем отгадывать его судьбу, поучимся постигнуть его слово, постигнуть и понять себя и время! Пока не поздно!

*Обнимаю — Виктор Петрович*

23.5.81 г.

Дорогой Миша! (Домогацких)

Позавчера моя жена Мария Семеновна, никогда тебя не видевшая наяву, умудрилась тебя увидеть во сне — умершего. (Не бойсь! По русским приметам — долго жить будешь.) И во сне же она говорит мне: «Вот Миша Домогацких умер, а ты так и не написал ему рекомендацию».

Вот до чего я дожил, суета заела! Одолели те, кто ближе живет, а ты во-она где, вроде и подождать можешь.

Письмо твое получил, а подарок находится в Вологде, днями Мария Семеновна полетит туда и посмотрит на него, а я уж после съезда заеду в Вологду. Живу я здесь ничего, продолжаю устраиваться, немного болел, поэтому и не работал вплотную. В марте — апреле (конец — начало) был в Москве по делам, затем маленько погрелись с женой в Душанбе. Продолжаю работать над книгой публицистического порядка (воспоминания) под названием «Зрячий посох», в августе должен сдать в местное издательство новую книгу «Затесей» и осенью, глядишь, напишу роман о войне. А пока хочется посмотреть край, привыкнуть к родине, познать ее ближе. Собираемся в конце лета прошвырнуться на рыбнадзорском катере по Енисею.

Весна у нас началась бодро — в апреле — 20—25, в начале мая и в середине доходило до 33. А сейчас вот снег пробрасывает, ночью обещают заморозок, а все взойшло — вылезло, цветет. Вот тут и весь характер земли нашей, а бабы — терпи, то жар, то холод!

Рекомендацию, как ты и велишь, я пошлю в Москву.

Вот пока и все. Обнимаю тебя. Что ж ты, умеешь по-китайски, и по-французски, и по-всякому, и не скажешь китайцам, чтобы они не нарушали ничего? Разом, на всех языках призови их к порядку. Обнимаю.

**Виктор,  
Овсянка**

### [Весна 1981 года]

Дорогой Жора! (Г. Ф. Шаповалов)

Вроде весна наступает и у нас, правда, не очень торопится, ночами холодно, однако длинная и холодная зима, кажется, позади. Я, правда, маленько ее, зиму, сократил — ездил в декабре в Японию, там было плюс 5—15 — для меня это в самый раз, а япошки говорят: «Холодно».

Поездка была интересная, хотя и пришлось мне много поработать: выступал, встречался с писателями и студентами, побывал во многих городах, в Хиросиме — тоже. Вблизи увидел последствия атомной бомбардировки и ясно представил себе, что ждет людей, если случится ядерная война. Лучше до этого и не доживать — война, на которой мы с тобой были, — игрушка по сравнению с ужасами войны будущей.

После поездки сидел дома, много работал. Не знаю только зачем. Просят, умоляют написать о войне, напишешь — не проходит в печать: всем нужна война красивая и героическая, а та, на которой мы были, с грязью, вшами, подлецами-комиссарами, вроде начальника политотдела нашей дивизии — такая война никому не нужна, а врать о войне я не могу, ибо чем больше врешь о войне прошлой, тем ближе становится война будущая...

Но все равно живу работами и заботами. К будущей зиме, здоров буду, надеюсь закончить новую книгу рассказов и, может, сделаю, точнее, доделаю маленькую повесть, а скорее, маленький роман.

С успехом прошел по телевидению фильм по моему сценарию — «Ненаглядный мой». С тем же режиссером собираемся работать над 3-серийным телефильмом «Где-то гремит война». Я еще сделал инсценировку для местного театра ко Дню Победы, и еще много чего поделал. Очень устал.

*Твой Виктор*

29.11.81 г.

Уважаемый Владимир Исакович!

Инсценировка очень плоха. Есть такое презируемое и осмеянное нашими юмористами понятие: «Специфика сцены». Но сколько ее ни осмеивай, она есть и заставляет с собою считаться.

Я посмотрел текст и понял, что человек, писавший инсценировку, совсем не знает театра и его сцены.

Вы что ж? Все три действия будете крутить круг, орудовать светом, строить и перестраивать, чтоб показать деяние то и дело меняющихся мест действия? Или прибегнете к так называемой «условности»? Но условность на провинциальной сцене даже в очень хороших руках, умелых и ловких, даже в хорошем исполнении почти всегда выглядит карикатурно, пошло, смотреть лихое областное действо, излаженное под «столицу», — неловко, досадно.

И еще: что Вы будете делать с длиннющими монологами? Сейчас даже в столице нет актеров, может быть кроме Ульянова и Папанова (но они не придут к Вам играть!), которые могли б более-менее, хоть на мало-мальски профессиональном уровне произнести монолог. Я работал в

московском театре — ставили мою пьесу, и не одну, и говорю Вам, вполне основываясь на фактах.

Мой Вам, инсценировщик, совет: не гоняться за всем содержанием повести (необъятное не объять), оставить основную линию, сконцентрировать действие в детдоме, быть может, одну-две сцены оставить (в комнате Ступинского, в милиции — и все), разумеется, при переносе прозы на сцену надо ее по существу переписывать, привносить что-то из области драматургии. Я на этом не настаиваю, а то такого понапишут!..

Читали ль вы мою пьесу «Прости меня»? За основу ее и в основу ее взята повесть «Звездопад». Что там от повести осталось? Инсценировка нуждается не только в переосмыслении произведения, но и обогащении прежде всего драматическим действием, единством материала, сжатого, спрессованного, собранного в кулак.

Все мысли автора «Кражи», его внутренние монологи, переданные персонажам, надо вернуть автору, сделать «голос за сценой» или выпустить его на сцену или того, кто будет читать, т. е. мыслить за него. Получается это тоже почти всегда неудачно, плохо, но все же лучше, чем когда выходит артист с уровнем районной самостоятельности и начинает бубнить чего-то неразборчивое 10—12 минут — и в зале не только зрители, но и мужи мрут!..

Где Вы видели спектакль в трех действиях? Когда? С двух-то действий публика уходит, соскучившись по телевизору и домашнему уюту. А тут — три!

Мы в Красноярске сделали инсценировку по «Не убий» (это мой сценарий, по нему был сделан фильм — «Дважды рожденный») совсем без перерыва, в одном действии. Это публика еще выдерживает.

Вы пишете, что озабочены — как сохранить повесть? Нет повести. Как бы Вы ни изошрялись при переносе на сцену — в другой ряд и род искусства — не сохранить ее, и с этим приходится мириться, но нужно и можно сохранить главное — дух ее, увеличить «ударную силу» ее, ускорить ход, обострить действие за счет снимаемости текста, убирания небольших сцен и даже линий, особенно сцен проходных, действующих лиц «разового пользования». Максимум действующих лиц, минимум сцен, минимум суеты и хаоса. Я видел инсценировку в Красноярском ТЮЗе. Сцена была одна, но «двухэтажная» и высвечивала то один этаж — низкий, детдом, то второй — комната Репнина, Ступинского, кухня, милиция.

Пьеса очень длинна. Ее надо решительно сокращать и еще много-много работать над инсценировкой.

Я недавно принимал у себя режиссера Малого театра. Он сам написал и ставит «Царь-рыбу», разумеется, сохраняя дух, стиль и содержание повести — по законам жанра и сцены, много привнес и «своего», сократив повесть до 65 страниц машинописного текста, да и этого многовато. Если это «свое» сделано талантливо, серьезно и творчески, я, хоть и скрепя сердце, иногда подписываю инсценировки, но Вашу не подпишу. Рано! Поработайте еще и поработайте творчески, с учетом Ваших возможностей, возможностей Вашего коллектива и законов сцен.

*Успехов — Виктор*

20.12.81 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Сердечная Вам благодарность за фотографию с очаровательным внуком! Будет настоящий мальчишка!

И за книгу, конечно, тоже спасибо!

А я никак не могу примириться с гибелью дочери. Все утешают меня, но мне не нужны утешения. Пусть мне будет в десять раз хуже, но чтобы была жива дочь. Вот когда я понял штабс-канцлера на портретах Ильюши в «Братьях Карамазовых».

Не хочу утешений и быть спокойным, когда нет любимой моей дочери в живых.

*Ваш Д. Лихачев*

25.12.81 г.

Дорогой Георгий Васильевич!\*

Я уж и не знаю, как и чем отблагодарить Вас за столь драгоценный подарок?! Если слово «спасибо», происходящее от «спаси Бог», хоть в малой степени передаст мои чувства радости, удивления и восхищения, я говорю Вам его многократно и земно кланяюсь Вам за Ваш прекрасный труд, за то, что Вы вспомнили обо мне, живущем за тридевять земель от столицы...

---

\* Георгий Васильевич Свиридов.

Разумеется, я многожды слышал и слушал Ваши произведения, есть у меня и пластинки, но вразброс, купленные по случаю. А Вы мне — такие записи, в таком количестве подарили! Да хранит Вас Господь!

Я конечно же с радостью отдарю, чем смогу, привезу Вам, как буду в Москве, свой четырехтомник, посылать по почте сделалось ненадежно — воруют. Семь бандеролей с четвертым томом, посланных в Ленинград, — потерялись разом, вот до чего дожили и докатились! Даже такое место, как почта, подверглось разбою. Ничего ни святого, ни надежного не остается.

Я, Георгий Васильевич, не гурман, а всего лишь слушатель благодарный, многое в «сложной» музыке не «волоку», как нынче говорят, но чем-то и чего-то чувствую.

Когда я впервые слушал капеллу Юрлова (слава ему во веки веков за его подвижническую жизнь, за его нравственность и духовный подвиг!) — это было двадцать уж с лишним лет назад, в Латвии, на Декаде русской культуры, в Домском соборе, — то понял тогда, что перед этой музыкой, перед таким великим искусством — все равны и все виноваты в том свинстве, какое люди развернули на земле среди людей. А в зале были и члены Президиума ЦК, артисты, певцы и всякий люд. Многие плакали, плакали про себя, покаянно, а мне так хотелось всех обнять и рассказать им что-нибудь, утешить и тоже покаяться.

Потом мне удалось достать пластинки с церковными хорами (первый выпуск), потом они стали продаваться свободно, в классическом отделе магазина «Грампластинки», но в классическом отделе не было покупателей, никто их не рвал из рук, а напротив в отделе орали Алла Пугачева, Ротару, Хиль и иже с ними.

Недавно на выступлении разговор зашел о том, какой стала Россия. Из зала слушатель-весельчак прислал мне записку: «Россия впрямь другою стала, был Емельян, теперь вот Алла». Было б совсем грустно, если б уж все ушли в «пугачевщину». Слава Богу, работаете Вы и еще несколько крупных русских композиторов и не даете нам совсем одичать и подчиниться дикому и чужому ритму века.

А в моей родной деревне осталась еще родня, и иногда мы все поем, и осколки семей наших деревенских тоже еще поют, иногда протяжно, вольно, со слезою. Вот эти часы я очень люблю, всегда они меня трогают и не дают вовсе упасть духом. Но все родичи уже старые, и, как

«упадет» один из хора — образуется дыра, и никто ее уже не затыкает, ибо не знают нынешние парни и девки наших старых песен, стыдятся их, зато выхляться задами по-бабьи не стыдно.

Ну что ж, наверное, самая отрадная и закономерная поговорка: «Другие времена, другие песни», не хочется с этим соглашаться, не хочется слышать какие-то завыванья на нерусский лад, и вывертывать горло не по-нашему тоже больно и неловко.

Да что я об этом толкую! Вы-то все это знаете и переживаете куда как больнее всех нас.

Силы Вам, и крепости Духа, и новых песен, сочинений, романсов — в новом году. Поклон Вашим близким от меня и моей супруги, Марьи Семеновны, — это она печатает на машинке мое письмо, ибо почерк мой, кроме нее, никто не разбирает. Еще раз кланяюсь и благодарю!

*Ваш Виктор Астафьев*

29.8.81 г.

Дорогой Лазарь Викторович!

Ко мне обратилась Вера Викторовна Воробьева, жена покойного моего друга, Константина Воробьева, с просьбой обратиться в секретариат Московской писательской организации насчет жилья. Она написала, что была у Вас и Вы «в курсе», поэтому я посылаю свое письмо на Ваш домашний адрес, чтобы оно не затерялось в канцелярских столах и скорее получило бы «ход».

Извините, если не соблюл какие-то инстанционные нормы. Делаю это от давнего товарищеского уважения к Вам и в надежде, что Вы меня поймете.

Поддержите и не осудите за «кустарщину». Я так и не научился жить «по правилам», все живу в расчете на человечность и дружество, ибо это пока еще имеет какую-то ценность.

*Кланяюсь. В. Астафьев*

Самой Вере Викторовне я уже буду писать в Германию, в Москву не успел. Ее письмо шло в Сибирь через Вологду, где я не живу уже больше года.

29.8.81 г.

Дорогие товарищи!

Ко мне обратилась вдова моего покойного друга, замечательного, но, к сожалению, малоизвестного писателя Константина Воробьева с просьбой помочь ей и семье ее с жильем — шесть человек, среди них больная, уже неспособная двигаться — мать вдовы — живут на 43-метрах. Формально вроде бы все в порядке — необходимый метраж — норма его соблюдена. Но здесь же хранится архив покойного писателя, его библиотека и рабочее место, хотя и скромное, а все же почтенное.

Сейчас вдова покойного писателя работает в ГДР, преподает русский язык и, чтоб хоть немного «улучшить» семейное жилище, осталась за границей еще на год, а когда вернется — ей по-существу негде будет жить.

Я очень прошу вас, дорогие товарищи и друзья, помочь семье Воробьевых, не формально, а по-человечески рассудить мое «послание» и найти возможность хоть как-то помочь Вере Викторовне отделиться от детей с больной матерью. Помогите, пожалуйста!

Не знаю, как вас, а меня не покидает чувство вины перед ушедшим рано фронтовиком, и вполнину не раскрывшим свои творческие возможности Константином Дмитриевичем Воробьевым, которому и повоювать пришлось тяжело, и в литературу входить того тяжелее — жить в стороне от России и писать о России, и при всей взыскательности к своей работе, мучительном поиске своего слова и стиля, начать печататься широко только после смерти...

Впрочем, что я вам толкую, — писательские и человеческие судьбы неисповедимы. Но я пишу об этом для того, чтобы пробудить сердечность и к памяти писателя, и к его вдове, которая разделила с мужем и партизанскую долю, и послевоенное лихо, и болезни, и потери, и нелегкий писательский быт, и характер покойного вынесла. Словом, она заслужила право жить нормальной человеческой жизнью хотя бы на старости лет.

Всем желаю здоровья и успешных дел.

*В. Астафьев,*  
с. Овсянка



29.8.81 г.

Дорогая Вера!

Мне приходится писать Вам уже в ГДР. Дело в том, что я уже более года как переехал из Вологды на родину, в Сибирь, и письмо Ваше шло долго. Одновременно с этим письмом я написал обращение в Московский секретариат и Лазарю Карелину. Постараемся воззвать к их человечности, и, думаю, что они не формально отнесутся к моей просьбе — в секретариате Московской писательской организации у меня много доброжелательных товарищей и всего несколько недругов.

Очень я рад, что Вы на хорошей работе, и с этой стороны все у Вас ладится, надеюсь, и с жильем со временем образуется.

Если буду в декабре в столице, непременно Вам позвоню или Сереже и узнаю, что у Вас и как. Я немного не застал Вас в Москве — 1-го сентября мы с Марьей Семеновной летим на международную книжную ярмарку, затем на Север, с выездным секретариатом, и в Вологду — навестить детей.

В Сибири все еще устраиваюсь, но и помаленьку начинаю работать. Осенью надеюсь начать свой роман. О войне. Годы летят, а все кажется, что главная книга все еще не написана, что она впереди. Много времени уходит в никуда, впустую, заедает суета.

Желаем Вам добра — здоровья и разрешения ваших серьезных проблем и вопросов.

*Ваш В. Астафьев,  
Овсянка*

[1981 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

... Взять такие очень простые сопоставления: у врага главное стрелковое оружие — автомат, у нас — винтовка (из чего получилось бы хорошее стрелковое оружие — тот же автомат), у него траншеи с ходами сообщения, у нас — окопы (коллективная могила), у немцев тактика маневренная, у нас — эшелонированная. Я говорю только о том, как говорится, что видно невооруженным глазом.

Известный ученый, доктор наук Ощепков Павел Кон-

дятьевич еще до войны изобрел радар и предложил Сталину взять на вооружение эту новую технику. Сталин возражал — «ненужная вещь!». Ощепков энергично настаивал, потому что приближение самолетов противника, уже тогда ставших высокоскоростными, невозможно своевременно обнаружить звукоулавливателями, которые были в нашей армии. Ощепков был репрессирован Сталиным. Зато во время войны пришлось закупать за дороговую цену радары у Англии.

В адрес «трехлинейщиков» скажу также, что смесь тугоумия и спеси также помешала своевременно заменить устаревший станковый пулемет «Максим» на более лучший. Он тяжел. Помнится, у него один станок весит 32 кг, тело — 24 кг, щит — 8 кг. У меня на всю жизнь он оставил шишки-мозоли на плечах...

Я с 17-ти лет, в 1943 году был призван в армию, воевал на Дальнем Востоке с японцами.

Беда в том, что «ортодоксы» — шапкозакидатели живучи, мне пришлось немало повоевать с ними и в мирной обстановке. И меня (председателя райисполкома) в 50—60-е годы, будь на то их воля, объявили бы врагом народа только за то, что я разрешал держать 10 пчелосемей в каждом личном хозяйстве колхозника вместо строго указанного свыше — не более пяти.

*Дмитриев А. Г.*  
Удмуртия

[1981 год]

Дорогая Зоя Ивановна!\*

Давно пришло Ваше письмо с печальным известием о смерти Виктора Михайловича. Сразу не ответил на него оттого, что сам прихварывал, а потом поехал в Сибирь да там и захворал. И чего же я мог написать Вам? Сочувствие в таких случаях не помогает и не облегчает. Кабы своими словами я мог бы вернуть самого дорогого Вам человека, поискал бы самые светлые слова, но, увы, в таких случаях слова бессильны.

Но как бы ни было, живым надо жить и исполнять назначенное судьбой. И хуже, гораздо хуже бывает, ког-

---

\* Зоя Ивановна Попова.

да из супружеской пары первой уходит в мир иной женщина, жена, — мужик остается совершенно беспомощным в этом миру и совсем несчастным, вот и рассудил Создатель справедливо, как всегда — первым забирая мужчину. Женщина умеет хранить память и горе, она его оплачет и обиходит, как говорил перед смертью мой дядя, вот уже семь лет покоящийся на красноярском кладбище, а прожили они всю жизнь вдвоем. Первое время тетя Таля после его смерти даже есть одна не могла, ходила на кладбище...

Горе, смерть, как и жизнь — неповторима, и всякому свое горе самое горькое. Мужайтесь! Вот и все, что я могу Вам сказать. Что же касается издания книжки Виктора Михайловича, я сегодня же напишу Э. Н. Зербеевой — редактору детской литературы Пермского издательства. Человек она исключительно добрый и умный, думаю, что-то предпримет и вставит издание книги Виктора Михайловича в план издательства, хотя бы перспективный.

Доброго здоровья Вам и Вашим детям. Виктору Михайловичу — светлая память.

*Ваш Виктор Астафьев*

14.2.82 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Я получил Ваше письмо и Ваш подарок. Благодарю!

Все это пришло ко мне в тяжелый и горестный час, когда мне казалось, что я не переживу своей беды. Но жизнь балует меня и одарила таким драгоценным даром!

Ваш почерк, совершенно мне незнакомый, но я его не могла разобрать еще и от слез, радости и волнения.

«Жизнь — нечаянная радость, счастье, выпавшее мне!...»

Я читаю и перечитываю строки Вашего письма, пытаюсь за строчками увидеть что-то особенное, написанное только для меня. И рассказ Ваш удивительный, совершенно отличный по своей интонации от всего когда-то читанного мною, я приняла всей душой. И Ваше потрясающее «Кланяюсь» — такое забытое в нашей жизни.

Благодарю Вас!

Когда я читала Ваш «Последний поклон», мое сердце переполняла мучительная боль и страх нестерпимый: зачем Вы так прощаетесь со всеми? Живите долго. Без Вас пусто станет на земле.

У меня никогда еще не появлялось желание написать писателю письмо и ждать ответ. На моей работе есть одна девушка, и случайно, при разговоре, я узнала, что она из Красноярска. Я спросила ее о селе Овсянка, она ответила, что оно почти рядом с ее родным селом. И с тех пор я смотрю на нее с каким-то особым вниманием, выискивая в ней что-то родственное Вашему облику. Как, наверное, странно — жить рядом с человеком, который поразил твое воображение, ходить с ним по одним дорогам?..

Недавно я была на бийском вокзале и с таким пристрастием вглядывалась в лица людей, вслушивалась в их говор, в шумы и ритмы этой станции. Мне во всем хотелось почувствовать присутствие Василия Макаровича Шукшина.

Но так мне холодно и неприятно было там, что мне показалось: здесь еще сто лет не появится такой совестливый и праведный человек.

Вашу книгу «Зрячий посох» — «Посох памяти» я читала этой осенью, затем ее прочитали мои друзья. Где-то я прочитала: книга, не прибавившая хоть немного в видении человеком мира, — ничего не стоит. Как же оценить Вашу книгу, по которой я учусь видеть мир?

Роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» — я, прочитав страниц двадцать, дальше полистала, не вдумываясь, лишь уловила сюжетную нить произведения, наткнувшись еще и на фантастический сюжет, — я роман отложила. И только Ваши строки об этом романе, о его многоплановости, психологичности вернули меня к нему. Вдумываясь, вчитываясь — я уставала от пяти страниц этой книги, потрясенная жуткой легендой о памяти.

Как значительна и трагична судьба российского писателя! Среди океана лжи, неправды, мерзости сдержат людей от рокового, высветлить в их душах самое человеческое, вселить веру, что жить надо вечно...

С Вашей книгой я могу остаться один на один, с Вашими мыслями как бы чувствую и понимаю Ваши недосказанные строки, слышу шум Вашей любимой реки, видя блеск ее волн.

К дню Вашего рождения я напишу Вам еще письмо. Его я до словечка обдумала, чтоб оно принесло Вам тепло и благодарность.

«Бабушка говаривала, что добрым людям за добро не

грех и в ноги поклониться». Вот и я кланяюсь низко Вам в ноги и считаю за счастье жить с Вами на одной земле.

*А. Чернова,*  
г. Богданович

[1982 год]

Милый, дорогой Виктор!

С весной тебя, с этой чистой детской порой года, которых остается все меньше, а может, и ничего уже...

Но жизнь все равно хороша, даже в конце, и будем за нее бороться хотя бы тем способом, чтоб не тратить ее на свары, подлости и мерзости.

Я все тревожусь, как ты там после гриппа, все ли обошлось, а то ведь я по себе знаю, во что это обходится: вот уж 10 лет как со мной случился мой Чернобыль, от которого и до сих пор не приду в себя. Давай, свинчивайся снова, а в мае, Бог даст, поедem с тобой в Минск, на праздник славянской пьянки... Нет-нет, не будем! Мне туда хочется, потому как я там воевал и видел Минск порушенным и полусожженным.

Нынче шевченковские дни будут в Полтаве, но я отказался, потому что они тоже в мае. В передаче «Слово» выступал Валя Распутин, но в этот раз говорил скучно, общие слова, как приходской иерей: не пить, не курить и любить друг друга, и все на полном серьезе, даже трагедийно. Вопросы же были серьезные, и говорить надо бы с живым запалом.

Кланяюсь Марье Семеновне. День 9-го мая — и ее день. А мы с тобой давай помянем невернувшихся, а потом чокнемся и выпьем за остаток нашего здоровья.

*Обнимаю — твой Женя (Носов)*

3.7.82 г.

Уважаемые товарищи Балашов и Мухопад!

Вот в каких городах Советского Союза идут мои пьесы и инсценировки:

1. В Москве
2. В Ленинграде

9. В Гродно
10. В Уфе

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 3. В Петрозаводске . | 11. В Сыктывкаре    |
| 4. В Вологде         | 12. В Курске        |
| 5. В Кирове          | 13. В Ставрополе    |
| 6. В Архангельске    | 14. В Нижнем Тагиле |
| 7. В Туле            | 15. В Челябинске.   |
| 8. В Брянске         |                     |

Какую-то часть театров я могу и не знать.

В Свердловском театре оперы и балета поставлена опера «Верность» — по повести «Пастух и пастушка», композиторы Кирилл Молчанов и Юрий Пьянков (Москва); заканчивается работа над балетом «Звездопад».

Странно мне, конечно, не видеть в списке этом сибирских городов и, в частности, города Красноярска.

Фильм, выпущенный центральной студией страны — «Мосфильмом», по существу в городе не шел (один, премьерный, показ в кинотеатре «Луч», а все остальное — по глухим окраинам, кинотеатрам и клубам).

Быть может, отдел культуры и пропаганды крайкома как-то развеют мое недоумение, усугубленное еще и тем, что город Вологда, в котором я прожил предыдущие 11 лет, «своим» авторам всегда предоставлял только центральные кинотеатры, обязательно превращал показ фильма или пьесы в праздник местной культуры; добивался дополнительного количества книг и даже тиражей, выходящих в Москве и Ленинграде, в магазины местных авторов, всячески содействовал постановке и показу спектаклей и фильмов прежде всего зрителям своего города. Поставленная областным драмтеатром Вологды, режиссер, заслуженный артист и деятель искусств — Георгий Топчиев, — не сходит со сцены седьмой год пьеса «Черемуха» (в городе 230 тысяч населения), пьесой «Прости меня» (режиссер В. Баранов) открывался в городе новый театр Юного зрителя. Спектакль удостоен Государственной премии РСФСР за 1981 год.

Я понимаю, что в борьбе за высокую культуру Сибири вам, быть может, и дохнуть некогда, но местная культура, к которой я имею честь принадлежать — конкретно уже третий год, смею надеяться, также составная часть Сибирской культуры, и я в ней — не последний в стране представитель, а между тем, со мною не изволили не только поговорить, но и познакомиться как следует.

А ведь я мог бы сообщить премного любопытного дополнительно к тому списку, который написал выше, и спросить мог бы кой о чем, и высказать свое мнение по

многим вопросам, касающимся не только культуры, и не только местной.

Должен Вам заметить, что в Вологде 1-й секретарь обкома, пока был относительно здоров, хоть и занятой человек, многое о нас знал как о литераторах и о нашей творческой жизни, читал наши книги, случалось, и бранил литераторов, и помогал, чем мог. А секретарь по идеологии, Виктор Алексеевич Грибанов (ныне председатель облисполкома), читал все наши книги, смотрел все спектакли и считал своей обязанностью два-три раза в году встречаться с местными писателями и не на ходу, не в коридоре, а у себя в кабинете, обязательно для этого выделял полдня.

А тут новый заведующий отделом культуры, т. Мухопад, уже несколько месяцев пребывающий на посту, не соизволил не только лично с кем-то из писателей познакомиться, но и в Союзе писателей не бывал и писателей в глаза не видел!

Неужели непонятно, что общение с писателями тому же Грибанову давало, быть может, больше, чем нам, литераторам, поддерживало и его, и нас, снимало наслоение сплетен и раздраженности, наконец, взаимно обогащало тех и других.

Я рискую быть неправильно понятым, мол, набивается на постановки пьесы и прочее, и прочее. Нет, я и в молодости не навязывал никому ни книг своих, ни пьес, ни образа жизни, но много помогал и помогаю молодым писателям и просто людям, чего и Вам желаю! И не скрою: реклама того же театра имени Пушкина, где значатся пьесы Мирошниченко, Бримана и т. д., не очень меня тянет быть в этой компании. Почему-то тот и другой театр — Пушкина и ТЮЗ обратились ко мне с просьбой об инсценировке («Пастуха и пастушки»), хотя прекрасно знают, что я не соглашусь на инсценировку этой повести и, тем более, на постановку ее при той режиссуре и исполнителях, которые есть сейчас в наличии. Я сказал завлиту ТЮЗа: «Зачем Вам нужна инсценировка повести, по сути и качеству своему неосуществимая на сцене, когда во многих молодежных театрах идет пьеса «для молодых» — «Прости меня?»» «Нас смущает образ Смерти. Нам не поднять его».

А сложнейшую повесть, видимо, поверхностно прочитанную, поднять возможно?

Странно и такое: напечатанная в 1978 году в журнале «Театр» моя пьеса «Черемуха», перепечатанная затем в сборниках и репертуарных бюллетенях, оказалась непрочитанной (до встречи со мною уже в 1981 году) главным режиссером театра родного города! Пьеса «Прости меня» напечатана в журнале «Наш современник» (тираж журнала 330 тысяч!), она идет в десятке театров страны, получила широкую прессу и Государственную премию, а многие деятели театра и культуры в Красноярске и не слышали даже о ней.

Я это пишу Вам не для того, чтобы жаловаться (сроду не жаловался и в обкомы да в крайкомы не писал), а на своем примере, на личном, конкретном, хотя бы заострить Ваше внимание, заставить глубже подумать над словами: «Сибири — высокую культуру», что это не просто лозунг и своевременный выкрик. Это дело и дело очень важное, к которому, кроме всего прочего, должно быть не только казенное, но и собственное отношение каждого работающего в области культуры, тем более руководящего, направляющего его к этому предмету, отношение ответственное, а не демагогическое, увы, понимаемое порой голословно, как очередная кампания по кошке картошек и уборке сена. Краснобайства, пустозвонства и показухи, считаю я, и без того лишка во всей стране, в Красноярске и крае, увы, этого тоже лишковато. Об этом Вы и без меня знаете.

*Виктор Астафьев*

[1982 год]

Дорогая Светлана! (Войтецкая)

Дошла-докатилась и до меня печальная весть о кончине Артура. Когда уходит из жизни человек, любой человек, — становится печально на сердце, но когда уходит близкий человек, да еще и не просто близкий, а духовно совпадающий с тобой, — совсем на сердце пустынно делается, и ветер там веет.

Артур был для меня еще и мостиком между мной и украинцами. Он, именно он, не пятывший по-хохлацки грудь «чемойданом» и даже не говоривший «гх», — был истинным украинцем, ее совестью, ее культурой, ее честным полпредом в искусстве, делом и своей жизнью, а не



горлом, отстаивающий достоинство человеческое, а значит, и национальность. Все беды, обрушившиеся на Украину, да и на Россию тоже, заключены в том, что она и мы не подготовили достаточно людей истинно деловых, бескорыстных, честных, готовых Родине и народу своему отдать сердце свое за просто так, не добиваясь предоплаты и вообще какой-либо платы. Когда я вижу на экране широко раскрытый мокрый рот Ивана Драча, а рот у него и от природы-то не узкий, — мне становится неловко и больно за Украину и ее культуру — Иван-то и есть хохляцкое горло и мурло. А где ж истинно-то украинское? То, природно-деликатное до застенчивости, мягко произносящее такие дивные слова, как «коханий мий», «хвилюночка», «крапонька». Неужто советская власть так поработала, так перепахала нас, что одни способны лишь орать: «Гэть!», другие — «пасть порву!»

Встретился мне еще один человек, воплощающий в облике своем, в жизни, в говоре и любви к Родине — Украину, это подолянка Наташа Кащук, или Натуся, как ее ласково звали в семье Ковалей, особенно мелодично звучало это в исполнении бурной Ковалихи. Наташа была уже смертельно больна, несколько раз побывавшая под ножом у Амосова, и дошла до такой доли, что Амосов же и сказал, что больше никакое вмешательство ей не поможет и пусть живет сколько сможет, — два года назад, а может, уже и больше, она, надорванная еще девочкой в оккупации, умерла, и едва ли Киев и Украина с Кравчуком, которая орет, за что и почё, сама уж не знает, и не заметила, что с земли украинской исчез ее невинно-чистый, истинный лик. Думаю, что Ковалиха и Витя Коваль только и помнят ее, когда и помолятся. Пусть Наташа услышит, что я поминаю ее «добрым, тихим словом», поминаю среди своих близких и дорогих мне людей молитвою, когда отпускает сердце смута и суета, хотя для молитвы и не надо бы дожидаться времени и подходящего места. Вон мусульмане: где их застигнет час намаза, там и становятся на колени. В полдень все улицы арабских городов устелены циновками — ковриками для моления, которые «за так» выносят и расстилают ребятишки, хозяева магазинов, аптек, ларьков. Мы — плохие, ленивые миряне, — вечно ждем удобного случая и времени полюбить Бога, помолиться ему. Делаем это чаще в святые праздники и много пьем, орем, грешим в светлые-то дни, оттого Гос-

подъ нас так волочит по земной поверхности, тычет рылом в грязь и дерьмо, да никак не научит понять и пронять, наука нам не впрок и беды наши ничему нас не учат.

Пусть будет пухом Артуру земля, которую он так любил, где покоится замечательная женщина — его мать, пусть хотя бы друзья вспоминают его в родной Виннице, по праздникам, иногда и в будни. Здесь, в Сибири, его вспоминают хорошо, слышал я в Кононово, узнав от Скопцова о смерти Артура, поплакала ваша хозяйка, поплакали и «массовщицы» заодно с нею.

Мы живем в трудах и заботах. Я закончил вторую книгу романа «Прокляты и убиты», действие происходит на Украине, на Днепровском плацдарме, книга так и называется — «Плацдарм». Напиши нам, как ты без Артура? Знаем, совсем плохо и одиноко. Во мне еще и вина живет, что не посмотрел тогда его новый фильм, не повидался с ним в Москве, все пытался спасти Союз русских писателей, не понимая, что никакой Союз мне не только не спасит, но и не помочь смертельно больной стране и ее культуре. Прости меня, Господи, и за этот грех!

Будь здорова и по возможности благополучна.

*Кланяюсь — Виктор Петрович*

[1982 год]

Дорогой Виктор Петрович!

Огромное Вам спасибо за «Затеси». Благодарность моя запоздалая, потому что книгу от Вас получила месяца три назад — хотелось прочитать и затем отписать. Ранее я Ваших рассказов почти не читала и в этой книге мне были знакомы только те, что, увы, так и не пошли в нашем журнале, «Гемофилия» и кое-что еще.

Сейчас прочитала книгу не отрываясь, и спасибо Вам большое! Раздел «Вздых» просто потрясает. Какие там «Мгновения»! Какие стихотворения в прозе? «Медведь», «Слякотная осень», «Будни». Все здесь и тяжело, и сильно, и, главное, — правда.

Правда в каждой Вашей строке, в самой маленькой «затесинке», в дивных рассказах о животных. Правда и волшебная простота. В последнее время такое обилие «художественности», что правда и простота — великий дар.

Спасибо Вам за этот дар и за Вашу милую надпись на книге.

Счастья Вам и творческих сил!

*С уважением... (подпись неразборчива)*

[1982 год]

Дорогой Витя!

Живой ли ты там, в своей далекой Сибири? Земля хороша, на всю жизнь запала она мне в душу своей вольницей, но уж больно далекая. Прежде, когда ты жил в сопливой столице Вологде, нет-нет да и пересекутся наши дорожки, а теперь подгадать встречу стало труднее. Вологодские ребята, надо думать, вздохнули после твоего отъезда, захорохорились. Уж больно ты застил их, загораживал благотворительное солнышко. Вот читаю в новогодней «Лит. России» стишки Вити Коротаева. Вон аж когда захрюкал малый на тебя, когда стало безопасно, когда ты не сможешь смазать по его бородастой роже. Возможно, эта газетенка у тебя не сохранилась, поэтому я перепишу стишок дословно. Это про тебя, как я догадался.

Не вся седина-серебро,  
И дружба не всякая — золото...  
По младости  
Зло и добро  
Беспечно  
Я путал когда-то.  
Теперь не боюсь посмотреть  
На тучи, что ходят кругами,  
Поскольку родимая твердь  
Давно не дрожит под ногами.  
Пусть лепит судьба под ребро.  
У нас,  
Наконец-то,  
Похоже,  
Такое в кудрях серебро,  
Что всякого золота  
Дороже.

Как видишь, у них тоже теперь в кудрях серебро... Они теперь, после твоего отъезда, сами с усами.

А мне это напомнило один анекдот, который ты тоже знаешь. Это как решили холопы побить своего барина. Обложили усадьбу, кричат, шумят, митингуют. Наконец

на крыльцо вышел барин: «А ну, разойдитесь! Чего шумите?» Холопья почесали затылки и разошлись. И уж один из них, вроде Каратаева, залезши на печь в своей избе, решился возразить барину:

«Чаво, чаво! — а ничаво!»

А Миша Колосов, простодыр, взял и тиснул эту коротаевскую прокламацию в своей газетке. Да еще в новогоднем номере. То ли он не читал этих стишков, то ли ничего не понял?

Между прочим, дошли ли до тебя новости, будто Мишу Колосова хотели подорвать бомбой? Это — не байка, он сам мне писал об этом. Был он в командировке, в Куйбышеве, на днях Ал. Толстого, возвращался домой. И весь коридор и лестничная площадка посечены осколками. Нажал кнопку звонка, открывает Нина, вся перепуганная, бледная. Оказывается, действительно был взрыв, и, как установили милицейские пиротехники, взрывное устройство было повешено на дверную ручку. Взрыв произошел в четверг, в 18 часов 20 минут. Миша пишет, что по четвергам у него нет полос и он возвращается домой как раз в это время, одной минутой раньше одной — позже. Вот теперь ломают голову, кто и за что. Пока ничего не установлено. Судя по осколкам, подвешена какая-то самоделка. Миша растерян и подавлен, и клянет свою должность, хотя сам даже не может предположить, кто это мог сделать? Евреи? Но он с ними не ссорится, охотно печатает всех подряд. Ну а русские мудаки до этого просто неспособны додуматься. Тяжела ты, шапка Мономаха. Вот теперь Серега Викулов чешет затылок: а вдруг и ему подложат такую «свинью» на сортир.

Зимы у нас, в России, нынче еще не было. 15-го января реки еще гуляли, а на зеленых лугах ходили гуси, коровы. Не к добру все это. А вот бедную Армению задушили морозы. Ночью у них до 25 градусов и повымерзли все сады и виноградники. Говорят, будто какой-то вулкан так нагадил в Мексике, оттого все на белом свете перепуталось. Чего уж там валить на вулкан. Поди сами чего нашкодили...

Ирка моя, наконец-то, вышла замуж и уже родила мне внука. Вот он плачет, подает голос в коляске, а в мире тревожно, пакостно и оттого тревожно и пакостно на душе за вот таких несмышленишек; куда заведем мы нашу матушку-землю, до какого края.

Прошлым воскресеньем ездили мы с Петей и моим Женькой удить окуней на родину Брежнева — в деревню Брежнева. Там еще целы старики, которые знали его отца Илью. Показывали нам хутор, где он жила, пахал и сеял. Колхозушко замурзанный, хилый. Мы едва не утопили в грязи на улице. И вот странно: когда он помер, везде давали траурные салюты, даже в Чите, где он когда-то отбыл армию. Только не у нас, где он прожил лет шесть, где учился и даже напечатал стишки в курской газетке за 21-й год. И даже не назвали улицу его именем или какой-нибудь колхоз. А орден Отеч. войны, который дали Курску еще в прошлом году, до сих пор еще не вручили. Прошел год, а орден так и повис в воздухе. Не вручили его даже в такой подходящий момент, когда в декабре Курск отмечал свое 950-летие. Вить, видел у Пети Сальникова книгу Яновского. Кто-то ему раздобыл. Там роскошные фотографии. Да и текст, видимо, добрый. Не смог бы ты мне прислать такую, а? В продаже у нас она не была и достать негде. Не поговорить ли мне с Тамаркой Давыденко об издании твоей «Царь-рыбы» в Воронеже? Напиши. Ну, будь здоров, Витек, передай поклон Маше.

*Твой Евгений (Носов)*

[1982 год]

Дорогие, далекие друзья — строители БАМа!

Так случилось, в жизни своей мне довелось больше разрушать, чем строить, — я и воевал в гаубичной бригаде разрушения! Бывал на лесозаготовках, на сплаве, на разных работах, но все как-то вдалеке, точнее, в стороне от строителей...

Но с детства любил я смотреть, как пилят тес, как возводят стены дома, как из ничего возникает чудо, сотворенное человеческими руками — дом!

Мне уже немало лет, я уже много чего видел на этом свете, даже синхрофазотрон и синхроциклотрон видел, даже аппараты по расчленению клетки, даже нанесенные кибернетическим способом на одну пластинку, в ладонь величиной телевизор и радиоприемник, а в детстве, как говорится, тележного скрипу боялся, но запах стружек, мякоть опилок под босыми ногами, гладь оконных поду-

шек, переплеты рам и пустота набровников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробьи, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!

После войны мне и самому довелось «возводить дом», — из старых бревен, досок, ржавелого железа и битых кирпичей собирать халупу, ибо с жильем было худо и нам с женою, вернувшимся с войны, попросту негде было жить.

Я рано ушел на войну, жена и того раньше, мы мало чего умели, но, уцелев на войне, жили жадно, радуясь прежде всего возможности жить, счастьем, которого так многие лишились. «Свой дом» я строил после работы и колотил молотком чаще всего «по плотнику», то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны взлетали вверх, и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятерых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж «боевой» и выражения у него «боевые», — постеснялась признаться, что ее зять, и тихо удалилась...

Та халупа, мною воздвигнутая, сделалась нашим жильем, а обликом была похожа на меня — это уж непременно! — лишь современные коробки похожи друг на друга, а дома, строенные своими руками, всегда были похожи на «созидателя». Помню и сейчас ясно и отрадно, когда первый раз в жилье нашем затопили русскую печку, как она стала наполняться живительным теплом. Уютно сразу сделалось, хорошо, покойно.

Давно я не живу в том городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и если я бываю на Урале, непременно пройду мимо «своего дома», подивлюсь, как выросли посаженные мной деревья, порадоюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, и на «мой» он почти непохож, и живет в нем обиходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар.

Все это я к чему говорю-то? А к тому, что строить, созидать есть большое счастье. Я знаю, что всякое строительство начинается с копания земли, часто обыкновенной лопатой. Мне и моим друзьям по войне много довелось перекопать земли на фронте — если сложить все нами выкопанные окопы, блиндажи, противотанковые рвы

и щели... получится... даже не знаю, во что и уложится та, нами перекопанная земля...

Желаю всем вам сил, здоровья и согласия в работе.

*Ваш Виктор Астафьев*

[1982 год]

Дорогие Таня! Анна Тимофеевна!  
Незабвенная и дорогая тетя Уля!

Кланяюсь Вам и всем Вашим близким и благодарю за письмо, которое так долго искало меня и нашло! Я несказанно рад ему. Рад, что все вы живы-здоровы, и прежде всего рад тому, что тетя Уля держится на этой земле! Она была очень добра и справедлива к нам — к сиротам, и Бог дал ей за это долгие годы, хороших детей и внуков.

Как Он выглядит, наш Бог, я не видел и не знаю, но верю, что название Ему — справедливость, честность и совесть. Все, кто сейчас воруют, злодействуют и тянут кусок у ближнего, особенно у сирот, все равно будут наказаны: плохими, неблагодарными детьми, огнем, тюрьмой, болезнями, а добрые люди и в бедности своей, и в печали будут жить, и жить спокойно, встречать солнце и свет дня с радостью и надеждой, и каждый прожитый ими день будет и им, и людям наградой за сердечность и ласку к другим людям, особенно к детям.

Ведь прошли какие годы, и мне уже 58 лет, а мы помним тетю Улю, как родную, и любим ее той любовью, какую она нам привила и передала от себя, от своего доброго и светлого сердца.

Да продлит Господь дни ее!

Нынче, совсем уж скоро, я полечу на Нижнюю Тунгуску, к Васе Баяндину (он работает в экспедиции механиком), и расскажу ему, что жива наша тетя Уля. В Абакане живут Коля Березин с Ирой Сюркаевой, вырастили дочку, и сам Сережа Сюркаев живет там же. В Красноярске живет Вера Белова (ныне — Торгашина), а брат ее, Валентин, умер от рака еще молодым. В Эвенкии, в Туре, живет Галя Усова, она замужем за тамошним начальником, учительствовала, вырастила трех дочерей и ныне уже на пенсии. Многие наши ребята погибли на фронте, и вечная им память наша.

Я тоже был на фронте, трижды ранен, после войны

долго жил на Урале, в городе Чусовом Пермской области. Жена у меня уралка, зовут ее Марией Семеновной. Мы вырастили двоих детей — дочь Ирину и сына Андрея. Первую дочку, маленькую, похоронили — очень трудно жили после войны и не смогли ее — крошечку — сохранить. У нас уже двое внуков плюс внучка Поля — от дочери и от сына, оба парня brave, старшего зовут Витей, младшего Женей. И дети, и внуки остались жить в Вологде, где мы прожили последние десять лет. А мы вот вернулись на мою родину к старости лет, получили квартиру и в родной деревне Овсянке купили домик. Отсюда, из деревни, где я часто и подолгу летом бываю, сижу, работаю, копаюсь в земле, рву траву, ухаживаю за овощью и цветами, я и пишу.

Жена моя — тоже писатель, помогает мне и хозяйкует по дому. Все, в общем-то, нормально. Иногда похварываем, но от этого уж никуда не денешься — годы берут свое, да и жизнь позади нелегкая.

После войны я был рабочим, затем журналистом. Литературным делом начал заниматься в 1951 году. Тетя Уля, наверное, помнит, что я уже в детдоме много читал, любил и присочинить, и попеть, и пошкодноичать. Книги меня всегда спасали от бед, пьянства и привели к литературе. Вышло у меня уже более 150 книг у нас в стране и за границей. Издавалось Собрание сочинений в 4-х томах, выходили фильмы по моим произведениям, идут в театре мои пьесы. В 1978 и в 1980 годах мне присудили Государственные премии РСФСР и СССР. Получал много и годовых премий, имею хороших читателей, друзей. Все это я пишу не для хвастовства, а чтобы тетя Уля знала, что и ее работа, и работа всех добрых людей, воспитателей, учителей не пропала даром, их терпение и доброта помогали и помогают мне терпеливо относиться к людям, к их слабостям, и помогать людям, и за добро платить добром. Посылаю вам новую книгу, там есть и про Игарку. Я был на 50-летию Игарки. Встречали меня очень хорошо. Всех вас обнимаю! Всем желаю добра-здоровья. Низко кланяюсь.

*Ваш Виктор Петрович*



[Осень 1982 года]

Дорогой Виктор!

А и далеко ты, сокол, залетел! Вот сижу, гадаю: дойдет ли к Новому году это письмецо с моими поздравлениями-пожеланиями, или не дойдет? Впереди еще целая неделя, должно бы дойти при современной технике, но как подумаю, куда лететь — в Сибирь! На Енисей, да еще в какой-то Академгородок... Нет, не успеть письму! Да, брат, расстояние сказывается: реже стали видеться, потому как дальше стали орбиты коловращения и их точки пересечения почти непредсказуемы. Остается только писать письма. Да и они пишутся все реже — по лени ли, по нерадению ли или же по безвременью. Вон когда ты прислал мне свое послание, а я вишь когда собрался ответить.

А помешали мне вынужденные отлучки. Сначала съездил в Воронеж, на выездной секретариат, больше затем, чтобы повидаться с ребятами. Был Толя Соболев, Леня Фролов, Сережа Викулов, Зоя Николаевна Яхонтова и вся прочая московская и немосковская братия вплоть до Льва Сорокина. Гриша Коновалов как в первый день утром заправился, так больше и не просыхал за все дни секретариата. И все пел «соловейку» и шлепал себя по коленкам.

А потом срочно, по просьбе Викулова, отбыл в Москву. Оказывается, в 11-м номере они чего-то напечатали, и с них сначала в ЦК, а потом на секретариате снимали стружку. Больше всего ругали за повести Крупина «Сороковой день». Это уже второй крупный прокол у Викулова. Первый — за Пикуля. Спасло Серегу то, что он якобы не подписывал номер, а подписал его Ю. Селезнев. Видимо, Селезнева будут убирать.

А еще уходит из «Лит. России» Ю. Грибов. Берут его на должность зам. главного «Известий» по «Неделе». Грибов рад и доволен: большой паек, черная «Волга» и пр. Зато вокруг его старого кресла — чехарда. Сначала хотели ставить Поволяева, уже договорились, Валерка спокойно поехал в Канаду, а в это время взбунтовался Ф. Кузнецов... Должность повисла в воздухе. Сейчас на него много претендентов.

А я, Витя, все еще не работаю. Не могу. Быстро устает голова, особенно глаза. Вся правая сторона головы болит. Расчесываю волосы — больно, чищу зубы щеткой — по всему лицу электрический ток. Вот как прихватило и не хочет отпускать. Да и годы не те... И вот уж четыре года

ничего не пишу, проживаю кой-какие сбережения. Женька с семьей мне не помощники — получают гроши, а запросы современные.

Ну да Бог с ними, все равно я в прибытке, потому что со мной внучек Ромашка — моя единственная отрада. Мы с ним и уроки вместе делаем, и рыбачим вместе. Летом попыхтел с удочкой, то карпеночка хватит, то карасище грамм на 500. Но уже сам справляется. Своих родных детей так не любят, как этого. Да и все деды, наверное, так. Такова мудрость природы — ниспослать старикам утешение не в детях, а в детях детей их.

Спасибо, Витя, за 4-й том, из огромной любви к тебе мы с Петром еще и подписались по подписке. Так что у нас по две пары твоих Сочинений, чем мы оба с Петром очень гордимся!

Петя благодарит также Машу за присланные коренья. Марьян корень как раз хорош при его болезни. Книжечек почти не издает, держится на зарплате секретаря.

Дорогой Виктор! Где ты? Был ты для меня всегда конкретной реальностью и оплотом души. А теперь чую: и ты куда-то уходишь от меня, ушел уже, за горы и доли, за годы и туман времени, как все уходит, как уходит и сама жизнь, заведомо утрачивая цвет, вкус и запах. Остается одно какое-то бесполезное шевеление.

Все вертится мысль побывать еще разок в твоих краях, да тьфу-тьфу! Загад — не бывает богат. Дай перезимовать.

Ну, тебе и Маше еще раз всех благ! Не хворай.

*Обнимаю — Женя (Носов)*

17.12.82 г.

Дорогой Анатолий! (Буйлов)

Книга Ваша и славное Ваше письмо нашли меня дома, накануне отъезда в Москву на юбилейный пленум, после которого я приделал кой-какие дела — год не был в Москве, съездил в Вологду за дочерью и внуком и вот дома, и, как всякий раз, начинаю привыкать к столу, очищаю его от скопившейся почты и всяких посторонних бумаг, а себя — от побочных дел, что удается все труднее и труднее. Уже приходится уворовывать время для своей писанины. Тургенев когда-то иронизировал: «Русские писате-

ли страшно любят, когда им мешают работать», да жил-то он в другом веке, в другие времена, имел усадьбы и крепостных, да и в очереди ни за чем не стоял и никуда не торопился, кроме как в Париж, к любовнице, полагая, что муж ее не справляется с нею, что впоследствии и подтвердилось, ибо и двое мужиков — француз и русский с нею не справились, и она их обоих в гроб загнала...

Нет, Толя, не буду я вести никакие большие семинары, ибо Некрасов, мною чуть подредактированный: «Дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведешь», — все более и более на моих глазах обретает материальные основы, да и летать и ездить я стал тяжело, да и работы много, суеты еще больше.

Вот после Нового года дочь родит второго ребенка, а муж подался, нет, не в леса — каб в леса! — а в шинки, в медвытрезвители и прочие места, достойно венчающие наши усилия и борьбу за высоконравственное общество. Он мне как-то сказал: «Как живете Вы — живут единицы, а как живем мы — живут миллионы». Ну и живет, как миллионы, соря по свету детей-безотцовщину и не испытывает при этом никаких угрызений совести, да и отучил уже себя от таких мелких и ненужных ему забот, как совесть и угрызения ейные.

Я сперва позавидовал Вам, что Вы в лесах, в дебрях, в первозданной, так сказать, благодати. Нынче я первый раз (в сентябре) был на Дальнем Востоке, и в тайге был. Сказать, что природа Востока ошеломила меня, значит, ничего не сказать, но жить даже в такой экзотической, пышной природе более месяца я не смогу.

Пробовал. Был на Урале в охотничьей избушке и выдержал только десять дён. Я отчетливо понимаю, что цивилизация без меня вполне обойдется, а вот я без цивилизации уже не обойдусь, и прежде всего как писатель не могу, а как человек-то как раз и смог бы.

Я это к тому, что в лесах и поселках Вам надо жить до поры до времени, а потом — «на свет» вылезать надо.

Я еще не читал Вашей книги (она ведь большая), но непременно прочту, но как литератор, живший и начинавший в глухомани (город Чусовой Пермской области. 18 годов в нем прожил!) — на своем личном опыте основываясь, могу сказать: чем раньше литератор вылезет из глуши, тем скорее он созреет для серьезных дел. Наша литература утомлена и давно уже надломлена писателями, полуграмотными, малоразвитыми, реализующими свои

возможности лишь на четверть, в лучшем случае, наполовину — из-за дремучего своего невежества.

Мне о Вас говорили и хорошо говорили, и я хоть отдаленное, но имею представление о Вас.

Мой Вам совет: как только вступите в Союз писателей, добиваться, чтоб Вас приняли на Высшие литературные курсы. Сами по себе курсы — благо, во всяком случае, для меня они были таковыми — я поступил на них в 37 лет. Но еще большее благо — два года прожить в Москве, пообщаться с товарищами по труду (если в меру пить водку, времени для обучения остается) и прикоснуться к сокровищам отечественной и мировой культуры. За два года я посмотрел около шестидесяти спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьезной музыке и т. д. и т. п. Это все необходимо, как воздух, в нашей проклятой и прекрасной работе. А семинары и совещания ничего не дают — это вселюдная толчея, головокруженье от похвал и не более, причем чаще всего похвал и комплиментов безответственных, ни к чему людей, их выболтавших, не обязывающих.

Не обижайтесь на меня, что я вроде бы вмешиваюсь в Ваши дела и в жизнь. Но мне так хочется, чтоб Вы сократили путь «к себе», ибо сам всего добивался в одиночестве, лишь в зрелом возрасте, начав осознавать себя и лишь на курсах приобрести настоящих, требовательных друзей.

Если почему-либо Вам доведется быть у нас, в Красноярске, найдите меня и словами да кулаками я яснее и скорее Вам все докажу.

А пока — я сердцем с Вами в тайге. Суток бы троечетверо посидел в Вашей избушке, дыму понюхал, на тайгу насмотрелся, может, и побродил бы маленько. В октябре нынче побывал на кордоне у племянника, на Манереке — такие счастливые дни были, да всего лишь три дня, а потом надо было опять уезжать, погружаться в текучку, такой уж у меня характер — не могу без людей и без дел, часто необязательных, жить и быть.

Ну, бывайте здоровы! Пусть охотничий сезон принесет удачу! Пусть Вам хорошо пишется и вольно дышится.

С Новым годом! Мира Вам и нам. Новых замыслов и новых книг!

*Кланяюсь — Ваш В. Астафьев*

## [Декабрь 1982 года]

Дорогой Михаил Александрович! (Ульянов)

Вот и еще один год жизни минул, еще один кусочек жизни откололся от нас и булькнул в бездну времени. Поклонимся ему вослед, поблагодарим за то, что он был мирным, а более ни помянуть, ни поблагодарить его не за что, все та же суета, демагогия, ложь, время, выродившееся в безвременье, нация, на глазах распадающаяся, как больная брюшина. Давно, в молодости еще, она, пораженная болезнью рабства, униженности и ко всему покорности, что делается вокруг. Да и нет ее уже, нации-то, что-то полурастворенное ассимиляциями, нация, не восстановившая себя не только количественно — после войны, но и стыдящаяся самой себя. Да и есть чего стыдиться. Табуном скотским сделались: табунно пьют, табунно случаются, табунно идут, куда ведут и кто ведет. В Сибири — это хохлы — их, голубчиков, исподволь накопились в стране больше, чем русских — 50 млн. на Украине и 30 — в глубинах того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь «незаметно» переименовано в Нечерноземье и Кацахию.

Видел Вас издавлекa на юбилейном пленуме, но вокруг Вас толпились люди и мелькали блицы фотоаппаратов, и я не подошел — мой единственный зрячий глаз плохо переносит мельканье блицев. Но все блицы померкли, когда почались речи с юбилейной трибуны. Конечно, наивно было бы ждать в такой день, на такой трибуне какие-то откровения, в основном талдычат все то же, что и тридцать, и сорок лет назад...

Выдержал я лишь до Муслима Магомаева — пусть бы он да Биешу больше пели. Ушел я в гостиницу, и там мы с хорошими людьми хорошо попили и чайку, и кофейку, и коньячку. С тем я и поехал в Вологду, за дочерью и внуком. Привез их сюда. Дочь где-то сразу после Нового года будет рожать нам второго внука, внучку ли. А муж в бегах. Они, мужья-то, сейчас передовые, не то что мы, отсталые, — заведем, бывало, детей и сами их воспитываем, растим, кормим, теперь этим государство вроде должно заниматься — нужны ему рабочие и солдаты — корми! Ну, а в нашем варианте — дед и бабка пока живы, будут нести семейное бремя (слово-то какое точное!) Зять мне как-то сказал бодренько: «Как вы, папа, живете — живут единицы, как я живу — живут миллионы». — А ведь рабочий, дорожник и, гляди, как политицки подкован! Не

зря боролись за всеобщее образование, и они, образованные, хотят вольно пить, валяться в медвытрезвителях, поднимать кулаки на жену за то, что она его, мужа, кормит, поит и ублажает.

Такой свободы еще свет не видывал! Вот это демократия! Для лжецов! Для лодырей и пьяниц. Позабавлялись в свое время наши духовные наставники пустыми словами и жестокими мерами «воздействия», не задумываясь, что из этого получится, произрастет. И произрос законченный трус да тунеядец в невиданном масштабе! А как теперь все это исправлять и что делать — никто не знает.

Посмотрел я «Частную жизнь», но как-то в неподходящий момент, что ли. Случилось так, что эту «Частную жизнь» я смотрел после «Амаркорда» Феллини и такой пресной, вываренной или «точной» показалась мне эта самая «жизнь» после разудалого, хулиганского и воистину гениального итальянца.

Первый раз Вас видел в неестественном каком-то гриме, в замедленном действии, в приглашенном темпераменте, словно вожжи сзади Вас были и ими поворачивали Вас то влево, то вправо, даже паузы, возможно, и хорошо сыгранные, за что Вас и хвалят, мне тоже казались неестественными. Вполне может быть, виноват тут и «Ричард», который дважды подряд был у нас показан по телевидению. И, кстати, «Ричард» по телевизору показался мне даже лучше, чем в театре, — в театре я видел спектакль, сидя далеко, и не видел «крупных планов». Но все же более всего мне ближе бывший солдат из «Последнего побега» — вот где все гуманно, все естественно и до крайности неистово! То была ВАША роль!

Ну-с, с Новым годом! Поскольку люди вы занятые, в книжке, посылаемой Вам, я пометил, что надобно прочесть. Остальное — по желанию и вразброс — под настроение читать. Книга выходила с большими осложнениями так, что новую мою мощь уж никто и печатать не хочет. Лежит в столе. Обнимаю. Целую.

Общий всем поклон.

*Ваш Виктор Астафьев*

[1983 год]

Уважаемая редакция!

Прочитавши в № 13 «Московских новостей» полемику «историков» — Василия Морозова и Александра Сам-

сонова, — хотел бы сказать, что советские историки в большинстве своем, а сочинители и редакторы «Истории Отечественной войны» в частности — давно потеряли право прикасаться к святому слову «правда», ибо от прикосновения их нечистых рук, грязных помыслов и крючкотворного пера оно, и без того изрядно у нас выпачканное и искривленное, пачкается и искажается еще больше.

Вся двенадцатитомная «история» создана, с позволения сказать, «учеными» для того, чтоб исказить историю войны, спрятать концы в воду, держать и дальше наш народ в неведении относительно наших потерь и хода всей войны, особенно начального ее периода. И премию составители «истории» получили «за ловкость рук», за приспособленчество, за лжесвидетельство, словом, за то, что особенно высоко ценилось, да и сейчас еще ценится теми, кто кормился и кормится ложью.

Творцы «истории» сделали большое упущение — не догадались исправить карты военных лет — достаточно взглянуть на них, как сразу же видно делается разительное расхождение между картами и текстом, «объясняющими», что за картами следует.

Из 12-ти томов «истории» наш народ так и не узнает из хитромудростряпанных книг, что стоит за словами «более двадцати миллионов», как не узнают и того, что произошло под Харьковом, где гитлеровцы обещали нам устроить «второй Сталинград», что кроется за словами «крымский позор» и как весной 1944 года два фронта «доблестно» били и не добились первую танковую армию противника — это не для наших «историков», это для тех, кто «за морем» пишет о войне, все, что знает и что Бог на душу положил. И таким образом существует две «правды» о прошлой войне: одна «ихняя» и одна «наша», но все эти «правды» очень далеки от истины, и полемики, подобные той, какую затеяли Морозов и Самсонов, споры по частностям, мелочам и ложномногозначительным, амбициозным претензиям друг к другу — еще одна, плохо замаскированная попытка крючкотворов увести читателей в сторону, в словесный бурьян от горьких истин и вопросов нашего и без того замороченного читателя, наш, не единожды обманутый, недоумевающий народ.

Не удивлюсь, если «историкам» В. Морозову и А. Самсонову присудят еще одну какую-нибудь премию при помощи тайного голосования.

Если единожды солгавший не может не врать, то ка-

ково-то остановиться творцам аж двенадцати томов ловко замаскированной кривды!

*Инвалид Отечественной войны, писатель  
Виктор Астафьев*

[1983 год]

Дорогой Виктор!

Виктория Николаевна Иванова прислала открыточку, написала, как ты ее по-царски встретил: и на сцене, и дома — со стерлядью. Сказала, что выглядел ты молодцом, а это самое главное.

Вот зовут в Барнаул, на Шукшинские и Соболевские чтения. Да законала меня язва — куда уж мне на буфетскую еду, на сало да на капустные щи? Не был я и на Куликовом поле, на большом межроссийском семинаре.

Ты, дружок мой родненький, не хворай, держись и пусть тебе хорошо живется и работается. В Москве было много всяких ребят, повидались, натолковались, но когда нет тебя, то и встречи были какие-то не такие, без стержня, без той радостной праздничности, которую ты всегда вносишь своим присутствием. Не повидав тебя, вернулся с какой-то пустой душой и тешу себя надеждой когда-нибудь хорошо повидаться, поговорить от души.

В первую голову желаю, как всегда, доброго тебе здоровья, которого всем нам все больше недостает. Вот и Сереги Никитина уже не стало. А раньше ушел Ваня Пузанов, не пожив и ничего не написав. Беда, беда...

Тебе когда 60? Не забудь позвать.

*Твой Евгений (Носов)*

[1983 год]

Зам. председателю Красноярского крайисполкома  
Глотову!

Председателю Дивногорского горисполкома Новаку!  
Заведующему отделом культуры крайисполкома  
Харченко!

Уважаемые товарищи!

При обсуждении генплана переустройства моего родного села Овсянка я просил уделить особое внимание на-



шей сельской библиотеке, ни с кем и ни с чем ее не соединять, а сделать к библиотеке пристройку, оставив нынешний дом, в котором расположена библиотека, под читальный зал.

Всякое воссоединение сельских библиотек с чем-либо и с кем-либо заканчивается для них, как правило, плачевно, как это уже было единожды в Овсянке. Располагаясь в сельском клубе, библиотека сгорела вместе с клубом, в котором пьянствовали, содомили, и скорей всего и спалили клуб по пьянке два местных культдееателя.

Библиотека в Овсянке сложилась. В ней работают настоящие подвижники за мизерную зарплату. Они собрали и сберегли книжный фонд, неумоимо ведут передвижную работу, таская книги на горбу в деревообрабатывающий овсянский завод и в Молодежный поселок, не давая населению окончательно спиться и одичать.

Кроме того, в Овсянской библиотеке часто бывают гости: писатели, артисты, иногда и иностранные гости, — им как раз и нравится библиотека с ее «сельским ликом», опрятностью и уютом. Библиотечные работники здесь же проводят встречи с писателями, деятелями культуры, и, наверное, ни одна сельская библиотека не может сравниться с Овсянской по количеству проведенных мероприятий и бережного, любовного к ней отношения.

Я как могу и чем могу помогаю библиотеке родного села.

И вот снова слухи докатились до села: снести, перестроить, поместить ее в Дом культуры, где будет музыкальное училище, конференц и спортзал?

На хрена, скажите вы мне, добрые люди, Овсянке конференцзал?! Громко звучит, да? Ну и стройте его там, где это звучит, а библиотеку не троньте, лучше помогите ей.\*

*Виктор Астафьев*

14.4.84 г.

Дорогой Виктор!

Думал, что ты уже в разъездах, как писал мне в письме, но вот через Пашу Крипцова, кстати превосходного мастера, узнал, что ты пока задержался дома, а потому

---

\* Дело закончилось постройкой замечательной библиотеки в селе Овсянка. Так бы вот всегда они, дела наши, и заканчивались.

спешу тебе ответить на твое хорошее, теплое письмо. Я так рад, что ты мне написал!!! Наверное, я чем-то тебя обидел и потому очень переживал. А может, кто чего трепанул из наших общих «друзей».

Прости, друг, если что не так с моей стороны. Тот год был для меня очень тяжелым — отказывали глаза, замутили головные боли, даже языком по нёбу нельзя было провести — сразу отдавало каким-то электричеством в голову. За весь год я ни разу не развернул «Литгазетки», ни «Н. современника». Так и лежат все эти, да и другие тоже, издания за 1983 год нетронутыми стопками. «Костю» (Воробьева) я с чтением все откладывал до лучшего момента, но, видно, дооткладывался до того, что и тебя этим обидел. К зиме мои дела пошли помаленьку на поправку, и вот стал уже кое-что пописывать, кое-что полистывать — так, мелочовку, вроде твоих «затесей» — для разминки руки.

Я ведь не писал целых семь лет!!! Ушло впустую столько времени, что я взаправду разучился писать, даже простые письма. Последнее, что написал, так это «Шлемоносцев». Кстати, Сиренко их порядочно изгадил. Он пришел ко мне сразу после ВГИКа, с дипломом. Опыта никакого, но жажда вырваться на простор огромная. И расчет был верный: надо опираться на известных писателей: если сам не потянешь, так писательское имя вытянет. И верно. Гляжу, мой Аркадий и премию Ленинского комсомола получил — «Родник». А картина хреновая. В Курске она шла только один день, только в одном кинотеатре и только один сеанс.

Не осилил материал парень, ведь в повести нет действия, а без действия — какое кино? Правда, он пытался внести некоторую событийность: заставил Селивана тащить на себе кривое бревно, а потом посадил на столб аборигена, чтобы тот с высоты сосчитал, сколько ящиков водки везет в магазин продавщица. Но это не помогло. Эти шуточки оказались дешевыми, и картина не получилась. А ведь дело не в столбах, а в ямах под столбы. По повести ямы успели отрыть перед каждой хатой, а столбы поставить не успели. И эти ямы остались перед каждым осиротевшим домом, как символы предстоящих утрат и потерь. Вот если ТАК СНЯТЬ! Но кто ему позволил так снимать. В результате — поверхностно-киношная повесть была дискредитирована. Но ему наплевать. Я ему был ну-

жен, чтобы стать на мою спину и забраться на первую ступеньку режиссерской лестницы.

Он рвался к самостоятельности. Он думал только о себе, а не о нас с тобой. От меня он перепорхнул к тебе. Но к тебе он пришел уже с кое-каким багажишком и некоторой известностью, больше созданной искусственно какими-то его тайными покровителями.

В общем-то, он ничего парень по сравнению с другими киношниками, а если он ничего не загубил по твоему материалу — и то слава Богу. Да и материал-то какой — грешно было не сделать.

А вообще-то, мне не везет с режиссерами. Больно я покладист. Вот тоже подъехал на козе Сережа Никоненко. Наобещал сорок сороков, а сделал такое, что и смотреть противно. И название-то какое: «Цыганское счастье»... При чем тут цыгане, если рассказы мои о русских бабенках?! У меня мать с дочкой купили первое пальто и прямо в поле, под дождем, ковыряют гумовскую подкладку, радуются обнове. А вокруг — осенняя глыбистая пахота, грязная дорога, сухой подсолнух у обочины, будто нищий старик. А у Никоненко бабы шупают пальто не в поле, а почему-то на белом пароходе, а вокруг парохода носятся свадебные катера, обвешанные надутыми шариками. И все действие «Шубы» происходит на курортно-подмосковном озере Селигер.

Был я в Москве, на редколлегии и на пленуме, но на пленуме всего два дня и то минут по двадцать. Михалков докладывал, как надо бороться за мир. А как его болтовней мир-то защитить, скажи, пожалуйста?

Пока я что-то напишу в его защиту, пока включат в план, пока напечатают — земля сто раз может взяться синим огнем. Я даже не знаю, куда мне бежать в случае атомной тревоги? Где эти катакомбы? Да и успеешь ли. А уж если что, не дай Бог, на Курск шарахнут в числе первых, потому что у нас приманка: курская аномалия, руда да плюс атомная станция...

Петр изнашивает свои последние ресурсы. Совсем отказывают ноги, запечтало тромбами артерии, в ноги не проходит кровь, живет от барокамеры до барокамеры, вот и опять уезжает в Москву, в бароцентр. Да и тебе, слышал, тяжело было этой зимой. Даже не знаю, чего тебе посоветовать. Легкие — такая капризная штука, а ты такой живой, темпераментный по характеру. За каждым углом тебя будет стеречь эта неотвязная хвороба. Един-

ственное от нее спасение — сухой, горячий воздух — Средняя Азия (там особенно хороша и суха осень и тянется долго). А в Овсянке уже легла зима. Крым лучше Кавказа именно в смысле сухости и целебности воздуха. А еще хорошо бы попить кумыса, только не аптечного, а степного, пожить бы в Башкирии, среди лошадей. Кумыс, наверное, есть и в Туве, но в Башкирии — давнишние, хорошо организованные санатории-кумысницы.

Попалась нам тут книжка воспоминаний о Рубцове. Как-то само собой получилось вроде вечера Рубцова. Собрались все наши курские ребята, читали вслух воспоминания, стихи, и было хорошо и очищающе на душе. Особенно всем понравились воспоминания Марии Семеновны. Написано душевно, зримо и трепетно. Передай ей наше общее спасибо.

От всех приветы.

*Обнимаю — Женя (Носов)*

21.4.84 г.

Дорогой мне, близкий мне и любимый мною  
Виктор Петрович!

Вот редкостный случай, когда ввиду юбилея прошибает слеза — теплая и трогательная.

Не скоро еще будет понято, что значит вся Ваша жизнь и значение всего того, что сделано Вами в литературе. Тем более, что Вы и сами об этом значении не шибко думаете, ну просто консерватор какой-то, отсталый элемент! Несознательный!

Но как это прекрасно и как дорого для истинных друзей Ваших, искренних почитателей Вашего таланта! Который — еще раз к этому вернуться — есть то, что будет именоваться существом Русской литературы второй половины XIX века. (Конечно, если будет кому именовать все это, но это уже совсем другое, не юбилейное дело).

Нет, правдо, не смогу я сказать всего, что не только о Вас думаю, но и что переживаю, Вас читая, Вас понимая, проникаясь Вами...

С тем Вас и Марию Семеновну и обнимаю.

А пожелания? Здоровья, здоровья! Все остальное Вам самой природой дадено в редкостном количестве и качестве. Ее и надо благодарить.

Однако Вас-то тоже не минует!  
Благодарю!

*Ваш Сергей Залыгин*

[Апрель 1984 года]

Дорогой Витя!

Позволь взаимно поздравить тебя с весной, с маем, с днем рождения, с Днем Победы!

Крепко обнимаю тебя в день твоего 60-летия, которое ты встречаешь не с пустыми руками и с неопустошенной душой, а, по моему ощущению, все таким же Виктором Астафьевым, каким я узнал тебя четверть века назад и который магически притягивает к себе не только меня, а и многих-многих других людей, как-либо прикоснувшихся к твоему яркому и мужественному бытию.

В «Н. современнике» говорили, что у тебя есть новая рукопись. Не знаю, как ты сейчас к ним относишься, но Володя Васильев просил при случае написать тебе просьбу, чтобы ты дал им почитать. Сами они даже не решаются тебя просить об этом, хотя Викулов был бы страшно польщен, если бы ты передал свою папку «Н. современнику», а не куда-нибудь еще.

Родной ты мой Витя! Ну что тебе сказать по случаю твоего юбилея... Ты прав: он всегда странен и неожидан. И можно ли ему радоваться? С одной стороны — можно — в том смысле, что дожил, что не убили еще беззубого, бездетного.... Но по-человечески — все-таки избавиться от чувства горечи и печали, наверное, невозможно. Потому что когда оглянешься назад, то такое ощущение, будто жизнь — это односеансная кинодрама или кинокомедь. Не успел сесть в кинозале, как лента твоей жизни промелькнула перед твоими глазами, и тебе сказали: «Это все. Продолжения никакого не будет»... Все это печально. Но что, дорогой ты мой, поделать. Такова селяви. Утешают только внуки. У меня их теперь два.

Ирка вышла замуж за своего заводчанина, живут в общежитии, ждут заводскую квартиру, а тем временем народила Андрюшку, который раз в неделю приходит навестить деда, все разбрасывает в его кабинете, а пивные и кефирные бутылки таскает из кухни и ставит на мой письменный стол. Это его любимое занятие. Делает он

это молча, так как пока не знает еще ни одного отечественного слова. А кобель мой остарел, на сучек уж не обращает внимания. Иногда по-стариковски, по беспамятству принимает ножку стола за штaketину и поднимает ногу, а ногами охает и стонет... Все как у людей...

*Обнимаю — твой Женя (Носов)*

**[Май 1984 года]**

Дорогой Виктор!

В эти дни очень хочу обнять тебя во всех смыслах. Потому что ты молодец во всех смыслах — один из немногих, с кем хочется еще немножко пожить на этом свете.

Будь здоров, дружище!

*Твой Василь (Быков)*

Сердечный привет и поздравление твоей милой солдатке!!!

Минск

**[1984 год]**

Дорогая Зоя Соколова!

Дорогие ребята и учителя школы-интерната-2!

Благодарю вас за письмо и за добрые слова о моей работе! Желаю успехов всем и, в частности, литературному кружку вашей школы. Вы, наверное, знаете из биографии, что я тоже когда-то участвовал в школьном рукописном журнале и «творчество» мое началось именно там, в школе.

К сожалению, я не могу сейчас приехать в Череповец — нездоров, а почты и дел скопилось очень много, ибо только что вернулся из ГДР, где проводилась неделя советской книги. По этой причине и на вопросы ваши отвечу коротенько:

Люблю классическую музыку. Больше других музыкальных произведений люблю 1-ю симфонию Калинникова, концерт для фортепьяно с оркестром Грига, «Реквием» Верди, увертюру к опере Вагнера «Тангейзер» и вообще всю оперную музыку люблю, любовь к которой привил мне воспитатель детдома Василий Иванович Соколов

(прототип Репнина в повести «Кража»). Писатель, как и всякий серьезный читатель, с возрастом меняет свои привязанности — первой прочитанной в жизни книгой и долго мною любимой была «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, потом любил все то, что любят все дети. В молодости обожал Тургенева, в особенности его роман «Рудин». Затем «переметнулся» к «Мартину Идену» Джека Лондона.

Постепенно дорос до русской классики и добрался до Льва Николаевича Толстого, до Бунина и до Достоевского, который уж многие годы был и остается моим кумиром. Если говорить о книге, которая меня «перепахала», так это прежде всего «Братья Карамазовы» Федора Михайловича.

Сейчас начинаю снова открывать для себя Пушкина и Гоголя, и вновь уже взрослым умом поражаюсь их гению, их недосыгаемости...

Недавно вышли мои повести: «Стародуб», «Кража», «Пастух и пастушка» в издательстве «Художественная литература», которую предваряет моя статья «Стержневой корень». В статье вы найдете более подробные ответы на все остальные ваши вопросы, а я прощаюсь с вами и еще раз желаю всем вам всего доброго и хорошего!

*Виктор Астафьев*

[1984 год]

Дорогой Виктор!

И весну, и вот начало лета я провел в подспудной и неожиданной, неотступной тревоге: как ты там?! Тому причина — несколько ошеломляющих известий: из Перми, из Вологды, а потом и из Красноярска — о том, что во время твоей предъюбилейной поездки тебя жестоко преследовала болезнь, доводившая до больничных коек. Вести и слухи, исходящие от разных людей, противоречивы и потому вносят еще большую смуту и неопределенность.

Одним словом, тревожно мне, плохо, не по себе оттого, что я ничем не могу тебе помочь и даже не знаю, в чем. Да и возможно ли переделать тебя какими-то, пусть даже благочестивыми советами и рекомендациями? Горяч ты, Виктор, и неупержим и, видимо, надо уповать лишь на твой собственный опыт и остатки того чувства самосохранения, которым ты, в отличие от некоторых, никогда не пользовался и не развил его до совершенства сталь-

ного убежища, куда можно, захлопнув дверку, укрыться от всех неприятностей окружающего мира. А ведь есть, которые построили и живут, — в башнях из белой кости, а евреи — в башнях на белых костях... Иногда приезжаю в Москву и после провинциальной тишины вдруг как-то явственно видна столичная возня, в Большом Союзе или в республиканском, хапают, хватают, гребут под себя обеими руками: должности, оклады, звания, награды, дачи, машины, пайки, путевки и пр...

Ты прав, Виктор, стоит только взглянуть на осатаневшего Егорку, и видно, что можно сделать с голожопым холопом, кинув ему ломоть, смазанный специальным, витаминизированным маслом (бутербродным). Он тут же начинает глядеть на тебя брезгливо, сострадательно и даже отечески пожурит: «А ты все воюешь с мельницами? Не то, брат, не туда силы тратишь».

Вить, а я сижу сейчас в Переделкино. Уже третий день, и если есть охота, напиши мне пару слов сюда. Здесь тихо, перепархивают дожди, пахнет старым лесом и вообще той милой стариной, когда мы, бывало, залетали сюда пошуметь, пообщаться, а заодно и доделать какие-то скопившиеся дела...

С удовольствием, с каким-то душевным праздником прочитал твой «Мусор под лестницей», — вновь и вновь почувствовал гуд страничек, обороты, накал — словно прикоснулся к мощному, с хорошей тягой двигателю, порадовался, что он по-прежнему исправен и надежен, и если ты, хозяин, побережешь его, не будешь надсаживать на беспуты, — он еще долго протрудится без капитального ремонта. Прочитал и ответ тебе брянского интеллигента. Малый он, видимо, хороший, но уж слишком заголубел кровью, обратился в непротивленца и, веришь ли, все еще уповаet на слово, коeму давно уже грош цена. Мерзопакостность во всех ее проявлениях и во всех сферах развилась и достигла той стадии, когда одним только словом и перстом ее уже не остановить, ты прав.

Петр Великий, вещая Указ (слово) рядом велел ставить и виселицу, (для тех, кто слову не внемлет).

А вот Адамович со своим приятелем под той же рубрикой «Писатель и общество», наговорил много правильного, сто раз повторного, скучного и неинтересного...

Вить, порадуешь меня, напиши, что ты хоть сейчас чувствуешь себя сносно.

*Женя (Носов)*



Дорогой Петр Павлович!\* (имя-отчество моего отца!)

Прости меня, грешного, — читал твои стихи мало и вразброс. Сейчас вот, после твоего честного и мужественного письма прочел обе книжки подряд.

Нового ничего не открыл и не услышал, но то, что ты поэт органичный, проще говоря, родился со стихом в груди и поэтическим звуком в сердце — это точно.

Очень много на Руси нашей было и ушло в никуда поэтических дарований. Тут и нужда житейская, и чувство самоуничтожения, и давление близких, особенно жен, не желающих верить, что мужик ей попался сочинитель, с которым жить трудно, временами просто невыносимо, да и голодно, все же в другой организации судьба твоя, Петр Павлович, была бы более устроенной и сделал бы ты гораздо больше и лучше в литературе.

Я вспоминаю Костю Мамонтова (сейчас он живет в Белгороде), он жил в Перми, работал машинистом электровоза. В прошлом фронтовик — пехотинец, вдоволь нанюхавшийся пороху, испивший боли и крови, очень аккуратным почерком, чисто писал стихи в блокнотики, однажды показал их в Пермском Союзе писателей. Стихи были одномерные, плоские, тема войны, как стрела огненная, пронзила их; мысль стихов да и тематика с твоею схожа, и уровень ранних стихов тот же, но стихи в то время были ладны, складны, наивно-доверчивы, образительно яркие, как и положено в русской поэзии. Стихи его начали печатать в газетах, альманахах, издали в «кассете», приглашали Костю на все совещания молодых и просто на всякие «мероприятия». Приходил он редко, общался мало с кем — работа, семья, желание после боев, фронта и крови уединиться, «спрятаться» в себя тоже было явным. В стихах он двигался медленно, внутренняя культура, особенно читательская его, не росла, не развивалась почти, однако стихи становились все более складными, ладными. И когда зашла речь о приеме его в Союз писателей, мы и не колебались, единодушно Костю приняли в члены Союза такого, какой он есть. Вскоре он уехал из Перми в Белгород. Присылал мне оттудова изредка письма, новые стихи и даже книжки. Он на пенсии уже, но при Союзе, в творческом коллективе — и это очень важ-

---

\* Петр Павлович Коваленко.

но. Важно, что его не отторгли от творческого коллектива, хотя и поругивали, и поучали, а эстеты и плевались...

Этот бесноватый вождь тутошний и его помощники виновны в том, что ты остался на отшибе, сам с собою, и твои литературные задатки (хорошие, на мой взгляд) остались почти втуне, ты мало реализовался как человек, плохо развит как читатель, поэтические твои рывки из банальностей, повторов, одномерности мысли, разобщенность с движущейся литературой — все-все видно в твоих стихах, бесхитростных, но кое-где даже профессионально сделанных. Есть строчки и кусочки, достойные пера больших поэтов, но в большинстве стихи, особенно те, где ты «вылазишь из окопа и шинели», просто вяломысленны, вторичны, самодеятельный поэт не дает тебе прорваться сквозь себя как профессионалу, за штанины и полы стягивает к тому, что «ближе лежит» и само собою дается.

Ах, как жаль, как жаль!

Разумеется, я замолваю за тебя при случае слово в Союзе и это не будет каким-то снисхождением или подачкой, я буду просить за талантливого человека, уроденного поэта, плохо, вяло распорядившегося своим дарованием.

Недавно в Томске приняли в Союз шестидесятипятилетнего поэта. Очень он звучен, легок, идет от народной мелодии, образительно действует и музыкально, прямо как волшебник! При приеме его в Союз, естественно, спросили: «Где ж вы раньше-то были?!» «Да так как-то все, некогда все было, жил, работал...»

Наверное, и ты так же скажешь. Но для литератора, для сочинителя, да еще поэта — главная работа и есть сочинение литературных произведений. Да, литература трубуется очень много сил, всего тебя без остатка, настойчивости, внутреннего ритма и напряжения жизни и мысли. А «Так как-то все», — это по-русски, конечно, однако, совсем непростительно.

Понимаю, что огорчаю тебя своим письмом, да что делать-то? Раз написал на книжке: «Солдат солдату», — давай слушай, терпи и дальше иди. Еще есть у нас немножко времени...

Кланяюсь. *Виктор Астафьев*

[1984 год]

Дорогой Петя!

Я получил твоё письмо, спасибо за него! Поклонись, пожалуйста, от нас с Марьей Семеновной, Клаве, твоим детям и внукам, всем желаем скорой весны и доброго мирного лета.

Мы живём помаленьку, работаем, старимся, ждём тепла и лета. В эту зиму у меня было много поездок: был в Москве, на съезде писателей, затем — на конгрессе сторонников мира в Варшаве, и сразу же поездка по Западной Германии, очень интересная была поездка, но утомительная. Затем вместе с Марьей Семеновной летали в Ленинград, оттуда к детям в Вологду, а я ещё и в Горький заезжал по делам.

Сейчас отдыхаю, пытаюсь разделаться с почтой. Особенно много писем пришло по поводу статьи в «Правде», надо их все прочесть, сделать по ним обзор опять же для «Правды».

Нашелся наш дорогой командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьев, ты его должен помнить. Его ранило под Каменец-Подольском, после него стал командиром дивизиона начальник штаба Бахтин.

Я знаю, что в сентябре будет в Житомире встреча ветеранов нашей дивизии, хлопочу, чтоб пригласили Митрофана Ивановича с Капитолиной Ивановной. Заканчивается работа над 3-серийным фильмом по моему сценарию, и я постараюсь, чтоб его показали нашим ветеранам.

Мы с Марьей Семеновной собираемся уехать подальше от дома — устали от телефонов, от людей, надеемся отдохнуть в теплой стране — Болгарии.

*Кланяюсь и обнимаю. Твой Виктор*

[Декабрь 1984 года]

Дорогой Виктор!

Ох, уже 85-й! Поздравляю, брат, с тем, что дотопали мы до него. А могли эти сорок годов уже прорасти бурьянами. Хоть и поизносившиеся, с трехэтажными хворями, но трекаем помаленьку, и на том спасибо.

Вот уж и февраль. В этом месяце меня кокнуло под

Кенигсбергом. А ты еще, кажется, где-то топал по Европе. Многие уже стало забываться. Вот лицо солдата-батареяйца помню, вижу его глаза, торчащие уши, а имени не помню. А мы, хоть полуживые, но докарабкались почти до конца века, хотя и в его конце нет ничего хорошего, но, слава Богу, живы!

*Обнимаю. Женя (Носов)*

31.10.84 г.

\* \* \*

Здравствуй, Виктор Петрович,  
ныне, присно, вовек.  
Ты по духу и крови  
мне родной человек.

И поверь, тут не фраза,  
а само естество:  
я почувствовал сразу  
это наше родство.

Может быть, — биотоки,  
может быть, — ремесло.  
Но из далей далеких  
нас ведь что-то несло,

Что-то мчало нас, разных,  
в степь кубанскую, в глушь,  
где общения праздник  
стал, как пиршество душ;

где с кизиловой ветви  
лист сорвался и — вдаль.  
Вдруг — на лацкан твой:  
третья  
золотая медаль!..

Улыбнулся ты:  
«Очень  
ярок южный листок...»  
Продолжается осень —  
облетает лесок.

Дни все злей и суровей,  
степь сокрылась во мгле...  
До свиданья, Петрович,  
где-нибудь на земле!..

Дорогой Виктор Петрович!

Вот привезли фото (не очень, правда) и вновь всколыхнулись картины недавнего. И как-то грустно стало оттого, что рядом нет тебя, и не так-то просто повидаться. Написались стихи. Может, когда отлежатся, я что-то и буду в них править. А пока прими их как мое письмо — объяснение в любви.

Групповой снимок — тебе. А вот, где ты выступаешь, подпиши и верни мне на память.

Обнимаю. Большой привет Марии Семеновне.

*Ваш Иван Кашпуров,  
Ставрополь*

[Январь 1985 года]

Витя, Виктор Петрович, дорогой дружище!

Сегодня почти дочитал твой роман и до утра не мог уснуть — взбудораженный, восхищенный, ошарашенный и т. д. Теперь я вижу, что ты человек не только талантливый (что я понял еще со времен твоего «Звездопада»), но и писательски храбрый, мужественный человек с большим человеческим сердцем, способным вобрать из жизни столько ее гримас. Удивительно правдивое и на редкость емкое произведение-концентрат правды о нравах, о жизни, местами — прямо-таки воплей, по мощи равных крику Достоевского, обращенных к людям: что же вы делаете, проклятые! Остановитесь, оглянитесь, куда идете! Написано плотно, просто-напросто просто, что создается иллюзия документальности, почти фотографичности, каждую деталь видишь и в каждый факт веришь. Ты молодец, дружище, во всех отношениях, но больше всего, по-моему, в том, что решился на такое, выплеснул враз и столько. Хотя я представляю, что критическая судьба романа не обойдется без терний, колючек хватит. Но не это главное. Главное — он состоялся и встал в литературный ряд. Попробуй теперь вышиби! И — по времени. Очень по времени.

Надеюсь, ты хорошо поездил по Германии, иногда это полезно, это снимает нашу ограниченность, хотя и нелегко, и жаль времени. Но это надо. Мы тоже с Адамовичем поездили осенью по ФРГ, кое-чего насмотрелись. Хотя и устали чертовски.

С работой у меня что-то застопорилось, нет настроения работать, да и здоровье в эту зиму вынуждает желать лучшего — не то так другое, маюсь с конца декабря. Сдал в «Дружбу народов» повесть — война, подполье, некоторые морально-этические его моменты. Не знаю, в каком виде дойдет все это до читателя.

А в твоём случае, кроме всего, молодец Ананьев, все-таки в факте публикации — немалый редакторский риск. Ему сейчас — ой как тревожно. Но это благородная тревога и благородный риск!

Вот такие мои мысли, дружище!

Все еще думаю, вспоминаю, осмысливаю твои факты, ходы, образы. Между прочим, хорош (и очень) главный герой, и я, признаться, сперва даже усомнился: милиционер — гл. герой романа? Но все хорошо, лучшего и не надо. Сгусток жизни — всамделишной и нелюбезной. Спасибо тебе читательское.

Журнал передаю Адамовичу. Наверное, он напишет тебе.

И очень желаю тебе новых строк и новых правдивых страниц — о жизни, о войне, о чем ты хочешь, по твоему выбору. Но, как всегда, — астафьевских: резко и мощно!

Обнимаю. Сердечный привет твоей Марье. Моя Ирина кланяется.

Будь здоров, дружище!!!

*Твой Василь (Быков)*

30.09.85 г.

Уважаемые Мария Семеновна и Виктор Петрович!

Извините, пожалуйста, что с таким большим опозданием откликаюсь на ваш дорогой подарок — «Затеси». Я надолго уезжал из Москвы — ездил по нашей стране и за границу. Когда вернулся, то опять задержал ответ — знакомая вам Зоя Николаевна Яхонтова из «Молодой гвардии» сообщила мне, будто Виктор Петрович вот-вот приедет в Москву, потому что через Москву направляется куда-то за границу. Мы с женой решили, дескать, попробуем заманить его к нам в гости, а жена и дочь замыслили пригласить и на премьеру в свой театр им. Моссовета, где они артистками. При встрече и намеревались выразить Виктору Петровичу благодарность за его «Затеси».

Эта книга среди моих любимых книг. Она не просто для доброго полезного чтения, она для серьезных размышлений над самим собой, над миром. Захватил ее в Костромские края, куда ездил недавно работать. Хотя мы с женой потомственные горожане-москвичи, дороже этих верных краев для нас нет ничего. Так случилось, что в эту поездку не очень ладно было у меня на душе. Мне помогли «Затеси». Я читал их раньше, но сейчас они вошли в мой мир по-новому, дали возможность взглянуть на окружающее спокойнее и мудрее. Спасибо за поддержку. Известно, что в настоящем литературном произведении каждый находит что-то свое, ему близкое и понятное, им пережитое. В «Затесях», как во всех Ваших, Виктор Петрович, книгах я всегда нахожу много такого, что мне лично дорого и памятно. Например, еще раз прочитал про три Ваши северные березки в южном ботаническом саду у моря и вдруг вспомнил маленькую страну на берегу Атлантического океана под красивым названием Сьерра-Леоне и ее столицу Фритаун. При мне прилетел из Москвы в крошечное наше посольство новенький. Привез три буханки черного хлеба и саженец березки. Хлеб по примеру Спасителя разделили между всеми членами советской колонии, а березку посадили в посольском саду. И с этого дня вся наша небольшая колония ходила на нее смотреть: жива ли? Ласкали березку взглядами. И на диво всем она прижилась на чужой африканской земле. Должно быть, сейчас уж совсем взрослая.

Мой внук Егорка часто вспоминает своего нового приятеля Витю Астафьева, с которым дружил в Коктебеле. Зовет его в гости в Москву на детские спектакли нашего «семейного» театра имени Моссовета — в этих спектаклях заняты Егоркина мама и бабушка. И еще обещает взять Витю в новый цирк — у Егора там тоже знакомые.

И мы зовем вас, уважаемые Мария Семеновна и Виктор Петрович, к нам присоединяется Зоя Николаевна Яхонтова, с которой мы дружим много-много лет. Приезжайте! Будем очень рады встрече. Ждем.

Еще раз спасибо за добрую память, за книгу.

Наш адрес: 119034, Москва, Ул. Щукина 8а, кв. 39.

Телефон: 201-44-01.

С самыми добрыми пожеланиями

*Ваш А. Почтвалов,*  
Москва

[1985 год]

Дорогой Виктор!

Вася Белов получил твое письмо, но почерк твой сам знаешь какой, — пришлось мне читать Васе — твой почерк, наверное, только я да Марья и понимаем.

Спасибо, Витя, за душевные слова Васе Белову. Расстрогал ты нас обоих, и Вася безмерно благодарен за такую поддержку. Спасибо сердечное от него и от меня.

Был тут В. Сапожников, собирался к тебе в Пермь, да передумал, вошел в стройбригаду и вкалывал. Мы с ним поговорили по душам и даже сдружились.

Получил и я твое толстое письмо, адресованное на Переделкино. В нем ты ничего такого не написал для того, чтоб тебя второй раз отправили в Игарку или куда подальше. Что ты хотел сказать про ту «эпоху» — сказал уже и в книгах своих, и за «круглым» столом, а мне один читатель из придурочных написал, что-де Астафьеву не дали к 60-летию Героя Соц. Труда потому, что он к своему юбилею не написал соответствующего романа.

Письмо с фотографиями тоже получил. Спасибо!

Да, брат, дожили мы до такого времени, когда нас уже не украсят никакие кустомы, украсить может только здоровье. Вернее, часы и дни, когда нас немного отпускают хвори и мы становимся как бы попримичнее... А для меня ты по-прежнему, в любом виде и состоянии хорош и прекрасен. Я уж как-то по-бабьи люблюсь тобой, и все твое корье на лице вызывает лишь грусть, но зато вместе с грустью еще больше крепнет братская привязанность и желание вымолить у Бога хоть сколечко здоровья тебе.

*Обнимаю и люблю — твой Евгений*

22.11.85 г.

Многоуважаемый и дорогой Виктор Петрович!

Только что прочитал в журнале Ваш очерк «Вечно живи, речка Виви». Он глубоко тронул мое сердце своим содержанием о гибели нашего родного Красноярского края; его самобытность, культуру и быт малых народов Северного края, их исчезновение с необозримых просторов сурового северного края. Тот, кто не бывал на берегах сибирских, северных таежных рек: Енисея, Тунгуски,



Чулыма, Ангары, на притоках и небольших речках, питающих эти полноводные и могучие реки, тот не поймет их величия, грациозные красоты зеленого убранства скалистых крутых берегов и многообразия цветочного убранства весеннего и летнего периодов. А мне все это понятно и дорого, и тревожно за все это...

Я родился, рос, учился в школе, закончил горно-металлургический Норильский техникум — и все это на берегах Енисея. Как обидно за свой край, его таежные, жуткие и таинственные глухомани, малые национальные народности, совершенно своеобразный колорит зеленых просторов, низменных приречных угодий, простоту и доверчивость коренных сибиряков, благородно и гостеприимно встречающих и угощающих любого гостя, пришедшего к ним с добром. Бедное убранство местного населения, их чумов, избышек, утвари, одежды, скромность и дружелюбие между собой — этому можно только позавидовать и предвосхищать нашу, «цивилизованную!» молодежь и их «воспитателей!». Своими красками языка, поведением, уважением к памяти своих предков, значимости своего мастерства: охота, пастьба оленей, ловля рыбы в реках и озерах во сто крат могут заткнуть современное, а уж рок-н-ролл, буги-вуги и прочее дерганье молодежи, на что и смотреть-то противно.

Еще раз благодарю Вас за память о сибиряках, народностях севера от всех пенсионеров, проживших на родном севере все свои годы.

*Королев В. К.,*  
Магадан

28.11.85 г.

Виктор, дорогой дружище!

Как, наверное, и всюду сейчас по стране, в Белоруссии тоже звучит твое имя, связанное с двумя последними публикациями в «Новом мире» и в «Правде». Рассказ в «Н. м.» мы прочитали давно, мне его подсказал А. Адамович, характеризовав его, как «сгусток самой жизни», что, разумеется, правильно. Ты молодец! Не потому, что такой умный, а потому, что такой сердитый, — так близко всегда твоя душа возле народной доли, будь это в годы пятилеток, войны, послевоенья.

И вот теперь в «Правде». Признаться, читая некото-

рые твои пассажи там, я просто сучил ногами от восторга — надо же!

Здорово, верно и — наконец-то! Кому-то давно-давно надобно было так сказать, и если это выпало тебе, то вдвойне правильно!

Но и «Правда» — на удивление, так она подала тебя, на полосу, с портретом... И так отважно... Bravo, «Правда»!

Вот думаю, дружище, что мы прожили свою жизнь, стареем-хиреем. Были ребята, становимся все более стариками. Даже удивительно.... И возмутительно! Потому что, хотя и донимают нас хвори, все-таки самосознание наше не хочет терять многие черты нас, двадцатилетних. Не так ли? И это хорошо. Плохо вот, если на том рубеже жизни осталось все самое значительное и заветное. За чем же мы жили тогда еще сорок лет? Чтобы дотянуться до пенсии?..

Впрочем, все это я — от лукавого. Просто давно не видел тебя, не слышал твоего голоса. И теперь... вот... прочитал несколько твоих печатных слов, в которых что-то слышалось...

Оно и понятно. Ведь нас мало осталось на этом свете, и мы — как родственники по крови. Биотоки — по-современному.

Как здоровье твое? Изменил ли твои бронхи Бутейко? Он же где-то в ваших краях, говорят.

Я по-прежнему «с гармошкой» в груди...

Как живет в сибирском краю? Может, не хуже, чем в Вологде?

Ну, а роман? Когда ждать? Надо торопиться, дружище. Нам уже надо спешить.

Я обнимаю тебя и твою милую солдатку Марью. И со мной вместе вас обнимает моя Ирина, и Адамович. Они тебя тоже любят.

Но все равно я люблю тебя больше!

*Твой Василь (Быков),*  
Минск

3.12.85 г.

Многочтимый и дорогой Виктор Петрович!

Нельзя без волнения было читать Вашу страницу в «Правде». Наконец-то!!! Я глубоко убежден, что в своем

новом романе, Вы «перевернете» всю планету, ибо о войне нашей много сюсюкали, и она вот уже почти «в платочки рассоплена»... Конечно, не могу скрыть от Вас, что многим молодым людям трудно будет понять войну и втянуться в писание о ней. Но это делать надо. И, не случайно, названные Вами авторы выдержали испытание, обращаясь к теме, бесконечной по существу. Очень рады были видеть Вас на великолепной фотографии на странице «Правды», а также и в прекрасном фильме по ТВ о незабвенном Константине Симонове. Там же мы видели и Вашу обаятельную супругу. Я так понимаю, что Вы без нее и она без Вас уже не живете — связаны крепко-крепко! И это прекрасно! Каждый из нас сегодня, более чем когда-либо, нуждается в настоящем человеке. Хотя бы в одном!

С нетерпением ожидаю от Вас какой-либо весточки. Извините за назойливость, может, отрываю Вас от страниц романа... Тогда плюньте и не обращайтесь внимания. Я подожду.

Обнимаю. Желаю.

*Евгений Светланов и Нина Александровна,*  
Москва

Кланяемся Вам, Вашей Овсянке.

Р. S. Счастливый Вы все же человек!!!

[1985 год]

Дорогой Владимир Владимирович!

Прошвырнулся я тут по морям и сушам с компанией в 570 душ, называемой «Миссия культуры России», и проехал мимо Вас совсем близко — из Одессы на теплоходе «Тарас Шевченко». Побывал в Греции, Египте, Израиле и Турции. Очень хорошо отдохнул и насмотрелся, но главное, побывал у гроба Господня, где надо бы побывать всем землянам, истинным христианам и просто мечущимся людям, тогда спокойно было бы и на сердце человеческом, и на Земле, нами поруганной.

На обратном пути в Москве простыл, а дома добавил, хотя морозы у нас самые мирные и здоровые — 10—12, но когда ждешь багаж по четыре часа в наших «благоустроенных» павильонах, можно заболеть не только простудой, но и нервной горячкой, а по молодости лет, возможно, и спидом.

Дома меня ждало Ваше письмо и следом пришла посылка. Рады мы и тому, и другому, хотя и понимаем, что из «дружественного государства», которое на меня произвело удручающее впечатление, сейчас что-либо отправлять — ох какое нелегкое дело.

Дела мои такие: заканчиваю работу над второй книгой романа «Прокляты и убиты». Первая была напечатана в 10—12 номерах «Нового мира» за 1992 год, скоро выйдет в двухтомнике, издаваемом в Иркутске, в частном издательстве. Как будет тираж, я постараюсь выслать Вам книги, даст Бог, дойдут, и вообще сделаю все, чтоб Вы прочли весь роман, если хватит моих сил его написать.

Для «разрядки», меж второй и третьей книгой романа собираюсь написать детскую повесть — устав от тяжелой работы, так я делал всегда и таким образом на свет появились «Дядя Кузя — куриный начальник», «Ода русскому огороду» и другие, «облегчающие душу», сочинения.

Что касается Собрания сочинений, то — да, издание, видимо, пропало, ибо само издательство кончилось, разделившись на четыре части и у всех одна цель: выжить и нажиться, пользуясь смутой и неразберихой.

В Новосибирске новое издательство «Сибирская книга» храбро ринулось издавать меня полностью, спланировали 14 томов и четыре тома с большими трудностями составили, их увезли — и все! Молчок! 65 миллионов кредита были получены издательством пять лет назад и предполагалось на них не только начать дело, но и построить себе 9-этажную контору, — растворились в инфляции и кабы издателей в долговую яму не бросили, а ведь проведена частичная подписка, взят аванс у подписчиков, пусть и небольшой, всего сто рублей — такова цена тома должна была быть, и теперь как они, бедные, станут выкручиваться, возвращать деньги, а мне рукописи, — одному Богу известно.

Но я работаю и работаю, делаю и мелочи текущие, и «Затеси» пописываю изредка, и издаюсь помаленьку. Вслед за 2-х томником должна выйти книга «Царь-рыба», на этот раз целиком, с когда-то цензурой «забоданной» главой; намечается издание «Последнего поклона» — тоже целиком — я закончил его двумя последними главами, напечатанными в 1991 году в «Новом мире». Будет издан сборник для детей и еще кое-что.

Словом, я-то материально выживу, а вот вся культура российская будет чем дальше, тем более лоскутной и кро-

хоборной. Впрочем, я сторонник того, что кто хочет и старается работать, тот устоит на ногах, а бездельники, краснобаи и плуты, однако, вымрут. На этом гибельном (или оздоравливающем) пути ждут наше Отечество большие испытания и беды — уж очень мы привыкли жить, как плыть вниз по реке, пусть испоганенной, но чтоб только веслом не грести.

Дома у нас более или менее, мы стареем, дети растут, как и все, не очень радивые и послушные. Надеемся на лучшие времена — дни и годы, авось Бог не оставит, хотя и нагрешили мы много.

Кланяюсь Вашим близким, всем желаю добра-здоровья, чтоб наступающий год был полегче уходящего. Еще раз благодарю за память и заботу.

*Ваш Виктор Петрович*

**3.01.86 г. (уже!) Кр-ск**

**Дорогой Анатолий Николаевич!**

Я и в самом деле днями уезжаю, желая предварительно закончить работу над новой книгой. Вот сижу и с трепетом жду звонка из Москвы — мой новый маленький роман подозрительно долго задерживается в ЛИТО, а телефон дребезжит, да все не по тому поводу. Пока я работал «на себя», на тумбочке скопилось кипа папок, разнообразных, и все это на один зрячий глаз, а жена уж осви-репела, отбортовывает папки обратно, не разворачивая, лишь приписав: «В. П. в отъезде, рукопись возвращается». Однако эти вот прорвались — «по договоренности». И когда уж я их прочитаю? И зачем?

Перед самым отлетом в Москву на съезд, перечитал почти все, вплоть до записок от сумасшедших, а они пишут и очень много, веруя твердо, что они, сумасшедшие, знают твердо истину! На многие, доступные моему уму, ответил и вот... всякий раз с ужасом смотрю на почту, когда жена заносит мне утром почту — «опять бандероли! Опять ценные!» И ведь знаю, что в них, в этих «ценных», и тупое бессилие охватывает меня, словно с закрученными руками загнали меня в угол и угрюмо морду чешут!

Вернусь я, если буду здоров (я и сейчас пишу дрожащими руками — устал, выдохся, нахожусь на пределе — книгу-то на 20 листов изготовил, да в основном из расска-

зов, а это надо делать многие годы, но будут ли они у меня?..)

Словом, поезжайте в Челябинск, найдите в издательстве нового редактора Владимира Курносенко и скажите, что В. П. просил прочесть Вашу рукопись и взять над Вами шефство. Писательская его, Курносенко, судьба складывается тоже нелегко, даже драматично и Вы, наверное, найдете в нем родственную душу, что пишущему совершенно необходимо. В письмах он тоже ехиден, востер, по образованию врач и человек интеллигентный, с большими накоплениями «внутри». Как бы Вы там ни перли грудью разом и на все, а пишущему человеку необходима внутренняя культура и постоянная подзарядка ею. В Каргалах, как и в городе Чусовом, где я прожил молодость свою, там начал писать и стал там «членом» в 1958 году, можно одичать (что уже и угадывается в Вашем письме), но не усовершенствоваться. Писательские, как и всякие прочие судьбы складываются по-разному, стандарта нет, с той лишь разницей, что пишущий и мечтающий стать сочинителем человек все должен подчинять этому, и на брюзжание, на демонстрацию интеллектуального превосходства над каргалинскими партдеятелями не должно оставаться времени (велика честь и победа сокрушительно усмехаться над дураком и приспособленцем!..) И если по делу, по настоящему, после первой же книжки из Каргалов надо уезжать, поближе к прессе, к музыке, к живописи, к общению с порядочными и культурными людьми, которых надо искать и «открывать», а открывши, успевать больше слушать и перенимать, радоваться, что даром отдадут, слушать, а не орать, что все — говно, акромья портретов. Я встречал людей, которые хвалились тем, что спорили с самим Твардовским! Я хвалил себя за то, что при единственной с ним встрече не тратил время на споры (а хотелось), но внимал Великому поэту и гражданину, слушал во все уши, что он мне говорил, тратил! на меня!, чусовского журналиста время!

Вернусь я в начале февраля, малость передохну и числа десятого улечу в Ленинград, на «Рубцовские чтения», а потом Сергей Павлович Залыгин попросил заменить его на съезде в Латвии... «Суета суёт!» — как говаривал великий хохмач Папанов, чудесный и очень уж большой человек.

Еще одно: я, бывший окопный вояка, давно собираюсь писать статью под названием «Межедомок». Разре-

шите мне воспользоваться двумя моментами из Вашего письма: насчет ФЗО и бурьяна? И, как хотите — назвать Вашу фамилию или не надо? С Новым годом!

*Кланяюсь — Виктор Петрович*

26.02.86 г.

Г. Г. Горенский!

(Копия в Союз писателей СССР)

Мне переслали Ваше письмо из Союза писателей СССР. Отвечать на него нет надобности. На все письма — отклики на публикацию моих скромных солдатских воспоминаний (нет там ни «самовозвышения, ни бахвальства» — я за этим, в отличие от Вас, внимательно слежу) — буду отвечать в обзоре через ту же газету «Правда», ибо не отвечать невозможно. Есть письма и их большинство — преисполненные такого благородства, такой благодарной памяти, искренности и признательности, что держать их в столе нельзя. Есть письма и подобные тем, что написали Вы, и на них надо отозваться, а то ведь, в спеси своей утопая, Вы так и будете думать, что Ваше «благородное» возмущение тем, что какой-то солдатишко смеет иметь свое суждение, да и... «властей не признает!» (Фамусов), останется при Вас и в самонадеянной, надменной тупости своей Вы вздумаете еще кого-нибудь опровергать, отчитывать. Это стало Вашим ремеслом от безделья, у Вас уже и подпись факсимильная заготовлена для этого. Или подумаете, что я струсил и потому не «реагирую».

Что Вы и кто Вы — мне объяснять не надо. Уже одно то, что живя в одном городе со мной, имея возможность сказать мне лично или по телефону (как фронтовик фронтовику): «Ты что пишешь, такой-сякой! Не так все было!..» — Вы прибегли к посланию в форме доноса, — охарактеризовало Вас и уничтожило в моих глазах, да и только ли в моих? Донос Ваш не будет иметь никаких последствий, хотя Вы на это жадно надеетесь, как и всякий, вконец исподличавшийся, самоупоенный «борец за справедливость», ибо время доносчиков и стукачей всех рангов к горю и сожалению Вашему — закончилось. Я — беспартийный, у Вас и с Вами, слава Богу, не служу-с, исключать меня неоткуда, да и руки у Вас коротки. Уже после всех доносов и отповедей (в основном, от чинов,

проливающих кровь, вроде Вашего вождя-вдохновителя Брежнева в политотделах армий, для которых пребывание в 70 км от фронта считалось передовой), меня избрали секретарем Союза писателей РСФСР. Досью! В две недели напечатали мой новый роман в журнале «Октябрь», который несомненно вызовет у Вас бешенство (а он и писан для того, чтоб взбесить всю нечисть: демагогов, лжецов и мордovorотов), и уже есть на него отклики в прессе — «Литературная газета», «Известия», «Неделя», «Советская культура». И есть письма, в том числе от моего давнего и прекрасного друга-фронтовика окопного! — Василя Быкова. Вас Бог обидел и друзьями, иначе не были бы Вы тем, что есть, лжецы и подхалимы были вокруг Вас, а истинный друг всегда нужен для того, чтоб сказать другу все, что он считает нужным сказать другу.

Вы цитировали «Литературку», где Василь, на радость Вам и таким как Вы поправил одно мое высказывание. А я процитирую Вам начало письма Василя от 7.2.86 г. — «Витя! Виктор Петрович, дорогой дружище! Сегодня ночью дочитал твой роман и до утра не мог уснуть — взбудораженный, восхищенный, ошарашенный» — и т. д.

Вам непонятно? Не подходит! Вы схватились за голову: «Да как же так можно? Ругать, журить человека и называть его другом?...» Можно. Можно и нужно. Вы относитесь к числу несчастных людей, к тем, кто не знал истинной дружбы, не понял, что такое слово «сибиряк» и какой гордый смысл в это понятие вложен!

Мне Вас жалко! Мы действительно были на разных войнах и в разных мирах. Мой мир неизмеримо мучительней и прекрасней Вашего, ибо я всю жизнь, изо всех сил стремился к честному хлебу, жил, кормился и детей своих кормил бедным, но честным хлебом правды. Вы ели хлеб с маслом, добытый с помощью притворства и лжи. С тем и умрете! На моей могиле будут плакать люди и расти цветы, на Вашу могилу будут плевать проходящие мимо «клиенты» и нижние чины.

Я только что вернулся с конгресса сторонников мира в Варшаве и из длительной поездки по Западной Германии. Устал. Болен. Не могу ответить на многие Ваши выпады, недостойные белой бумаги и того высокого звания, которое Вы носите. Да и невежественны Вы, нечестны, чтоб можно было с Вами говорить на равных и по-человечески, тоже не впадая в невежество и бесчестие, хотя бы о превосходстве нашей стратегии и тактики. О способ-



ностях наших военачальников? Вы, вероятно, имели в виду тов. Кирпоноса, который открыл целый фронт! И погубил сразу несколько наших армий? Или Крым, где Манштейн силами одной! одиннадцатой армии, при поддержке частей 2-й воздушной армии смел с земли все, что у нас там имелось, «на глазах» всего Черноморского флота, бросив осажденный Севастополь, «сбежал» под Керчь и «кулаком», состоящим в основном из двух танковых корпусов, в прах разгромил три наших армии, руководимых любимым выкормышем боготворимого Вами вождя, Мехлисом, так что и «каблуков от них не осталось», как пишет мне в одном из откликов участник этих бедственных сражений. От имени сотен тысяч людей бойкие на слово и бездарные на деле, дорогие Вам наши полководцы заслужили вечную кару!..

Эх, Горенский, Горенский Гавриил Георгиевич! Мы уж и ложь во спасение прошли, а Вы все еще «тама», все еще врете себе и другим! А ведь тезка Ваш, придворный поэт Гавриил Державин писал еще двести лет назад: «Злодейства землю сотрясают! Неправды зыблют Небеса!..» И этого не знаете?! И Пушкина, небось, не читаете, а Лермонтова тем более?! В лени и самоуспоении жить спокойнее, сытее и блаженней, да?!

Ну и живите! А я уж как-нибудь без Ваших нравоучений обойдусь. Я сам себе судья и командир. Работаю в Великой русской литературе не рогным писарем. И я, инвалид второй группы ВОВ, награжденный медалью «За отвагу» и орденом «Красной звезды» на фронте, тремя орденами «Трудового Красного знамени», орденом «Дружбы народов», за работу в русской литературе удостоен Государственных премий РСФСР им. Горького и премии СССР, секретарь правления Союза Писателей РСФСР, депутат Красноярского Краевого Совета, член редколлегии многих журналов и издательств

*Виктор Астафьев*

12.03.86 г.

Дорогие Наталья Михайловна и Павел Михайлович!

Вас приветствует бывший боец 7-го корпуса, которым Вы имели честь командовать во время войны, а ныне — писатель Астафьев Виктор Петрович. Желаю Вам доброго здоровья и теплого, мирного лета.

Из Краснодара мне написал о вас Тупиха Михаил Антонович, и я очень рад, что Вы живы. Он же написал, что у вас устарело жилье и его не ремонтируют. Я слышал о Вашей скромности еще на фронте, хотя видеть Вас мне не довелось — я был рядовым бойцом в 92-й артбригаде 17-й дивизии, несколько раз был ранен и сейчас инвалид 2-й группы, но продолжаю работать.

Скоро я буду делать обзор писем, поступивших на мое выступление в газете «Правда» в ноябре прошлого года и постараюсь через газету «надавить» на одесские власти и постараюсь, как смогу, помочь Вам с ремонтом жилья.

*Кланяюсь. Ваш бывший боец Виктор Астафьев*

12.03.86 г.

В отдел пропаганды Житомирского обкома КПСС  
Дорогие товарищи!

К вам от имени ветеранов 17-й артиллерийской дивизии — Киевско-Житомирской — обращается бывший боец ее, ныне — писатель, лауреат Государственных премий, инвалид войны — Астафьев Виктор Петрович.

Ветераны нашей славной дивизии решили провести встречу в городе Житомире в сентябре 1986 года и пишут мне о том, что житомирские власти не только не идут навстречу нашим сборам, но и препятствуют этому мероприятию, как могут.

Я понимаю Вас, даже очень хорошо понимаю, — осень, время уборочной кампании, после съезда дел невпроворот, а со стариками много возни и хлопот: надо их встречать, устраивать, приветствовать, организовывать встречи и т. д. Но скоро мы уж никого не будем обременять собою и Вас тоже, дорогие товарищи — житомирцы. Старость наступает гораздо неожиданней и стремительней, чем этого желаешь и ждешь. Думаю, встреча наших ветеранов будет одной из последних, но вполне вероятно, что и последняя, — уже и самым молодым из участников войны перевалило за шестьдесят. Наберитесь сил и мужества потерпеть нас еще немножко. Тем более, что будучи недавно в Ленинграде, я договорился с нашими ветеранами и просил сообщить всем, что на встрече должны торжествовать «сухой закон» и самодисциплина.

Со своей стороны, обещаю провести несколько встреч с читателями и ветеранами, посетить места боев, а также

показать фильм по моему сценарию «Где-то гремит война» (три серии), работу над которым по заказу Гостелерадио заканчивает на студии им. Довженко режиссер Войтецкий.

Прошу Вас мне коротенько отписать по указанному адресу.

Заранее Вас благодарю и кланяюсь —

*Виктор Астафьев*

12.03.86 г.

Дорогие Капитолина Ивановна и Митрофан Иванович!  
(Муравьевы)

Я давненько получил Ваше письмо и все его откладывал в сторону, чтоб ответить Вам подробней и толковей. Но время все бежит, бежит, суета и текучие дела не убывают, и я решил хоть коротенько пока Вам написать, а жена перепечатает письмо на машинке.

Я после ранения на Букринском плацдарме так и не вижу правым глазом, а от многописости и почерк испортился так что, извините, ответ мой на машинке.

Я Вас, Митрофан Иванович, и Вас, Капитолина Ивановна, очень хорошо помню и часто вспоминаю, чему добрый свидетель жена моя, Марья Семеновна. Она у меня тоже участник войны. Я после еще одного ранения, полученного уже в Польше, и долгого пребывания в госпитале, в нестроевой части встретил М. С. Мы поженились в 1945 году, уехали жить на ее родину в г. Чусовой, на Урал, вырастили дочь и сына, а одну дочку от послевоенной нужды потеряли. Сейчас у нас уже трое внуков — двое парней — Витя и младший Женя, и внучка Поля, ей исполнилось три годика, а Витя уже ходит в школу, Женя — в садик. Жена моя тоже занимается литературным трудом и, конечно, домом.

Насколько мне известно, Вы, Митрофан Иванович, ни разу не были на встрече ветеранов нашей дивизии? Сообщаю Вам, что нынче подобная встреча назначена на сентябрь в городе Житомире. Я сообщу в комитет ветеранов дивизии Ваш адрес с просьбой, чтобы Вас пригласили, и, на всякий случай, сообщаю Вам этот адрес: 252001 г. Киев, ул. Энгельса, 14, кв. 7. Мельников Н. Н. (председатель комитета ветеранов 17-й артдивизии).

Сам я из-за занятости и затурканности редко бываю на подобных встречах и был всего на двух: в Киеве и в Ленинграде, где встречался с бойцами нашего взвода — Петей Николаенко, Ваней Гергелем, Жорой Шаповаловым и Славой Шадринным, который, если помните, вышел из окружения на наш наблюдательный пункт на плацдарме? Сейчас он работает замдиректора Нижнетагильского комбината по транспорту. Бахтин Евгений Васильевич, Дидык Алексей Кондратьевич, умерли в Ленинграде. Волкенштейн Сергей Сергеевич чуть раньше их умер в Москве. Живых осталось уже очень мало да и больные все, старые. Вы, если и помните нас — меня, Николаенко, Гергеля, Жору Шаповалова, то помните мальчишками, ведь мы все с 24-го года рождения, все уже на пенсии, на отдыхе, я тоже получаю персональную пенсию по 2-й группе инвалидности, но отпуска и отдыха в нашей проклятой и прекрасной работе не бывает.

Мне очень хочется с Вами встретиться и поговорить. Очень! И если Вы не сможете приехать в Житомир, я бы попросился заехать к Вам в Новохоперск. В Воронеже я бывал, там издавались мои книги, есть друзья, так что «крюк» на денек-другой я бы сделал. Ну, а если соберетесь в Житомир, тем лучше — там побываем на местах боев, я постараюсь показать Вам новую трехсерийную картину «Где-то гремит война», снятую по моему сценарию.

Литературой я занимаюсь с 1951 года, а до того был рабочим, учился в школе рабочей молодежи, ныне уж похваляюсь Вам, как бывшему моему командиру и очень родному человеку, — дважды лауреат Гос. премий. Вышло у меня собрание сочинений в 4-х томах. Считаю, что жизнь прожил не напрасно, хотя не во всем и не так, как хотелось. В № 1 журнала «Октябрь» за 1986 год напечатан мой новый роман. Шуму о нем уже много, даже больше, чем я ожидал.

Следом за письмом посылаю Вам однотомник, изданный к моему 60-летию с фотографией, по которой Вы меня возможно чуть и припомните.

Кланяюсь низко и целую Вас —

*Ваш Виктор Астафьев*

16.03.86 г.

Добрый день, Виктор Петрович!

Сегодня закончил чтение Вашей книги «Всему свой час» — и решил, пока «не стерлось» первое, доброе впечатление, написать Вам.

Спасибо за Честную и Добрую книгу. Пришлось по душе прежде всего то, что во всех статьях, объединенных в книге, Вы проповедуете (извините, но это лучшее слово) внимание к Человеку, Природе, здоровый дух и любовь к Родине. И делаете это простыми словами, не из трескучей обоймы нынешних словоблудов, которые стряпают стишки и прочую продукцию к дням торжеств, к датам и просто для первых страниц газет, журналов. А мне, не скрою, подумалось: вот бы в газету на первую полосу, а лучше — в журнал — по одной Вашей помещенной в книге статье давать — печатать вместо всего и всякого!..

Тепло у меня стало на душе, когда узнал, что в 1956 году мы с Вами были рядом на Урале (относительно, конечно), — Вы — в Чусовом, а я — севернее Соликамска, за Чердынью, в Ныробе. Может, слышали?

Сам я инженер-строитель, строил КАМАЗ, КМА, КАТЭК, БАМ. Кочевник, одним словом, как многие мои братья-строители.

Люблю литературу и стараюсь следить за новинками, за тем, что происходит в нашей литературе. И скажу прямо: мало, мизерно мало откровенных произведений о жизни и природе, о том, что волнует, о том, о чем болит душа, что не получается. Вы правильно пишете — «лакировочная литература», да еще с детективным или сексуальным уклоном.

В чем дело? Где и кто они, эти лакировщики? Читаешь «Литературную газету» (первую половину) и диву даешься: в мастерской Союза — тишь да благодать... Конечно, туда не надо пущать слона, но где же честный разбор произведений, глубокие рецензии, независимо от того — мэтр или ученый, или новичок. Теоретизирование на грани — искусство ради искусства. В чем тут дело? Где корни такой оторванности от жизни? Неужели этого не видят руководители литературы, Союз писателей, его функционеры?

Кстати, примите мое поздравление с избранием Вас секретарем правления Союза писателей РСФСР. Уверен,

что Ваши здоровый, разумный голос и подход улучшат дело литературное.

В 1984 году я случайно познакомился с Г. Граубиным и Р. В. Филиповым. Но... после прочтения Вашей книги, на мой взгляд, они такого же ума и его направления в части литературных дел, да не та сила и убедительность. Я с уважением о них вспоминаю и прихожу к выводу: периферийные писатели гораздо здоровее духом, проще и человечнее, поскольку не кичатся, а занимаются своим делом и не хвалятся «особостью» своего труда.

А труд Ваш тяжок, я в этом не сразу убедился, был профан и, может быть, как графоман, когда два года писал два рассказа и потом со страхом отдал их на суд «моим знакомым», Граубину и Филипову.

Ваша книга о всех трудностях Вашего пути не отпугивает меня. Наоборот — вселяет робкую надежду в писание и, как говорится, делаюсь мудрее.

За эти мысли, убеждение, что укрепляет Ваша книга, — СПАСИБО ВАМ еще раз! Желаю Вам здоровья, вдохновения и мужества в Вашем труде и в жизни.

*Ваш читатель и почитатель — В. Должник, Якутия*

20.03.86 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Давненько собирался написать Вам письмо, да засуетился и, правда, был зело занят поездками в ФРГ, в Китай, гастролы в Алма-Ату, съезда и многое другое.

О съезде Вы читали и все знаете, а может, и видели. Ждут люди. Хотят люди правды и истины. Говорят, Вы выступали по этим вопросам. Жаль, я не видел.

Китай произвел на меня сильное впечатление, как сказал один из сопровождающих нас китайцев: «Мы бросили разговаривать и теперь строим». И, действительно, очень раскованно они начали жить. Если они не забуровятся еще в одну какую-нибудь «культурную революцию», они много смогут сделать для своего укрепления.

Дорогой Виктор Петрович, несколько дней после выхода «Нового мира» я ходил именинником. Мне звонили, поздравляли, завидовали и удивлялись, почему, дескать, тебе-то посвящен такой рассказ?! А я ходил гоголем и был счастлив, за что Вас сердечно благодарю, и чем я был

глубоко тронут! Но не мои хвастливые чувства — главное. Главное, что напечатали такую горечь и боль. И эта боль отзывается в сердцах многих и многих.

Это прекрасно и справедливо! Пронзительность и правдивость рассказа удивительны и очистительны! Так что я именинник, да еще связан с такой правдой. Эвона какой Вы мне подарок сделали!

Как живу? Да больше в суете или в деле. Да уж такая она — Москва. Но вот сейчас, возможно, начну репетировать в театре новую пьесу Л. Зорина. Интересная, как мне кажется, пьеса, хотя и с проблемами нелегкими для постановки и решения. Пожалуй, это больше философский спор о крови, терроре и праве человека, типов и для себя, чем лихо закрученная пьеса. Но проблемы, поднимаемые пьесой, кажется мне, могут найти отклик у зрителя. Хотя, честно, честно сказать, что ему нужно, этому зрителю, хрен его знает. Упустили мы немало зрителей нашим враньем и непрофессионализмом, упустили. Нам мало верят, и мы часто «жуем мочало» вместо правды и новизны. И зритель сидит сиднем у телевизора.

Дорогой Виктор Петрович! Я давно замахивался на это письмо, да все духу не хватало, чтобы объяснить ту прискорбную ситуацию, когда я не смог сняться в Вашем сценарии в Киеве. Так сложилось, что когда я мог и открыл окно для съемки — группа задерживалась в Сибири, а когда они вернулись, я по театральной занятости не смог, а подождать меня они уже не смогли, так как у них ломали павильон. Не получилось потому, что шибко много у меня точек приложений своих убывающих сил, вот я и не смог соединить все концы. Не обижайтесь на меня, Виктор Петрович. Ей-ей я это пережил ощутительно для себя.

Ваш «Печальный детектив» не столь печален, как страшен и безысходен. Что же делать-то? Как жить-то будем дальше? Вы не гладите по головке сегодняшнего человека, а бьете прямо по солнечному сплетению. А что еще с ним делать? Ни узды, ни тормозов, ни богов, ни веры. И даже страха нет. Круши — и все. День, да мой!

В нашем напуганном актерском мире много говорят о Вашем «Детективе» и о распутинском «Пожаре». Не литературные произведения, а набат пожарный, криком кричат в Сибири от боли и ярости. И слышно Вас везде и всем. Только дальше-то что?

Слышал я недавно по телевизору Д. С. Лихачева. Даже этот кабинетный человек скрежещет зубами, говоря о

повороте северных рек. А их поворачивают — кормить-де сегодня надо людей. Грустно-грустно вокруг.

Ну ладно. Как Ваш роман военный? Как Вы живете в Вашем богатом краю?

Низкий поклон Марии Семеновне и добрые пожелания. Были бы рады видеть Вас на Большой Бронной. Алла Петровна шлет добрые Вам и Марии Семеновне пожелания! Всегда Ваш —

*Ульянов*

21.03.86 г.

Дорогой Борис Федорович! (Никитин)

Все чаще и чаще укладывают меня в постель старые, фронтовые раны, и с годами прибавляются болезни. На такой случай у меня скапливается куча рукописей и я, значит, «не скучаю».

Ваша рукопись, конечно же, не добавила мне здоровья, но и не убила до конца — видел я все это, и по Уралу достаточно пошлялся, и в качестве рыбака, и в качестве журналиста, и в качестве просто шатающегося любителя природы. Бывал и в Лабытнанге, а на пути к ней, в знаменитой Сейде, где пересекаются пути многих страшных судеб, дорог, истории нашей и современности ясноокой. Ездил и поездом — из Воркуты, Ухты, Сыктывкара и проч. Попадал в вагоны с амнистированными и вербованными. Наверное из-за ранения в лицо — у меня подбит на Днепре и не видит правый глаз, из-за глубоких морщин и из детдома, ФЗО и фронта полученного умения держаться с подобного рода публикой, меня никогда не трогали, и оттого, что я держал вещи на виду, ничего ни разу и не взяли, а наоборот — свое, последнее, предлагали. А вот стрелки, оперативники, «попки» замели один раз. Вез я грамоту, значки и награждения в Верх-Язвенскую школу от журнала «Следопыт Уральский» — за тяжелую работу по перегону скота на Кваркуш, ребятам вез. А голова стриженная — тяжелая контузия у меня и мне казалось, когда волос снимешь — голове легче. А в это время побег из лагерей, а «попки» храбры у себя в дежурке, в лесу же боятся и набились в катер — искать беглецов. Я как раз с упоением читал впервые вышедшего Платонова, а они, «бесстрашные стражи», на корме с девками поигрывали и, чтоб покуражиться, но скорее от тупости, давай мою



личность сравнивать с фотками беглых и, показывая на одного, девица с ужасом прошептала: «Похож!» Один, в прыщах, изношенный крестьянством дома, изнуренный онанизмом в казарме, блюститель порядка ко мне: «Ваши документы!» «Какие?» — спрашиваю. «Как какие? Ты чё?!» «Ну, какие, какие — паспорт, депутатский билет, журналистское удостоверение? Чего надо-то?» — «Пашпорт».

Дал я ему паспорт, долго он на меня, на карточку смотрел — слышал. А на карточке я без морщин, выгляжу моложе и красивей. «Насмотрелся? Налюбовался?» — спрашиваю. «Бу-бу», — в ответ. «А ну-ка, теперь покажи свои документы!» — «Как? Зачем? Ишь ты, документы ему». — «Покажешь, покажешь! Чего боишься-то!» — «Я — боюсь? — и на девок взглядом победителя: — гы-гы! Боюсь!» — сунул мне плоское удостоверение и я, ни слова не говоря, к себе его в карман и говорю: «Пред. Красновишерского райисполкома передаст эту ксиву твоему начальнику и поведает попутно о том, как вы храбро втроем искали на катере беглых арестантов...»

Э-эх, что было! Картина! За капитаном бегали. А капитан меня узнал и на стрелка на этого: «Недоносок! Пакостник! Забрался на катер, бздун, да еще и власть показываешь!.. Отдайте вы ему корочки эти, Виктор Петрович, я его, мерзавца, вместе с боевыми соратниками сейчас в лес, на комарье высажу. И вас высажу, красотки!» — рявкнул капитан на девок. Те, бедные, в слезы: «А нас-то за чё? Ну, обознались! Он и на писателя-то не похож, да и не писатель, поди-ко, документы подделал...»

Так вот на писателя непохожий и до се живу. Сейчас хоть дубленка есть, машина, дом в деревне и волосья не стригу — сами вылезают, а бывали времена.

Ваш опус, конечно же, печатать никто не будет в ближайшие обозримые лета, но писать это необходимо, хотя, в общем-то, читать про бичей я уже и подустал.

Поэзия — половина ее сейчас поет о покинутой деревне, проза — о бичах. Много их развелось, бедствие надвигается на нас, а мы делаем вид, что не замечаем «бревна в глазу», но то же самое было и с темой пьянки, теперь вот хватились...

Человек Вы способный, зоркий и натянутый до звона в себе. Писать Вам надо хотя бы для того, чтоб «освободить» себя, разрядиться, а что и когда будет печататься —

это сказать весьма затруднительно даже известному писателю, безвестному же тем более. Но, терпение и труд...

Будьте здоровы, будьте сердиты, но не злы, и работайте больше, успевайте, пока молоды.

Кланяюсь и желаю добра-здоровья!

*Виктор Астафьев*

Р. С. А тот тип тоже хорош! Написал — Яхрома, а где она, та Яхрома?! Мне искать, а я на кровати лежу. Будьте аккуратны и уважайте этот труд.

**8.04.86 г.**

Здравствуйте дорогой Виктор Петрович!

С приветом и наилучшими пожеланиями к Вам заочно уже знакомые грузинские книголюбы Павел и Наталья Гнездюковы.

С большой радостью встретили выход Вашей публицистической книги «Всему свой час». Спасибо за размышления о путях развития литературы, о Вашем творчестве и творчестве писателей, близких Вам. Уверены, что эта книга, вышедшая в серии: «Писатель — молодежь — жизнь», даст много полезного подрастающему поколению.

Дорогой Виктор Петрович, в связи с тем, что в этой книге, опубликована Ваша рецензия на книгу А. Лиханова «Высшая мера», мы ее включили в наш «домашний музей» творчества писателя, о котором мы Вам уже писали.

Очень бы хотели, чтоб в этой книге был Ваш автограф. Извините.

380092 Грузия, г. Тбилиси-92, Санзона, корпус 106 — 20. С поклоном

*Гнездюковы Павел, Наташа, Миша и Дима*

**13.06.86 г.**

Уважаемый Виктор Васильевич! (Плисову)

Письмо, копию которого я Вам направляю, поступило ко мне, как к члену комитета Всесоюзного общества охраны окружающей среды. Одновременно копии его были направлены в Горисполком и Крайисполком. Письмо несчастное и коллективное, и не просто письмо, а вопль о

невозможности проживания граждан в центре города, на улицах Ленина и Карла Маркса, куда волевым решением Крайисполкома и Крайкома партии было переведено, по существу, все движение транспорта на эти две, довольно стесненные улицы, где, к тому же, идет беспрестанный ремонт всевозможных коммуникаций и прокладки новых, а большей частью и в большинстве наших городов, бесполое и бесконечное вскрытие старого асфальта, дробление камней и земли.

Смотреть на это и говорить об этой сфере деятельности граждане наших городов, в том числе и Красноярска, уже устали. Одна из самых страшных бед современного градостроительства и хозяйственной деятельности провинциальных руководителей — это подражательность, слепое копирование столиц и того, что в них происходит и «глядится», хотя и сами наши столицы, в том числе Москва, не избежали бед и искажений своего облика, в подражании «Европам», и Ленинград превратился в грязный, запущенно-провинциальный город, где лишь то, что предназначено для показа иностранцам, для их убажания и развлечений, еще маленько досматривается, красится и метется.

И вот город, притиснутый горами к реке, и в прежние годы не отличавшийся удобствами для передвижений, прозывавшийся когда-то Ветропыльском, в угоду моде и якобы для удобства трудящихся — а у нас все дела делаются только для блага! только для удобства трудящихся! теряет одну улицу за другой.

Ну хорошо — переустройство набережной, расширение ее, облагораживание — поглотило улицу Дубровинского — будем считать, что городская эстафета, стремление к современному образу жизни, замена хаотичного, безобразного озеленения — удалась и город с реки смотрится привлекательно. Однако после этого осталось лишь три с половиной магистрали, по которым предстояло двигаться и жить на которых надобно было гражданам, стремительно и, чего греха таить, более хвастливо, неряшливо да и неразумно развиваться Красноярску.

Я видел немало городов на свете, в том числе и тех, где центральные магистрали, улицы, проспекты, улочки и переулки освобождены от движения транспорта — для удобства жизни граждан, для более тесного их общения, для того, чтоб в центре города был чище воздух, слаженней

торговля, веселее гулянье и отдых. Даже в одном из самых тесных городов мира Токио, центр его — Гинза, с двух часов дня в субботу и до вечера перекрывается для транспорта, и мгновенно на Гинзе, хорошо вымытой, оказывается масса скамей, выдвигаемых цветочных лотков, тележек с мороженым, сладостями, игрушками. Все это хорошо освещено, разукрашено фантастической рекламой. В центр города съезжается множество стариков, детей, гуляют молодые люди, поют, танцуют, не гремит, а звучит прекрасная музыка.

Начальник Красноярской краевой охраны окружающей среды, написавший о том, что в Токио стоят дыхательные приборы и что люди там задыхаются, попросту наврал, и читай бы японцы газету «Красноярский рабочий», они вполне обоснованно могли бы подать в суд на него и на газету, не очень щепетильную в смысле правдоподобия, а порой и просто нечистоплотную, потому как более десяти лет назад вся промышленность из центра Токио убрана на окраины, при этом сотни частных мелких предприятий, котелен и огромное количество труб — ликвидированы. В центре Токио, на канале плавают белые лебеди, цветут цветы, растут деревья и сады, ходят чистые и нарядные машины. Попробовали бы те лебеди по Каче поплавать, по той самой Каче, где я еще в детстве ловил пескарей и даже хариусов, ловил в черте города, возле базара.

Так что когда приходит на ум местным руководящим деятелям «считать кумушек», я им не советую понапрасну трудиться, а лучше «на себя оборотиться».

Буржуев всегда было удобно и безопасно критиковать, надо бы посамокритичней относиться к себе и к своим действиям. Тот же начальник по охране среды, знает, вероятно, да и как не знать — это унюхать возможно, что в Красноярске, как и во многих других городах, загазованных и загрязненных — преступление, ставшее для всех уже привычным, — это когда на рассвете, часов в пять, химические и прочие предприятия, содержащие вредные газы и примеси, «незаметно» выпускают их наружу.

Не знаю, как в Крайисполкоме и окрестностях его, но в Академгородке, когда дует «с низов», газы и запахи химического свойства ощутимо слышны. Что же делается в тех домах и районах, которые расположены вблизи этих предприятий?!

Я полагаю, что, освобождая главный проспект города от транспорта, отцы города думали не только о своих личных удобствах (хотя граждане города утверждают, что все делалось именно для этого), но и вообще для удобств горожан. Вероятно, в будущем, когда город расширится, будет приведен в порядок, окраинные улицы его смогут принять на себя часть шума, газа и движения — это будет целесообразно. Но свалить весь транспорт города на две улицы!? И какой транспорт! Половину его из-за технической непригодности и неряшливого вида, гремящего, копящего, ревущего, — в путном городе и на линию-то не выпустили бы!

Граждане пишут жалобы. Власти города или отписываются или отмалчиваются, или делают спектакли в виде ярмарок и воскресных гуляний по центру города, а трудящимся города не спектакли нужны, нужен порядок в городе, но не показуха, нужны: чистый воздух, тишина, удобства в передвижении на работу и с работы.

Наступая на собственное самолюбие, — да что скрывать, — и на гонор, — нужно отменить неразумное решение, продумать как следует, что и как надо сделать для удобства истинного, а не показного, и тогда уж манипулировать транспортом, пешеходами и судьбами граждан.

Город с почти миллионным населением — не игрушка и не предмет для упражнений разного рода манипуляторов и реформаторов. Он и граждане, его населяющие, нуждаются в заботливом, терпеливом и разумном к себе отношении.

Такое отношение в Красноярске пока существует в проектах, на бумаге и в речах.

А время требует дела, серьезного и неотложного, в том числе отмены неразумных, скороспелых решений о движении транспорта, которые радуют одну лишь родную милицию, занимающуюся поборам с шоферов и опрометчивых пешеходов посредством штрафов.

Это я пишу Вам и как депутат Крайсовета, и как гражданин города, и как член комитета Всесоюзного общества охраны окружающей среды. Если не будут приняты меры по ликвидации вопиющего безобразия, я оставляю за собой право обратиться за содействием в Комитет и вызвать в город Государственную комиссию. Что бывает в городе, и какие происходят последствия после работы подобной комиссии, Вы можете узнать у своих соседей — в городе Кемерово.

На всякий случай прилагаю маленькую заметочку к своему письму.

*К сему — Виктор Астафьев.  
Писатель. Лауреат Государственных премий,  
секретарь правления Союза писателей РСФСР.  
Член президиума Всесоюзного общества охраны  
природы.  
г. Красноярск.*

12.07.86 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Пишу Вам не как читатель-поглотитель всякого и разного. Духовная пища хотя и весьма полезна, но это не значит, что книги надо глотать. К тому же — у каждого своя диета. Пишу из гражданских побуждений.

Ваш «Печальный детектив», конечно, не укладывается в теоретические рамки нашего общежития. Он слишком печален для этого. Но правду, как бы она ни была горька, следует проглотить, чтобы вылечиться. Все лечащие лекарства горьки.

Хорошо, что это роман. Романная форма наиболее емка, организована и впечатляюща. Хорошо, что это не подсиропленная беллетристическая водица, а горькие слезы печали. Читаешь и удивляешься, негодуешь и возмущаешься: неужели же мы такие еще нравственные (нет — безнравственные!) дикари? Да, все это было, есть и нескоро еще, видно, изживется, если зло стыдливо прятать за нарядно покрашенным забором мнимого благополучия.

Возникают вопросы: о героине-одиночке, о многоватости «назема» на душу романного населения, о грубости языка (и не только персонажей, но и автора)...

Я — не критик. Могу ошибаться. Как гражданина роман меня потряс, лишил сна и покоя. Все изображенное для меня неново. Все это я знал: видел, пережил, ощутил, как говорится, своей не слишком защищенной шкурой, но раньше все казалось: а не излишне ли я критичен, пессимистичен и нетерпим. Теперь убежден — только бескомпромиссная нетерпимость ко всему негативному в нашем в общем-то здоровом обществе поможет нам стать лучше, чище, благороднее и человечней.

Спасибо Вам за то, что Вы так откровенно и талантливо выразили заботы и тревоги всех обеспокоенных. Сердце ведь должно знать, за что оно бьется!

С искренним уважением —

*Виктор Власов,*  
Москва

1.08.86 г.

Дорогой Игорь Петрович!\*

Статью в «Новом мире» прочел перед самым отлетом в Эвенкию. Из пяти дней, проведенных в тайге, погожих набралось два, так что было у меня время полежать на тесаных жердях в охотничьей избушке, посидеть у костра, послушать тишину и подумать неторопливо, а больше сидеть просто так, ни о чем не думая и радуясь тому, что есть еще «углы» на земле, куда можно спрятаться со своим незрелым, все еще детским горем, ибо там, перед величием пространств и необъятности тайги ощущаешь себя дитем. Чьим? Наверное, дитем подлинной, единственной магушки-земли! Последнее время мне редко удается бывать в тайге — больны легкие, правое под пневмонией, левое ранено, и меня ведет в слезу. И случалось, плакивал я, сидя у костра, от какой-то необъяснимой, сладко-горькой печали. Так вот в 39-м году, будучи на первой в жизни, новогодней елке, бедной, детдомовской, которая, конечно же, мне показалась сказочно-роскошной, в разгар веселья и праздника я горько расплакался, меня почему-то дружно все начали утешать и многие сироты тоже расплакались и не от того, что родителей их расстреляли в Медвежьем логу, или сделали сиротами другими, более «спокойными» средствами. Плакали они совсем по другим причинам, которые я и поныне не возьмусь объяснить до конца, ибо они до конца и необъяснимы...

...За полдня поймал я на гибельную бамбуковую удочку и на примитивные мушки-обманки ведро харюза и ленка, поймал бы и еще, да речка вздулась от дождей и эвенкийский бог сказал: «Хватит! Вас много, таких азартных и жадных....»

Скажите: «Все жамини да жамини, а о моей статье ни полслова!»

---

\* Игорь Петрович Дедков.

Понравилась мне статья, понравилась! Вы пока более других рецензентов приблизились к пониманию того, что я хотел сказать, сам порой не понимая того, как это сделать и о чем толковать со здешним, нынешним народом, потому как и народ этот уже шибко отдалился от моего разумения, а, может, я от него. Хожу иной раз по родному селу, ищу чего-то, но ни села, ни себя в нем найти не могу. Увижу на скамеечке тетку Дуню и брошусь к ней, как к огоньку бакенскому, на чужой, на каменной реке. Ей 84 года, жива, подвижна, растит для сыновей двух поросят, обихаживает избу, огород, а когда, так еще с котомкой — лучишку, ягоденку иль чесночишку — на рынок подается. Чего уж там наторгует — секрет большой, но с народом пообщается, с бабенками навидается и довольнехонька! А на воскресенье, глядишь, сыновья да внуки приедут, работающие на каких-то непонятных «производствах», да и им самим едва ли понятных. С горы Колька спустится (там у нас Молодежный поселок), — путный мужик, у путной матери вырос (папа-то был в галифе, командовал да хворал, а чаще — чужих бабенок щупал, вот и помре рано от грехов мушшынских и блуду општственного), а тетка Дуня жива и почти здорова, а Колька — ей помощник хороший, душе поддержка и радость. Все умеет, и по двору, и по специальности, здоров, красив, приветлив. Я и полюбуюсь ими «издала», да и укреплюсь душевно. А то хоть пропадай, когда тебя «мужественно» поддерживают русские мыслители по углам Кремля, за колоннами, либо в сортире. Жалко мне было этих ничтожных грузинов, за двадцать лет, прошедших со дней «Ловли пескарей», превратившихся в еще больших ничтожеств, но еще больше было жалко нас, русских, и себя вместе с ними, так измельчавших, так издешевившихся, в такую беспробудную ложь (самоложь) погрузившихся. «Ох-о-хонюшки!» — как вздохнула бы тетка Дуня-Федораниха.

Завтра еду в деревню. Все там в огороде заросло да и высохло, поди-ко, — июль у нас простоял жаркий. Люблю свою деревню и такой, какая она есть, — придурочно-дачная, раскрашенная, как гулящая девка, как буфетчица, дурная и стяжательная, как официантка из ресторана «Вырва» (так «Нарву» называли возле «Литературки»), но другой деревни у меня нет, да и не надо мне другой. Какую Бог дал и какой она меня родила, такими будем доживать и помирать вместе.



А «Печальный детектив» я хотел сделать непохожим на другие мои вещи. Это я помню отчетливо, потому как и все другие вещи мне не хотелось делать похожими друг на дружку. Я по природе своей выдумщик — «хлопуша», — как мне говаривала бабушка, и мне хочется без конца выдумывать, «сочинять» и это увлекает меня прежде всего, а дальше уж объяснимые вещи начинаются: привязка к земле, читатель-писатель, искусственный формалист и опытный самоцензор, хитрован-редактор, приспособленец — гражданин, нюхом охотничьей лайки-бельчатницы берущий «поверху», т. е. умеющий улавливать дух времени и веянье ветров, ну, а потом — труд, труд, труд, когда голова и задница соединены прямой кишкой.

Все это не унижает моего труда и не убивает во мне моего удивления и восхищенья им. У Вали Распутина, в рассказе: «Что передать вороне?» (по-моему) или в «Наташе» сказано, что ему кажется, что в нем есть другой человек. А мне думается — не кажется! И эти два человека противоборствуют все время: один — сырой, подавленный страхом и временем, склонный к постоянному самоуничтожению; другой — свободный в мыслях и на бумаге, упрямый, понимающий и чувствующий больше и тоньше, чем позволяет ему выразить тот, первый... И сколько же внутренних сил и напряжения ушло и уходит на противоборство этих двух человек?! Вы скажете, и у Гоголя было так же, и Николай Васильевич маялся... Да ведь люди-то в Николае Васильевиче размещались под стать ему, с огромными, пространственными мыслями, неизмеримым космическим обаянием, даже в мерзостях своих, кои мы, по ничтожеству нашему, как и злополучные грузины, и выставить «на вид» боимся. И муки у Николая Васильевича были не чета нашим, огромные муки, нами до сих пор непонятые, не достигнутые оттого, что до Гоголя мы не возвысились. Ни время, ни образованность наша (скорее полуобразованность), ни, наконец, строение души нашей не позволили нам сблизиться с такой «материей» вплотную, хотя шаг вперед и сделали. Гоголя начинают читать, но далеко, ох, как далеко еще до подлинного прочтения этого Величайшего из гениев, до счастья проникновения «в него» или хотя бы почтительного (не фамильярного, как зачастую случается ныне) сближения с ним.

Если Вы посчитаете возможным исключить себя из этого «мы», пожалуйста! Мне остается только позавидовать Вам.

Ну вот, вроде маленько выговорился. Оттого и не писал до поездки в Эвенкию, что сил на разговор не было и желания братья за ручку — тоже.

Еще раз спасибо Вам на добром слове! Здоровы будьте! За книгу спасибо. Статью о Косте непременно посмотрю, да и всю книжку осенью, в деревне пролистаю. А пока собираюсь в Туву. В сентябре — на Украину, где уже, наверное, в последний раз встречаются ветераны нашей Киевско-Житомирской дивизии, и, даст Бог здоровья, буду готовить «Последний поклон» — написалось в него еще две новые главы.

Шлю Вам и свои книги. Кланяюсь Вам и Вашим близким. Жена моя, Марья Семеновна будет перепечатывать это письмо (иначе не прочтете) и присоединит свои клоны.

*Ваш Виктор Астафьев,*  
Красноярск

1.08.86 г.

Дорогой Евгений Замирович!

Нынешней осенью я начну большую работу над подготовкой исправленного «Последнего поклона». Написалось две новые главы, одна из них — «Пеструха» — печатается в № 1 журнала «Сельская молодежь», и Вы, чувствую по письму, еще не читали ее. Вторая глава в работе.

Подготовка нового издания, надеюсь, сама даст ответ на многие Ваши вопросы. Появится и бабушка вновь и довольно явственно в новой главе «Пеструха». Книга разделится уже не на две, а на три части. Пойдет работа и над языком, в том числе и над ликвидацией «излишеств» языковых.

Почему снял фразу: «Музыка окликнула во мне далекое детство»? Сейчас уже, конечно, не помню, но ныне я снял бы ее за некоторую манерность и даже за налет литературной красоты. Надо бы все это вычистить у меня и в других вещах, а уж во всей нашей современной литературе, особенно в поэзии, сей «материал» лопатой бы совковой выгрести.

Как приходят ко мне слова? Не знаю, что на это ответить? Наверное, слова мои — это я сам, и они во мне живут. Впрочем, последнее время я много пользуюсь словарями, в том числе сибирскими. Где сверяюсь, а где и

пользуюсь этим бесценным кладом, собранным нашими подвижниками из учебных заведений, прежде всего в Томском университете. Они, в Томске, знают, что я их боготворю за их прекрасную, так нужную в России работу, и шлют мне все, что у них издается. Вот только что прислали «Средне-Обский словарь» и один экземпляр я пошлю в Японию, где так вьедливо изучают русский язык, а издатель мой еще и коллекционирует! русские словари.

Кланяюсь. Желаю всего доброго.

*Ваш — Виктор Петрович,  
г. Красноярск.*

7.08.86 г.

Дорогой Ян Солович!

Благодарю Вас за приглашение посетить Вашу республику, поучаствовать в торжествах и отдохнуть в Вашем крае, который я видел лишь издалека.

В 1944 году я участвовал в боях у Дуклинского перевала, целью которых было прорваться к Словакии, но был там тяжело ранен и так ни разу в Чехословакии мне побывать не довелось.

Увы, и нынче не доведется. Ваше письмо пришло тогда, когда время мое было уже спланировано, и ранее поздней осени или зимы поехать в Словакию я не смогу, хотя, видит Бог, как давно мне этого хочется. И страну Вашу посмотреть, и поблагодарить Ваших издателей, журналистов и читателей за доброе внимание к моему скромному труду и книгам моим.

Если Вы на меня не обидитесь и это не затруднит Вас, пришлите приглашение через иностранную комиссию СП СССР на меня и на мою супругу Марию Семеновну (она тоже член Союза писателей СССР), и мы с огромной радостью побываем в Вашей стране и братски Вас обнимем.

Передайте, пожалуйста, мой сибирский поклон Яну Козаку, с которым мы познакомились в Варшаве, на конгрессе сторонников мира, переводчикам моих книг и журналистам, напечатавшим интервью со мной.

Шлю Вам поклон из далекой Сибири, с берегов Великого и пока все еще прекрасного Енисея.

*Ваш Виктор Астафьев*

21.08.86 г.

Дорогой Валерий Николаевич!

Телеграмму я получил. Спасибо за приглашение печататься в «Роман-газете» и за хлопоты, без которых, догадываясь я, дело не обошлось.

Книги пока не посылаю по той простой причине, что у меня их нет, а слышал, что вышла книга в «Современнике», «Огоньковская» же книжка на расклейку не годится из-за формата и шрифта.

Но прежде чем послать книжку, я хотел бы предупредить Вас и тех, кто «благословляет» Ваше массовое издание — вприцеп с кем-то я печататься не буду, а ведь наметили-то «вприцеп», потому как роман мой всего 7 листов авторских.

Так уж случилось, что «благодетели» мои долго меня вообще до массового издания не допускали и мимо «Роман-газеты» прошли — «Кража», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду» и многое другое. «Царь-рыба» была загнана в один выпуск и из нее сокращено восемь листов. Лишь «Последний поклон» был удостоен соответствующего внимания по причине его, видимо, полной «безвредности».

Более я никаких подачек и снисхождений не приму и или мне дадут под новые вещи — и роман и рассказы — целиком выпуск «Роман-газеты», т. е. книгу на 14 листов, а книга в «Современнике» объемом 25 листов и выбрать есть из чего, можно и из старых, но не состарившихся повестей дать — «Ода русскому огороду» или «Пастух и пастушка». А огрызком и довеском я печататься не хочу и не стану.

Если патроны Ваши и вдохновители согласны на мое предложение — давайте телеграмму, и я вышлю книги, фото надо взять у фотографа В. Абрамова, хорошую он сделал фотографию.

Если предложение мое не проходит, то не надо тратиться и на телеграмму. Это письмо мое можете считать официальным.

Дальше пишу для Вас и для Альберта:

Живем, работаем, волны шумихи, ночные звонки с угрозами с ног нас не сбили. Возросла почта и очень сильно. Почта меня, в основном, радует: читатели русские,

---

\* Валерий Николаевич Ганичев

лучшая их часть, — держатся достойно и достойный отпор дают прихлебателям и трусам, в том числе штрейкбрехерам из «Нашего современника» и из СП РСФСР. Почта необыкновенная, умная, содержательная, свидетельствующая о том, что нас мало убить, надо еще и повалить, а до этого, слава Богу, еще далеко.

Из Грузии мне прислали стихи Ираклия Абашидзе: на смерть Кирова и на приезд Берии в Поти, а также газету «Зарю Востока» за 30-е июля 1986 г. — с отчетом о партийном активе Грузии — чрезвычайно любопытные произведения. Вот их бы в «Роман-газете» опубликовать — полезное бы дело получилось.

Я дважды ездил в тайгу, сперва в Эвенкию, затем в Туву — рыбачил, смотрел, дивился: есть еще у нас где жить, быть, есть чего кушать и чем топить. Ума бы еще и хоть маленько порядку, так нас бы и рукой не достать, и бомбой не запугать.

На несколько дней приехал в город — у Марьи Семеновны день рождения, затем снова в деревню. Начну работать над подготовкой дополненного исправленного издания «Последнего поклона» — написал две новые главы. Работа предстоит большая и серьезная.

В конце октября пленум СП РСФСР. Бог даст, я к той поре сделаю эту работу, привезу книгу в Москву, и мы увидимся.

А пока — желаю доброго здоровья, т. е. ничего более не ломать, ибо уж все поломато. Поклонись своей жене и маме, которая не хочет жить в Безбожном переулке, и правильно делает — безбожие вылилось в беззаконие и вместо Бога, как предсказывал Достоевский, явился богочеловек, все сокрушающий и истребляющий. Алику\* позвони, привет передай.

*Кланяюсь — Виктор Петрович,  
г. Красноярск*

22.08.86 г.

Дорогая Ася! (Гремицкая)

Я был в лесу и маленько подзадержал верстку, хотел прочесть ее повнимательней, а то уж больно «перлов» много скопилось: — «ядренная деваха» уж ядерной сдела-

---

\* Альберт Лиханов — в ту пору редактор журнала «Смена».

лась, даже «правая губа» у женщины появилась — надо полагать от чтения современной художественной литературы! Особенно ошарашивающие ляпсусы я пометил восклицательными знаками, кое-где заполнил пустые строчки, пусть нахально, не к месту расставленными абзацами, ну и, хоть маленько, поборолся с бедствием моим — буквой «а». Где возможно — снимите ее — это как идет от устного рассказа, так и мучает мои бедные произведения.

Чтобы сократить время доставки верстки в издательство, посылаю ее с Романом Солнцевым — он едет в Коктебель и будет проездом в Москве.

В сентябре вплотную приступаю к работе над «Последним поклоном», написал две новые главы, одна уже напечатана, другая в деле. Работа предстоит большая, но за осень надеюсь одолеть.

Живем мы, как всегда, в трудах и заботах, я, в основном, в Овсянке. Я дважды побывал в тайге, в Эвенкии и в Туве. В Эвенкию ездили вместе с Марьей Семеновной, на вертолете нас забрасывали в глубь тайги, жили в охотничьей избушке. Погода маленько подгадила, но до дождей я все-таки успел порыбачить, и тайги наслушались.

По приезде нас ждал ваш альбом! Ну и молодцы вы, бабы! Ну молодцы! Юмор вас не покинул даже в издательстве «Молодая гвардия», а что если б вас перевести в «Планету» иль в «Мысль»?! И подумать-то весело, чего бы вы с этой «Мыслью» сделали!!! Спасибо! Спасибо! Читатели поддерживают меня, и издатели, слава Богу, в обиду не дают. Почта возросла и какая почта! Живы мы, и народ наш жив!

Целую всех, обнимаю и благодарю!

*Ваш Виктор Петрович*

7.09.86 г.

Дорогой Сергей Павлович!\*

Надеюсь, ты уж прибыл из Дубултов в Москву и начал править «Миром»? Я читал твое интервью в «Литературке» и проникся серьезностью твоих намерений, да и «тонкий» намек понял. Сейчас я работаю над подготовкой исправленного и дополненного издания «Поклона» — написались две новых главы. Одна из них уже напечатана в

---

\* Сергей Павлович Залыгин.

журнале и в книге, со второю вожусь, сделал вторую редакцию. В ноябре собираюсь на учредительную конференцию культфонда, или на юбилей Миши Дудина, и привезу ее или отправлю по почте. Глава эта — вполне самостоятельный рассказ, с некоторыми связями-ниточками со всем предыдущим материалом. Глава по объему большая и вполне проходимая по цензуре. «Последний поклон», видимо, разделится на три книги и работы с ним предстоит еще много.

Хочу тебе сказать о том, чего раньше не говорил — не возникало надобности — о своих давних, непростых отношениях с «Новым миром». Началось все с того, что еще в шестидесятые годы в этом журнале была заредактирована подборка моих рассказов, и заредактирована так, что я, живучи тогда в Перми, еще нигде в толстых журналах не появлявшийся, вынужден был их снять. Рассказики, как я теперь понимаю, были не ахти и, может, даже лучше, что они не появились на свет. Из четырех рассказов, снятых мною, я потом занялся лишь одним и сделал «Восьмой побег», а остальные просто напечатал в периферии и на том успокоился, никуда их более не включаю.

Но вот в прошлом году мне снова, но уже с трудом удалось вынуть из «Нового мира» рассказ — «Тельняшка с Тихого океана». Высокомерное отношение и очень «грамотная» редакция сделали рассказ таким, что под ним уже можно было ставить любую подпись, а я на любую не согласен и раньше был, теперь, на старости лет, тем более. Давление на меня я испытывал сначала, печатая в журнале своих дружков, в особенности такого чирка-трескунка, считающего себя гением из народа, как Витя Бокков.

Обратил бы ты внимание и на вторую половину журнала, на критику и литературоведение — уж очень много там литературы снобистско-высокомерного толка не сумевших сделаться хотя бы средненькими прозаиками (им бы этого вполне хватило, чтоб считаться хорошими) и по этой причине принявшихся анализировать и препарировать современную литературу.

Проза в «Новом мире», как и прежде, заметнее, чем в других журналах, хотя и пестроты в нее и излишней трескотни, «злободневности» и просто словесного блуду многовато добавляют такие «проблемные» беллетристы, как В. Токарева и иже с нею.

Вот и все мои тебе «инструкции». Вполне допускаю,

что все это ты знаешь не хуже, а лучше меня, но, тем не менее, глас «из народа», любящего тебя и желающего тебе добра и здоровья «в моем лице» пушай прозвучит. Ношу ты взял на себя нелегкую и в немолодые годы, взвалил ради нас же, никем так и не объединенных. «Наш современник» оказался «нашим» до первого поворота, и тут же начал нас предавать направо и налево. По моему подсчету Викулов употребил уже двенадцать редколлегий. За это время даже в такой текучей футбольной команде, как московский «Спартак», перебивало меньше народу. Но «Спартак» хоть одного игрока хорошего, Хидиятулина, с извинениями вернул, а Викулов гонит, как сквозь солдатский строй, своих помощников и рядовых работников, и, думаю, в ранней смерти Юры Селезнева он виноват в той же степени, что и советское КГБ, которое его еще парнишкой-студентом запикивало в одиночку, и была та одиночка, видать, очень страшна, потому как и много лет спустя, он, Юра, вскакивал по ночам с криками ужаса.

Я ночевал однажды в общежитии Литинститута в одной с ним комнате, был тому свидетелем и отпаивал его водой.

Ну вот, на этом про дела и кончу, поскольку ты катаешься по странам и континентам, а творишь за границей, то бишь в Латвии, я маленько и о Родине твоей напишу, чтоб напомнить тебе о ней и раздражить ее видами, авось вместо Запада покатишь в отпуск к нам, азиатам, на Восток.

Лето у нас и по Сибири, после трехлетней прорухи, было прекрасное, урожайное, доброе и до сих пор в Красноярском водохранилище «зеркало воды», т. е. верх — имеют температуру +19—+21! И люди купаются. Грибов народилось полно, картошка замечательная, всякая овощь из гряды прет. В нашей деревне, откуда я тебе и пишу, даже кукуруза вызрела в початках. Вот бы Хрущева к нам! Он бы нам медалью дал, а может, и орден!

Я дважды ездил на рыбалку: в Эвенкию и в Туву. Маленько отвел душу на ловле хорошей рыбы — хариуса и ленка. В Эвенкии все еще пространственно, безлюдно, тихо, но уже нашли нефть и торят дороги, налаживают промысла. Тува вконец испорчена национализмом и дикой, оголтелой пьянкой. Режут русских походя, да еще больше друг дружку, болеют чахоткой, вырождаются. Сделались тувинцы жуткими ворами, мошенниками и проходимцами — цивилизация не покорила их, они цивилиза-



цию обхаркали и живут по-скотски, со скотом в горах потаенно и пьяно.

А в Эвенкий мы пожили в охотничьей избушке. Все бы хорошо, но опять горела без конца и края матушка-тайга, самолеты ходить не могли — на небе солнце угасало от дыма и температура до одного градуса падала среди лета, а по советскому радио и телевидению передали соболезнующе-горькую информацию о том, что на юге Франции от страшных пожаров выгорело аж 30 гектаров леса! Вот так вот и живем, боремся за правду, продвигаем вперед идеи и помыслы. Обнимаю тебя, родной человек. Держись на ногах. А мы подопрем тебя, не бойсь. Поклон Любви Сергеевне.

*Твой Виктор*

**[Осень 1986 года]**

**Дорогой Витя!**

Письмо твое я все-таки получил с большой жирной пятеркой вместо ноля, кто-то переправил «30» на «35». Но, судя по штемпелям, оно где-то походило, хотя и не вскрылось, надо думать.

Я очень рад, что «Кража» наконец пошла. Прочту и напишу о ней непременно. Но пока в городе еще нет в продаже «Сиб. огней». Днями должны появиться. Включил ли ты эту повесть в новый сборник? Или только одни рассказы? А повесть будешь издавать отдельно?

Мое «Затмение» тоже в восьмой книжке «Современника». Толя Соболев прислал о повести первый отклик, а у нас тоже еще нет в киосках. После нее написал еще один рассказ — «Храм Афродиты». Также о деревенской жизни. Лежит пока в столе, никуда не посылал. Я о нем еще и сам не составил мнения. Знаю только, что он не в жилу, особенно после последних постановлений о «культурной революции».

Книжка моя с исключением новомирских рассказов идет в «Сов. России». Уже видел частичное оформление. Какой-то пижон с растительностью Иисуса Христа на аскетически тощей физиономии взялся иллюстрировать. Он приезжал ко мне и показывал. Делает под Фаворского — псевдогравюры. Очень изящно, утонченно, и для московских дамочек — ничего. Но уж больно благодушно. О деревенской жизни он ровным счетом ни в зуб ногой. А

сборник подобрался такой, что и рисунок в нем должен быть тревожный и где-то беспощадно-суровый. Впрочем, «Сов. Россия» никак не наладит должное оформление книжек. Я уж говорил им о твоём сборнике, как они его безнадежно засинили и ослепили.

Сейчас вот все думаю засесть за новый рассказ о рыбалке. Собственно, рыбалка там будет только фоном. Хочется мне разделаться с одной разновидностью рыболовов. Есть такая начальствующая каста. Они и на рыбалке якшаются только друг с другом. На них добротные полущубки и лески шведские и норвежские, и нашего брата, шелкопера, чураются и в душе презирают, считая, что река для них продолжение служебного кабинета. В общем, планов всяких много, но пишу я мало и медленно, для меня каждый рассказ — все едино, что роды. И беременность проходит тяжело, и рожать еще тяжелее, аж осунешься и глаза провалятся.

Витек, спасибо, родной, за приглашение. Очень хочется мне повидать тебя, поглядеть на твои пермские пенаты. Но как-то все не складывается, время, как говорят хохлы, проходит швырком. Вот уж и лето проскочило, а я только раза три побывал на рыбалке, да и то осталось впечатление, что я бывал как-то наскоком, по-быстрому. Даже в этом году ни разу не искупался. Теперь уж отложу поездку к тебе до следующего лета. А увидимся, может быть, теперь в Москве. Надо только списаться. Когда будет этот пленум, о котором ты говорил? А я надумал поехать на конец октября-ноябрь в Переделкино. Посижу там маленько. Замучил меня желудок и провинциальные пьянки. У нас ведь как? Как встретились две писаки, так — поллитра. Без водки ни дышать, ни ступить уже не могут. И начинаются всякие сплетни друг про друга. Все вумные, все куда-то рвутся, на какие-то пьедесталы. Да будущей корове Бог рогов не дал... Ну вот тогда, видимо, и встретимся, если ты будешь на пленуме. Многого надо бы с тобой обговорить, как-то сориентироваться, поддержать друг друга, что ли? Я ведь тоже как-то порастерял все связи. Написал письмишко Васюхе, да он где-то пропал, говорил, что собирался на лето поехать в Моздок, на Кавказ, там у него дядька... С Володькой мы не переписываемся, так, изредка обмениваемся открытками. Все эти годы он меня как-то топтал высокомерно, хотя, если ему дать по носу, парень он получается ничего, сходный.

Квартиру мне не дали, хоть и прошел какой-то шумок,

да я и не настаиваю. Да и жалко мне уходить из своей деревни в казенную цивилизацию, привык я к своей крапиве, к мухоловкам, к ощущению земли под босыми пятками. Вот подремонтировал маленько избу, стало чуть-чуть почище, да и ладно.

Побывал я этим летом у себя на родине, в той самой деревушке на горизонте, которую мы видели с тобой с Курского крепостного бугра. Побывал и расстроился, так же, как и ты. Увидел свою родную хату, забитые ржавым железом окна и надпись мелом на железе: «В этом доме никто неживет» (вместе). Года три тому назад там еще обитала моя бабушка в обществе двух козлят, которых она под осень резала себе на зимнее пропитание. А сейчас она переселилась под одичавшую сирень на кладбище, откуда далеко видно окрест — и река внизу, и лес за рекою. И тоже ходят по тем благодатным местам какие-то девки в купальниках, и солдаты на амфибиях учатся форсировать водные рубежи и на гусеницы наматывают водоросли и последнюю рыбеху. Никакой там деревни теперь не осталось, так, куча домов, населенная шустрой жуликоватой публикой, поголовно работающей не на земле, а кто на железной дороге, кто на стройке, кто на базах, кто шоферами. Какой-то люмпен. Ни путного петуха, ни собаки, одна бензиновая вонь на улице. Словом — поедешь, и одно расстройство. Ты прав, лучше и не бывать. Много я увидел и услышал там такого, что даже скуля ломит... Одно утешение — работа. Ты знаешь, и до сих пор идут письма с откликами на новомирские рассказы. Значит, народ читает! Это такая мне, Витя, поддержка. Как, оказывается, важно попасть в самое человеческое сердце. А официальная критика помалкивает. Правда, в 7-й или 8-й книжке «Невы» (забыл, кажется все-таки в 7-й) есть статья Ленинградского критика Горелова «Дело всей жизни» — о языке современной прозы. Там об этих рассказах сказано много и очень основательно. Ты бы посмотрел, Вить. Там и о Васе Белове тоже. А его Иван Африканыч — что-то гомеровское. Я его тоже спрашивал, Васю, что он еще хочет к этому добавлять. Кажется, все завязано. Впрочем, сам знаешь, писать о родине можно бесконечно. Повесть его выходит в «Советском писателе».

А Ленька Сапронов сейчас живет в Орле, кажется, я тебе говорил. Или даже ты его сам видел. Не знаю, как у него теперь дела, но книжечку он издал в «Советском

писателе». А еще был у меня Колька Голощапов, знаешь его? Он из Челябинска. Учился на курсах после меня. Он был секретарем в Челябинске после Коли Воронова. Рассказывал об Альке Яковлеве (женился на студентке, пьет, ничего не пишет). Голощапов и сам женился на какой-то москвичке, было сунулся в Саратов, к Шундику, пробыл там три месяца, потом вернулся в Москву на всякие подрядные работы. Приезжал ко мне от «Известий». Мы с ним тут попили маленько, а через месяц прислал письмо: лежит в больнице с инфарктом. Не знаю, зачем они лезут в белокаменную и гибнут там, как мухи на костре. Все это традиционно: попытка завоевать столицу и потом серая жизнь в какой-то тесной московской каморе и обивание порогов всяких газет...

Вить, обнимаю тебя, родной,

*Женя (Носов)*

[Осень 1986 года]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

И, все-таки, я отправляю Вам это письмо. Много раз пыталась писать, еще больше раз просто «говорила» с Вами. Есть у меня привычка, когда лягу — думать о маме, мысленно разговаривать с ней. Все-все беды я ей обскажу свои, а в письме пишу: «Мама, не волнуйся, все у меня хорошо». Но разве маму проведешь? Она чутьем узнает, читает между строк. И часто, очень часто отвечает мне не на то, что в письме, а на то, что в мыслях.

Так «говорить» люблю и с теми, чьи книги читаю.

Еще говорю с собой, но с собой маленькой. Детство — моя сильная, нежная мелодия, мое спасение. Господи! Какой я мудрой была тогда, как умела доверять, любить, идти на помощь, а главное — не знала страха. Умела верить. Вера в людей давала мне силы.

А теперь.... Мне страшно. Я стала ловить себя на мысли, что боюсь людей. И я боюсь этого страха, что если он перейдет в ненависть? А в человеке не должно быть ненависти даже к врагам своим, иначе не победить. Ни себе, ни врагу не поможешь.

Знаете, что меня страшит! То, что Враг, оказывается, тоже считает себя Человеком и имеет свою Правду. Страшит то, что я стала видеть ту вражью правду и оправдывать своего Врага. Я стала терять Врагов. Раньше их у

меня было достаточно, чтобы жить спокойно. Сейчас границы стираются. Враги стали появляться в моем доме, больше того, они стремятся стать моими друзьями, пытаются доказать мне, что они мне необходимы, как и друзья.

Но самое страшное: мои друзья — уходят, расплываются очертания наших отношений, я начинаю чувствовать, что между нами исчезает искренность, — это происходит медленно и неотвратимо.

Бывшим своим врагам я при встрече говорю: «Здравствуй!» — и прохожу мимо. Бывшим моим друзьям я тоже при встрече говорю: «Здравствуй!» — и тоже прохожу мимо. И остаюсь одна. Круг моих друзей стремительно сужается...

Еще до недавнего времени в доме моем было полно народу — это были, конечно, друзья. Я доверялась им. Я чувствовала, что необходима им. А теперь их становится все меньше и меньше, и я ловлю себя на том, что даже рада этому уменьшению.

И все же, иногда, обрушивается ощущение такой пустоты, будто живу я в расширяющейся вселенной — так далеки мы — люди, друг от друга. Толпы народа, а расстояние между людьми равно межзвездному. Попробуйте принять эту Величину — Звездное расстояние! Недосытаемость...

Человек, с которым я до недавнего времени могла говорить о важном для себя или для него, вдруг становится мне до брезгливости отвратительным. Но ведь он тех же «авторов» читает, что и я. Есть у меня один знакомый, он так и говорит: «Леночка! Мы должны бы понимать друг друга, мы духовно близкие люди, мы одних с Вами авторов читаем». И часто, именно у таких вот знакомых богатые библиотеки. Они живут по принципу: «Скажи, что ты читаешь, а я скажу — кто ты».

Попробуйте в магазине или в общественной библиотеке найти Достоевского, Толстого. А у такого вот «знакового» все есть: от Библии до Маркса и Гессе.

Меня когда-нибудь погубит страсть к чтению.

Когда они, эти «знакомые», вползли в мой дом? Не помню. Но вползли же! Какой им от меня резон? Библиотеки у меня нет. Книги достаю по случаю. Разносолов тоже нет. Живем ниже среднего. Но вползли же! Долго были в тени. Приносили все новинки... Это радовало.

Приносили все, что мне хотелось. Я не просила. Просто в разговоре иногда обмолвилась: «Как бы мне хотелось почитать...» — И, как в сказке... Несут. Читать не торопят.

Но проходит время... и — напоминание: «Мы, мол, одних, духовных потребностей люди. Нам надо бы быть ближе...» А слова-то какие: «Потребности».

В последнее время у меня пелена вдруг спала с глаз! Прозрела! И многих таких «духовных братьев и сестер», коленом под зад. В дверь! Да и сама от них удрала. Да как далеко! Из Пензы в Норильск! А во след вопль: «Неблагодарная! Мы тебе... А ты к нам!...»

Мне страшно, Виктор Петрович, этих людей. Иногда кажется, что они или подобные им, сделали так, чтоб у нас не была доступной хорошая книга: «А что, как прозреют?! А что, как сравнят с тем, как мы учены жить»..

Видели бы Вы их глаза! Пустые-пустые. Они не алкаши, нет, не наркоманы — Боже упаси!. Коньяк пьют наперсточками, мизинчик в сторону, а больше — трезвенники. А глаза пустые и в то же время какие-то бегающие, скользящие. Больные? — Нет. Это очень здоровые люди. Каждое воскресенье — разминка — в лес, «на природу». Была я однажды с ними «на природе». Одеты больше чем скромно, все больше в наши кроссовки и российские «джинсы» — тряпочкой. Едят печеную картошку, черный хлеб с солью, луком и чесноком. Вспоминают о том, как в «тяжелые» годы героически пахали, сеяли, стояли у станков. И вот заслужили отдых, стол, лес, книги. «Сами, сами, своим трудом пробились, своим трудом пробились» к «духовному богатству», мол, из народа они до корней волос, «жизнь знают, сами пишут, что там Бальмонт. Бальмонт — графоман», а они «правду» пишут, «о природе» и все душой измаялись.

Читала я их «правду» — не хочу такой «правды»!

Один пишет все больше о лесе, про мотыльков, да как сок березовый напрасно в землю течет. А сам бежит по лесу, как по асфальту, костер чтоб был, ветки сосновые — чтоб зад не простудил. Раздавил ящерицу — мол, мразь. Березоньку, ту самую, о которой плакал, на чурки поколол, чтоб шанлык лесом пах. Березу, ту самую, о которой слезы лил, сам продырявил да не в одном месте, чтобы «туристок» соком угостить, чтобы любили они и помнили «родную березу», чтобы влагой своей она вошла в их плоть, для того, чтоб толстой тетке сидеть было удобно — ту березку, над которой проливал крокодиловы слезы, кото-

рую слезно же оплакал и в стихах, повалил. Да, да, без топора, как обезьяна, ловко так (и это в 58 лет!) влез на дерево, на тонкое, гибкое, пригнул пониже, так, что пешком на землю сошел, — и трон для слабого пола готов! Бежала я с того пикника, как они называют его — «туризма», — без оглядки. А дома у меня книга этого человека лежит, из его библиотеки «Библия», — редкая, как он мне объяснил, с рисунками Доре, «пятьсот» в былое время за нее плачено. — Лежит у меня на тумбочке возле кровати эта книга — она же не виновата! — а открыть ее мне уже мерзко — только оттого, что она из библиотеки гнусного человека.

Он и мне — за внимание и любовь к нему, за то, чтобы я разделила его «духовное богатство», — тоже пятьсот предложил. И библиотеку в придачу. Мое отвратное чувство к этому он не понял. Подумал, что тошнит меня оттого, что на солнце перегрелась. А меня с глаз его стошнило — как глянула в его глаза, так и... Боже мой! Куда же я раньше-то смотрела?! Дура и дура!

А как он торговался! Вначале — мне страшно это говорить, — вначале предложил альбомы, Репина и Рублева. Господи! Виктор Петрович! ведь он Толстого читал, Достоевского и... торговался!

Я разозлилась... Сказала, что беру деньгами! Решила подыграть ему. Тогда он сказал: «Понял!» — и предложил 200 рублей. Я сказала: «Тысячу за одну ночь»...

Он опять ничего не понял. Сказал: «Могу дать пятьсот. Я за Библию отдал пятьсот. А это, все-таки, вечность».

Он так и сказал: «Дал за Библию», — понимаете? Он за «вечность» дал пять сотен. И мне столько же.

Я не хочу жить!

Вы не думайте, я не паинька. И мне не 17 лет. Мне скоро уже 36. Я немало повидала в жизни.

Родилась в хорошей семье. Жили мои родители чисто, честно и очень бедно. Отец — тракторист, мама — няня. Я родилась после войны. Помню мой дом: барак, беленый известью, под красной черепицей. Пол земляной, в глиняных стенах жили змеи. Отец научил меня не бояться змей. Он их никогда не убивал. Он вообще никогда не убивал животных напрасно, разве только кур, да и то редко, по необходимости: к празднику, к воскресенью или если кто болел.

А мама была из сирот. Очень любила детей. У нас во дворе было всегда полно детей, и в совхозе все, от мала до

велика, звали ее только по имени-отчеству. А вы, думаю, знаете, кого в деревнях обычно называют по имени-отчеству — величают. По образованию она воспитательница, но в совхозе, где мы жили, почему-то в то время держать воспитателей в детском саду считалось, по-видимому, для крестьянских детей большой роскошью. Тогда мама согласилась работать няней. А штата в нашем детском саду на 50 человек — разнокалиберных детишек, было: кухарка, прачка — она же и уборщица, и няня.

Ели мы под большой старой грушей, из железных мисок. Спали, правда, каждый в своей кровати, на чистом выглаженном белье, — это наша прачка, тетя Тая старалась. А мама нам была всем: она и горшки мыла, и сопли утирала, и подмывала, и купала, а главное — читала нам вслух, учила рисовать, лепить, зашивать дырки на локтях и коленках и еще очень любила водить нас на прогулки: в лес, в поле, на водохранилище.

Помню, работали наши женщины весело, дружно. Накормят, умоют, уберут, мы — кто постарше — помогали. А потом всем табором, с малышками на руках, с большим одеялом, переполненным влажными, только что сорванными яблоками и грушами, — в лес.

Какое это было счастье! Как царство доброты! Вот наша любимая поляна. Солнце еще за деревьями, на траве роса. Посреди — куст шиповника, весь в цветку. Расстилаем одеяло, со смехом рассаживаемся на нем, хрумкаем яблоки и груши. А потом бегаем, лазаем по деревьям. Никто нас не остепенял, не надоедал. Только кухарка — крупная женщина, станет посредине поляны, как памятник, и зычным голосом кричит: «Все вижу, бисовы души! Кто штаны порвет, пирожка не получит!» Она приносила нам холодную воду в огромном чайнике, а потом уходила готовить обед.

Мы, набегавшись, собирались к малышам и к маме. Она доставала книгу и тихим, слабым голосом читала. Весь лес замирал тогда. Малыши дремали на одеяле. Мы, кто где, лежали на траве и слушали, слушали. Если мама рассказывала, то обычно для нас же что-нибудь вышивала. Она любила цветные нитки, краски, хорошо рисовала. Вышивала нам кармашки к кроваткам, куда мы складывали ночнушки или пижамки после сна, или картинку, которую потом вешала в нашей «хате» — так мы называли наш детский сад. На ней было все, что окружало нас: цветы, шиповник, детские головы в траве. Мы любили рассматривать это «мамино лето» зимой. Помню, если пойдешь близко-близко — от нее пахло летом и мамой.



Вечером возвращался отец. Он так уставал, что не раздеваясь, медленно, по стене оползал на пол и сидел так, пока мама собирала ужин.

Я подходила к нему, снимала фуражку, расстегивала куртку, пропахшую бензином, а он неподвижно, устало-устало смотрел на керосиновую лампу на столе, отдыхал. Потом быстро, даже как бы легко вскакивал, бросал меня к потолку, и мы шли умываться — я сливала ему, потом он мне.

После ужина, если была зима, мы читали, нас укладывали и мама читала вслух — для отца. А летом отец, быстро поев, переговорив с мамой, уходил пахать, сеять, убирать. Он часто болел, мой дорогой отец. Очень часто. Но все болезни переносил на ногах. Мама ссорилась с ним из-за этого. А он спешил. Все твердил: «Некогда, некогда...» Он был в плену, не любил фильмов о войне. Часто уходил из зала, бросив: «Брехня!» — и надолго замыкался. Он не любил, когда дрались мужики, не любил тех, кто бил своих детей, обычно, с такими он никогда не здоровался, не замечал их. Не любил, когда дети играли в свои жестокие игры с животными.

Он очень любил и любит мою маму и нас, своих детей. Любил, бывало, в детстве играть с нами, а когда подросли, любил, чтобы мы читали ему вслух. Работать он начал с четырнадцати лет, окончил четыре класса. Когда мама вышла за него замуж, едва-едва умел говорить по-русски. Он адыгеец.

Старый дом. Алыча у крыльца,  
Лунный свет на ладонях отца...  
Мне тепло на коленях деда...  
Между ним и отцом беседа...  
Полусон. Полуявь. Я не слушаю их.  
Ветер дунул в лицо, в кукурузе затих,  
Вкусный запах пшеничных лепешек,  
Свет уютный в проеме окошек,  
Тихий, ласковый голос деда, —  
То ли песня, то ли беседа...

Вот он тот мой сильный, нежный мир, которым я жила долгие годы.

Помню, станица на берегу Кубани. Раннее утро. Народ. Базар. Чего только нет: свиньи визжат, кони ржут, арбузы, дыни — их продают прямо с подвод. Адыгейцы в черкесках и папахах, толстые бабы с тонкими палочками, на концах которых сладкие петушки; цыгане, собаки, са-

модельные художники у своих неизменных полотен, «ковров», как говорили тогда; на синей-синей бумаге розово-голые тетки с распущенными волосами — они стоят и сидят у розового озера, по которому плавают розовые лебеди.

Мама смеялась над такими картинами.

Вот маленький худой мужичок на куче тряпья — он меняет его на глиняные свистульки, шары с пищалкой, на матрешек и деревянные ложки. Вокруг него куча ребятишек и я. Отец еле выуживает меня из толпы. Во рту у него глиняная свистулька-соловей — если ее наполнишь водой — она так переливчато звучит-свистит — это моя мечта. Глаза у отца смеются! Я от радости визжу, прыгаю вокруг него. Он весело свистит, а потом поднимает свистульку над головой, я, как обезьянка, карабкаюсь по нему, цепляясь за карманы, к нему на плечи, выхватываю свистульку, и мы торжественно шествуем. Теперь весь базар у моих ног. Я непрерывно свищу, но никто нас не слышит — вокруг крики, блянье и над всем этим из репродуктора выговаривает грустно Бернес: «Киев бомбили, нам объявили...»

И вот он, черный конец базара. Там, где уже почти никого нет, на затоптанном, загаженном скотиной пятачке, мои горько любимые, чудовищно-безобразные люди: безрукие, безногие. Кто как. Кто в чем... Диким, непонятным кажется мне это уродство. Я никогда не привыкну к нему. Они, как и все тут, продают кто что: цепи, точат ножи и ножницы, лихо паяют ведра и кастрюли, лудят самовары. Лихо культями сворачивают цыгарки, угощают отца. Мы всегда приходили сюда. Иногда отец что-нибудь покупает у них. Но чаще молчит. И они молчат. Почти все в черном, почти все грязные, почти у всех в кармане или подоле мутная, зловещая жидкость — самогонка.

Помню — это самое первое мое воспоминание, то, с которого я осознала, что живу, первое мое сильное впечатление, когда один из них попытался поднять меня на руки.

Как я дико тогда кричала! Вцепилась в отца. А он рассердился. Мне и сейчас иногда снится: кто-то в черном ползет ко мне, тяжело перебрасывает большое тело, а потом тянет ко мне черные (в перчатках) культи рук, и глаза... Господи! Виктор Петрович! Да это ж не люди! Люди придумали убивать друг друга... ка-ле-чить!..

Зачем?

— Кто они? — спросила я, когда научилась говорить.

— Война, — ответил мне отец.

Я стала «незаметно» брать для них черствые пряники, приносила им вишни.

Иногда они дрались. Иногда страшно плакали... Но я любила и жалела этих людей. Прощала им грубости. Но привыкнуть к ним не могла... Когда бывала больна — бредила ими. Они — мое самое первое, самое сильное впечатление, с которого я поняла, что умею любить. Какая это боль! Она во мне с тех самых пор, необъяснимая, непоправимая боль.

У нас до сих пор висят «инвалидные цепи», а в сарае — запаянная ими кастрюля.

У нас в доме никогда не говорили о войне. Если иногда брат начинал приставать к отцу, мама подавала ему ведро и говорила: «Иди, напой корову». Он недовольный уходил, а отец долго-долго смотрел ему вслед и было в его взгляде, как у того инвалида... Мне опять становилось страшно. Я не понимала этого взгляда, это был как бы не мой отец, и я, чтобы уверить себя, что ошибаюсь, со всей силой прижималась к нему. Он отставлял меня тихо в сторону и уходил: рубил дрова, кормил кур, подметал в ограде.

Как-то я спросила маму: «Почему нельзя о войне?». Она ответила: «О горе не говорят вслух. Нельзя. Отец болен».

И у нас в семье не говорили о войне. У нас о ней никто не плакал. «Нельзя. Слезы утопят в могилах погибших».

Помню: ночь. Идет дождь, тихо шорохтит по крыше. Я прислушиваюсь. Меня душит тревога. Шепот... Горит лампа на столе. Над столом портрет. На нем молодые, печальные глаза отца, огромные — глаза моего дяди. Я никогда его не видела. Только на портрете. Он погиб.

Спиной ко мне фигура в белой длинной сорочке, пышные волосы до плеч, седые, голос незнакомый, страшные свистящие интонации, шепот, почти крик. Сколько в нем горя, боли, ненависти...

У меня начинается озноб. Я плачу. Фигура поворачивается ко мне. Глаза ненавидящие, не глаза, а две светящиеся бездны, сухой огонь в них. Да это же моя бабушка!

Бабушка быстро подходит ко мне, смотрит на меня, но не видит. Жгучие глаза. Мне больно и жутко от этого взгляда. Я знаю, бабушка не любит слез. Мои глаза мо-

ментально высыхают, как будто их иссушает огонь ее глаз. Она никогда не плачет.

Бабушка гладит мои волосы, тихо хлопает по одеялу, укачивает, взгляд ее постепенно теплеет, влажнеет... Она уже похожа на мою добрую бабушку, я узнаю ее запах. Вдруг она начинает петь. Голос как у птицы, как бы прилетевшей издалека, тихий, дребезжащий... Издалека летит он ко мне, этот голос. Он осторожно жалуется, просит защитить, зовет на помощь...

Я целую руку моей бабушки. Она ложится рядом, укутывает меня, но я не могу больше спать. Я боюсь, что когда усну, к моей бабушке вернется горе. И опять она станет похожей на ту птицу-орлицу, что висит иногда над степью, и она ли или сама бездна, из которой она прилетает, посылает нам горькую песню-жалобу.

Я укачиваю мою бабушку, рассказываю ей мамины сказки. Мы шепчемся, смеемся, засыпаем.

Мама мне рассказала, когда бабушка узнала, что погиб ее младшенький (а мой папа — он — старший, был в плену и считался без вести пропавшим), она схватила моего братика и убежала. Все долго их искали. Наконец, нашли, в лесу, через четыре дня, совершенно седую, сторбленную, полуобезумевшую. А была моя бабушка лучшей в ауле танцовщицей, веселой, озорной, смешливой.

По законам адыгов — мать не должна оплакивать погибшего сына. Это делали плакальщицы. Считалось, что могила заполнится слезами и убитый утонет в них. А мужчина, по нашим законам, должен или умереть своей смертью или погибнуть в бою. Погибнуть в бою — это доблесть.

Таким был мой сильный, нежный мир.

Потом школа. Летом я работала в поле, как все сельские дети. Замужество, дочь. Пришлось покинуть родные места. Муж — строитель. Жила там, где он считал нужным. Теперь вот в Норильске.

Но откуда эта страшная пустота, хотя и знаю, отчего она. Я почти догадываюсь, отчего и не хочу верить в свою страшную догадку.

Давно нет бабушки, деда. Нет старого дома под древней алычой. На том месте хорошо ухоженный огород. Нет Васи и его свистулек. Нет той «войны» — безрукой, безногой, страшной в своей непонятности.

Остались «покупатели» — сытые, спортивные, любве-

обильные, завуалировавшие свою бездарность чужими мыслями.

И только мои родители да их односельчане живут где-то, кто в бараке, кто в крошечном домике, честно, бедно и своим трудом. Мой отец, совсем больной, сидит в углу дивана и устало, неподвижно смотрит в окно. Война так его и не отпустила. Мама, устроившись напротив, вышивает и вышивает, но никто не нюхает ее вышивок, никто не слушает, как она читает. Пишет письма нам, своим взрослым, непутевым детям и из последних крох помогает нам.

Как уберечь мне их? Я отдала бы им мою жизнь, но они не возьмут. Что еще я могу для них? Только письма. Разве они не работали всю свою жизнь? Разве не отдали себя до последней капли? Почему они должны уйти? Уйдут они — уйду и я.

Они — это я...

Всего Вам доброго, Виктор Петрович!

*Билюкина Елена,  
Норильск*

### [Осень 1986 года]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Прочел Ваш новый сборник («Современник», 1986 г.) — «Жизнь прожить». Многие вещи читал в периодике, а теперь заново, даже по два раза. А «Тельняшку» впервые...

Откуда в Вас столько силы, доброты, мужества. Столько русского!

Спасибо Вам за Ваши произведения! Они мне помогают в трудных житейских ситуациях. Возьмешь «Пеструху» — и все забывается.

«Царь-рыба» по нашим временам самая нужная книга. Самая лучшая глава — про зимовку Акима с Элей. Про «Жизнь прожить» ничего не говорю — упиваюсь...

«Медвежья кровь» — у нас на факультете вел семинар В. Песков. Талантливый писатель. Много интересно рассказывал из своих походов. После Ваших рассуждений о визитах к Лыковым смотришь, слушаешь его рассказы — иди назад, в скит... Почему вы не выступили по этому поводу с открытым письмом? Будучи в редакции

журнала «Октябрь» я послушал разговоры о Вашем «Печальном детективе» — его урезала примерно половина редакции — идиотизм какой-то...

«Тихая птица» — это и 19-й век, и после! Читаю с великим наслаждением. И рассказ «Тельняшка с Тихого океана!» Этот рассказ, думаю, по прочтении примут все читатели.

Виктор Петрович, природа подарила Вам дар. Вы его — людям; люди опять природе. Думаю, неужели все так обездушено, что позволительно так к ней относиться. Из нашего села, стоявшего на берегу чистой, как слеза, речки Шады, в ней я ловил рыбу на удочку. Теперь в ней кроме пескарей не стало ничего, и «угла нашего» нет и в помине... Побольше бы таких книг, как эта.

Я не завидую Вашей жизни (о нападках на Вас из-за «Ловли пескарей» — не обращайтесь на это внимания). Я сказал, что не завидую Вам, но хочу прожить свою также — на пределе сил, отпущенных природой, — честно, достойно, как Вы.

Отвечать мне необязательно — я понимаю, это очень трудно: создание произведений, дети, нездоровье, дела бытового порядка. Интересно мне было бы узнать, как вы работали в газете и в какой? Я бы в библиотеке Ленина все бы разыскал и узнал. Сообщите, если нетрудно, в двух строках. Я это к тому, что Вы работали в газете, на радио и при всем при этом это никак, даже вопреки, — не проявилось в Вашем творчестве. Удивительный Вы человек!

Всего Вам доброго!

*Парфенов*

г. Ковров. «Знамя труда»

[1986 год]

...Я наплакалась и насмеялась, читая Ваш сборник «Жизнь прожить». Слова благодарности тут бессильны. Любовь животных, юмор в их изображении — одна из самых привлекательных черт Вашего таланта, для меня по крайней мере. И гнев, и печаль, и раздумья — родные русскому сердцу. Поразили меня Ваши мысли о войне и ее описания. Цитировать Вас не буду, лишь напомню — где Вы поясняете, почему не любите писать о войне... Всю жизнь я читала, вернее, перечитывала только Толстого, Достоевского, Лескова. Жизненное кредо для меня «Крей-

церово соната». Вдруг прочитала сначала В. Белова, а затем Вас. Как прекрасно, что не оскудевает русская мысль, русская совесть! Как радостно следовать завету Толстого: «Искать в других то, что нас объединяет». Мотив, который руководит мною в написании этого письма, станет ясным, если я скажу, что, перечитав «Рудина», рыдала от непоправимости горя: почему мой возлюбленный Ф. Достоевский так жестоко обидел моего возлюбленного И. Тургенева в «Бесах», ведь он же сам от этого был несчастен.

*Т. Яковлева,*  
Москва

[1986 год]

Виктор Петрович! Витя, дорогой! Здравствуй!

Прочитал в «Советской культуре» три твоих удивительных... не знаю — рассказа! Это что-то необыкновенное! Потом еще раз прочитал, вслух, Лене. И оба мы были ошеломлены твоим всемогуществом. Спасибо тебе!

Я все вспоминаю и вспоминаю, как ходил с ночи в кассы Большого, как ходил на спектакли, слушал Лемешева то в роли Левко, то Герцога. Помню, как доставал билеты на премьеру «Бориса Годунова», когда Бориса пел Петров, юродивого — Козловский, а Самозванца — Нелеш...

На объединенном Съезде, о котором ты пишешь в связи с Нестеренко, я осмелился, подошел и поздоровался с Козловским, сказал ему, что слушал его в Польше, а он рассмеялся весь от удовольствия, потому что я ему много хороших слов наговорил... Он, конечно, не знал, кто я такой, а мне было радостно, что вот, много лет спустя, подал руку Козловскому!..

И как же я тебя хорошо понимаю! Потому, что и Образцова, и Нестеренко и, кажется, Виктория Иванова (мы с Леной вспоминали и вспоминали ее голос!) — все они и мои любимые певцы тоже! Я тоже, как и ты, помню — «О-о-о!» — за кулисами японского театра.

И вот что странно! Совсем недавно думая о том, что надо бы написать, как я люблю оперу, как знал в то время всех певцов и ходил по несколько раз, слушая то одного, то другого, то в одной роли, то в другой, сравнивая их и, вообще, свободно разбирался в этом искусстве... И тоже, как и ты, хотел признаться в любви к этому всему, что

сейчас чуть ли не презираемо... даже среди нашей писательской публики... Обычно ссылаются на Толстого, что, дескать, он не любил оперу. А ведь Толстой ходил в оперу, слушал, а потом дома на фортепиано играл некоторые полюбившиеся ему арии или мелодии... знал он оперу и только потом, уже в пору своих исканий истины, усиленных этих поисков, отверг оперу потому, что она недоступна была народу и непонятна ему... это ведь совсем другое дело! А у нас, ни разу не побывав ни на одном спектакле, обобщают. Вот ведь что плохо!

А ты, Витя, просто меня растрогал до слез. Я тебя полюбил еще больше и сам окреп этой любовью к тебе, потому что вроде бы уж сам сомневаться стал в своей давней любви к опере. Говорят: «Условное искусство». Боже ты мой! А что ж тогда книга? Перепечатанные листы бумаги с муравьиными знаками букв, из которых составлены слова, фразы, главы и — вся жизнь?! Разве это не высшая условность? Конечно, согласен с тобой: опера без великих певцов — жалкое зрелище. Но в том-то и заслуга твоя, что ты всегда зовешь к вершинам, восторгаясь сильнейшими голосами...

Ведь знаешь, как Шаляпину «показали» Рейзена в свое время. Федор Иванович послушал, вздохнул и сказал из своего далека: «Когда нет Шаляпина, то и Рейзен, конечно, великий певец».

На этом и держалась наша опера.

А вот Образцова! А вот Нестеренко! А вот ленинградский тенор, забыл его фамилию... Там еще бас есть величайший, он партию Гремина в «Онегине» пел чудесно!

Есть и теперь великие голоса, и спасибо тебе, — ты все это объединил и вознес, воздав славу русскому отечественному искусству.

Лена тебя целует, а ты от нас поцелуй Марию! До свидания!

*Твой Георгий (Семенов)*

Наверное, я и это письмо к тебе не отправлю. У меня ведь знаешь как? Напишу, прочитаю да и отложу в сторону, если не порву на кусочки. Все поумней хочется написать тебе. У меня, наверное, штук пять наберется писем к тебе неотправленных, пылятся где-то в бумагах...

Пусть не удивляют тебя мои запоздалые восторги, дорогой Витя.



Дорогой Виктор Петрович!

Я бесконечно благодарна Вам за подаренную книгу, за теплые, добрые слова моему сыну, мне.

Бог знает почему, но редко когда представляешь себе автора, читая прекрасную книгу. О Вас подумалось сразу: добрый и светлый человек и совсем-совсем свой, близкий. И поверилось Вам сразу до самой коротенькой строчки, до единого слова. Какой, должно быть, каторжно-тяжелый Ваш труд и какой благородный. Даже давно мною любимых Чехова и Паустовского иногда перечитываю без особого волнения. У меня работа такая: напечатаюсь за весь день деловых бумаг, иногда сущей абракадабры, навроде «при наличии отсутствия», но в которой не можешь ни единого слова исправить, потому что ты — просто машинистка, а это написал начальник! И бежишь домой с желанием почитать что-то любимое, чтобы освободить голову от словесной каши.

К Вашим книгам не могу привыкнуть. Вот уже сколько раз перечитала Вашу «Травинку» из «Затесей» и каждый раз думаю: это же не литература! Это удар из-за угла! И потому думаю: ну как же так можно с читателем? И невозможно бросить читать, а, дочитывая, испытываешь физическое облегчение.

Кроме Вас и немногих уже писателей-фронтовиков, никто пока не написал так о войне. Не приведи Боже иметь такой страшный опыт в жизни, носить на усталом сердце такой груз!.. Я люблю и «Ясным ли днем», и «Паруню», и «Песнопевицу», и «Бесплатный спектакль». В «Царь-рыбе» особенно люблю «Уху на Боганиде». А вот фильм «Таежная повесть» не понравился. Зачем нужно было от большого, цельного повествования отрывать кусок? Что можно знать об Акиме без «Ухи на Боганиде» и «Туруханской лилии» да и «Поминок»? Ах, как нам, простым смертным читателям, высказать словами те, почти физические муки, точные и благодарные слова Вам за Ваши книги. А ведь меня нелегко удивить чтивом, а Ваши книги — как родник, и милые люди, которые появились вот так, сразу, в жизни.

Виктор Петрович! Я приглашаю Вас хоть с режиссером, хоть со своей съемочной группой при возможности побывать у меня. Это, наверное, единственное, о чем я Вас прошу — приехать. За ваши книги в переводе на кино —

страшно. Наверное, только В. Шукшин смог бы воплотить содержание Ваших книг на киноплёнке.

Еще раз благодарю Вас и желаю здоровья да успешных дел!

*Потылицына Галина,  
Черногорск.*

[1986 год]

Дорогой Вадим! (Кузнецов)

Я написал предисловие к сборнику своего земляка, Миши Кузькина, который, конфузясь своей сермяжной фамилии, подписывается по фамилии бабки — Воронежский — хороший поэт, а куда его пристроить? Думал в «Современник», но там такой бардак, что могут и затерять сборник безвестного, да еще непробойного мужика.

Я обращаюсь к тебе с большой просьбой: посмотри сборник, а? Знаю, отутовел ты от стихов, устал, но что делать? Я вот и в стороне живу, и на должности не состою, а читаю, в основном, рукописи. Кто-то ж должен помогать русским людям, а Миша по матери еще и хакас, по бабке — поляк, по отцу — русак! — без поллитры не разберешься!

Вадим, если будет «щель» и сделается возможным в ближние годы издать сборник Миши, попроси от моего имени Колю Старшинова быть редактором. В чем-то и где-то кажутся мне близкими Коля и Миша. Живет Миша в Калуге, работает в отделении приокского издательства редактором, с ним всегда можно связаться. Он, наверное, еще понаписал стихов — этот сборник пролежал у меня всю зиму.

Ну, а если «невпротык» в «Молодой гвардии», верни мне сборник, пойду с ним куда-нибудь. Таких поэтов, как Миша, надо печатать, издавать, тогда меньше будет влияния горластых и хватких «трибунов».

*Обнимаю тебя — Виктор Петрович*

[1986 год]

Дорогая Раиса Васильевна!

Я очень люблю поэзию Юрия Кузнецова (с самим поэтом я даже и не знаком) и рад, что именно он, самый

серьезный, глубоко, порой по-лермонтовски дерзко мыслящий, подвергается гонению со стороны посредственностей, а их у нас — море, — написал об умершем брате своем. Написал он об Алеше взыскующе-хорошо, не расставляя оценок школьного свойства. Да и зачем они, эти «хорошо — плохо» большому поэту от большого поэта? Они должны говорить о своей работе на равных, но живой не должен терять чувства благоговения и печали перед ушедшим собратом по совместному труду.

Я видел, как плотники в Заполярье хоронили своего любимого бригадира — они молились и говорили несколько необходимых, от сердца идущих слов. Труженики говорили о труженике.

Так поступил и Кузнецов.

Кроме меня читал статью Валентин Курбатов — критик, умный человек, и нашел, что лучше Кузнецова никто бы и не написал о Прасолове, да и пишет он профессионально, по праву своей поэтической работы, многим, юридико-идейным патриотам недоступной.

Дай Бог хорошего пути новой книге Алеша, с новым, ни на чье не похожим предисловием, разумеется, сделанным на основе этой рецензии.

*Кланяюсь — Виктор Петрович*

[1986 год]

Привет из казахстанского города Кустаная!

Здравствуйте, Виктор Петрович! Пишет Вам Мордовская Екатерина Степановна, рабочая женщина, 50 лет. Только что прочла «Правдинские пятницы» — встреча с Вами меня всегда интересовала и волновала, хотя воочию свидеться с вами мне, наверное, никогда не доведется, а очень бы хотелось, но в жизни не всегда бывает так, как того хочется. Прочтя как-то интервью за Вашу прожитую жизнь, за творение писательским пером, даже всплакнула. Низкий Вам поклон и огромное человеческое, женское спасибо, за Вашу гражданскую позицию, за то, что Вы обогатили меня внутренним мышлением, за то, что я очень-очень хотела бы быть похожей на Вас внутренним мышлением, в мыслях о Вас, за то, что Вы есть, знаю — пока Вы живы, будут внесены коррективы в наш быт, в социальную справедливость, скольких еще научите честности, трудолюбию, жизнелюбию и т. д. В моем доме нас

четверо: муж, я, сын и дочь. Взахлеб читаем, если удастся найти Ваши произведения, и можем годами анализировать, спорить и говорить Вашим языком, хочу сказать — возможности прочесть Вашу литературу для тех, для кого Вы пишете, — ограничены.

Помню, на работе наши шофера и электрики рвали из рук друг у друга какой-то журнал (без обложки), читали, умоляли дать им прочесть и я в том числе. Я никогда не жила в Сибири, но прочитав самую малость, я прикоснулась к народу, к природе, я полюбила Ваш край, Ваших людей и так захотела поделиться с Вами нашим житьем-бытьем. Семья у нас рабочая: сын — строитель, муж — токарь, дочь — электрик, как мама, — считается городской. Жить нам на данном этапе нелегко, и я волнуюсь за будущее — куда ни кинься — полжизни на очереди, и хоть какой оптимизм, но им сыт не будешь, оглушительные цены на кооперативы, нашей средней зарплаты не хватает хоть на маломальские запросы, на себя я давно махнула рукой, мне пойдет что подешевле, но я боюсь, что потеряем ценности, такие как любовь, доброта, сострадание, верность, уважение друг к другу. У меня семь братьев и сестер, и я наблюдаю: кто чего ценит, что такое — материальные ценности у своей родни и мне горько сознавать, чего мы достигли за эти годы после войны? Мое детство прошло в голоде и холоде, в нищете и работе — это страшной любой войны. Да, я боюсь голода, но и будущее мне не видится обеспеченным. Казалось бы: трудись честно и ты себя обеспечишь, имея 200 рублей зарплаты, ты будешь еле-еле сводить концы с концами. Когда кончится эта экономия? И все-таки рабочему меньше всего надо перестраиваться — бери больше, кидай дальше — этот девиз во все времена был для нас.

Вот хотела сварить на зиму варенья, но... 1 кг сахара на человека и больше не купишь. Стояла за мылом час в очереди и купила за 6 месяцев один раз, за порошком тысячная очередь, а у меня болит нога.

Да вы, Виктор Петрович, в курсе событий как депутат и знаю, болит у Вас душа за нас, не может не болеть у такого человека, как Вы, потому именно Вам и пишу. Сейчас думаю, надо начинать с себя, помочь перестройке, а как? Чем? Честно работаю, общественные нагрузки исполняю, прихожу домой — устаю, как все. Дети загружены делами и заботами. Имею собственное мнение, никогда не голосую и потому не очень пользуюсь авторитетом у руководства. Но... душа болит за будущее и очень не

хочу, чтобы дети мои оказались на моем месте. Единственная радость — это общение с книгой: пока читаешь, забываешь про все тяготы. Иногда верю, чаще — нет, ни радио, ни телевидению. Люблю хорошие худ. фильмы, но сейчас их мало. По натуре оптимистка, хочу украсить жизнь своим бытием, но это все тяжелее и тяжелее, так как уходит вера из-под ног моих.

Виктор Петрович! Вот излила я Вам свою душу и еще добавила Вам тяжести, но Вы, может, поймете меня и может, поддержите законы о нас — женщинах, «ломовых лошадях». Знаю: жизнь прекрасна да и одна она, и я буду за нее драться, заступаться, воспитывать молодежь по праву старшего поколения.

*Мордовская Е. С.,  
Кустанай*

[1986 год]

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Знаю, отниму у Вас время, но... Я восхищаюсь Вашими «затесями», полнотой Вашей «внутренней свободы», как говорят критики, Вашей любовью к языку, к речи, музыке, красоте, природе, людям и Вашей веселой злостью. Больше всего люблю «Вимбу» и, конечно же, все остальное, что смогла прочесть, как о счастье — счастливом дне юности, вспоминаю о «Большом вальсе», увиденном и когда-то ошеломившем меня, теперь и Ваш рассказ! Как же не откликнуться, не отозваться на него всем сердцем!

Будьте здоровы и счастливы!

*С глубоким к Вам уважением — С. Волошина*

*П. С.* — Но я никогда не ловила рыбу, не была в тайге, не видела, как цветет лен, — льняное поле в цвету! На Ваше слово душа отзывается так, что дело вовсе не в том. А в том, что мы — современники, и одни и те же события нас волновали, и страшные, и «Большой вальс».

3.12.86 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Можно поплакаться в жилетку (их, жилеток, теперь, правда, уж почти и не водится)? А все оттого поплакать

хочется, что добре помню строчки из Вашего письма о *перестройке*.

Так вот, сижу я уже почти два месяца в своем родном Щорсе (такой небольшой городок, бывший Сновск, приткнувшийся одним боком к чистенькой и рыбной в прошлом речке Сновь), где знаю всех как облупленных, сижу и зримо вижу плоды преобразований, отчего прямо-таки выть хочется. Ну, скажем, последние события.

Два года кидали тут по селам клич: «Заводите, люди добрые, да растите на своих подворьях бычков и свиней! Сдавайте в конторы Заготскот! Этим вы подможете двигать вперед продовольственную программу!» Дядьки и тетки подхватили призыв, давай выращивать. Выгода очевидная: государство получает мясо, которого ох как не хватает в стране (в Чернигове годами одни головы да копыта в магазинах, не говоря уже о Щорсе), дядьки получают гроши + кэзэ комбикорма на 1 кэзэ живого веса живности, дабы, значит, выращивать «филей». И вдруг 2 недели назад приказ из области: Заготконторам мясо у частных не принимать, пуцай они сдают своих бычков-свиней в колхозы! А вызвано сие тем, что при сдаче Заготконторам это мясо не засчитывается в выполнение плана по мясу районом (областью, республикой), и вот если бычков примет колхоз, а потом сам сдаст в Заготскот, то это уже будет + колхозам, + району, + области и т. д., вроде это они так здорово и быстро подняли животноводство. Но дело в том, что колхозы наотрез не желают принимать тех бычков и тех свиней. Они, колхозы, уже свои планы «сделали», оставили у себя столько поголовья, сколько могут прокормить (да и то не смогут) зимой. Зачем же любому председателю такая морока: принимай бычков, корми их, пока сдашь, а сдать тоже не так просто: у каждого колхоза свои сроки сдачи, да везти их надо на машинах, а бензина нет (лимиты выбрали подчистую). Да и зачем председателям кормить «чужих», если у них с весны голова пухнет, как наготовить кормов для «своих» (тут уже треть лесов извели и берега Снови полностью оголили «для зеленой массы»). Словом, Заготскот не берет, и колхозы тоже не берут. И замечались обманутые призывом дядьки: едут в райисполком, пишут жалобы — и все попусту. На сегодняшний день только в нашем районе ровно тысяча бычков откормленных и более тысячи свиней оказались никому не нужными.

Я случайно узнала обо всем этом и кинулась поскорей

«спасать положение». Звоню в областную газету, зам. редактора: «Так и так, говорю ему, что творится в районе, знаете ли вы о том?» — «Знаем, — отвечает. — Такая петрушка по всей республике идет. Это приказ Агропрома». А я ему: «Так вы же пишете об этом безобразии! Надо же что-то делать!» — «А куда нам писать? — отвечает он. — Что это даст?» Ладно, думаю, раз по всей Украине такая штука, надо до Москвы добираться: может, какая газета быстро скажет свое слово в защиту дядьков с бычками (дядькам ведь тоже — чем кормить сейчас, коль уговор был держать-растить до осени?) А дело было в воскресенье — куда звонить, кому звонить, повсюду выходной. Набрала Майю Ганину, памятуя, что она в «ЛГ» входя, застала ее дома. Она меня послушала и речет: «Да, такое положение по всей стране! Но я не буду связываться. Я все нервы истрекала, сердце подорвала, и все бесполезно. Неужели вы столь еще наивны, что надеетесь...» и т. д. Я говорю: «А неужели же какие-то «враги народа» засели в верхах и все во зло делают?». — «А я в этом ничуть не сомневаюсь»... и т. д., — отвечает она и дает мне рабочий телефон Капитолины Кожевниковой: она, мол ведает в «ЛГ» такими вопросами, но и она «уже все нервы истрекала». Два дня после того заказывала я тот телефон (где Щорс, а где Москва!), отвечает: «Кожевниковой нет», «Она вышла». Не зная, что делать дальше, села я да написала здоровенное письмо первому секретарю обкома, злое письмо, — и про бычков, и про всякие художества местного начальства. Он, конечно, начихнет на меня, и на то письмо великим чихом. Сегодня, например, узнаю, что, когда я ему письмо строчила, он в тот день охотился со свитой в заповедных угодьях близ Щорса, где и дикие кабаны, и сохатые, и даже зубры бродят, и где также некий барский домишко есть, с коврами и холодильниками, а при нем и сауна имеется, так что ему до той тетки, которая через слезы причитала у меня в тутошной хате: «Ой, лышенько, що ж мэне робыты з тымы двумя бычками, холера б их взяла?!»

Ну, а как Вам нравятся воспоминания Трифонова о Твардовском в № 44 «Огонька»? До сей поры мы разумом и сердцем понимали, что Твардовский поэт милостью Божьей, поэт великий, не о птичках-синичках, а писавший вехи страны и народа (коллективизация — «Страна Муравия», война — «Теркин», и дальше — боль сплошная человечья. А сколько еще неопубликованного дожидается

своего часа!). Его на театрах ставят, с эстрады читают, дети в школах изучают. И вдруг — эта публикация! Оказывается, он пьяница был запойный, бродил по дачному поселку и бутылки сшибал, жена его только о том печалилась, чтоб «не сорвался», не запил по новой. А он все же «срывался». Он на 3 недели в запой ушел, с лестницы домашней грохнулся, шею сломал, в больницу попал. Да и помер-то, в общем, от того же «зеленого змия». Вот что мы узнали о Поэте. Допустим, так все и было. Но о том знали немногие, близкие люди. Выходит, потребовалось, чтоб узнал еще и весь мир, так, что ли? Чтоб обогатить его память? Это уже не просто «отсутствие такта», это подлость величайшая. У него дети остались, внуки — им-то каково читать сии «откровения» про отца и деда? А он, видите ли, Трифонов (да ведь Трифонов и Твардовский абсолютно несовместимые величины!) такой хороший, порядочный был: и непьющий, и скромник, и никогда не писал «против чего-то», а только тихо ходил-бродил, да на ус мотал. А если он пишет, что Твардовского травили газеты и тот же «Огонек» (Сафроновский), то нынче тот же «Огонек» (руководимый уже Коротичем, — тоже мне поэтик!), с успехом продолжил это грязное дело. Неужели не хватило в мозгах извилин, чтоб опубликовать такую «правду»? В таком разе, может, вскоре, появится подобная «правда» и о Шолохове? «Воспоминателей» и «очевидцев» ого сколько найдется! Одна Элла Быстрицкая (мы с нею вместе учились в Киевском театральном), после Аксиньи, такое мне рассказывала, что ого-го! Даже будто она его фашистом назвала и дверью хлопнула, покидая его гостиничный номер в Москве. Вроде она узнала, что М. А. заболел, пошла его проведать, а он в стельку пьян. Увидел ее и говорит: «А, это ты, жидовка! Опять Аксинью жидовка сыграла, и от меня опять скрывали!» (Вот тут-то она, вроде, ему и «выдала»). И больше с ним не желала встречаться. Это она мне так при жизни М. А. поведала. А после его смерти вылезла в «Огоньке» с «воспоминанием»: о том, как он ее любил, какой он был замечательный, как он говорил ей, что специально для нее роль напишет. Я после спросила ее: «Как же так, Элка, где же ты врешь?», а она мне ответила: «Как ты не понимаешь ситуации?»

Был на Украине прекрасный поэт-лирик Володимир Сосюра, очень крепко пил. Был в Белоруссии Янка Купала, тоже хорошо принимал и однажды, принявши чрезмерно, свалился в гостиничный лестничный пролет, на-



смерть разбился. Но ни мои хохлы, ни белорусы пока еще, слава Богу, не дошли до публикации «воспоминаний» о сих «деталях из жизни поэтов». Я во гневе (как тому секретарю) настрочила Коротичу презлое письмо. Он, естественно, тоже чихнет на него (как и тот секретарь), зато и я высказалась. Еще бы вот написать куда-то, чтоб перекрыли дорогу Бондарчуку снимать 20 серий (подумать только — 20!) «Тихого Дона». Для чего это? Для его семейки, это ясно, это уже киноклан. А еще, видимо, для того, чтоб напрочь отбить охоту у поколения, особенно молодого, взять в руки Книгу. Ну, да ну их всех к черту! Поедем в Минск, мужу надо глаза оперировать, совсем слепнет. Всего Вам доброго!

*Лидия Вакуловичая,*  
г. Щорс

Очень рекомендую читателям обратить внимание на дату написания письма, а то сейчас уже волною накатится гвалт — все было у нас хорошо, да вот демократы пришли и испортили дело, разорили страну.

19.12.86 г.

Уважаемый Кирилл! (Молчанов)

Письмо Ваше получил. Ответно поздравляю Вас с Новым годом и желаю хорошей музыки миру и дому Вашему, гармонии и согласия во всем.

Я не очень представляю себе оперу по «Печальному детективу», но если Вам так уж хочется, попробуйте, напишите, авось что и получится. Одну оперу — «Пастух и пастушка», написанную композитором Нестеровым и поставленную в Горьком, я слушал. Мне понравилась. Дай Бог и Вам удачи! Кстати, киношникам и театрам я пока еще не разрешаю терзать «Детектив», лишь «Моссовету», в порядке исключения. Но там драматическое действо, а опера — совсем иное, хотя роман-то весьма и весьма статичен, малоподвижен, но попробуйте, авось да небось...

Кланяюсь — *Виктор Астафьев*

[21.12.86]

Дорогая Елена!  
(Елене Ягуновой в Норильск)

Я нарочно подобрал Вам открытку с цветами, чтоб напомнить среди зимы о них и о тепле, которое вечно ждётся, а с возрастом ждётся нетерпеливей и как-то болезненно-судорожно: «Скорее бы весна! Скорее!..» И рядом вопрос: «А сколько всего осталось? Надо ли торопить время?»

Простите, Бога ради, что долго Вам не писал. Плохо было дома. Сперва недомогал я, а потом свалилась с инфарктом и чуть не умерла жена. Сейчас уже дома, расхаживается, кастрюлями на кухне звенит, а это привычная и такая в жизни нужная «музыка». Мы ведь женились в 45-м году. Для Вас это выглядит, небось, как конец первого тысячелетия...

И до стихов Ваших добрался.

Ну что Вам сказать? Я переворачиваю горы рукописей, а мне все и отовсюду говорят: «Брось. Не трать свое время...» — да все думаю: «Но должна же, должна же быть награда за любой труд!..» И вот такой наградой явились Ваши стихи. Хорошие, вполне уже зрелые и, посмотрев в письме, как мало Вы потратили времени на написание (или на запись — у настоящего поэта стихи постоянно живут и слагаются в душе) стихов и вообще, как недолгое время Вы их пишете, что по раздумии тоже не удивился — Вы родились поэтом, и вот дар Ваш затревожил Вас, начал мучить и гнать из себя это мучение и восторг, и страдание и радость, на люди, — молча поэт не может существовать, он собеседник людей, он думает вместе с ними и не может страдать в одиночку. Очищаясь страданием, углубленной его чувствуя, он помогает и нам, его слушателям, очищаться, высоко говоря, вместе с поэтом плакать и возноситься в горние выси, где звезды, где небо, где что-то есть такое, до чего чувством только и возможно достать, притронуться к какой-то тайне, мучительной и манящей.

Даром своим надо уметь распоряжаться. И на первых порах я Вам помогу, а там уж как Бог велит. Из этих стихов, что у меня, я сделаю несколько подборок — для альманаха «Енисей» (плохо в альманахе с поэзией) и для тонких пока столичных журналов, а может, и для толстого одного. Я еще подумаю. Наверное, Вы написали еще что-

то? Присылайте. И еще у меня к Вам предложение, может, и неожиданное. Где-то, в чем-то я поймал ухом, что ли, «струну», настрой которой близок любимой мною поэтессе Белле Ахмадулиной. И я подумал: не послать ли ей хорошо отобранные стихи? Если доверите, я сам подберу стихи и пошлю ей с коротким письмом. Она человек глубоко, по-женски чувствующий мир и его подспудные страсти и трагедии, и пишет поэтому сложно для тугого на ухо массового читателя, она как бы избранник избранных, но так всегда было с настоящими поэтами, больно и по-настоящему чувствующих и через сердце свое пропускающих токи времени. Лермонтов тоже оказался слишком «сложен» для своего времени, а вот Апухтин (я его тоже читаю с наслаждением) в самый раз.

И Вас, если Вы будете работать в поэзии (не бойтесь этого грубого слова, это хорошее слово!), и жить поэзией, а без нее Вы уже не сможете, ждет очень сложная и нелегкая жизнь, да я из стихов «увидел», что таковая жизнь уже мучает Вас — окружение непонятости, одиночества, пронзающего чувства боли и проникновение в женскую душу — ох, какой это груз! Какая Божья награда и наказание одновременно. Наказание талантом — это прежде всего взятие всякой боли на себя, десятикратное, а может, и миллионнократное (кто сочтет, взвесит?) страдание за всех и за вся. Талант возвышает, страдание очищает, но мир не терпит «выскочек», люди стягивают витию с небес за крылья и норовят натянуть на пророка такую же, как у них, телогрейку в рабочем мазуте.

Надо терпеть и, мучаясь этим терпением, творить себя, иногда и притворяясь таким же дураком, как «ропщущая чернь». От мира можно уйти «в себя», вознестись до небес в мечтах, но оторваться от жизни и от людей еще никому не удалось — они его рожают, они и уничтожают. Иногда медленно мучая, иногда выстрелом в упор или изоляцией от общества, чтоб «не смущал невинный взор».

Ладно-ть, будя теорий.

Нужно, чтоб Вы прислали стихи в двух-трех экземплярах. Может, удастся сформировать книжку, а они, книжки, издаются медленно, уже сейчас утверждаются перспективные планы издательств 1988 года. В трех же экземплярах короткую биографическую справку. И, пожалуйста, пишите! Как можно чаще «записывайте» стихи на бумагу. И здоровы будьте, насколько это возможно в Норильске, да еще зимнем. Почерк мой ужасный, поэтому

Марья Семеновна напечатает письмо на машинке. Я читал ей часть Ваших стихов, и они ей понравились.

*Кланяюсь — Виктор Петрович,  
Красноярск*

26.12.86 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Я — грешница — давно должна была отозваться на те подарки, которыми одарили Вы нас, меня в том числе. Но год был дурной. Бог с ним, пусть уходит: много отвлеченный от сути — то болезни, то дела, которые из-за болезни доходят до запущенности.

Словом, не было (нет, не времени), — минуты того душевного состояния, которое только и дает возможность быть правдивым и написать искренне.

Не буду говорить о том, что вся наша семья (это добрый десяток читателей) любит Ваши произведения. В этом смысле — мы в равном положении с другими Вашими читателями, Вас любящими. Но скажу, и Вы мне поверьте, многие Ваши страницы восхитили бы Александра Трифоновича. Это большая утрата для него, что не успел он прочитать «Царь-Рыбу», «Последний поклон». Страницы, посвященные народной жизни, быту — бабушка, промыслы и дети, детство на этом противоречивом фоне — это страницы новые, до Вас неизвестные литературе, и они останутся жить потому, что написаны «кровью».

Глубоко убеждена, что Твардовский любил бы Ваши книги.

Вот это я и хотела бы Вам сообщить.

С Новым годом Вас и Ваших близких!

Всего Вам доброго!

*М. И. Твардовская*

20.1.87 г.

Дорогой Виктор!

Вчера по телевидению в передаче «Лестница» прозвучало твое письмо о вандализме подростков, танцующих на памятных могильных плитах. До этого прозвучал в «Студ. меридиане» твой отклик на статью в «Красноярс-

ком комсомольце». И то, и другое об одном и том же — боль о теряемой молодежи.

Наверное, у многих такая тревога. Болею об этом и я, да пожалуй все мы, — и Светлана моя, и Аленка. Естественно, что хочется докопаться до причины. Но выделить что-либо самое главное все-таки не удается.

Недавно мне стало известно, что группа ленинградских молодых ученых (физиологов, невропатологов, социологов) сделала любопытное открытие. Они обследовали большую группу молодежи, увлекающуюся рок-танцами. Было обнаружено, что учащенные ритмы, громовые шумы, мигающие, слепящие световые сопровождения способствуют самосинтезу в организме человека веществ одного порядка с наркотиками. Иными словами, можно даже не «подкалываться» на танцах, а просто участвовать в этой громозвучной вакханалии и баддеть от наркотиков, поставляемых своим же организмом... Когда я об этом узнал, то достал адрес и сразу же написал ленинградским ребятам письмо с просьбой поделиться знаниями по этой проблеме. Написал недавно. Жду ответа. Может быть, эти данные помогут мне противостоять главному редактору и его заму в вопросе о рок-танцах. Главный считает, что «рок» — это всего лишь «детская» болезнь, как корь. Перебесятся — сами остынут. Зам. более агрессивен. Он считает, что мы должны популяризировать «рок», если хотим быть понятыми молодежью. Ты это называешь «идти на поводу у незрелых юнцов», и я с этим согласен. Но, как видишь, в наше время все чаще и чаще приходится наталкиваться на полярности в суждениях.

Газета «Московские новости» (№ 1, 1987) поместила интервью с композитором Александром Журбиным «Рок-музыка: медленно всплывающий айсберг» (Журбин известен опереттой «Пенелопа», гротесковым балетом «Женитьба», лирико-комической оперой «Луна и детектив», первой в нашей стране рок-оперой «Орфей и Эвридика»). Так вот Журбин в своем интервью утверждает: «Время требует экспериментов в искусстве, также, как и в других областях жизни»... «Стирание границ делает музыку более доступной широкому слушателю. Это, пожалуй, основная тенденция в современной музыке», т. е. стирание границ между классической музыкой и «роком». «В мировой рок-музыке много общих черт, поскольку у молодежи мира вообще много общего».

«Каким образом музыка может помочь в перестройке человеческой психологии?» — спрашивает интервьюер.

«Она должна, — отвечает Журбин, — принять участие в поисках новых форм общения и информации...»

Я не комментирую высказывания Журбина. Внимательно взглядевшись, ты найдешь в них и подспудное отрицание тысячелетней классики, и воинствующий дух экспериментаторства, так памятный нам по 20-м годам и по РАГПпу. Сам Журбин сообщает читателям, что закончил работу над произведением поэта Асара Эпшеля по мотивам рассказов Исаака Бабея. Это музыкальное шоу скоро будет поставлено на... Бродвее.

О «роке» — «исполнительском» — операх, балетах, шоу, комиксах и т. д. — судить авторитетно я не берусь, образование не позволяет. А мои женщины говорят, что такие крупные рок-произведения иногда действительно звучат и заслуживают внимания. Может быть... Однако сидящие в зале впитывают все те же мелодии, которые завтра же в усеченном виде понесут на свои дискотеки; смотрят на артистов, изгибающихся и вибрирующих, и завтра же попытаются им подражать, но не лучшим образом.

Нет, не с одной дискотекой, не с одним Журбиным (или Бобом Диланом, Питером Сигером с Запада) мы имеем дело. У нас в области только отрицательных (под эгидой комсомола) 144 дискотеки. Массовая музыкальная «культура» оглушила уже миллионы наших парней и девочек. Они к ней не только тянутся, они бегут к ней. Бегут от многовековой культуры, наработанной талантами, страданиями, совестью, к музыкальной культуре нынешнего дня, влияние которой в одних случаях сомнительно, в других — просто вредно.

Если это бедствие, в которое втянулась вся Земля, то где тогда его истоки? В злой воле кучки людей, превзошедших науку виртуозно играть на темных сторонах человеческой психики? А, может, в изначально опасном пути безудержного поклонения самой сильной машине, самой выгодной технологии? Со времен древних цивилизаций, их сказок и мифов, мы учились персонифицировать зло. А в нашей «сказке» затрудняемся назвать конкретного виновника, исподволь, но упорно ведущего человечество к самозабвению и деградации. Дело ведь не только в рок-музыке.

В «Юности» за прошлый год прочел повесть Арк. Арканова «Рукописи не возвращаются»... Честно говоря, мне

еще не доводилось читать таких насквозь антигуманных произведений. Два плана повести — современный и выдуманно-древний — стоят друг друга по человеконенавистничеству и безысходности. Эта безысходность подчеркнута дважды: в журнал «Колоски» (так переименовали после пожара журнал «Поле-полюшко») назначен новый главный редактор — вор и подонок, в некоей стране восставшие «сегодня» рабы, захотевшие свободы, знаменуют ее кровавым месивом безрассудности, являя собой полный распад какого бы то ни было общества. Секс, пресмыкательство, снова секс и массовые убийства, некий флер просвещенности на лице правителя-мадранта (он, оказывается, пишет стихи), он же — покровитель заезжей проститутки и предатель своей матери — вот набор «добродетелей» этой повести.

А центральное радио уже профанфарило часовой панегирик Арк. Арканову и его произведению.

На экраны вот-вот выскочит фильм Абдрашитова «Плюмбум». Он приезжал к нам в Свердловск и уже демонстрировал картину. Главный герой ее — Руслан Чутко. Вот о нем в рецензии «Уральского рабочего»: «Себя он называет еще «санитаром». Его кредо: «Я очищаю город от грязи». Речь о грязи нравственной, социальной. «Плюмбум» — своего рода борец за социальную справедливость, человек с активной общественной позицией. Человек (а точнее ребенок) с обостренным чувством неблагополучия, которое он замечает вокруг. Обостренным настолько, что оно приобретает какой-то гипертрофированный, уродливый характер. «Плюмбум» по-русски это — свинец. Такого свинцового Руслана и создает Абдрашитов, да еще как насмешка — фамилия Чутко. Натяните вам, милые зрители, образец юного борца за социальную справедливость: он с холодным сердцем составляет протокол на родного отца-браконьера, шантажирует влюбленную женщину, предает ребят, втершись в их компанию. И так далее. Жуткий образ! Фильм завершается гибелью девочки, падающей с крыши многоэтажного дома... Как понять эту ленту? Особенно в наши дни? Не суйся критиковать зло и несправедливость, если не дорос? А поскольку никто не может о себе сказать, когда же он «дорастет», то вообще не суйся с критикой, ибо станешь Свинцом-Плюмбумом. По крайней мере, в глазах Абдрашитова (помнишь его «Остановился поезд», «Парад планет»?) и местного рецензента, доктора педагогических наук.

У нас в редакции два человека называли этот фильм — «элитным», т. е. не для простых смертных, для избранных. Но пойдет-то он для всех. Вот видишь, и я в недоумении, поскольку никогда к элите не принадлежал.

Странности бывают и в нашем журнале. В свое время я протестовал против публикации повести (фантастика) Карла Левитина (он работает в журнале «Знание — сила» (под названием «Жизнь невозможно повернуть назад») очень популярные слова популярной Аллы Пугачевой!). А действие происходит на тысячелетие вперед. Довольно запутанная фабула. Но суть такова — клану людей нужно выжить любой ценой. А если кто-то этому хоть как-то противоречит, — рука ложится на пистолет и — к стенке.

Может быть, ты найдешь в этой повести другое, но мне показалось странным решение проблемы через тысячелетие — расстрелом; и апологетика дешевой эстрады.

Недавно завернул с весьма критическим отзывом рукопись из Челябинска. Автор взялся живописать об уральских боевиках, учинивших кровавую Миасскую экспроприацию. Писал отзыв и думал: зачем сейчас понадобилось этому человеку воспевать терроризм и кровь? Зачем давать такое чтиво? Проповедовать «священное право» револьвера?

Но пишут же, а где-то что-то подобное, не исключено, что готовят к изданию.

Кстати, насчет истории. Вот слушал и читал академика Дмитрия Сергеевича Лихачева — и не находил строчки, с которой бы не был согласен. А вот прочел академика Минца и плечами повел. Оказывается, не было в России ничего хорошего, это была крайне отсталая, крайне некультурная страна. Вспоминать о чем-то хорошем, это значит (по Минцу) ставить под сомнение Октябрьскую революцию и лить воду на мельницу западной пропаганды(?)... позиция «квасного патриотизма», — пишет он, — перенятая из литературы былых времен нынешними «блюстителями», подкрепляет точку зрения западных «оптимистов»...

Невероятно-неопрятная статья (Или интервью — это стало модным). Наверное, по Минцу, студенты Новосибирского госуниверситета были лишены «квасного патриотизма», когда в дни празднования Ломоносова (конец прошлого года) провели заседание своего общества и рьяно доказывали, что Ломоносов для науки — ноль, поскольку



ку не оставил после себя... школы. А в быту — пьяница. И умер от запоя... Вот и низвергаем все. Ничего своего.

Дорогой Виктор! Я вывалил на тебя то, что бродит в душе. И не все еще, конечно... Если в ответ ты расскажешь о рыбалке — и то мне будет читать интересно.

Твой А. Р.\*

620219, Свердловск, ГСП-353

3.3.87 г.

Уважаемый товарищ Астафьев!

Вашу книгу «Жизнь прожить» я читала не отрываясь, бросив все дела на свете. Она расшевелила все лучшее, что живет в душе человека и, бывает, вовсе не шевелится. Спасибо огромное! И какой же, думаю, надо иметь талант, чтобы заставить меня, старуху, на девяностом году жизни (!), притом сугобо городскую, растревожиться всерьез по поводу коровы «Пеструхи», трое суток мучившейся, рожая свое дитя; увлечь ее, старуху, рыбалкой с удочкой у проруби, а я-то всегда думала, что занятие это скучнейшее; заставить ее, старуху, вдыхать аромат лесов, лугов, не видя их более десятка лет, и ожидать появления северной зари и обнять мысленно всю природу вместе с людьми и тварями.

И со всем этим вместе ощутить и почувствовать, что это и есть счастье.

Кое-что о себе, Вам, как писателю, творчество которого предназначено нам, читателям, вероятно, что-нибудь нужно знать о своем читателе. Я родилась в Петербурге, прожила там до конца блокады. Там же получила все свое образование — среднее, затем университет и далее — институт иностранных языков. В Москве оказалась в силу обстоятельств, по национальности я еврейка. Муж умер 10 лет назад. Единственный 19-летний сын погиб на фронте. За моей спиной 47 лет педагогической работы, преподавала в вузах Ленинграда и Москвы.

Работаю и сейчас. Преподаю английский язык ученикам всех возрастов от 15 до 60 лет, даю консультации младшим коллегам, пишу методические пособия для вузов. Мне хотелось бы знать: верить ли слухам, что Вы — убежден-

---

\* Лев Румянцев — зав. отделом прозы журнала «Уральский следопыт», в котором я состою членом редколлегии со дня основания.

ный антисемит?.. Я этому поверить не могу — я росла в царской России, где среди русской интеллигенции такое понятие как «расизм» было абсолютно чуждым. Сибиряки, если верить, они тоже такого не ведают. В Вашей книге я никаких намеков на это не нашла.

*С искренним уважением — Елизавета Шустер*

5.3.87 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Давно получил Вашу открытку со словами тревоги о здоровье Марии Семеновны. Дождался в «Смене» рассказа «Надежда горькая, как дым» с Вашим послесловием. Затем захотел прочитать поминаемые Вами книги: «Отец», «Пешком с войны», «Анфиса», «Шум далеких поездов». А для этого нужно было время и переписка с вятским пермяком, моим другом Вадимом Шильниковым. Вырос он в Котельниче, институт закончил в Перми, познакомились и подружились мы с ним в Магнитогорске. Теперь вот только переписываемся Саратов — Пермь, Пермь — Саратов. Огромных способностей человек — и лингвистических, и поэтических, и медицинских, и человеческих. А работает психиатром, лечит души без особых надежд на излечение, особенно когда нет медикаментов, тепла, еды, а писанины и казенщины — полон рот. От него и получил кое-что, чего не нашел здесь.

Вы просили «не судить строго» — ни Марию Семеновну, ни Вас, а я считаю, что можно, судя вполне строго, позавидовать не только Вам (в новой роли, нисколько, впрочем, меня не покоробившей), но и Марии Семеновне, умеющей писать лучше многих. Если уж к чему придраться, то к тому лишь, что перепечатывая Ваши рукописи, она не могла, видимо, не набраться неволью Ваших интонаций, Вашего, подчас, синтаксиса. Но свое осталось, оно добротное и читается с неизменным сочувствием, будто рассказывает человек о том, что было взаправду и своими словами, ничего (или почти ничего) не украшая.

За это же время искал почитать журнальных публикаций, подивиться новым настроениям и новым умениям. Благодарю Вас за слова о Константине Воробьеве. Особо — за злость к литературоведам. Уверен, что когда-нибудь дошлый психолог исследует этот феномен: неудавшийся писатель или поэт, не нашедший себя по причине беста-

ланности, превращается в актинию на раке-отшельнике и паразитирует на нем, подбирая крошки. Самым удачливым актиниям повезло усесться на прочного рака-долгожителя, ставшего классиком или «классиком», тем, кому места не досталось, кто вынужден «кочевать по направлениям» и «обзорам», живет, видимо, разно, то их нету совсем, а то меняют позицию по новому ветру, то бишь по новому подводному течению.

Все это так. Я их многих видел и знал лично. Обидно только, что тщеславия у этой духовной мелочи часто хватает лишь на секунду, о многолетней славе многие из них и не думают, и поэтому не огорчаются, когда их сбивают. Все равно дальше пенсии не выпрут, дач не отнимут, прежних статей под нож не пустят: прожили безбедно, «не хуже иных писателей». А это уж точно!

Захотелось мне хоть как-то отблагодарить Вас и Марию Семеновну. Вот вместе с пожеланиями здоровья, добра и долголетия посылаю несколько стихотворений, написанных давно и недавно. Нигде они, конечно, не печатались. Никуда я их не посылал. А те, что посылал — печатались, но дарить их стыдно. Уверен, что они похожи на Ваши опыты эпохи районных и областных газет, о которых и Вы, кажется, вспоминать не любите. Прозу не посылаю — читать дольше.

Жду Ваших новых трудов, крепко жму руку.

*Ваш (подпись неразборчива)*

6.03.87 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я вновь обращаюсь к Вам со словами благодарности за то, что Ваше слово открывает ребятам интерес к литературе, а как это важно сейчас, когда техника наступает на души людские, когда эликсир духовного здоровья «выдавливается» из семьи, когда прекрасные книги стоят на полках книжных шкафов, когда книжные страницы изглодались за человеческими пальцами, за зоркими и внимательными глазами подростка — в первую очередь. Этот застой духовной жизни Вы помогаете мне разрушать своим Словом, которое, как и все Ваши произведения, рождены правдой сердца.

Недавно, начиная проникать в необъятный мир творчества и личности Л. Н. Толстого, я обратился к старше-

классникам с вопросом — «Ваше слово о Толстом». И юноша (!) сказал: «Меня взволновало размышление о Л. Н. Толстом писателя Виктора Астафьева, которое я прочитал в книге «Всему свой час», и дальше он рассказал о том, как Вы «заразили» его интересом к писателю через Ваше «сердце-Память» (а он точно выразил ощущение Вашего слова в публицистике). Так Ваша книга вошла в уроки, она раскрыла труднейшую работу писателя Астафьева и заставила молодежь задуматься о своем месте в жизни, о нелегких житейских дорогах. Хорошо, когда у словесника есть коллега — Вы — в труднейшей и интереснейшей работе учителя, которая заставляет быть в вечном поиске.

Желаю Вам большого счастья, молодости сердца и творческого долголетия.

С уважением к Вам —

*Чухненко Юрий Максимович,*  
учитель-словесник Черновицкой СШ № 3

[1987 год]

Дорогой Виктор!

Должно быть, эта майская открыточка не застанет тебя дома: сказывают, что ты собираешься в Москву на конференцию Академии наук, в Новгород, а потом твой корабль странствий надует паруса и отчалит по следам Колумба в Америку. По этому случаю французы говорят: жизнь на дорогах. И это правда: живешь — пока двигаешься.

А я что-то оброс ракушками. Получил приглашение на конференцию в Академию, но не поеду, Бог с ними, с академиками, и, кажется, в Новгород не соберусь, хотя и зван. А что же касается Колумбии — то не зван, да если бы и был зван, то не поехал бы: далеко и тряско. Теперь уж обойдусь и без Колумбии. А тебе — попутного ветра в паруса!.. Береги себя.

*Твой Евгений Носов*

13.03.87 г.

Виктор Петрович, дорогой!

Спасибо за Ваше поздравление с праздником и за те теплые слова, что Вы мне написали. По правде говоря, я не ждала ответа. Я знаю, как Вы заняты и как многие, наверное, Вам пишут. Если отвечать всем — то когда же работать? К тому же недавно я прочла, что жена Ваша, Мария Семеновна, исполняет, как Вы пишете, обязанности «почтара». Так что Ваш «собственноручный» ответ ценю вдвойне.

Я никогда не входила в переписку ни с «модными» писателями, ни с актерами, но уж очень грязное дело было затеяно вокруг Вашего имени. Очень рада, что Вашему «супротивнику» не дали переступить священный порог Пушкинского Дома. Ни Д. С. Лихачев, ни Панченко не допустят этого. Я думаю, благородные люди не подадут ему и руки. Достаточно прочесть хотя бы один Ваш рассказ, чтобы понять, что Вы — Человек необыкновенно честный, чистый, много переживший, — незамутненный, несмотря на все то, что выпало Вам в жизни испытать. А Ваша «колючесть» — от нежного и уязвимого сердца. Когда-то, по-моему у Гейне, я вычитала такую фразу: «Его сердце было окружено колючками, чтобы его не глодала скотина». Что меня еще пленило в Вас, это то, что на Вас произвели глубокое впечатление «Португальские письма» Гийерага, — так что любовь к этой книге вложили даже в душу своего героя. Как-то, уже давно, по радио я услышала, как современный писатель на вопрос корреспондента, что он рекомендует читать юношеству, ответил, что «Португальские письма», — прекрасное литературное чтение, и это меня изумило! Теперь я думаю, что тот писатель были Вы. Замечу, что эта книга — тоже одна из любимых мною. Удивило меня не только то, что книгу, написанную в XVII веке, рекомендуют для чтения молодым, но и то, что она задела за живое остросовременного писателя, и то, что современные писатели, оказывается, читают «такие книги», и они им еще более чем нравятся. Один молодой литератор, с которым я познакомилась в Доме творчества в Дубултах, заявил мне, что он давно уже ничего не читает, так как это мешает ему писать. Я не стала приводить ему в пример Пушкина, Толстого, да и многих других, кому чтение отнюдь не помешало. Кстати, он так ничего и не создал, хотя кончил Литинститут и хотя его

очень пестовал поэт Межиров, написавший ему как-то: «Виталий, для того, чтобы написать роман — надо сесть и писать его». Еще он говорил: «Я не могу писать потому, что у меня нет Ясной поляны». Устроили его для хлеба насущного, он сказал: «Я не могу туда ходить, потому что там одни замшелые старики». Сколько таких моральных уродов плодит это учебное заведение.

С Вами, Виктор Петрович, меня почему-то, особенно в последнее время, stalkивает — если не судьба, то случай. Ну, например, моя мать случайно принесла мне январский номер журнала «Смена» со стихами Беллы Ахмадулиной, — а там еще и рассказ «Надежда горькая, как дым» — Вашей милой, симпатичной жены, Ваша фотография и Ваши трогательные слова о жене. И уж очень хороша и к месту поговорка Вл. Даля! Прочла все это с большим интересом, и рассказ мне очень понравился. Сегодня, опять случайно, купила «Литературную Россию» (я не являюсь постоянной читательницей этой газеты) — а там Ваше слово о Валентине Распутине. Не знаю, так ли это, но абзац об издательских «дамочках» я восприняла, как косвенный ответ на мое письмо к Вам. Правда, я «дамочка» несколько другого порядка, так как имею дело не с писателями, а с учеными. Я работаю в издательстве «Наука». Начинала в ред. классиков русской литературы (пять лет в основном занималась письмами Герцена). С 1963 года работаю в редакции литературоведения. Мой «портфель» — это античная, византийская, средневековая, древнерусская литература и литература эпохи Возрождения. Но часто приходится делать и другие работы. Я горжусь тем, что «однодневки» среди книг, к которым я приложила руку, не так уж много. Состав авторов у нас постоянный, с некоторыми из них уже много лет нахожусь в самых теплых отношениях. Сейчас редактирую вторую книгу «Истории литератур латинской Америки». Всего будет пять книг. Подписана к печати четвертая книга «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена», читаю верстку первой книги «Литературного наследия о Тютчеве», лежат на полке сборники о русском барокко в литературе, о «Слове о полку Игореве», об античной литературе. Мне тоже иногда приходится сражаться за свои работы — в основном, с неумным и трусливым непосредственным начальством. Не раз имела неприятности из-за книг и статей С. С. Аверинцева и М. Л. Гаспарова. Обоих подозревают в пропаганде религии, а последнего еще бьют и за «формализм».

На самом деле, у них просто много завистников среди коллег, которые не могут подняться до их уровня (часто серых и малограмотных) и которые не могут простить им их эрудиции и интеллигентности. Была «зарезана» уже отредактированная мной книга «Памятники латинской средневековой литературы XIII века», подготовленная этими авторами. Две первые из книг этой серии успели выйти в свет, хотя за вторую я получила взыскание и с меня сняли премию. Много крови попортили мне и моим авторам мое боязливое начальство и Главлит из-за «Истории русской литературы и журналистики» (в 4-х книгах). Последняя из этих книг вышла в 1984 г. Тогда нельзя было даже упоминать имена Гумилева, Ходасевича, Гишпиус и др. — хотя речь шла об изданиях, где они самым активным образом участвовали, а иногда и являлись их основателями. Снимались интересные цитаты, а имена «прорезывались», как морковка на грядке (из 14-ти упоминаний имени Ходасевича 3 были сняты. — Так поступали и с остальными). Большой бой выдержала однажды из-за невинного эпитафия «Слово — пядьца, слово — лен, слово — «ткань» Хлебникова в лингвистической работе «Поэтика» слова В. П. Григорьева. Зав. редакцией, окончивший когда-то академию общественных наук и считавший, что идеологически он «подкован» лучше других, после «кровавого боя» пошел «на компромисс» и разрешил оставить эпитаф, но убрал подпись, что было весьма глупо, так как было неясно, кому эти слова принадлежат, и можно было их принять за слова автора монографии. Пришлось уж в обход начальства, сделать вставку в середине книги, в корректуре, чтобы прояснить читателю положение дела. Заведующий мотивировал свои действия тем, что «нельзя все» сводить к Хлебникову. Я так и не смогла убедить его, что эпитаф, если он концентрированно выражает идею книги, может быть взят хоть из китайской поэзии. Но это уже были с его стороны упрямство и амбиции. Вот с таким мракобесием и дичью сталкиваешься.

Автор — человек очень нервный и несколько «свихнувшийся» на Хлебникове, которым он занимается подвижнически всю жизнь и молится на которого, как на идола, — был вне себя. В письме ко мне он назвал мое начальство «издательскими террористами» и сказал, что ему остается только одно средство — это пощечина, которую заслужили гл. редактор и зав. редакцией, и что «вышки» ему за это не будет, так как он инвалид войны. Ко-

нечно, я об этом письме никому не сказала, так как это только бы обострило дело. Кстати, мне было очень приятно получить в подарок присланную по почте монографию о словотворчестве Хлебникова этого автора, которая вышла в этом году (а мы с ним работаем с 1979 г.) Когда я позвонила Виктору Петровичу (Ваш тезка), чтобы поблагодарить его за книгу и за память, я не застала его дома. Но когда я назвала свое имя его жене, оказалось, что она знает меня, и она попросила непременно позвонить ему самому, так как это будет ему приятно. Так что добрые дела не забываются, и это самое большое вознаграждение в нашей работе.

Так что, Виктор Петрович, на Вашу Сыроквасову я не обиделась — к ней я себя не отношу. Более того, я считаю, что Вы абсолютно правы, изобразив эту, как выразился Достоевский, «литературную даму с грязной шеей». Таких на ниве просвещения, увы, много. С одной из них сижу рядом в комнате, и она меня страшно раздражает. На днях спрашивает: «Как звали Петлюру?». Я ей шутя говорю: «Петлюра и есть Петлюра. Если вы подставите ему инициалы, подумают, что вы его уважаете». Она в ответ: — «Сниму его совсем. Зачем он мне нужен?» (а он нужен автору статьи, речь шла о Булгакове и об этом времени). Или очень уважаемому автору говорит: «Надо снять имя Мих. Лозинского». Автор изумился: — «Но почему?». Ответ: — «Он уехал в Израиль». «Но ведь он давно умер!». «А-а, значит, уехал другой Лозинский». Сняла фразу о Шаляпине, где было сказано, что в 1925 году он уехал за границу на гастроли и не вернулся (общеизвестный факт, отраженный в энциклопедии). Но это еще мелочи — она снимает целые статьи и очень гордится этим. Говорит: «Главный редактор не видит, цензор не видит, а я вижу!» В общем, «святее папы Римского», — или — «услужливый дурак опаснее врага». О себе эта «мадам» очень высокого мнения, хотя — настоящая тундра. Мне страшно завидует, ревнует к моим авторам (многие отказались с ней работать) и говорит, что они меня любят потому, что я в их рукописях ничего не делаю и что во всем повинно мое женское обаяние. Так что помимо стычек с начальством есть стычки еще и с коллегами.

Я свою работу люблю очень, хотя она и не из легких. Я и Вас утомила, и сама утомилась. Хотела только поблагодарить Вас, да вот... Вместе с этим письмом я отправляю книгу Нидзе «Непрощенная повесть», вышпешую в вос-



точном отделении нашего издательства. Рассказ Вашей жены — на вечную «женскую тему». Эта книга о необыкновенной судьбе удивительной японской женщины, жившей в XIII веке, и написанная ею самой. Это очень тонкая, изящная вещь. Надеюсь, в Вашей библиотеке ее нет и что Вам, Виктор Петрович, она тоже понравится.

С неизменным расположением к Вам и любовью. Берегите свое здоровье и не обращайтесь внимания на клопные укусы Ваших «доброжелателей».

*А. М. Стенина,*  
Москва

19.4.87 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Мне было трудно решиться на это письмо. Во-первых, догадываюсь, что Ваш и без того ненормированный рабочий день загружен до предела, а во-вторых, думаю, что и без меня письма корреспондентов доставляют Вам много хлопот. Тем более письма, подобные этому.

И все-таки я решился побеспокоить Вас. Не сразу, не вдруг, но решился. Сделать этот шаг помогла мне Ваша книга «Всему свой час». И прежде чем перейти к цели моего письма, хотелось бы сказать несколько слов об этой книге. Я, пожалуй, стал ее первым читателем в нашей библиотеке, т. к. она только что поступила из бибколлектора, и я все еще нахожусь под впечатлением прочитанного. И мне хочется искренне поблагодарить Вас, Виктор Петрович, за нее. Не знаю, для кого как, но для меня она во многом явилась откровением. Не умею говорить красоты, но это действительно так. Я словно бы окунулся в другой мир — мир писателя, познакомился, как это принято говорить, с его творческой лабораторией, понял (или мне кажется так?) истоки творчества. Поэтому, Виктор Петрович, еще раз огромное спасибо Вам за тот подарок, который Вы преподнесли читателям вообще, а людям, делающим первые неумелые шаги в литературе, — в частности.

Меня зовут Виталием Владимировичем. Мы с Вами — земляки. Я родился в последний год войны в небольшом старательском поселке Таракстрой (ныне пос. Таежный) близ г. Канска. Жили трудно. Да и кто в послевоенные годы жил легко? Нас у мамы было уже трое, работала она

электромонтером-линейщиком, когда отец по ее настоянию поступил учиться в Харьковский горный институт на очное отделение. Не думаю, что он состоялся бы как инженер, если бы не мама.

Не знаю, как бы сложились наши судьбы дальше, какими бы мы стали, если бы рядом с нами, детьми, не было еще одного человека — бабушки, папиной мамы. Еще до революции Сусанна Николаевна окончила в Красноярске женскую гимназию и уехала в глубинку работать сельской учительницей. Коренная сибирячка, это она научила нас любить Сибирь, ее людей, ее природу. Это она открыла нам окно в Мир. Это под ее влиянием все мы научились бережно относиться к Слову.

После окончания института отца направили работать на Южный Урал, в Оренбургскую область, в маленький горняцкий городишко Медногорск.

Перед окончанием десятого класса — у меня среднее образование — я совершил свой первый в жизни прыжок с парашютом. И «заболел» небом. Потом были другие города, другие аэроклубы. Постоянным оставалось лишь одно — привязанность к небу. Позднее я понял: чтобы любить небо, нужно любить жизнь. Значит, и в этом бабушкина заслуга.

К началу службы в Советской Армии у меня было 70 прыжков — 1-й спортивный разряд. Служил в ЦСПКА — Центральном спортивном парашютном клубе армии. Это тоже, что и ЦСК, только не хоккеей, а парашютный спорт был главным профилем команды.

После демобилизации уехал на Родину, в Красноярск. Работал сначала на ЦБК, затем на базе авиационной охраны лесов парашютистом-пожарным, одновременно продолжая заниматься в авиационном спортивном клубе ДОСААФ. В общей сложности парашютному спорту отдало 12 лет, совершено около 1000 прыжков. Я и сейчас бы продолжал, как и многие мои товарищи, одноклубники и ученики, прыгать, но, к сожалению, врачебно-летную комиссию уже не прохожу, медики наложили вето. И хотя возраст мой сейчас уже далеко не юношеский, по отношению к небу я по-прежнему остался восторженно-влюбленным юнцом. И нет для меня пока более важной цели, чем передать свою любовь молодежи: парашютизм сродни инфекционным заболеваниям: заразился сам — заражаешь других.

Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы

не одно обстоятельство. Я не помню, когда начал писать, не знаю причины, побудившей меня к литературному творчеству («творчество» — большая натяжка). Вероятно, потребность самовыражения. И вот во мне созрело решение написать для молодежи повесть о парашютистах и парашютном спорте, рассказать о людях, не представляющих свою жизнь без неба. Но одно дело прийти к такому решению, а другое — написать повесть. И если в парашютном спорте я, замечу без ложной скромности, что-то соображаю, то в литературе, несмотря на мои «опыты», я — дилетант.

Еще одной причиной, побудившей взяться за перо, послужило то, что о парашютизме пишут до обидного мало, предпочитая темы глобальные, поражающие своим масштабом, но ставшие, к сожалению, избитыми, стереотипными. Да и те немногие материалы, появляющиеся в нашей публицистической и художественной литературе, далеко не всегда написаны со знанием дела. Я говорю не о литературных, а чисто профессиональных, парашютных недоработках. Приведу небольшой, но яркий, как мне кажется, пример.

Как-то в одной из центральных газет (сейчас уже не помню в какой была первая публикация) появилась довольно большая корреспонденция. Суть ее сводилась к следующему.

Однажды группа геологов летела на новое место работы. Вертолет шел на небольшой высоте: до земли было всего 320 метров. Выйдя из кабины в салон, борттехник вертолета увидел, что один из рабочих экспедиции курит, и сделал ему замечание. Видимо, замечание борттехника не отличалось изящностью слога, поскольку нарушитель поспешно встал, открыл в фюзеляже дверь и выбросил окурок. И... выпал сам. Но т. к. он некогда служил в ВДВ — воздушно-десантных войсках — и имел на своем счету 20 с небольшим прыжков, то не растерялся: расстегнув (!) фуфайку и раскинув ее полы наподобие крыльев (Икар, да и только!), выбрал площадку, где, по его разумению, было больше снега, и спланировал туда. Снег действительно был глубоким. Геолог остался жив.

Я не говорю уже о том, что в данном авиационном подразделении дисциплина оставляла желать лучшего: пассажир свободно открывает дверь летящего вертолета и выбрасывает окурок. Автор, очевидно, исходил из давно набившей оскомину байки: «Там, где начинается авиа-

ция — кончается порядок». Но не только это высвечивает его профессиональную недобросовестность. Поступок геолога он возвел в ранг мужества, пропел гимн его исключительной находчивости, самообладанию и т. п. Но дело в том, что все это, мягко говоря, липа. Автор даже не удосужился ознакомиться с элементарными основами аэродинамики. Сделай он это, не было бы такой «ляпы». Ведь 320 метров — это меньше 5 секунд свободного падения. Хорошо помню, как мы, спортсмены, имевшие на своем счету в десятки раз больше прыжков, чем «герой» корреспонденции, возмущались безответственностью автора. Никто (!) из нас не смог бы сделать того, что сделал этот начинающий парашютист. В подобном случае у нас говорят: не хватило высоты... Высказывались даже предложения (в шутку, конечно) найти автора и выбросить его в фуфайке с такой же высоты. Пусть планирует.

Но корреспонденцию напечатали. «Гадкий утенок» был выпущен. И пошел он, убогий, гулять из газеты в газету.

Начиная работу над повестью, я, понимая свой дилетантизм, решил писать ее на документальной основе, выбрав для этого форму дневника. Но когда она была написана, вдруг понял: не то! И уничтожил ее.

Прошло несколько лет. И вот я снова взялся за эту тему. Повесть написана. На это ушло немногим более года. Повествование в ней ведется уже от третьего лица. Сначала я назвал ее документальной. Однако потом засомневался: многие события, описанные в повести (Вас не возмущает столь безапелляционное заявление — повесть?) сдвинуты во времени, поэтому мне пришлось изменить фамилии и имена некоторых героев. Кроме того, события, о которых я рассказываю, происходили не только со мной или очевидцем которых я был, но и такие, о которых я знаю из рассказов друзей. Вот и зародилось сомнение: имею ли я право из-за этих причин считать повесть документальной?

И еще. Я уже сказал Вам, Виктор Петрович, что считаю себя дилетантом в вопросе литературного творчества. Поэтому повесть писалась скорее по наитию, нежели по какому-то заранее разработанному плану, схеме. Но в основу ее построения я взял принцип кино (если это можно назвать так), пытаясь сделать так, чтобы совокупность отдельных главок-фрагментов — создавала объемное изображение-картину. Не могу судить насколько мне это удалось.

И вот поэтому, Виктор Петрович, я и решил обратиться к Вам с огромной просьбой. Не смогли бы Вы взять на себя труд прочесть повесть и дать ей оценку. Честное слово, как мне кажется, в ней что-то есть, хотя и чувствую, что она сырая, но я не знаю, на что нужно обратить внимание при ее доработке, и Ваша помощь в этом была бы для меня хорошим уроком, азбукой литературного творчества.

Признаться, я уже отправлял повесть своим товарищам в парашютный клуб армии и получил ответ, который вселяет надежду, что из написанного мною можно будет сделать настоящую Вещь. Ребята пишут, что им еще никогда не доводилось читать о спортсменах-парашютистах что-либо подобное. «Нам эта тема близка и понятна, — замечают они. — Чувствуется, что над повестью работал не сторонний наблюдатель, а человек, близко знакомый с парашютным спортом. Однако у нас сложилось впечатление, что писал ты ее или очень быстро, на одном дыхании, или мучительно долго. Именно мучительно. Пожалуй, в ней много ретроспективы и отступлений. Но это мы не утверждаем наверняка. Здесь тебе нужно посоветоваться с кем-нибудь из профессиональных литераторов. И еще, Виталий, нам кажется, что при всей серьезности главного героя повести, Егора, в нем есть что-то от авантюристичности и инфантилизма, хотя это тоже спорно. Короче, посоветуйся...».

На эти вопросы, Виктор Петрович, мне тоже хотелось бы получить ответ. Один я, пожалуй, не разберусь.

В настоящее время я живу в г. Миассе Челябинской области, работаю на стройке машинистом дизель-электрического крана. Буду Вам очень признателен, Виктор Петрович, если Вы сочтете возможным ответить мне.

Пожалуйста, извините за беспокойство. Но мне очень хотелось бы довести начатое до конца, тем более, что я убежден: мы, взрослые, обязаны учить молодежь любить свою землю. А ведь любить небо и не любить землю — невозможно!

С искренним уважением,

*Виталий Калмыков,*  
г. Миасс Челябинской обл.

1.05.87 г.

Дорогой Виктор Петрович!

В последние годы почему-то все чаще думаю о тебе. Вспоминаю, как Борис Никандрович еще в молодые наши годы уверял меня, что Астафьев для Урала будет позначимее Мамина-Сибиряка. Рад, что был Назаровский человеком мудрым и прозорливым.

У меня сейчас все вроде бы наладилось. Правда, были два инфаркта — в 82 и 84 году, но я отношусь к ним с презрением. Даже в поездки по области при хорошей погоде пускаюсь, поскольку от критиков знаю, что поэтам от жизни нельзя отрываться. А то отстанут.

Выходит в мае или в июне у меня шестистрочная книга, которую, выражаясь старомодно, сочту за честь прислать тебе и Марии. А к шестидесятилетию наградили неожиданно для меня орденом «Дружбы народов», крупноблочный портрет мой повесили аж на Выставке достижений народного хозяйства в Перми, как «победителя социалистического соревнования в честь 1 Мая», хоть я, ей-Богу, ни с кем не соревновался. И никого не побеждал — может, только себя, да и то отчасти...

Как ты, наверное, знаешь, два года — 74 и 75 — провёл в психиатричке. Была страшная депрессия, вешался, но, по счастью, все веревки в моем безхозяйственном доме были гнилые и моих восьмидесяти килограмм не сдюжили.

Бог мне и сказал: «Я тебе дал свой дар, Божий, а ты что с ним сделал? В грязи, гад, извалял. Вот теперь лежи и кайся». Скрылся из глаз, а я, при моем филологическом образовании, не мог потом и двух слов в одну фразу связать, доступно мне было только примитивное, вроде: хочу есть, пить, спать, курить, жарко, холодно. А самое мучительное, что мысль оставалась острой, и вроде бы я все понимал.

Так промолчал я почти два года, из больницы меня выписали, дали инвалидность. А потом однажды, 26 августа 1976 года, ночью часа в два я проснулся, разбудил жену и часов до шести говорил непрерывно, выговаривался за два года немоты. Тут-то этот Господь опять мне привиделся, чисто побритый, и усмехается: — «Как ты мог подумать, что Я тебя брошу, усомниться в милосердии Моем? Ведь ты же Мой любимец». И опять ускользнуть хотел. Но я Его прихватил за пиджак и говорю: «Нет, погоди,

чего Ты меня два года мурьжил?» А Он свое: «Некогда, мол, у Меня вас почти пять миллиардов, знаешь, сколько на тебя Божьего времени потратил!» Я подсчитал быстро — больше двух тысяч лет — ну, и отпустил. С тех пор больше Его я не видел.

Сегодня до слез расстроился, такая злость на жизнь взяла. Доставал у медиков для Миши Голубкова очень дефицитное лекарство, аж к ректору мединститута академику Вагнеру ткнулся. Перевели его в клинику к профессору-урологу Вадьке Орлову, а это мой друг еще студенческий, вместе за сборную в волейбол играли. Будет делать Мише серьезную операцию.

Он сейчас лучший в Перми хирург-уролог.

По дружбе сказал мне профессор, что положение у Миши опасное настолько, что он сам до конца об этом не знает. Вот ведь гадство! 49 лет всего, только утвердился талантливый, чистейшей души добрый и дружелюбный человек — и вот, гадство, — что-нибудь да подкосит. Теперь только и надежда на Бога да на хирурга. Миша в больнице уже месяц, побледнел, а глаза — как у подраненного оленя. Смотреть больно.

Знаю, ты ему иногда пишешь, но не надо намекать о серьезности его болезни. Авось это еще не черт, а его малютка!

Виктор Петрович, с восхищением прочитал «Ловлю пескарей». Одна чердынская крестьянка сказала мне: «Вот ведь мужик, всю правду пишет. Теперь таких мужиков нет!» И сколько я ни уверял ее, что ты есть, только — в Красноярске, — не поверила. А грузинские патриоты-цитатчики что же не процитировали Маяковского дальше, насчет грузинской «крови и яри», вовсе не благостные строки. Да заодно бы припомнили Горького очерк «Мой спутник», где он прямо говорит о своем отвращении перед особенностями грузинской жизни: «преклонением перед богатством и грубой физической силой».

Моя дочка Лида учится на втором курсе экономического факультета Пермского университета. Есть у нее друг, сокурсник, грузинский паренек из города Махарадзе. Отслужил в армии, остался на работе в Перми, потом поступил в университет, юноша честный и незлобивый. Они с дочкой у меня «Наш современник» с твоим рассказом вместе читали. Я у Серго спросил, почему он учится в Перми, а не в своей Кутаисской губернии. Он прямо мне ответил, что папа у него умер, и на грузинское высшее

образование ему попросту денег не хватит: и за вступительный, и за каждый экзамен в течение пяти лет надо платить по определенной, немилосердной таксе. Да и знай грузинское обучение не дает, только диплом.

Так и разбрасывает сегодняшняя Грузия ежегодно самых честных и способных детей своих по далеким вузовским городам России. А здесь им трудно, подозрительность, и русский язык не всем дается. Вот и мытарствуют они, на чужбине по пять лет подряд в один и тот же вуз поступают, русской грамотенки нахватываются. Мачеха им любимая Грузия, а не мать! Только вслух им это говорить нельзя, обидятся.

Вот о чистых детях своих, идущих ради настоящих знаний на жизнь бедную и горемычную вдали от матерей и грузинского «райского эдема», и подумали бы твои ниспровергатели и нацпатриоты, демонстрирующие в письме свою обиду на тебя. Почему они-то твою боль разделить не хотят, своей же молодости помочь? Отзывчивость писателя и сострадание принимают чуть ли не за кровную обиду. Прости, дорогой Виктор, за длинное и суматошное письмо. Не о себе напомнить хотелось, мне после трех инфарктов (первый был еще в 68 году, после смерти матери), как сам понимаешь, ничего не надо. Просто сегодня захотелось выговориться — перед концом и до конца может быть...

А так-то я рад, что жил с тобой в одно время и в одном месте.

Искренне желаю здоровья тебе и Марии.

С доброй памятью и сердечным уважением к вам,

*В. Радкевич,*  
г. Пермь

22.8.87 г.

Добрый день, Виктор Петрович!

С волнением, сказать вернее, с трепетом прочитал страницы Вашего рассказа «Жизнь прожить», особенно ту часть, где описаны орининские события. Будто я еще раз побывал там, пережил заново пережитое. Все верно. Все точь-в-точь: ни единой брехни, ни малейшей фальши, за исключением одной досадной неточности. Она и повод моему письму.



«Бой произошел, — говорится в рассказе, — в середине апреля». Не в середине апреля, а в начале, еще точнее, — первого апреля произошел бой.

Оринино, это гиблое местечко, по сей день у меня в печенке. Порой я и просыпаюсь в холодном поту от кошмарных снов. А ведь поди ж ты, сорок три года прошло с тех пор!

Был я тогда фельдшером 52-го отдельного мотоциклетного полка 4-й танковой армии, которой командовал генерал Лелюшенко Дмитрий Данилович, недавно ушедший из жизни. Санчасть наша расположилась рядом с его штабом. Все устали, валились с ног от тяжелого перехода накануне, 31 марта. Помню, еще с вечера я лег спать с твердым намерением учинить над своим напарником (Сашей Барковым) первоапрельскую шутку. А «шутку» сыграл немец. Проснулись мы рано утром от сильной стрельбы и кинулись на улицу. Тут началась кутерьма.

Почему потревожил? Может быть, внесете поправку при третьем издании своей замечательной книги «Военные страницы». Для истории важны не только достоверность фактов, событий, но и точность во времени и пространстве.

*Арсланов Г. М.,  
Стерлитамак*

**30.10.87 г.**

**Милая Мария Семеновна!**

Спасибо за теплое, на редкость сердечное письмо... Оно пришло за мной вдогонку, в Архангельск. Порадовался Вашему возвращению в жизнь, в душе укрепилась надежда, что не так одиноко будет на свете, да с тем и уехал на Север (и ответ оставил на осень, по возвращении), забился, как в угол, в свою деревню. И там, конечно, не легота. Люди устали, раздражены, и есть от чего... Но все же с ними терпимее переносятся душевные и всякие прочие вроде бы уже несносные мучения.

А вернулся в Москву и узнал о Вашей трагедии — о смерти дочери. Оглушен и в полном смятении. Да есть ли Бог-то?! Почему же Он не оберегает от зла мучеников, истомившихся в ожидании добра и справедливости. Примите с Виктором Петровичем мои запоздалые соболезнования и сочувствие. А главное, если в чем-то нужна моя

помощь, мои ноги и руки — пишите, не стесняйтесь, по-свойски. Может, тут, в столице, надо куда-то сходить, постучаться, я готов, сделаю, что в моих силах. Я слышал, что внуки у Вас, в них ведь не только утешение, с ними и забот — полон рот. По силам ли Вам? Выдержите?! Хотя то, что они с Вами, душевно ободряет. Могли ли Вы поступить иначе... Держитесь, родные, держитесь...

Все, что опубликовал Виктор Петрович за эти месяцы, говорит, что работает он на большом дыхании, жадно. Он у нас, несомненно, первый писатель. Приятно, что и народ так считает. Раскусил, что почем. Поклон ему до земли, пусть еще ему поработается всласть. Очень жду роман о войне. «Тыловики» он прижал против шерсти — хорошо! Какая у него добрая и глубинная мысль о фронтовом товариществе. Вот, что, должно быть, крепко спасало на войне...

Сам я работаю маловато, хотелось бы больше, но пока намерен сидеть дома. Влезать в современную литературно-издательскую клоаку — тошно. Уж очень постыдно все себя ведут, врут, как мальчишки, (а все седые и обрюзгшие), слово, как захмелевший воробей, — ничего не стоит, а в тоги рядятся — ну, просто, не меньше, чем толстовские... Разговоров в писательской среде много, грязи — тоже хватает, а вот все остальное как-то очень призрачно. Но будем утешать себя надеждами. Добра Вашему, теперь снова шумному семейству, благополучия и насколько возможно душевного покоя.

*Обнимаю. Ваш Арсений\**

P.S. Подумал, что каракули мои Вам разбирать не все равно, и отпечатал на машинке.

[1987 год]

Дорогой Дима!\*\*

Отправляю тебе обещанный отрывок из романа. Скрепя сердце и только из-за давнего и глубокого к тебе уважения и к «Северу», тобой сотворенному. Материал сыроват, и рукопись грязновата, но отсылаю, раз пообещал, перепечатывать уже некогда.

Роман «Прокляты и убиты» должен состоять из трех

---

\* Редактор журнала «Слово» Арсений Ларионов.

\*\* Гусаров Дмитрий Яковлевич.

книг (экую глыбищу на себя взвалил и дотянул работу до старости, все зарабатывал хлеб, все готовил себя к «главной» книге, все не решался, а теперь успею ли?).

Первая книга, отрывок из которой о доблестном нашем военном тыле, о запасном полку, высылаю, пишу и самому страшно: как это мы пережили? Как стерпели? Подделом нам, покорным рабам, позорный результат коей являет сегодняшняя наша действительность. Только вот дети и внуки наши причем?

Вторая книга называется «Плацдарм» — это уже фронт, «героическая», кровавая бойня. Третья книга — послевоенная жизнь брошенных на произвол судьбы фронтовиков, которых добивали уже свои деятели и комиссары, мстя народу за то, что он, дурак, спас им шкуры, — добивали голодом, холодом, притеснениями, тюрьмами, лагерями и прочим, о чем ты не хуже меня знаешь.

Пишу это тебе для того, чтобы был «в курсе».

Тяжело переболел и досе еще не отошел от гриппа и осложнений. Занесли меня черти на этот съезд! Но, как писателю, полезно и любопытно там побывать, чтобы убедиться, что из этого «рая» добра не будет, хуже будет, а уж хуже-то вроде бы и некуда.

*Обнимаю. Желаю. Кланяюсь — Виктор*  
Черкни пару слов, когда получишь отрывок, ладно?

15.10.87 г.

Дорогой Виктор!

Потрясен твоей статьей о войне в «Литературной газете». Только ты можешь и смеешь сказать правду о генералах! Ведь действительно в наших бедах виноват не только Сталин. Мы-то это знаем по собственному опыту.

Как ты оценишь мою «Белую ворону»? Не печатают ее. А лично я считаю такой разговор весьма принципиальным. Слишком много гадов проросло на нашей крови!

Привет супруге.

*Крепко обнимаю. Твой Борис,\**  
Рига

---

\* Борис Куняев, мой сокурсник, бывший пехотинец, лет уже десять, как умер от старых солдатских ран. Пусть «Белая ворона» продолжит его письмо.

**БЕЛАЯ ВОРОНА**

Как красив ты, расчетлив, удачлив вполне,  
Нашей общей Победы счастливый наследник.  
Я все думаю, кем бы ты был на войне,  
Когда каждый твой час мог являться последним.  
Тебя жизнь не ломала, не била под дых.  
Берегла твое детство и чуткие нервы.  
Как ты хочешь местечко теплее других —  
Обязательно стать самым лучшим и первым.  
Называешь того, кто за правду — топор!  
Презираешь тихонь и работу лопатой...  
Слишком мелочен, жаден, труслив и хитер.  
Очень трудно представить тебя с автоматом.  
Твои мысли двойные читаю с листа.  
И улыбки твои иезуитские знаю...  
Я все думаю — кем на войне бы ты стал —  
Перебежчиком, власовцем иль полицаем?!  
Подхалимы тебя называют дельцом.  
Никакие решенья тебя не согнули...  
Если б даже и был ты на фронте бойцом,  
При атаке догнали б тебя свои пули.

1987 г.

**27.11.87 г.**

Уважаемый писатель  
**Виктор Петрович Астафьев!**

Только что прочитала Ваши «Затеси» в журнале «Наш современник» № 10. Я давно слежу за Вашим творчеством: от Ваших произведений всегда ждешь откровенного, честного слова и никогда не ошибаешься. Особенно Вы поразили мое воображение и даже заставили плакать, когда я читала Вашу «Царь-рыбу». А Ваш Акимка — настоящий человек! Его милосердие покоряет и служит примером нам. С таким человеком не пропадешь, он — вечный труженик, всегда готов подставить свое плечо, чтобы помочь другим, причем без всякой позы и громких слов. Это истинный гуманист.

А в «Затесях» Ваш острый взгляд и доброе сердце снова обратили внимание читателей на нелепости нашей жизни, на нашу нерасторопность, отсутствие деловой предприимчивости, на неумение по-хозяйски распорядиться

своими природными богатствами... Горько об этом читать, но ведь это же правда! И, как сказал поэт: «Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору».

Будьте здоровы на долгие годы, чтобы Ваш яркий талант продолжал радовать нас и удивлять, ибо Вы имеете мужество в истинном свете отражать нашу нелегкую жизнь и горячо призываете всех — сверху донизу! — жить поумному.

Спасибо Вам за это!

*Наташа,*  
Ленинград

[1987 год]

Дорогой Виталий! (Волович)

Я только недавно смог просмотреть и почитать «Слово». Издание хорошее, большой культуры книга, незагроможденная, чего я очень опасался. Ныне ведь подсоединиться к «Слову» и поучаствовать в походе князя Игоря на «нечистых» гораздо больше, чем было при его житье-бытье и всяк норовит подзаработать под шумок, зело много народа подкормилось на юбилейном празднике со стола, щедрого и терпеливого к прилипалам и словоблудам.

Твои иллюстрации очень украсили издание, дополнили его неожиданным решением темы и возвысили до уровня трагедии исторической, ибо многовато было красивеньких картинок на тему «Слова», особенно в нынешний юбилей. Глядя на картинки того же Глазунова, на его красиво плачущих дамочек и белокурых отроков да молодецки рубящих князей, можно подумать, что князья русские ездили на болота за клоквой и там порубали несметное количество ворогов, неожиданно встреченных, и не сами в плен угодили, а всех косых на веревках в грады свои привели.

Красивенькая сказочка, плаксивая песенка вместо трагедии — этого же хотелось всегда «патриотически настроенным» нашим полководцам и «героически» плачущим и одновременно поющим угодникам с конфетных бумажек и плакатов. Этакое искусство в умиление приводило и приводит наших сентиментальных, малограмотных генералов, которые уже и трагедию прошедшей войны хотели бы воспринимать как героический многословный фарс, в котором они в мундирах и при регалиях в семь рядов сто-

ят, выпятив грудь, и кричат: «Ура!», ибо больше ничего из великого русского языка и войны не запомнили, начисто забыв, что враг был у стен Москвы и на Волге, что выбит на войне русский народ и загублен в послевоенной голодухе, во время которой многие наши чины пир пировали, плюнув на тех, кто спас их шкуры и заслонил своими телами Родину, утопив внешнего врага в крови и не заметив внутреннего, не менее страшного, который всеми способами истреблял русский народ, унижал и уничтожал Россию и преуспел.

«Слово», если его внимательно читать, — очень нынче злободневная книга, вся могильной травой проросшая в нашу светлую действительность, о которой можно точно сказать грубой русской поговоркой: «Хватилась.., когда ночь прошла...»

Мне лишь показалось, что иллюстраций в книге мало и они, как островок в реке, подзатерялись. Или листы большие были, или мастерская твоя тесна, но тогда в мастерской мне казалось всего много, казалось, одни иллюстрации могут составлять целую книгу. К сожалению, я до сих пор пока еще не оформил твои листы и показываю их понимающим людям такими, какими ты их передал мне.

А меня заела текучка. Был на съезде, потом в заграницах, потом — Ленинград — Вологда — Горький. В запущенном, унылом грязно-провинциальном Ленинграде была на Рубцовских чтениях, ходил на (частную) выставку из «частных собраний». Дивная выставка, но для моих больных ног и одного зрячего глаза она громоздко велика. Был в театре. И если в театре им. Кирова сносно был пропет «Вертер», то в театре им. Пушкина уместалось и имя Великого поэта, и здание старейшего, Великого театра с помощью пьески некоего Перекалина «Требую суда!» — такого типичного современника пижончика-драматурга, вскормленного на пряниках и не отличающего железнодорожный рельс от конской тележной оглобли.

В Горьком слушал оперу «Пастух и пастушка» и немножко передохнул от петербургской холодной мглы, грязных улиц и домов. В Ленинграде!!! упал на улице Гранин, переломил нос и вывихнул руку — и никто! Никто! на Киевском проспекте не помог ему встать, не подал руку, не потому, что презирает его, как писателя, а просто так не помогли и все, как человеку, не зная, кто он и что он, но, на всякий случай, посчитавши его пьяным. В Перми жил бывший саперный капитан, истерзанный фронтом и

раненый, жил с батареей в сердце 14 лет. Не раз, почувствовав себя плохо на улице, он взглядом отыскивал поблизости место, чтоб прислониться или сесть, присаживался или прислонялся, доставал из кармана лекарства и помогал себе сам, иногда приходилось «выбирать» из прохожих, кого можно попросить, чтоб помогли достать лекарство, ибо сам он уже и этого не может, ему плохо и он вот-вот упадет... «Выбирал» старых и молодых, русских и нерусских... И никто ни разу ему не помог, он падал, иногда разбивал себе лицо и нередко слышал голоса возмущенных соотечественников, за которых он на фронте кровь проливал: «Нажрался! Да еще и старик! Да еще вроде и еврей...».

Вот это трагедия!

Сейчас вот в моде слово — «ускорение». И если его понимать не так узко, как оно трактуется, то «ускорение», происходящее внутри нашего общества, очень скоро управится со всеми процессами, в том числе и с модно названными, «негативными».

*В. Астафьев*

13.12.87 г.

Уважаемый Илья Григорьевич!

Письмо Ваше дошло и работники почты тут ни при чем. Вот если бы я был завмагазином, да еще продовольственным — они бы знали меня и сами принесли бы письмо мне домой. Осуждать их за это не надо — обманутый, полуголодный, обворованный народ и низкая его жизнь, холуйство, чинопочитание, вороватость — все-все взаимосвязано.

Я охотно верю, Илья Григорьевич, что человек Вы хороший и воевали честно, и моя неприязнь к вам, как к человеку исключительному, отношения не имеет. Но как возможно жить среди грязи и не испачкаться? Быть погруженным в океан лжи и не изолгаться? Быть среди вора и не завороваться?

Смотрели ли Вы фильм о волгоградском воре из энквэдэ, возглавляемом генералом Ивановым? А через три дня в «Советском спорте» было дополнение к фильму, и вот уж тут истинное мурло в полной законченности представало. Вы, наверное, забыли, что вослед за сиятельным вождем Брежневым ходил в картузе и бил кулаками жур-

налистов и прочая, пердак в чине генерал-полковника. Из моей статьи цензура, ныне отмененная! сняла абзац: «Генерал-полковник в роли холуя! Явление уникальное, нам принадлежащее, на наших глазах проистекавшее».

Вы можете представить себе, чтоб царь, умерший, кстати, в чине полковника от подлой пули жида, допустил такое? И чтоб генералы Раевский, Алексеев или Брусилов — опустили до роли холуя?!

Вы знаете, что сказали мне люди, серьезные и знающие, после просмотра волгоградской «опупеи»? «Если не в каждом, то уж в любом втором нашем городе обретается свой Иванов и хоть завтра можно садить на скамью подсудимых местную мафию».

Вот до чего мы дожили, изолгались, одубели! И кто это все охранял, глаза закрывал народу, стращал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. Вы на фронте, будучи генералом, кушали, конечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, что даже Ванька-взводный и тот норовил и жрать, и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и «генерал» на передовой, да не «из тех» и быстро с голоду загнется или попросту погибнет — от усталости и задерганности.

Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она «победила»: 1—10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и все это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве один из главных пунктов «правил» гласит: «не выписывать компрометирующих сведений о командирах совармии».



В самом деле: начни выписывать — и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котел», в котором Ватутин и иже с ним сварили ШЕСТЬ!!! армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами, (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). Надеюсь, Вы знаете, что под Сталинградом мы взяли 90 тысяч пленных, и они были в таком состоянии, что все почти, за исключением нескольких сотен, умерли, хотя их и пытались спасти. Ну что? Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошел героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смел все, что было у нас в Крыму, и, более того, оставив на короткое время осажденный Севастополь, «сбежал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, — одно дело, а воевать и войсками руководить — дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три! армии заплывали и перетонули в Керченском проливе.

Ну, ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м, под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии. Погубили у Дуклинского перевала более 160 000, но в Словакию нас так и не пустила воскресшая первая танковая.

Вы, конечно, обо всем этом «не слышали», «не знаете», но главное, знать не хотите. Так спокойней жить, правда? А я ведь назвал только часть безобразий и позора нашего. Есть еще Тула, Воронеж, Ростов и много-много других городов, битв и операций, о которых не хочется рассказывать, стыдно и позорно рассказывать.

Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны»,

обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности», мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более, Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это все весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.

Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.

Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться, Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить — слишком их много и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплеванные, униженные и оскорбленные души.

Чего Вам от души и желаю.

*Виктор Астафьев*

[1987 год]

Дорогая Инна Петровна! (Борисова)

Посылаю Вам (в «Новый мир») два, не скрою, — дорогих мне рассказа (может, оттого что я давно их не писал, самостоятельных и больших рассказов и разгон начался с «Медвежьей крови» — спасибо ему хоть за это!). Рассказы эти помогли мне преодолеть душевную депрессию и творческий застой, хотя по мелочам много чего делал — да все не то...

У меня просьба к Вам и к редакции — оставить посвящение Ульянову — он знает о рассказе и о посвящении, отнесся к этому почти благоговейно, и я окажусь не просто трепачом, а попаду перед ним в очень неловкое положение.

Обогатившись опытом литературно-творческой работы по телефону, я уже сам, по доброй воле, по своей (тьфу на меня, на про...) поработал за цензуру и карандашом снял «опасные места» — все же сам я сделаю это лучше и

чище, чем «чужие руки», и в первом рассказе удалось мне вывернуться из «щекотливых мест и ситуаций» (о, Господи! Как иногда сдохнуть хочется!), — и более его портить не надо, а снимут — что ж, не первый раз булыжник на голову. Будут лежать рассказы в столе. Соберется сборник — пойду в верха, хотя и знаю, ничего хорошего из этого не выйдет — могу сорваться, и срыв этот давно назрел: ведь правят и уродуют меня с первых рассказов! Название рассказа изменил оттого, что он «вылез» из замысла, пошел дальше и перерос прежнее название. Кажется, и закончить его удалось нужным аккордом — этаким человеческим вздохом о жизни и обо всех нас, незаметно приближающихся к своему естественному концу...

Посылаю «Жизнь прожить» с правкой и такой экземпляр, чтоб видно было правку и вам было бы легче ориентироваться. Рассказы большие, если что-то нужно заплатить на перепечатку — сообщите, куда и кому, немедленно уплачу.

Кланяюсь. Желаю Вам и журналу успехов и хоть маленького послабления со стороны дозревающих наше хилое и горькое слово\*.

*Ваш Виктор Астафьев*

[1987 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

Извините, что пишу Вам, очень занятому человеку. Но очень уж большая потребность у меня. Даже не смогу, наверное, четко выразить, что же мне надо. Но в этой жизни у меня всего дважды возникало желание после прочтения книги, рассказа-романа, написать автору. Один из них — Вы. Что-то очень остро-созвучное моей душе есть в Ваших книгах. Открыла я их для себя давно, не буду перечислять, с чего, с каких произведений это началось. По-своему, в разное время жизни, разные книги переживались по-разному. Но всегда очень остро, очень трогали душу. Это письмо вызвано Вашим рассказом «Блажь». Как же Вам удалось найти то самое слово о «чувстве вины» перед великим писателем И. Буниным?! Имен-

---

\* Не помогло. Один рассказ — «Жизнь прожить» — был изуродован терпимо, второй, «Тельняшка с Тихого океана», пришлось мне снять уже набранный и сверстаный и передать в другой журнал.

но это чувство живет во мне, когда я, как фанатик, открываю томик с его рассказами «Антоновские яблоки», его можно перечитывать десятки раз и чувствовать при этом запахи той богатой и щедрой осени, России.

Однажды ночью я дочитывала Ваш сценарий «Не убий». Что в душе было при этом?! Такие минуты переживаешь в жизни нечасто. И спасибо Вам за это!

Живите долго, постарайтесь не болеть. Много в жизни горького приходится испытать. Хорошо уже то, что люди носят в себе воспоминания о героях Ваших книг, горюют с ними, ругаются, смеются. Хорошо, что Вы эту людскую боль и радость тоже очень тонко чувствуете. На Вашу беду, по-моему, слишком тонко, и поэтому живется Вам нелегко. Но тем не менее, будьте по возможности счастливым!

Спасибо за Бунина, за Оболенскую, за Россию и всех русских!

*С уважением Людмила Привалова, 43 года*

[1987 год]

Дорогой Виктор Петрович!

Признаюсь, давно хотел написать Вам, моему любимому автору со времен опубликования знаменитой повести «Кража», что было подобно разорвавшемуся снаряду в тихой заводи отечественной литературы. Перечитал ее недавно с еще большим удовольствием. Как говорил Лев Толстой: «Эта вещь вне времени»!

Давно хотел поблагодарить Вас за все, что Вы делаете для Родины, но подстегнуло меня Ваше выступление в Иркутске, переданное, правда, в сильно искаженном виде Центральным телевидением. Вы первый прорвали завесу молчания вокруг имени истинного патриота нашей многострадальной России и великого писателя, за что от всех почитателей таланта Александра Исаевича земной Вам поклон.

Вы поклонились праху Ивана Алексеевича Бунина, это прекрасно. Но если Вам еще раз придется побывать в Париже, то поклонитесь земным поклоном могиле замечательного русского человека, благородство и редкостная в наш век принципиальность общеизвестны, автора первой правдивой книги о войне «В окопах Сталинграда», выг-

нанного из родной страны и умершего на чужбине, Виктора Платоновича Некрасова.

Весь народ наш ждет от Вас романа о войне, где была бы сказана вся правда о войне, о нашей с Вами войне, которая до сих пор еще остается тайной для тех, кто ее воочию не видел.

Ведь должен же кто-то сказать всю правду о десятках, о сотнях тысяч погибших во имя того, чтобы удовлетворить чье-то тщеславие, желание заработать лишний орден или из боязни гнева «сверху». Эта страшная правда никем не раскрыта. И нигде не сказано, что генералы-то проиграли войну, а выиграл ее русский солдат. И никто иной. Но какой ценой!

«Мы за ценой не постоим!» — поется в фильме «Белорусский вокзал». А надо было думать о цене. Но, увы...

Только Вы сможете сделать это, рассказать истинную правду, ибо Бог дал Вам большой талант и большое, страждущее за Россию сердце. А после Василя Быкова и, Царство ему Небесное, Константина Воробьева, никто этих страшных тем не касался.

После «подсахаренной водички» пора, наконец, читателям испить настоящего «напитка», сколь бы горек он ни был.

Будьте здоровы и храни Вас Господь! Крепко жму руку. С фронтовым приветом

*Борис Смагин —  
ветеран, журналист и даже немного литератор*

[1987 год]

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!

Когда Вы на страницах «Правды» поделились своими мыслями о блокаде Ленинграда, я отправила письмо в «Правду», в поддержку Вашей точки зрения, хотя я очень люблю свой город и горжусь его подвигом. Получила ответ: мое письмо показалось интересным, но большинство читателей не разделяют мою (Вашу) точку зрения. После этого был шабаш в исполкоме Ленинграда, чем дело кончилось — не ведаю, но вот 14-го ноября появилась статья (полоса) в ленинградской газете «Смена» про «Пепел, который не стучит в наши сердца». Вот о чем там говорилось: «У нас в городе до войны на окраине, там, где теперь Парк Победы, была свалка и кирпичный заводик с

тоннельными печами. Во время войны в этих печах в блокаду сожгли миллионы трупов ленинградцев, а пепел сбросали в карьер, заполненный водой. В этом же парке хотели водрузить здоровенный памятник вождю, но не успели. Почил. Памятник этот жители Гори уволокли к себе и теперь там торчит эта громадина.

Нигде этот миллион солдат с Пулковских высот, женщин, детей, погибших от голода в домах и на улицах, — не учтен. Кто занимался этой «работой» и остался в живых, убедили, чтоб «не бередили раны рассказами об этом», а помогали бы создать памятник жертвам... Крутятся и зыбаются в том парке карусели и качели, как ни в чем не бывало... а под ногами, под каруселями, под танцплощадками — пепел...»

Собираюсь со своими школьниками поехать в Чудово, где все еще не захоронены останки бойцов 2-й ударной армии, преданной командованием. А сотни тысяч душ полегли в болоте под Мясиным бором и тоже не все преданы земле. История страшной блокады только еще начала открываться людям...

*Извините меня. Будьте здоровы и живите долго.*  
*Ю. З. Рютина*

[1987 год]

Дорогой Виктор Петрович!

Почти все, написанное Вами, прочла. В жизни моей было много такого же, что пережили Вы.

Вы искали рубль, чтоб пойти в кино, и я искала с Вами. И нашли. А я, студентка, занималась черчением, голова кружилась от голода и усталости (43—48 гг. Менделеевка), — вышла на улицу и увидела под ногами 10 рублей!

Из Ваших книг владею лишь «Царь-рыбой» и «Всему свой час». Остальное время от времени беру в библиотеке. Чаще всего «Последний поклон». Над «Ухой на Боганиде», «Комаровым» — пролила ведро слез.

Однажды в Евпатории богатый геолог просил продать ему «Царь-рыбу» дороже, чем стоила путевка. Правда.

Желаю Вам многих лет жизни, доброго здоровья и радостной усталости в Вашем нелегком труде.

*Китаева Л. И.,*  
*Новосибирск*

28.12.87 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Прошу простить меня ради Бога за то, что, по-существу, до сих пор не ответил на Ваши письма. Когда получил Ваше страшное письмо, поначалу не мог собраться с мыслями, боялся писать пошлые слова, которые не помогут, а тут моя жена чуть не отправилась на тот свет после операции...

От всего пережитого и от усталости от прошлого сезона я впал в депрессию, слонялся из угла в угол, не в состоянии ни писать, ни читать, ни гвоздя вбить. А потом навалились на меня все долги, обязанности, гастролы, заседания, хлопоты и интриги.

Теперь заканчиваю кочевье. Был в Италии, в Вероне («Князь Игорь»), затем переехали в Вену — спел два спектакля: «Русалку» Дворжака и сольный концерт. Затем — Будапешт, там вышла моя книга на венгерском языке, надо было присутствовать на представлении публике нового издания, потом спел сольный концерт, начал его тремя русскими колядками, поскольку у них там было Рождество и зал был украшен соответственно. Вчера вернулись в Вену и завтра, наконец, в Москву.

Как Марья Семеновна себя чувствует? Пришла ли хоть немного в себя? А дети? Я потерял маму в 9 месяцев, не помню ее. Потом отец ушел на фронт, отделался ранениями и контузией. А как Вы? Не знаю, когда сделан снимок, опубликованный в «Правде», но мне показалось, на лице Вашем столько горя, столько боли...

Ария «со свистом» не из Фауста «Гуно», а из оперы Арриго Бойто (итальянца) «Мефистофель». В ней дебютировал в Ла Скала Шаляпин, поразив итальянцев не только голосом, но и своей гениальной игрой. А пел он впервые за границей, да не где-нибудь, а в Италии, в Ла Скала, да не в чем-нибудь, а в итальянской опере, где чужих слушать не любили и не любят. Это у нас иностранец может на сцене Большого театра испоганить Бориса Годунова, а наши боровики пускаются во все тяжкие взахлеб хвалить, одновременно освистывая и оплевывая нас, русских артистов. Не обращайтесь внимания на концертмейстеров нашего театра, у них свой язык, им русскую речь больно слушать.

Читаю Ваши «Затеси», но медленно — быстро читать не умею хорошую настоящую прозу, настоящую литера-

туру. И времени мало. «Падение листа» прочел, да, это Вы. Меня поражает Ваше музыкальное чувство. Потрясающая вещь — «Навеки спасибо». Мой сын первый прочитал ее (я был в отъезде), приезжаю — дает мне: «Ты знаешь, я читал, даже прослезился» (парню 23 года). Я наизусть знаю эту запись Тосканини, страшно люблю ее и люблю слушать (хотя сам пою «Реквием», а то, что пою, обычно не слушаю в другом исполнении).

Надеюсь, что смогу выбраться в Красноярск, когда будет потеплее (сейчас уже не выношу путешествий зимой нашим аэрофлотом по внутренним линиям — простужаюсь). Будете ли Вы в июне в первой или во второй декаде? Прилечу и спою для Вас все заветное. А если пришлете ноты песни Аркадия Нестерова (это хороший композитор), — спою и ее.

Поздравляю Вас и Марию Семеновну с Новым Годом и Рождеством! Желаю вам обоим сил духовных и физических! Екатерина Дмитриевна и Максим кланяются Вам и желают добра.

*Ваш Е. Нестеренко*

**[15 января 1988 года]**

Дорогой Евгений Евгеньевич!

Вот уже некоторое время живем мы «под знаком Нестеренко»! Сперва я прочитал горькую беседу с Вами о Мурсорском в «Советской России» (и представил: если б фамилия у него была Факторович, сколь камней, памятников и слов «самый гениальный» свалилось бы на нас! Уши б прожужжали, совсем бездарными бы нас поименовали на фоне гения Факторовича!). Но я иногда думаю, что наша безалаберность, наше благодушие, часто переходящее в бездушие, — все же не навязчивая трескотня, а где-то и скромность науки, достоинство ее, достойно в труде и делах выраженная и от сознания талантливости происходящая. Сказали же Вы, что «в Милан не стажироваться ездил, а петь»...

Славно! Только приходится нам, как нашим футболистам (я тоже яростный болельщик, и Марья Семеновна до болестей была таковой, — давние мы болельщики «Торпедо», а я, как старый железнодорожник, потихоньку еще болею за «паровоз», будь он неладен! Но хоть в Высшую



лигу вернулся и то ладно. Однако подбирают отходы «Спартака», а надо бы своих на локомотиве привезти, так вот, как нашим футболистам и боксерам за границей, приходится нам бороться и дело делать с явной форой, в нокаут противника посылать. Вот Марья Семеновна и перепечатывает мои рукописи десятки раз. Иначе нельзя. Никто у нас халтурную, пусть и «новаторскую» работу не примет, да и обрадуются любому нашему провалу, недоделке, неряшливости. Поэтому я был страшно рад (и все, кого я спрашивал, — я-то могу быть и субъективным), Вашей передаче из Останкино.

Браво! Браво! Браво! Браво, что певец наш по-прежнему подтянут, красив, голосист, причем голос, как дар, шарфом не укутан, Бог его дал, для людей, для увеселения, для духоподнятия — нате! Я весь без остатка Ваш! Надо — в деревне запою, надо — на сцене запою. И поговорю без ужимок, без этого, из кожи вынимаемого «юмора», без претензий, ибо прекрасное и без того прекрасно и величаво.

Словом, передача Ваша была большим праздником для всех разрозненных русских людей, и в связи с этим вспомнил я, что все лучшие творческие передачи из этой студии были как раз сделаны русскими людьми, и как тут не назвать нас шовинистами! Ваш покорный слуга ведь тоже на той сцене бывал и рюкзак благодарных писем получил.

Затем я получил газету, где было сообщение о награждении Вас «Золотой звездой» и скупыми, но искренними похвалами в Ваш адрес. Конечно, репутация всех наших звезд и медалей шибко товарищем Брежневым поддешевлена, но коли все-таки — «медаль «За бой», медаль «За труд» из одного металла льют», — какой все же молодец Александр Трифонович.

Вот со всеми наградами, юбилеями и «явлениями народу» — (ох, как они необходимы в пору смутную нашему подзаблудившемуся, замордованному, страхом и унижениями повязанному народу!) — со всеми и поздравляю. Но самое главное, что пронесло беду над Екатериной Дмитриевной. Половина, коли ее Бог дал, не восполняется и не приставляется ни с какого боку, как я понял, прожив со своей Марьей Семеновной почти сорок пять лет. Особенно во дни тяжких бед, во дни болезней и трудов. Моя и ростику-то — от горшка два вершка, а все, как запатает меня, — вот оно, ее плечо, и крепкое какое!

Нашему, мужскому плечу не всегда и вынести те тяжести, какие женам посильны.

Дай Бог ей здоровья, чтоб как можно реже появляться у врачей.

А мы живем, волочим свое горе по земле и, как не умерли, — сами удивляемся. Днями будет пять месяцев, как лежит наша доченька под снегом, одна, где «одиноко и темно». Какое-то время дети были с нами, но сил наших не хватает на догляд, друзья и сами мотаются и мучаются со своими семьями. Сперва мы отправили внуков к сыну и невестке, ребятишки шибко привязаны друг к дружке, трудно живут в разлуке, так будут пусть вместе.

Квартиру еще не соединили и новую не дали, хотя и обещали, — все пять человек сейчас сошлись в двухкомнатной квартире, на зарплату реставратора и преподавателя. Пока мы живы, будем помогать всем, чем можем. А потом? Вот и неохота иной раз, а молишься: «Господи! Продли мои дни ради...»

Я полежал в больнице, а в октябре на неделю съездил во Францию. Побывал на могиле Бунина (это и была моя горькая мечта). Поклонился Ивану Алексеевичу, попросил у него прощение за всех нас, и мне даже легче сделалось. Еще очень хотел увидеть могилу княгини Оболенской, которой отсекали гильотиной в 1944 году ее прекрасную и отважную голову современные варвары. И Господь помог мне найти ее могилу среди многих и многих русских могил, может, и цвета русской культуры, отваги и совести.

Вернулся и продолжил оставленную и остановившуюся работу — делать новую редакцию — на всю жизнь растянувшуюся работу над книгой «Последний поклон». Конечно же, работоспособность уже не та, и зима длинная, серая, хлипкая... Но глаза боятся, а руки делают. Осталась последняя книга, и половина месяца на ее проработку. В конце января или в начале февраля надо везти книгу в Москву, а сдавши, ложиться на месяц-полтора в легочную клинику. Место хлопочут, авось и получится. Легкими я маюсь давно и все подлечиваюсь, а сказали мне: надо лечиться и серьезно.

С вашего позволения, я, будучи в Москве, Вам позволю. Может, и в театре удастся побывать. Это для меня всегда большой праздник.

Больше всего меня обрадовало, что налаживается жизнь Большого театра, а то уж до меня доходили слухи, что и

его, и Малый хотят разорвать на куски, как МХАТ, современные псы, которым все равно, что рвать: рубаху ли на российском человеке или культуру его. Культуру особенно сладко им терзать и пластать.

Посылаю Вам ноты Аркадия Нестерова. Песня «Раздумье», право, совсем недурна, а «Чай» поется после приема не чая, а иного напитка и не одну же Вы арию Дон-Карлоса за семейным столом поете, может, и эту дурашливую песню когда грянете. Горьковчане (они себя называют только нижегородцами), и старые, и малые, нарушая постановления Облесполкома, после спектакля, ночью как грянули этот самый «Чай», так, что я аж на стуле заподпрыгивал. Переписывать ноты у нас некому, авось так дойдут. Моя почта — тьфу! Тьфу! Замедляется в пути, но почти никогда не теряется.

Еще одна новость — с 1-го номера в журнале «Москва» вместе с Карамзиным! начинают печатать и мою послевоенную вещь, под названием «Зрячий посох». Если заглянете в нее, то найдете все, что я хотел бы сказать в этом письме. Но пощажу бумагу и Ваше время, да и повторяться не стоит.

Был безмерно рад Вашему письму, и на сердечность Вашу и я, и Марья Семеновна хотели бы ответить самой искренней сердечностью. Сердца наши уже подызношены, но еще хранят долю тепла и света, его и передаем Вам.

Пожалуйста, будьте здоровы, пойте, чаще появляйтесь на люди, и пусть минуют Вас всякие беды и болезни, Ваш дом и Вашу семью.

Екатерине Дмитриевне и Максиму от нас отдельный поклон и пожелания на весь новый год — успехов и здоровья.

*Кланяюсь, обнимаю Вас, Виктор*

20.3.88 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Простите меня, я покушаюсь на Ваше время. Думаю, у Вас его всегда немного, но Ваша человечность, ум и доброта подсказали мне, что совет (в деле, которое мучит многие умы и считается очень важным) можете дать именно только Вы. Слушайте!

Новое в нашей жизни (перестройка и демократия) развязало языки, всколыхнуло умы и долгие годы стоявшая «обыденщина всколыхнулась, вскипела» и начала бурлить, как каша в котле.

Разговоров! И по делу, и лишь бы язык почесать! Последнее всегда очень злит.

Поведу разговор о «переселении народов в начале войны». Переселяли из низовьев Волги калмыков, переселяли многих из Кавказа, Латвии, Литвы и Эстонии и более 600 000 человек сразу, одним махом, всю Республику немцев Поволжья. Не прошло и недели, очистили. Это в начале войны, когда транспорт был забит до предела, везли войска, военную технику, эвакуировали заводы, везли на восток скот с запада, и в скотских же вагонах везли миллион, а может быть, больше в «вечную ссылку», в Сибирь!

Спросите: за какие грехи?.. Ни за какие! «Именем закона» — постановление генералиссимуса, без разговоров: взять с собой только нужное, самое необходимое, грузиться на пароходы до ж/д станции, в вагоны... и марш в «неизвестность»...

Куда? За что? Никто не знал.

С горькой усмешкой вспоминаю переполох, кто-то брякнул, что Гитлер затеял войну с Россией из-за того, что им отказали переселить немцев с Волги в Германию, вот, мол, нас везут в Германию, и война кончится. Начался переполох — ведь мы же русские немцы! Мы не хотим в Германию (конечно, были и такие, кто хотел).

Дни были осенние, ненастные, когда появилось солнышко, стало ясно — нас везут на восток. Утихомирились понемногу, но была ли душа спокойна? Нас везли 11 долгих утомительных дней, но на этом я кончу пока.

Мне ни-ког-да не забыть 8 сентября 1941 года. Оно и для всех осталось большим рубцом в памяти. Я, русская девчонка, преподавала в немецкой школе русский язык. Сама я из Саратова, родные жили там, а я по распределению поехала. Там вышла замуж за математика, немца по национальности. Осенью 40 года многих брали в армию служить. Муж уехал тоже, и я с маленьким (грудным) Витенькой провожала своего любимого человека выполнять долг молодого мужчины — защитника Родины. 22 июня 41 года для нас, как и для всех людей необъятной Родины, грянул страшный гром — война.

Жизнь стала суровее, тревожнее, работать стали больше. Мы в школе приготовились к началу учебного года и начали занятия.

В село приехал отряд солдат с молоденьким офицером, мы думали, что они назначены вылавливать вражеских парашютистов (прошла молва такая). Женщины угощали солдатиков фруктами, чем-нибудь вкусеньким (сыновья тоже где-то служили).

8-го сентября сельсоветовская сторожиха бегала по улицам (село было большое, красивое, в садах) и созывала всех к клубу. Слово «обязательно» насторожило всех жителей и моментально все собрались там.

Офицер зачитал приказ: «именем главнокомандующего...» и чтоб к вечеру все, кроме русских (а нас было двое в селе), взяв только самое нужное, собрались на Волге у взвоза, подойдет пароход и заберет нас. На вопросы: куда, за что? и т. д. он только отвечал: «Не знаю».

Что поднялось в селе?.. Можете подумать! Митриевна (старуха) ехать решила с племянником. А что делать мне?

Бабушка (немка), жившая с нами, в слезы: одна-одинешенька, старая. Куда?

Я пошла с документами к коменданту. Он выслушал меня, посмотрел документы и говорит: «Вам можно остаться, а сын должен уезжать, в свидетельстве о рождении он значится — немец». Я должна оставить ребенка, который сосет грудь! Уже не помню, что я кричала, что со мной было. Кошмар! Комендант понял, дал мне воды, я успокоилась, тогда он посоветовал — езжайте со всеми. Села будут все пустыми, и вы останетесь с малышом одна, добраться до Саратова вы не сможете, а туда приедет и муж, вы будете вместе. Наши учителя и бабушка уговаривали меня ехать с ними, обрадовались моему решению.

Вечером, в сумерки, все были на берегу, горели костры, готовился ужин. Настроение было угнетенное. Сидели на корзинках, ящиках и узлах. Брошенная шутка (для ободрения) сразу гасла в тревожной тишине.

Поднялся ветер. На берегу, под горой, он был не так силен, а в деревне было слышно, как он воет. Мой маленький сынишка закапризничал, стал просить свою любимую игрушку — Мишку, а я ее дома в ящике забыла. Решила сбегать за ней. Дом наш стоял на другом конце деревни. Было темно. Быстро поднялась на гору и помчалась по улице: ветер бил в лицо, трепал одежду, гремели открытые калитки, скрипели ставни, зияли страшной чер-

ногой окна, осиротевшая скотина лежала где попало, грохоту калиток и ставней аккомпанировал жуткий вой собак (они беду чувствуют). Ни огонька, ни человека! Меня обуял страх, прямо безумный ужас: казалось, за мной гонятся тысячи чудовищ, свистя и вой, протягивают ко мне руки и вот-вот схватят меня! Как ветер, неслась я к дому, распахнула дверь (замки никто не вешал), зажгла спичку, нашла игрушку. Вся мебель стояла, как будто там живет хозяин. Все прибрано, чистенько. Так было в каждом доме. Спичка погасла и, гонимая ужасом, я понеслась на берег. Обессиленная, опустилась на наш узел, долго не могла слова сказать. А если бы я осталась одна в деревне?

Под утро началось «великое переселение». Пароход еще грузил соседние деревни. Пошло-поехало. Долгая история. Сибирь. Кто нас здесь ждал?.. Комендатура. Отметка. Слежка, голод, холод, лишения, а ко всему «ласкательные слова» — «фрицы, фашисты, перебить вас!» Как мы только все это пережили? За какую такую провинность? Стерпели, обрели вторую Родину — Сибирь, Казахстан и т. д. Сейчас все живут хорошо, дружат с сибиряками, сами стали сибиряками.

Гласность взбудоражила, начали об этом вспоминать в немецких газетах. Конечно, попробовать рассказать причину переселения, по-моему, надо. Но требовать «образования Республики немцев Поволжья» считаю абсурдом. Кто хотел, уехал туда в 60-х годах и живет там, а что же нас «именем какого-то нового закона» в принудительном порядке, бросив, что годами нажито, переселять обратно? Как Вы думаете? Согласитесь — чушь!

А один какой-то «патриот» написал (правда, я это не читала), что немцы добровольно, осознав положение, переселились на новые места... Как Вам это нравится? Здорово?

Здесь и жалобы, что нет немецких школ, мало, совсем мало немецких книг, не с кем общаться, дети не знают родного языка — не перечтешь жалоб.

Я все это считаю «мышьиной возней». Злюсь. Да, эти 47 лет сделали свое дело. Немцы растворились, рассосались. От немцев остались только немецкие фамилии, да фиктивная национальность — немец. Наши внуки с таким же «успехом», как и русские, изучают в школах немецкий, как иностранный язык. Да и мы, старики, уже почти не разговариваем по-немецки.

Живем лучше не надо. Пенсию приносит почтальон

на дом. Все, все, что человеку требуется, у нас есть. Нет только здоровья, да жить мало осталось. Обидно.

Есть у нас друг-писатель (рижанин), этого писателя я ребенком на руках носила, так я его уговариваю написать о переселении. Ведь такое дело канет в историю, а русская история ведь не очень богата!

Он колеблется. Да, это нелегкий труд! Это ведь не 1 на 10 человек, а тысячи тысяч! И у каждого своя судьба, свое пережитое. Трудно! Трудно!

А может быть невозможно?

А может, и не надо?

Вот это мой вопрос к Вам, Виктор Петрович! Дайте совет!

*С уважением Александра Мясникова-Шультайс*

Очень люблю Вас читать, но достала только 3 книги в свою библиотеку — «Царь-рыба», «На далекой северной вершине», «Всему свой час» и другие. «Ода русскому огороду» — прелесть! Читая, чувствуешь землю руками, видишь грядочки. Люблю землю, огород, свою теплицу и цветы. Будете в Атаманово, заходите, примем, как желанного гостя.

*Александра Мясникова-Шультайс,  
Село Атаманово*

24.4.88 г.

Дорогие коллеги, товарищи, друзья!\*

Прожит и отработан еще один отрезок времени, надо заметить, времени весьма сложного и смутного, о котором уже не скажете, как недавно: «Бывали хуже времена, но не было подлее», но определенно утверждать, что оно во всех отношениях благоприятно и благотворно, сказать я тоже не возьмусь — слишком много пережито всяческих перемен, обещаний и перестроек или чего-то похожего на них.

Однако наладившаяся творческая погода, прекращение склок, наскоков со стороны демагогов и краснобаев, отсутствие ссор и раздоров, благотворно сказались на работе организации. Еще никогда не было такого наплыва рукописей в альманах «Енисей» и в книжное издатель-

---

\* Письмо писано перед отлетом в Японию.

ство. А альманах и издательство могут себе уже позволить выбирать нужную рукопись, ориентируясь на качество ее, а не на занимаемое положение автора или юбилейную дату, что, кстати говоря, отрицательно влияло, иногда еще и влияет на работу нашего книжного издательства.

Словом, главный девиз перестройки: всем много и честно работать, а руководству — не мешать много и честно работать, в основном, исполнялся и выдерживался.

Хорошо и плодотворно работали два Сергея — Задереев и Федотов в альманахе, в значительной мере способствовав улучшению его качества.

Но к огорчению моему и нашему должен заметить, что альманах так и не вышел из роли пасынка книжного издательства и крайкома партии. Почти ничего не удалось сделать с улучшением оформления альманаха, его формата и внешнего вида: он по-прежнему похож на сохлую коровью лепешку. Я думаю, всем: писателям, издателям и направителям из крайкома должно быть попросту стыдно за свое единственное периодическое издание, и коли всерьез принимать и понимать слова о высокой культуре Сибири и, в частности, нашего города, то визитная его карточка с прекрасным названием «Енисей», свидетельствует как раз об обратном, и провинциально-убогое «личико» альманаха компрометирует высокие слова о высокой культуре.

Надо добиваться ставки для редактора, и самого редактора выбрать достойного, заинтересованного и, желательно, патриотичного, готового какое-то время самоотверженно работать, а не числиться в качестве дежурного по альманаху.

Я знаю, что Сергей Задереев хочет уйти из альманаха. Надо поблагодарить его за старание в налаживании «альманашных дел», дать возможность поработать творчески и попросить на его место Владимира Чагина — человека зрелого, грамотного и сосредоточенно вникающего в наши издательские дела.

Должен заметить, что сама жизнь писательской организации — от собрания до собрания — прошла вяло. Бюро писательской организации и глава его Владилен Белкин — работали мало и плохо. Достаточно сказать, что за это время не было проведено ни одного сколько-нибудь заметного творческого мероприятия — разговоры о выездном секретариате в нашем крае, который не только вско-



лыхнул бы творческую жизнь, но и способствовал бы решению вопроса с приемом в Союз писателей наших, уже не молодых «молодых», — далее разговоров не пошли, в том числе и наш секретарь палец о палец не ударил, чтобы что-то предпринять и провести в городе и крае, более того, не было проведено даже традиционное совещание молодых авторов края, не было ни конференции, ни семинара, — работа с молодыми пущена на самотек и всей тяжестью легла на головы и плечи и без того сверхзагруженных редакторов книжного издательства. Спасибо Олегу Корабельникову и работникам «Красноярского комсомольца», что хоть они не забывают молодых, часто и охотно их печатают, делают обзоры «продукции» литературных объединений, сообщают об их существовании. В Союзе писателей об этом уже давно забыли. И вообще, пока здесь больше видимости работы и заботы.

Надо бы все же подумать о замене секретаря отделения человеком, который сможет и захочет работать на этом ответственном месте, а не просто «отдежурить» очередной срок. Вот Белкин, переизбравшись, собирается на полгода уйти в творческий отпуск — это значит, что в Союз засядет не «хозяин», а очередной «дежурный», и будет терпеливо ждать, когда дежурство это кончится.

В соседней Иркутской писательской организации жизнь, в том числе и общественная, идет живо, напряженно и интересно. У нас же — этакое тихое стоячее болотце. Надо его как-то расшевелить, надо о будущем заботиться, т. е. о молодых, особенно о норильчанах, где несколько поэтов работают очень интересно, появляются и прозаики.

Я уже говорил о том, что творческая атмосфера в Союзе и среди писателей стала чище и здоровей, но есть еще в организации люди, которым хочется раздоров, сплетен и свалки, — я считаю поэму Яхнина «Плотина» произведением не просто дурно и бесталанно написанным, но и провокационным, с сионистским душком, нацеленным на то, чтобы хоть мимоходом, но оскорбить одного из молодых писателей, членов нашего Союза. Яхнин из кожи лезет, чтоб показать и «изобразить», какой он «передовой» и как «перестроился», но, далее показывания фигуршек в кармане и высунутого языка в спину своих товарищей по Союзу дело у него не идет, да и трусливая его и подловатая натура дальше и не пустит.

Я думаю, что писатели и работники наших творческих

Союзов дадут достойную отповедь творцу «Плотины» и поставят его на место, он давно в этом нуждается.

Желаю всем вам, дорогие товарищи доброго здоровья, вдохновения до следующего собрания, прежней дружественной спайки и расположения, доброжелательности друг к другу, тепла, хотя бы на конец весны и на все лето. Летя над просторами океана в загадочные земли, я думаю о вас и сердцем вместе с вами.

*Виктор Астафьев*

3.6.88 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Только что с горечью и волнением просмотрел телевизионный документальный фильм с Вашим участием «А прошлое кажется сном» о трагической судьбе сибиряков и в особенности жителей кормилицы-деревни во времена жуткой сталинской инквизиции по отношению ко всякому творчески мыслящему человеку периода 1929—53 годов.

Во мне, казалось бы, не должно было возникнуть никакого возражения на это тягостное воспоминание детей того тяжелого времени. И вдруг поймал себя на каком-то чисто внешнем невосприятии материала фильма. А все потому, что у меня все время стоит перед глазами просто дикое по своей дремучести — иначе не назовешь — интервью Анатолия Иванова в № 5 «Нашего современника» за этот год, где он недвусмысленно призывает не судить слишком строго такую «сложную личность» как Сталин и даже сожалеет, что в свое время далеко не всех из тружеников земли подвели под чудовищное определение «враги народа», не уничтожили их поголовно, т. к. осталось наследное семя погибших отцов и дедов, которое все помнит, все-все...

И это в журнале, членами редколлегии которого состоят такие уважаемые в народе писатели, выразители его страдальческой судьбы, как Виктор Астафьев, Василий Белов, Иван Васильев, Валентин Распутин.

Как это все тогда прикажете понимать?

Во мне подобное явление пока что никак не укладывается и находит объяснение лишь как некий несуразный казус нашей искаженной до неузнаваемости действительности с ее парадоксальными метаморфозами.

Или я просто чего-то недопонимаю и это не более как такая уже до противного привычная, многоликая психология писательского приспособленчества к «своему», в смысле группирования сил, художественно-публицистическому печатному органу?

Если же нет, то что Вам лично и всем вместе препятствует изменить лицо журнала по содержанию и направлению на более мужественное в своей демократичности, сделать его максимально приближенным к истине в подробном анализе как нашей истории, так и совсем недалекого прошлого советского периода, или, на худой конец, просто выйти из состава редколлегии журнала, который придерживается столь консервативных взглядов в оценке сталинизма и периода застоя? Выйти спокойно, с достоинством уважающих себя писателей и дорожающих признанием народным, а то даже громогласным объявлением об этом, другим в пример, через «Литературную газету».

Хотел бы воочию видеть с Вашей стороны живой пример гражданского поступка в действительной, а не только словесной, поддержке столь важного и значимого для будущего нашего Отечества и его народов процесса перестройки или, по крайней мере, в случае малодушия, иметь хотя бы какое-либо объяснение всем этим несуразностям, если это Вас не слишком утруднит и не покажется Вам совсем не стоящим особого внимания. В противном случае отсутствие последнего поставит меня в некий нравственный тупик и заставит усомниться в истинной искренности многих из писателей, тем более лучших среди них, которые служат большинству личным примером для подражания в выборе своей активной жизненной позиции.

Доброго Вам здоровья и творческого настрою.

*Ваш младший коллега по украинской прозе  
Алексей Микитенко*

9.6.88 г.

Дорогой Кирилл! (Перевалов)

Уж пожелтело твое письмо, лежучи на столе, а я все собираюсь ответить. Такой год трудный, длинный — спасу нет. По инерции я еще ездил, что-то делал, в основном

текучку. А потом напала апатия, даже шевелиться не хочется, а уж думать тем более.

О Франции и о том, что побывал на могиле Бунина, вспоминал не раз и вспоминаю, даже по телевидению поведал в связи с заданным мне вопросом насчет Солженицына. Да и помню я Францию в основном по кладбищу. Помню слитно, подробно и даже солнечный осенний день ощущаю, и близким людям, как чудо и творение небесное, рассказываю о том, как я нашел княгиню Вику Оболенскую. Наверное, у человека бывают в жизни две любимые женщины, одна на земле, а другая в пространстве времен и сфер, как бы выдуманная, а то и подсказанная каким-то или чьим-то далеким, может, и запредельным сознанием. Не знаю, бывает ли это у женщин и у всех мужчин, но у поэтов и разных «повернутых» людшек существует. Подсознание бывает часто ярче и богаче сознания, во всяком случае оно, расходясь с мерзостями и мелочами земного сознания, мучает человека всякими несовершенствами, недостижимостью того, что мы глупо называем идеалом.

Вероятно, существовала или существует где-то материя более совершенная, чем наш внутренний мир, наша душа или то, что от скудости нашего ума мы называем душой единственное, нематериальное, грубо говоря, чем мы вроде бы владеем, но ни «поймать», ни постичь, ни объяснить так и не сумели, да и сумеем ли? Хватит ли времени и ума?

Однажды, будто во сне явившись, прекрасная женщина уже существует в воображении и это награда духа нашего, его вечный свет, его надежда, большей частью неосознанная, тайная, согревающая и дарящая свет иной, священный — как его принято называть, может быть, обладание этой тайной и есть счастье человека?!

Я не испытал ни большого удивления, ни тем более потрясения, что встретил далекую женщину мертвой. Она не может быть для меня мертвой, она ведь жива, всегда присутствует во мне и отсутствует в земном мире. И только мое физическое представление о том, как ей, живой, отрезали голову гильотиной, как преступный нож, выдуманный преступниками, чтобы казнить невинных и святых, причиняло и причиняет боль, ибо я и сам ее испытывал не раз и точно знаю ощущение холодного металла в горячем теле и ток крови со звоном, с удаляющимся шумом в голове и с остановкой всего этого. Разом! Мучи-

тельный миг и уже не сознания, а чего-то, в теле заключенного, в клубок свитого.

Словом, мне, земному человеку, жаль земного человека, но дух жив, и он не может быть убит даже такой могущественной, чудовищной машиной, как гильотина.

Выдуманная мною княгиня Оболенская, не зная того, безымянно существовала еще до ее рождения во мне и во мне же существует после ее смерти, может, будет существовать и после моей. Ведь досталась же она мне из чего-то, из чьей-то памяти, из чьего-то духа, заключенного в пространстве, и кто меня разубедит в том, что оно не всевечно? Значит, человек бессмертен? Не все, а только те, кто достойны этого, у кого могуч бессмертный дух, настолько, что может пройти сквозь время и пространство.

Вот видишь, какие молодые думы во мне еще живы, хотя душа устала, и порой мне кажется, что я уже столетний старик.

С большим юмором читал я в «Правде» заметку Володи Большакова о том, как кормят безработных в Париже. Нашим бы трудягам такое обслуживание, а детям в «передовых» наших детсадах — еду безработных, а то их уж закармливают ивасями, капустой и лапшой из солоделой муки.

Долгое житье в парижках вредно — уж очень несовершенной начинается казаться наша жизнь и страна, где «по заслугам каждый награжден», а «их» житье плохое и вообще они «не так» живут, как мы, и, что самое дикое, — не хотят, как мы, жить.

Коммунисты, накормленные в буржуйских харчевнях первоклассными продуктами, кроют буржуев в газетке «Юманите», кроют за разные несовершенства. Им бы к нам в Бийск либо в Шарыпово приехать и вкусить пролетарских харчей, пожить в нашем малогабаритном раю, поотравиться в столовых раз пять в месяц, постоять в очередях, порвать штаны на наших асфальтах и пуговицы в трамваях, то есть поработать в наших «экстремальных условиях», как сейчас говорят, — они у нас все время экстремальные.

Словом, воспринял я заметку Володи Большакова как юмористическую, а очередь он заснял, видимо, вечером у кинотеатра на Мон-Парнасе, где парижане «низшего сословия» жаждут американского кинобоевика.

Ну вот, хотел написать тебе длинное, обстоятельное письмо, даже в индийскую или индусскую философию ударился, как привезли почту в деревню, а с нею три тол-

стных рукописи графоманов и верстку 1-го тома «Последнего поклона», который подарочно издается в «Молодой гвардии». Закругляюсь и желаю тебе и Петрухе того, чего желают добрым людям, — здоровья и еще раз благодарю за солнечный день на кладбище Сен-Женевьев, за его грустную красоту и за душевное очищение. И все помню приболевшего Петруху. Жалейте его — один же! Но шибко не балуйте — уж так ли туго приходится одноштучным интеллигентным мальчикам в нашей дорогой действительности, особенно в армии, что они порой накладывают на себя руки. Вы ведь не вечны, а ему дальше жить и Бог знает, что их ждет.

Поклон Парижу, всему разом. И Володе, хоть он и отбил хлеб у Жванецкого, тоже привет.

*Преданно Вас помнящий — Виктор Петрович,  
Красноярск*

9.6.88 г.

Дорогой Дима! (Гусаров)

Много я тут поездил, много повидал. Был аж в Латинской Америке, в Колумбии, Перу, увидел наяву то, о чем давно мечтал, что снилось в дальних юношеских снах. Много и разнообразно живет народу на земле, но никто не дал себя так разрушить, как мы, и вывод мой один: не надо разрушать, тогда и восстанавливать ничего не потребуется.

Южная Америка не дала растрять себя и свою древнюю культуру — это главное, что я увидел. Наоборот, влияние ее на мировую современную культуру, особенно в ремеслах, музыке, танцах, общение друг с другом более независимо, чем у соседей и американцев. Они, эти индейцы и креолы держат под крышами, не дают им разгуляться, не лебезят ни перед кем, психованные, горячие, но и восторженные, дружелюбные, нищие и богатые, трудящиеся и лентяи, воры и бляды, красавцы и красотки, почтительные, бодрые, ничего, даже правил уличного движения не признающие, — живут непривычно нам, робким, от всего зависимым, послушным, зажатым даже в самих себе — им же, что убить, что полюбить человека — одинаково свободно. А природа! Особенно в Колумбии (я был в Боготе и возле нее). Четыре урожая в год. Овощи, фрукты, прикладные изделия ничего не стоят. Народ лег-

кий на ногу, темпераментный, громкий и вольный; несмотря на военное положение и беспрестанную стрельбу.

Был в Новгороде, затем в Вологде, у детей, затем в Москве на приеме в ЦДА, в «гостях у Рейгана», а после ходил на прием к Горбачеву, проговорили более часу, может, мой визит поможет Сибири и нам всем, может, и нет. Мне-то уже помог — я выговорился, «разгрузился», да и вблизи, глаза в глаза, посмотрел на нынешнего руководителя. Мужик он хороший и добра народу хочет, а уж как получится?..

Горе наше с Марьей непроходяще и писать об этом не могу. Очень переживаем за детей, их двое, 12 и 5 лет, подтянуть бы их хоть маленько, до того возраста, когда они покрепче на ноги встанут. Сейчас они у сына в Вологде и теперь у них трое гавриков, и их жизнь им уже не принадлежит.

Толя Знаменский написал мне насчет повести, и хорошо, что вы хотите ее печатать, а то одни Тухачевские да Блохеры — сами они по ноздри в невинной крови народной, и Господь их покарал за жестокость и низкопоклонство перед тем же Сталиным, пострадали, и после «Ивана Денисовича» что-то насчет убитых и замученных мужиков не слышно ничего. Мальчик, которого изобразил Знаменский — укор и сталиным, и нам всем, и маршалам — его-то за что предали и замучали?

Я думаю, Дима, моего давнего письмишка для вступления достаточно, это даже лучше, непривычней и, главное, короче. Я пока не готов ничего писать. Мне надо прийти в себя, отдохнуть. Устал. А тут погода... третий год не было весны и пока нету лета. Остываем помаленьку.

Дима, мое расположение и симпатии к тебе давние и неизменные, но пока трачу себя на все стороны, чаще на личностей недостойных, злых и навязчивых. Вот уж полгода ничего не писал «на себя», хотя все время «в деле», в суете, жизнь бежит под уклон, оглянуться некогда и близким людям путем написать некогда. Женя Носов если напишет в год два раза — хорошо, да и я не больше пишу ему, но узнал о нашей беде — плакал, и он, и Петя Сальников. Может, слезы эти мужицкие и твое давнее, братское ко мне отношение — дороже всяких слов, тем более обесцененных в наше торопливое и трепливое время. Но все же на старости лет и поговорить охота, и поплакаться, да и просто рядом посидеть, но жизнь разбросала по стране, молчим в розницу, а думаем об одном и том же... Что-

то будет дальше? И тревога наша, и боль за будущее огромны оттого, что мы знали и знаем больше, чем кто-либо, и знания наши, ох, как умножают скорбь, отнюдь не библейскую...

Обнимаю тебя, друг мой сердечный. Не хвораи! И пожалуйста, распорядись, чтоб мне послали штук десять журналов с повестью Знаменского и № 12 за прошлый год — М. С. собирает как бы домашний архив.

*Кланяюсь и еще раз обнимаю — Виктор,  
Красноярск*

18.06.88 г.

В. П. АСТАФЬЕВУ

Дорогой Виктор Петрович!

Не знаю, получили ли Вы мое письмо от 23 марта с газетами. Быть может, Вы не смогли ответить из-за дефицита времени? Не обижаюсь. Тем не менее, простите, пожалуйста, настойчивости мне не занимать и вот опять пишу... Течет время. Пронесются дни. Мой сын Сережа закончил третий класс на отлично, но имеет по русскому языку четыре, хотя диктант на экзаменах и написал на отлично. В последнюю неделю ездил с женой к ее сестре, в совхоз «Агроном» Динского района: помогали штукатурировать потолок и стены возводимого ею дома. В апреле и мае различные невзгоды довели до такой депрессии (простите и за предельную откровенность), что чуть не покончил самоубийством. Однако черная полоса — слава Богу! — позади и даже могу теперь размышлять на отвлеченные абстрактные темы. Спасибо волшебной силе природы, которая чудодейственна, раз могла создать человека и иногда спасать в неровный и печальный момент времени. Давно прочитана Ваша повесть «Зрячий посох», опубликованная в трех номерах журнала «Москва». Интересное и выразительное художественное повествование, по своему содержанию многогранное, имеющее особенность исповедального характера, когда жизнь писателя и критика становятся неотъемлемой частью истории литературы, человеческой культуры. При обсуждении вопроса о взаимоотношениях прозаика и критика в прошлом (вспоминаю давние номера журнала «Вопросы литературы») было сломано немало копий. И дело тут не только в



столкновениях диаметрально противоположных взглядов, когда, с одной стороны, безоговорочно признается необходимость для прозаика умной и доброжелательной критики, а с другой — совершенно пренебрегается критика (например, в телеинтервью В. Пикуль заявил, что не читает критических выступлений в свой адрес). Причина разногласий, на мой взгляд, диалектически обусловлена противоречиями в развитии литературы, в самом литературном — непростом, неоднозначном, проблематичном. Но вот Вы, Виктор Петрович, рассказали довольно подробно о взаимоотношениях прозаика и критика, и перед нами, читателями, предстали убедительные и авторитетные свидетельства возможности плодотворных взаимопониманий и содружества между ними. Да, объединяющие начала в текучем литературном процессе реальны и перспективны, что не перечеркивает индивидуальный характер литературного труда. Образно и эмоционально воссоздан портрет литературного критика Александра Николаевича Макарова. Вообще и в частности облик А. Н. Макарова пронизан светом духовности, упорством и одержимостью, замечательной компетентностью, принципиальностью в отстаивании здоровых критических явлений в развитии отечественной литературы, внимательностью на ее гуманистическую наполненность, интеллектуальность. Требовательная, предельно взыскательная и граждански ответственная позиция А. Н. Макарова не была напрасной, не утратила своего историко-литературного значения. Ряд страниц повести «Зрячий посох» посвящен одной из редких тем — этике писателя, элементам его поведения в буднях, в обществе. Исполненные драматического трагизма и светлого оптимизма предстают кадры писательских судеб К. Воробьева, И. Панькина, А. Фадеева, А. Твардовского, Я. Смелякова и К. Симонова, с осуждением и возмущением рассказывается о Ермилове — демагоге, модном дельце и приспособленце. Повествование, уверен, прежде всего посвящено человеческому достоинству писателей, их совести, разуму, патриотизму, обязанности по зову сердца и души служить своим талантом народу, выражать его чаяния, надежды и насущные нужды, заботы. Мне кажется, что при публикации журнал «Москва» не избежал и досадных опечаток: в № 3 на стр. 43 напечатано «шалолая», а надо, видимо, по-другому; на стр. 82 в этом же номере напечатано «десять тысяч трудового народа»,

а надо «десять тысяч трудового народа». Написанная в 1978—1982 гг. Ваша повесть, Виктор Петрович, констатируя многие негативные явления в обществе, тем самым рассказывает и о жизненной правомерности возникновения перестройки, демократизации и гласности. С горечью пишу Вам, что не вижу практической перестройки в городе, в котором я живу. Не буду вдаваться в крайность, что я лично сделал для перестройки. Но факт есть факт. Например, в страшном запущении находятся дороги. 12 июня в Кореновске произошел трагический случай. Во время дождя двое юношей ехали на велосипеде по улице Бувальцева и соприкоснулись с оборванным проводом электролинии. Погибли выпускник ПТУ Валера Набока и окончивший ВШ № 18 Саша Марченко. Оба — мои соседи. Погибли потому, что вынуждены были ехать по тротуару, так как из-за ям, ухабов и т. д. центральная часть улицы непригодна для проезда. До сих пор улица не приводится в порядок. Писали об этом даже в адрес XIX Всесоюзной партийной конференции. Пока все бесполезно. О чем еще написать? Появились кооперативы. Дельцы, пользуясь нуждой народа, греют руки, набивают бумажники. В магазинах подорожал хлеб, а порой не купишь элементарных продуктов питания. Во многих учреждениях процветает бюрократизм. Пытался в райбиблиотеке взять для чтения Ваш четырехтомник. Удалось, но после затраты нервов, времени, словом — бюрократической проволоочки. Об этом возмутительном случае написал заметку в райгазету. Обещают опубликовать после уборочной страды. Обязательно вышлю Вам. В этой же райгазете продолжаю публиковаться по разным вопросам, в том числе под регулярной рубрикой «Из дневника читателя». В ближайшее время будет опубликован материал о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Далее — о романе Б. Можая «Мужики и бабы». Десятки лет веду дневниковые записи. Делаю выписку из записи от 22 апреля наст. года: «Вчера осмотрел памятное здание — среднюю общеобразовательную школу № 39 г. Красноярска, расположенную на улице Чкалова, 75 (почт. индекс 350000). Двухэтажное, прямоугольной формы помещение. По широкой лестнице поднялся на второй этаж, опустился вниз и обошел вокруг. Здесь во время минувшей войны лечился будущий писатель В. П. Астафьев. Трещины на старых деревянных дверях, угрожающе потрескавшаяся штукатурка на сте-

нах и особенно на потолке говорит о запущенности школы, ее бесхозяйственном состоянии. Но ребятишки бегают темпераментные, жизнерадостные, энергичные».

Сегодня на улице встретил Вашего однополчанина полковника Ф. Ф. Лысенко. По его краткой информации, в конце прошлого года он получил от Вас книгу военных рассказов с Вашей надписью и письмо. Пользуясь случаем, извините меня великодушно, хотел у Вас попросить такую же книгу, если имеется возможность. Очень интересуюсь военной тематикой и в особенности тем, что происходило на Кубани во время войны. И еще одна просьба. Нет ли у Вас, Виктор Петрович, Вашего сборника литературно-критических статей, кажется, под заглавием «Посох памяти». В библиотеках и в магазинах этих книг, к сожалению, не встречал. Если нет, то нет, что поделаешь. Также прошу хоть одним словом ответить, что Вы получили это мое письмо с газетами. Мне кажется, что почта не всегда надежна. Не посчитайте за вульгарность, что пользуюсь печатной машинкой. Привык, удобно, а почерк у меня некрасивый и неразборчивый. Во всяком случае, когда моя жена читает мои письма от руки, то, по ее словам, половины не разбирает.

Желаю Вам, Виктор Петрович, и всей Вашей семье здоровья и добра, добра и здоровья.

*С глубоким уважением, Алексей Соболев*

23.06.88 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

С большим интересом и удивлением прочитал в «Лит.газете» и прослушал по телевидению Ваше выступление на встрече писателей и историков. Удивлением — из-за смелости выступления — к этому мы привыкнем не скоро.

Действительно, о войне написаны горы книг, а правды так и не сказано (есть одно исключение о предвоенном периоде — книга Чегрина «22 июня 1941 года», но она почти сразу же была запрещена, а сам автор куда-то исчез).

Какие наша армия понесла в действительности потери? Н. Хрущев как-то назвал цифру — 12 миллионов солдат. Больше или меньше на самом деле? Во всяком случае, они были чудовищными — об этом знает каждое село,

каждая семья. Почему же так произошло? Думается, есть три основных причины. Первая — слабость командования. После того как в 38-м году Сталин одержал «очередную сокрушительную победу» над Красной Армией, она лишилась почти всего высшего и старшего командного состава, а заодно и многих выдающихся инженеров — создателей военной техники — как после проигрыша войны и безоговорочной капитуляции. Ген. Горбатов — один из немногих уцелевших, пишет в воспоминаниях, что люди в 38—39 годах, командовавшие ротами и батальонами, к концу войны уже командовали дивизиями и корпусами. Что из этого могло получиться? Да то, что кадровая армия погибла в первые месяцы войны.

Второй источник огромных потерь — народное ополчение. Подвиг ополченцев не вызывает сомнений — это великий подвиг. Но как это ополчение формировалось — совсем другой вопрос. Действительно, создается впечатление, что Сталин в паническом страхе посылал на фронт всех без разбору — с целью завалить трупами дорогу к Москве, чтобы в них увязли немецкие танки. (В 60-е годы вышел фильм, быстро снятый с экранов, то есть правдивый эпизод о народном ополчении — это фильм «У твоего порога»). Иначе чем объяснить, что в ополчении, например, оказался и погиб где-то на Калужской земле Кулик — специалист по метеоритной астрономии, которому было за шестьдесят лет. Да если он и решил пойти в ополчение, его не следовало туда пускать. А сколько менее известных инженеров, ученых, вообще интеллигенции, они бессмысленно погибли в то время, как могли бы принести большую пользу в тылу.

И, наконец: как готовилось пополнение у нас и у врага. Как обстояло с этим дело у немцев, можно судить и по художественной литературе, например «Приключения Вернера Хольта».

А у нас было так. В мае 1942 года я, 18-летний парень, вместе с другими прибыл в запасной полк на ст. Суслонгер (недалеко от ст. Зеленый дол, под Казанью). В команде пополнения кроме таких, как я, были и 30-ти и 40-летние мужики. С кого-то сняли «бронь», у кого-то медкомиссия отобрала «белый билет», заменив его оценкой «годен» и так далее.

При входе на территорию части строй остановили и подошедший старшина подал озадачившую многих команду: «Кто умеет плести лапти — выйти из строя». Несколь-

ко человек вышли и их увели. А вскоре, когда мы пошли дальше, стал ясен смысл происходящего. Из леса вышел взвод солдат. В первом ряду шли люди с винтовками, у остальных были грубо отесанные доски, отдаленно напоминавшие ружья. Большинство было в гражданской одежде, многие — в лаптях. Оружия хватало только для изучения мат. части и стрельбы. А тактическая подготовка шла с этими макетами.

Но это еще полбеды для стрелков. А я был станковым пулеметчиком. Тактику мы «отрабатывали» с деревянными игрушками весом от силы 8—10 килограммов. А настоящий «максим» весит 70. Да еще коробки с лентами. И через десять дней такой подготовки, а то и через неделю — в маршевую роту и на фронт. Лопаток мы не видели, окапываться не обучены. Позже, в госпитале, я встречал солдат, которые в сорок первом году ходили в наступление вообще без оружия. — «Будете брать винтовки у выпешших из строя товарищей», — такое было напутствие перед наступлением.

Правда, оставаться в этом запасном стрелковом полку никто не хотел — из-за голода. Утром: буханка хлеба на 12 человек и миска мутной воды с отдельными чечевичками. В обед — то же. На ужин — хлеб и «чай» — вода, заваренная какой-то травой. Ни сахара, ни жиров я там не видел.

Говорят, на флоте в свое время матросов учили плавать, просто бросая в воду, — «кто утонет — тот не моряк». Нечто похожее было и с нашей подготовкой — кого сразу убьют — тот не солдат. Дорого далась нам такая учеба.

И, наконец, кто виноват в трагедии Ленинграда? Только ли немцы? Почему не эвакуировали всех тех, кто не был нужен фронту? Даже наоборот. Мой близкий знакомый — тогда он учился в шестом классе — вернулся в Ленинград вместе со школой, с учителями, пионервожатыми — всего около шестисот человек — из пионерлагеря где-то под Вологдой, в Ленинград за неделю до того, как замкнулось кольцо окружения. Почему в Ленинграде не были рассредоточены огромные склады продовольствия — его хватило бы Ленинграду чуть ли не на всю войну. Немцы долго эти склады не бомбили, рассчитывая быстро город захватить. Кто во всем этом виноват? Будет ли обо всем этом правдиво написано?

Наше поколение об этом уже не прочтает, да и дети

наши тоже. Может, внуки? Но в любом случае надежда на Вас, писателей, на историков, похоже, рассчитывать особо не приходится.

Еще раз большое спасибо за яркое и правдивое выступление, такое же яркое и правдивое, как все Ваши книги. Только где их взять?

*С искренним уважением — Бовтинчук.*  
Инженер. Москва

[1988 год]

Дорогой Владимир Яковлевич!\*

Вернулся я домой из горькой, подавившей меня поездки по Украине — был на встрече ветеранов дивизии, думаю, последней — одряхлели все и всё — даже в войну Украина выглядела лучше, не была столь подавлена черным светом, устланная мертвым листом, беспроглядно — унылыми садами без плодов. Нет мухи клятой, нет ни бабочек, ни козявок, улетели аисты. Увидел трясогузку на сельской крыше — обрадовался...

И сразу в Грецию, на остров Патмос, в монастырь, где написан Иоанном Богословом «Апокалипсис». Лежит эта книжица в пещере, на приступке отесанного камня, на белой салфетке, а вокруг души человеческие безгласно реют и лики в камнях проступают, древние, с удивлением и страхом смотрят на нас невинными глазами и видно по глазам — не узнают уже в нас братьев и сестер своих...

Ох-хо-хо-ооо! Приехал домой — почтой стол завален. Раньше я на нее набрасывался, как дворовый кобель, а теперь робею, боюсь бумаг, заранее сердце сжимается: обязательно будет там что-нибудь оскорбительное, гнусное, поражающее даже наш «дремлющий разум» (В. Курбатов) осквернением имени человеческого, не говоря уж о разуме. Какой тут разум?! Покинул он нас уж давненько. Вместо него гвоздь в голове с вечной программой марксизма, и кол в жопе — чтоб не засиживались, а бегали, трясли задом и желали того кола ближнему своему.

Пакет из Смоленска с письмом «Молодой гвардии» и откликами на нее, и журнал с твоим письмом были тоже на столе.

---

\* Лакшин Владимир Яковлевич.

Не выступал я по Смоленскому радио, но за мной ходили с этими адскими машинками, все и всех записывающими, и я мучительно думал: не ляпнул ли я чего-нибудь такого, чем бы воспользовались радиоты?

Наверное, ляпнул то, что говорю всем и тебе повторяю: — набросившись на действительно черное «письмо одиннадцати», сосредоточив огонь на нем и выбивая наружу пух из гнилой подушки, отводят тем вольно или невольно удар от направителей и вдохновителей гнусных дел и свершений. Хорошо, что ты назвал в статье вождей, да не всех, поди-ко, и назовешь — одни так мелки и тупы, что слова, даже худого, не стоят, другие попрытались или подстроились к пересройке.

Я посылаю тебе книгу на память, где в «Зрячем посохе» есть целая глава о Твардовском и «Новом мире» — это мое и мной подписано. В редакции только жанры обозначили, но я их вычеркнул, как мне не принадлежащие. Если читать некогда, пробеги два абзаца, подчеркнутых мною, думаю, и этого достаточно.

Я в святые не прошусь и знаю, что недостойн веры в Бога, а хотелось бы, но столько лжи и «святой» гадости написал, работая в газете, на соврадио, да и в первых «взрослых» опусах, что меня тоже будут жарить на раскаленной сковороде в аду. И поделом!

Но, дорогой Владимир, зачем так много сделалось «святых» в литературе? Поруганных и пострадавших? Это в нашей-то современной литературе и искусстве? По коридорам которой бегают «Белинская» Наталья и трясет обоссанным от умственного напряжения подолом?! Или с другой стороны — Розенбаум, еще в люльке облысевший от музыкально-сексуального перенапряжения? Да, мы достойны, за малым исключением, того, чтоб Иванова-Белинская-Рыбакова Наталья витийствовала в журналах и представляла нашу литературу аж в Голландиях, а Розенбаум орал блатным голосом про боль Афганистана.

Работники, народ, общество рождает мыслителей и «гениев» себе подобных, а время формирует «ндравы» и выплевывает, а ныне — высирает тощих и хищных, как озерная щучка, критиков, подобных Ивановой, при взгляде на которую, уже, не читая ее опусов, можно точно заключить: до чего же дошло и выродилось человечество!

И Вы в «Знамени» ее держите за самого «ударного» мыслителя?! Да какое же тогда Вы имеете право брезговать ее однофамильцем, героем и «классиком» современ-

ной литературы? Почему Вас устраивают бабы Ивановы и не устраивает мужик Иванов? Или чем лучше Гельман Сафронова? Это ж одинаковые казаки-разбойники, только времени угождают всяк своему, и сабельки-то у них одни и те же — картонные.

Вот Вы и журнал Ваш в упряжке с Коротичем, не пропускаете случая, как Кочетов когда-то не пропускал ни одного номера «Нового мира», чтоб не лягнуть его, лягнуть «Наш современник», и делаете это подловато, и в этой подлости участвуешь и ты, Владимир, человек, которого отличало благородство. И когда писал о Щеглове, Булгакове и когда, изгнанный из журнала, писал об Островском, вел передачи на телевидении о Пушкине, Толстом... Не меня, себя спроси, Владимир, наедине с собою спроси: куда девались авторы разгромленного «Нового мира»?

Я хорошо знаю Викулова. Никто с ним не лаялся так, как я, хлопнув дверью, я даже уходил из редколлегии после «пикулевского дела», и вот, вернулся. Надо! Иначе нас передушат поодиночке.

Спроси себя наедине, иль в «передовом обществе», — не было бы гадких евреев в романе Василия Белова, попал ли бы ты на него? Уверен, что нет. И почему ты не хочешь вспомнить, да и твои «союзники» — тоже, что, взявши умерший журнал от пьяницы и бездельника Зубавина, мы не только воскресили его, но и не дали загаснуть костру, зажженному «Новым миром», и головешки-то собрали новомирские, раздули их и в один только год — перечислю — раз уж у тебя начала память сдавать: «Белый Бим — черное ухо» — 1 и 2-й номера. Извини, но во 2-м, третьем и четвертом номерах печаталась «Царь-рыба»; дальше — «Комиссия» Залыгина, дальше — «Прощание с Матерой» Распутина и завершал год страдалец Ермолинский повестью о рашидовщине, которую громили и оплевывали те же силы и мыслители, что громили и Вас в «Новом мире». Это Викулов искупал свой грех. Он не скажет об этом, но искупал. Он только с виду лопух, но ума у него на многое достает. И просится он из журнала давно. Как исполнилось 60 лет. Да замены нету...

Хотел я написать тебе коротко и помягче, но уж извини, понесло, видно, назрела пора не щипать с курочки перья, а говорить, как должно мужику с мужиком, не уподобляясь этой сикухе, попавшей мне на язык.

Я не жаловался тебе на то, что после оскорбительного,



провокационного, жидовского письма Эйдельмана самые гнусные анонимки шли через «Знамя» и под его девизом, и ты уже там работал. А ведь это был первый толстый журнал, напечатавший мой рассказ еще в 1959 году. Я такие вещи не забываю и благодарно храню их в памяти, в чем ты легко убедишься, прочитав «Зрячий посох».

Наверное, не письменно надо бы разговаривать, а где-нибудь под навесом, как когда-то у кинотеатра «Россия», но суета, враждебность людей доводят до того, что не хочется уже ни с кем видаться. Мне удавалось сохранять добрые отношения со многими людьми, старался быть предельно честным, хотя бы перед близкими по труду ребятами, и, зная, как неприязненны друг к другу Бондарев и Бакланов, я старался «не брать ничью сторону», но каково же было мое огорчение, какое чувство подавленности и неловкости, когда Григорий спутал трибуну партконференции с коммунальной кухней. Я, ей-Богу, считал его умнее! Может, срыв? Может, усталость? Дай-то Бог. Только бы не злонамеренность.

Народишко, среди которого я родился и живу, находится на крайней стадии усталости, раздражения и унижения. Его истребляли варварски, а теперь он безвольно самоистребляется, превращается в эскимосов в своей стране. Неужели это радует Коротича и иже с ним? Неужели Бога нет? Неужели милосердие сделалось туманной далью прошлого? Владимир! Ты был умным человеком, пострадавшим свою жизнь и право на проповедничество. Что с нами произошло и происходит? Зачем мы матушку-Россию превратили в «империю зла» или способствовали этому превращению и далее способствуем. Нам что, уже совсем мало осталось жить-существовать? Ведь только «на самом краю» над пропастью, куда сваливают безбожников, можно так себя вести. «Бывали хуже времена, но не было подлее».

Неужели гибель моего народа-страдальца кому-то в утеху, в утоление ненавистной жажды? Зачем же тогда мы рождались? Зачем Господь вложил нам в руки тот страшный и чудесный инструмент?

Желаю тебе доброго здоровья. Меньше суеты, больше дела и не во вред друг другу, а в утешение.

*Твой Виктор*

Я знаю, как трудно со временем. Можешь мне не отвечать. Здесь вопросов больше себе, чем тебе...

[1988 год]

Дорогой Евгений Федорович!\*

Мне на съезде передали привет от Вас и сообщили, что Светланов еще и писать начал и чего-то, мол, Вам уже послал. И я подумал: «Мало ему того, что манишка и фрак бывают сырые от пота за пультом дирижера, так надо ему еще и геморрой нажить, и неврастению!..»

Потом читал им написанное и смеялся от души: экий панегирик о Сибири! В экое заблуждение можно впасть, когда смотришь на землю и на людей с вертолета или за праздничным столом, да когда тебе о «совершенствах и достижениях» вещают иные руководители. Если бы все было так, мы уж давно бы и не единожды в коммунизме пожили, но увы... Развал, воровство, коррупция, зажим идей, честности, не говоря уж о критике и самокритике. Такие естественные для здорового общества определения и понятия, как честность, порядочность, совесть — сделались навроде бумажных голубей, которые ребятишки пускают ради забавы.

Ваш счастливый удел «махать» палочкой. Это у Вас получается страстно, вдохновенно, да и нельзя себе позволить в музыке впасть в невольный самообман и прекраснотушию. Музыка — это самое честное из всего, что человек взял в природе и отзвуком воссоздал и воссоединил, и только музыке дано беседовать с человеком НАЕДИНЕ! касаться каждого сердца по отдельности. Лжемусыку, как и массовую культуру, можно навязать человеку, даже подавить его индивидуальность, сделать единице-массой в дергающемся стадо-человеке, насадить, как картошку, редиску и даже отравно горькую редьку, но съедаемую, потому что все едят...

Настоящая музыка содержит в себе тайну, ни человеком, ни человечеством, слава Богу, не отгаданную, и в прикосновении к этой тайне, тайне прекрасной, содержащейся и в твоей душе, что сладко томит и тревожит тебя в минуты покоя и возвращения к себе, настоящему человеку — есть величайшее, единственное, от кого-то и от чего-то нам доставшееся, даже не искусство это — слово, к сожалению, как-то уж затаскано и «не звучит» и то, что называется волшебством, а я бы назвал — молитвою про-

---

\* Евгений Федорович Светланов.

буждения человеческой души, воскресения того, что заложено в человеке природой и Богом — для сотворения красоты и добра.

Настоящая музыка, как и поэзия великая, они возвышают человека, а многое другое спешит унижить, дурно влиять на все, что есть вокруг. Да и литература не без греха, тоже помогла человеку в самоуничижении. Однако русская классика возвеличивала человека, пробуждала в нем все лучшее, что дала ему природа-мать. Но... литература, воспевающая и восславляющая войны, революции, преступления, политиканство комиссаров всех рангов!.. Наверное, ни одна литература в мире за столь короткий срок не породила столько лжи и, соответственно, не произвела столько зла, как наша...

...Я все это к тому, что Провидение призвало Вас заниматься самым честным на земле делом, так им и занимайтесь! Ваше дело — благородное, поверьте мне, и самое нужное, потому что оно напрямую воссоединено с человеческим сердцем, и не все еще сердца остыли, очерствели, забетонировались, люди еще и плачут от музыки, на Ваших концертах плачут, плачут о себе, о себе лучших, о том, кем они могли быть, должны были быть, но... потеряли себя в пути историческом, в большинстве — человеконенавистническом... особенно окончание нашего столетия, самого страшного — венец этого, нам навязанного да и самими созданного, самодозволенного пути. Думаю, не столь уж долго ждать, когда не под «Пятую симфонию» Чайковского, не под мелодию Глюка, не под дивные марши Моцарта и Шопена, не под самую мою заветную «Неоконченную симфонию» Шуберта, не под шаловливые пьесы Вивальди и божественный «Реквием» Верди, не под «Молитвы» Березовского и Бортнянского, а под яростное пуканье военной трубы и ревущего зверем контрабаса, под стук первобытного барабана, человечество спрыгнет, свалится с криком ужаса на дно пропасти, в кипящий огненный котел...

Но пока это не наступило — помогайте мне, жене моей, детям моим и внукам, всем-всем, не совсем еще одичавшим людям, в особенности людям несчастным, жить хотя бы дни, вечера, часы наедине с собой, хорошим, способным на слезы, на стремление к добру и состраданию.

*Кланяюсь — Ваш Виктор Петрович*

7.9.88 г.

Дорогой Виктор Федорович!

К сожалению, должен вернуть вам сборник. Он не получился. Он пестр, рассыпчат и, увы, в нем мало стихов, которые я смело мог бы нести в столичное издательство, а в местном такая очередь, что и не берут более. Восстановили кассету, чтобы хоть как-то реализовать поэтическую продукцию местного производства.

Ваше житие в глухой провинции не очень полезно оказалось для Вашего пера. Слаба поэтическая и общая культура, стихи поражены банальностями, штампами, мысль изъезжена, нового, своего очень мало. Из присланных в письме стихов лишь «В Малиновке» писаны с болью и чувством, это стихотворение я передам в альманах, остальные — ученические, бывшие в употреблении, они могли быть написаны, а могли и не быть. Все, что я могу Вам предложить — это тщательнейшим образом отобрать и отшлифовать десятка два стихотворений о природе, тогда я их предложу в «Детскую литературу», как познавательные, красивые стихи о природе — они могут быть изданы для детей, хотя и в этом я не уверен. Я ведь из доброго расположения к Вам включил в сборник «Час России» цикл Ваших поэтических миниатюр: «Рябчик», «Подснежник» и др., но их исключили из сборника, как «не вытянувшие» до его довольно высокого уровня.

И не ропщите на издателей и рецензентов. Да, Яхнин очень посредственный поэт и дрянной человек, что из того? Будь Ваши стихи на высоком уровне, их опубликует помимо Яхнина любой журнал, любое издательство. Уж как Марию Аввакумову гноят евреи, однако, вынуждены печатать — уровень их выше цеховых интриг и дел.

Знаю, что огорчил Вас, но что делать? Стихов пишется много, и провинциалу надо на цыпочки вставать, чтоб дотянуться до верхней полки, иначе печатать не будут — своего товару много.

*Желаю добра — здоровья — В. Астафьев,  
Овсянка*

Дорогой Валентин!\*

Целая посылка из книг тебе собралась. «Посох» издали быстро и прилично, но уж зато ошибок! На две страницы глянул и больше не захотелось. Верстку-то я не читал, да и читал бы, что толку? «Новая генерация» — любимейший термин критика В. Дементьева да и других тоже, то есть современные мои братья и сестры — фэззошники и фэззошницы правят «великий и могучий» на свой лад и вместо «тятя» смело ставят «тетя», вместо «имать — иметь», а уж редкостное мое слово «подчембарился», идущее от чембар-штанов от глубоких снегов, без прорехи, надеваемых почти до груди и подпоясанных, чтоб не спадывали, отсюда и «подчембарился» — подпоясался, они, мои «сестры и братья» понимают как что-то косметическое, вроде подмалевался.

Мне удалось посидеть в Овсянке и погода сопутствовала. Читал, наконец-то! Без спешки верстку второго тома «Последнего поклона» и порадовался тому, что книгу не испортил и что новые главы, как им и полагается, даже чуть получше некоторых прежних, но не всех, так горько, с таким «юмором», как «Без приюта», мне уже не написать, а совсем свободная, на одном дыхании и за один день! когда-то написанная глава «Конь с розовой гривой», просто мне уже и не по силам, давит так называемый «опыт», и на сердце нет того светлого света и восторга от жизни, просто от жизни, от радости творчества, удачно выдуманного и запечатленного твоей памятью прошлого, то есть счастья, которое испытывает художник при виде красок, да еще и в солнечном свете...

Об этом как-то мало пишет ваш брат, а наш брат стесняется это объяснить, да и объяснимо ли это? Мрачна, рассудочна и какая-то учебниковая критика наша в массе своей и выбивающаяся из ее ряда статья-другая, наверное проходит без понимания и одобрения. Ты написал блистательную статью в «Литературке» о литературе, «приходящей из столов», термин или боль, исторгнутая словами «Дремлющий разум», — это главное откровение и объяснение того, что с нами произошло и происходит. Читал я статью в Овсянке, неторопливо, с чувством, с толком, а прочитавши, сразу же подумал: — «Не поймут-с!». Пони-

---

\* Курбатов Валентин Яковлевич.

маешь ты, когда читатель в массе своей приучен к определению: «черное — белое», «хорошее — плохое», он не вдруг прочтет умное слово, оно ему не по уму, разум-то «дремлющий»! Но как он, этот самый разум или рефлекс его, скорее, разрешается непониманием своим! На читинском или кемеровском семинаре, после выступлений писателей, читатели иные интересовались, мол, этого знаем, этого знаем, а этот кто? — «Критик», — говорили о Николае Николаевиче Яновском. — «И вы его не бьете?! Его ж убить мало!» Критика приспособлялась к вождям и их учениям и высоким идеям, она вредна и виновата в том, что, развращая себя, развращала и нашего дорогого читателя, низвела его до сторожевого пса, которому, что дадут пожрать, то он и жрет, — так ему лучше, не надо бегать искать разносолов, ничего не требовать, знай себе лай в небо и чем громче, тем слышнее хозяевам.

Однако ж это не призыв к тому, чтоб писать упрощенно. Нет и нет. Прочитал я, Марья Семеновна, еще сотня-другая человек, задумались, что-то ускорили в оформлении своей мысли и в отношении к литературе, нуждающейся в немимоходном толковании и не в поверхностном к ней отношении. Вот пришла, наконец-то, настоящая литература. Но и «ненастоящая» тоже ведь как-то жила и порой дышала запечатанной грудью, через кляп высказывала, иногда и выстанывала слово путное.

Завтра я улетаю в Киев, на встречу ветеранов нашей дивизии, думаю, на последнюю — остарели, вымирают вояки. Уезжаю в хорошем состоянии, приделав почти все мелочи, с почтой прикончив и в здоровьи приличном. Погода подладилась, ребятишки у нас долго побыли, вместе с внуком летал в Эвенкию на рыбалку, в деревне особо не скучали, в избе было сухо. Этот запас сил и отдыха мне очень нужен, ведь предстоит ездить по местам боев, а это не очень легкая для сердца и головы работа.

Затем я кажется лечу в Грецию, на остров Патмос, где 900 лет стоит монастырь и там будет конференция по учению Иоанна Богослова, который еще в I-м веке говорил и писал об экологии. «Вот бы Валентин Яковлевич обсказал бы тебе все об этом Богослове», — сказала мне Марья Семеновна, после того, как я пожаловался, что ничего я о нем да и об его учении не знаю, как не знаю и много другого. Да где вот он, Валентин-то Яковлевич? Хандрит во Пскове!

А Марья Семеновна очень мечтает поехать в конце

октября в Болгарию вместе с двумя Валентинами, ибо на меня после того, как я 1-го мая позапрошлого года напился и сбежал от нее, на меня не надеется. У нас приглашение можно организовать, это в наших силах. Оформление в соцстраны сейчас делается на месте, то есть все оформишь и паспорт получишь во Пскове. Денежные дела пусть тебя не смущают. Болгары — народ замечательный, нуждишку нашу знают и помогут тебе заработать в Болгарии без большого напряжения. Начинать это надо уже сейчас. Телеграфируй Марье Семеновне согласие, она свяжется с болгарями, и тебе придет приглашение. Место там уединенное, сухое, бывшая Фракия. Валентин Григорьевич там был, и ему очень хорошо молчалось, дышалось и работалось. Он сам о себе похлопочет, а тебе поехать очень бы надо.

Что касается интервью, то оно, как у нас водится, вызвало и восторги, и оскорбления. Приедешь, считаешь «письма трудящихся». Какая-то безысходная, агрессивная тупость. А уж насчет Шолохова... Расстрелять меня готовы за непочтительность.

Ну вот и все. Отдаю письмо на машинку, может, Мар-Сем чего добавит. Мы часто разговариваем об Урале, о Чусовом, о тебе. Какая-то в этом надобность является, и сожалеем, что нет тебя близко, тоже чего-нибудь выкинул бы, потряс бы бородой. Вчера звонил Залыгин, сказал, что звонил Солженицыну, тот дал согласие печататься, но позиции его тверды и требования прежние: не укрощать и не уродовать. Это нас можно...

*Обнимаю, целую. Будь здоров. Твой Виктор Петрович*

21.8.88 г.

Дорогие Василий Павлович и Борис Ильич!

С 12-го по 17-е сентября в городе Киеве будет проходить встреча ветеранов 17-й, Киевско-Житомирской дивизии, в которой воевал и я. Это вторая встреча в Киеве и скорей всего последняя, все вояки состарились, одряхлели, многие умерли. Первый раз нас размещали в каком-то кемпинге в Дарнице. Было далеко, неудобно да и не нужны мы были никому. Нынешняя встреча будет проходить в связи с 45-летием освобождения Киева и, может быть, привлечет больше внимания, но я и мои друзья х.у. ели бы обратиться в Союз писателей Украины с просьбой о со-

действию в размещении в городе. Может, украинские писатели захотят посмотреть на вояк, много сделавших для освобождения Украины, и побеседовать с ними. Лично я хотел бы съездить в Корсунь-Шевченковские места и на Днепр, где был Букринский плацдарм, и обязательно в Брусиллов, Ахтырку и Богданов-Хмельницкий. Наша 92-я бригада носит звание Проскураковской (!), и надеюсь на Вашу помощь и содействие, ибо давно на Украине не бывал и многие связи утратил. Извините, что «по-родственному» обращаюсь в Союз писателей — худо разбираюсь в административно-бюрократической иерархии, ничего иного изобрести не мог.

*Кланяюсь. Желая добра — здоровья —  
Виктор Астафьев*

27.10.88 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Сегодня получила от Вас книгу. Спасибо большое за этот подарок. Радостей теперь у меня немного. Тем более радостно получить книгу от Вас, да еще с памятной надписью, да еще со словами любви и памяти об Анатолии Дмитриевиче. А уж я-то каждый день встаю и ложусь с его именем в душе.

Жизнь моя теперь в основном посвящена увековечению памяти дорогого Толи, хотя продолжаю работать в театре и по мере возможностей занимаюсь внуками.

На 1989 год в плане Центрального Телевидения стоит создание документального фильма о нем (может быть и Вы не откажетесь сказать несколько слов в этом фильме? Было бы здорово). Искусствовед Н. А. Велихова согласилась написать книгу о его творчестве.

Памятник обещал сделать скульптор М. А. Аникушин из Ленинграда. В театральном институте учредили стипендию им. Папанова для студентов актерского факультета. Должна быть мемориальная доска на доме. Но все это нужно контролировать и подталкивать, такова уж наша жизнь. И я понимаю, что люди заняты, есть кроме этого и другие дела и заботы у каждого. А уж моя задача им об этом напоминать и помогать как могу.

Милые Виктор Петрович и Мария Семеновна! Буду очень рада, если вы, когда будете в Москве, зайдете ко



мне. Помянем Анатолия по-русски. Или хотя бы мне позвоните.

Книгу Вашу буду читать и перечитывать. Стараюсь не пропустить все, что вы пишете в прессе. Виктор Петрович, русские люди Вам верят. Будьте здоровы и живите долго.

*С уважением, Надежда Юрьевна Папанова-Коротаева*

2.11.88 г.

Дорогой Володя! (Андреев)

Созвониться нам больше не удалось, поэтому пишу уже из-за кордона. Маленько очухались, отоспались, и, хотя погода здесь тоже забарахлила, уже пришли в себя, начинаем читать и даже по малости писать. Вероятно, здесь я пробуду долгонько, если ничего не стрясется, начну, наконец-то, работать и поэтому, если ты более или менее свободен, тебе, быть может, надо слетать в Красноярск, познакомиться с театром, посмотреть спектакли. Правда, товарищ Белявский понаставил там еще те спектакли, завершив свои деяния шедевром Радзинского. Боже! Какая пошлятина! Будто ходил человек по российским вокзалам и собирал харчки в фарфоровую кружечку. Мне неловко было за Витю Павлова, за Догилеву и Архангельскую, чем-то и в чем-то родные люди, в родном театре словно бы кривлялись в чужом доме, потрафляя кому-то, говорили лихие пошлости, грязь с чьих-то рук слизывали... и все слова не ихние, и дела, творимые на сцене, и слова — все выглядело заметно прикрытым насилием... Господи! На какую дешевку покупаются люди. А Витя Павлов! У него не только некрасивого самого себя, тучного, пухломордого... у него отняли даже русскую фамилию, исказили — Михалев, тогда как по-русски это Михалёв (есть такой поэт на Белгородчине, Володя Михалев, пастухом работает, кучу детей вырастил). Витя подпрыгивает, подрыгивает, поддакивает.

Вот почему Викулов не отдает журнал «Наш современник» — боится отдать его в «чужие» руки, боится, что он, как театр им. Ермоловой, превратится в пристанище проходимцев, которым особую радость и наслаждение доставляет глумление над русскими людьми, даже Тимирязев в ход и в оборот идет. Ничего святого! Ну и Фокин! Ну и молодец! Дождался, проходимец, своего времени...

А ведь наши-то провинциальные дураки и дурочки думают, что это и есть современный театр, что они воюют, как на переднем крае, не иначе. Но и они подустали от драматургии «новой волны», и когда я прочел им «Черемуху», — загорелись, оживились, но хитренький Леонид Савельевич Белявский спешил поставить Петрушевскую, Рыбакова, чтоб ему за такие дела и заслуги дали более бойкое место. Вот и дали — Рижский русский театр — там уже не слово главное в театре, а символ, театр в театре: одень артистов в бурую кожу, дай им вместо шпаг шариковые ручки, поставь вместо дерева что-то похожее на ракету — вот тебе и «новый театр», вот тебе и «новое прочтение Шекспира».

Я не сулю тебе легкой жизни в Красноярском театре имени Пушкина. Тут многое сгнило в прямом и переносном смысле, и зову я тебя не за лаврами, а хоть маленько послужить российской провинции, поставить народную жизнеутверждающую драму, а не разрушительное жидовское варево из говна и вокзальных харчков. Народ и так обхаркан и обосран, народ зол и раздражителен, народ перестал ходить в театры, ходят фэзэошники — глядеть на полуголых баб и слушать, как за сценой, а то и на сцене насилуют перезрелую, но все еще эгозистую и несчастную актрису, отдающуюся принародно за 120 рэ зарплаты.

Перед тем как ехать сюда, позвони секретарю по идеологии, Валентине Александровне Ивановой (сообщаю служебный и домашний телефоны) — для того, чтоб тебя встретили, устроили и помогли во всех делах. Они тоже устали уже от жидовства. В труппе, кстати, их почти нет, а которые были, так Белявский с собой забирает этот ценный товар. Есть два актера в Минусинске — Тамара и Александр Четниковы. Их можно пригласить: одного — на роль Феклина, ее — на роль матери. Я их знаю еще по Вологде, надежные, талантливые люди, хорошей поддержкой будут тебе в работе. А в Минусинском театре дела плохи, он на грани закрытия — сбежал главный, этакое мелкое ничтожество, по росту и творческим возможностям — Коля Хомяков, — подался в Семипалатинск, оставив на счету Минусинского театра 820 рэ — вот тут и разбежись, а там есть пяток великолепных артистов, не до конца добытых подлой провинциальной жизнью.

Здесь, в Хисаре (Болгария), тихо, малоллюдно, погода налаживается, выглянуло солнце, яркие краски вокруг,

много тишины, покоя и фруктов. Я пока вплотную еще не работаю, но как отдохну, возьмусь — потянуло работать. И читаю побольше — запустил и чтение. Домой вернемся 15—20 декабря. Хорошо, если ты проведешь до нового года предварительную работу, а потом и я смогу помочь тебе в кое-чем, пригодиться.

Пьеса «Чёремуха» уже в доработанном виде напечатана в журнале «Театр» в 8-м или в 9-м номерах за 1978 год. Этот текст я читал в театре года два назад, с тех пор они, артисты, и ждут — не дождутся, когда начнется действие, а их заставляют творить на другой «ниве». Старые-то актеры всего понавидались, а если молодых собьют с толку — жалко.

Ну, будь здоров! Привет домашним.

Обнимаю — *Виктор Петрович*,  
г. Хисар

[Конец 1988 года]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Прочла недавно повесть Вашу «Зрячий посох» и позавидовала Вам: как же Вы счастливы, что имели такого горячего и доброго друга, как Александр Николаевич! У большинства людей таких друзей нет.

И у меня вот тоже нет. Т. е., конечно, есть люди — хорошие знакомые, но близких, родных по духу, таких, которым можно все рассказать, облегчить душу, — таких нет. В жизни все больше говорили о быте, сплетничали иногда, подкалывали друг дружку, и мелко, и по-крупному, а о поэзии говорить вроде и некогда было, да и странно. Я не буду оригинальной, если открою, что я очень одинока. Это я раньше считала себя исключением, страдальцей, даже нравственным уродом, человеком «без кожи». А теперь убедилась, что, в сущности, каждый человек одинок, дело только в том — понимает он это или нет.

Мне 28 лет, я привлекательна и нравлюсь мужчинам, не замужем. Наверное, думаете: все страдания отсюда? Нет. У меня нет никаких комплексов старой девы, я вовсе не озлоблена и люблю людей. Я просто печалюсь оттого, что живу не так, как хочется, душу держу в клетке и вообще живу «кстати, заодно с другими на земле».

Моя судьба нетипична, немного изломана, но дело не в том. Прошлое отболело и вспоминается без боли.

Дело в том, что я несвободна. Знаю, что полной свободы и быть не может, да и не должно, наверное, быть, но хоть бы малую толику той свободы! Я художник по сути, почему я должна заниматься нелюбимой работой, когда я хочу и люблю творить, рисовать, когда в голове, во сне по ночам теснятся картины и образы. Да, образования специального нет, но его можно получить, и сейчас это не проблема. А близкие говорят: это глупо, смешно, мол, тебе столько лет, в твои ли годы менять профессию? Как же горько это слышать! И, главное, нет у них никакого желания понять человека, что он не может жить как хочет, что он другой, со своим характером и мыслями. — Глухая, непробиваемая стена. Так бывает, когда начинаешь с кем-то говорить о поэзии, о хорошей музыке и вдруг видишь скучающее, непонимающее лицо и недоуменный взгляд: «О чем это ты?!»

Так и со мной. Им хочется, чтобы я была проще, понятней, жила бы по привычной схеме, пугаются и негодуют, если я не «укладываюсь» в ней, стремятся затолкнуть меня назад в придуманную ими клетку.

Я пыталась хотя бы внешне не выдавать своей внутренней неустроенности и горечи, пыталась что-то делать тайно, но разве это возможно? Ведь я вся на виду. Если я даже сижу в своей комнате больше двух часов — вызывает у них беспокойство.

Мне хочется жить, а я тлею. Я не хочу долгой жизни и не берегу себя, а мне говорят о теплой одежде, дороговизне и деньгах. Иногда я говорю открыто и серьезно и, возможно, резко. Они не знают истинного моего лица, моей натуры, а я не хочу быть слащаво-любезной и снисходительной к хамству, но все это терплю из-за черного куска хлеба, из-за сытого брюха и приличных тряпок.

Вся моя жизнь — тюрьма и несвобода.

Я хочу работать по осмыслению, по внутреннему велению и потребности, хочу работать так: до чертиков в глазах, до кровавого пота, до забвения всех и себя! Но мне не дают, и я вместо этого тяну лямку, тяну как бурлак, тупо и безотчетно, сохраняя довольное приличие на лице.

Они пугаются, когда я говорю правдиво, боятся моих мыслей, трезвых и вымученных. Кому же мне вылить боль?

Виктор Петрович! Я уважаю и ценю в Вас Человека.

Дочитайте письмо до конца, прошу Вас! — Мне даже легче от мысли, что его будете читать Вы. Вы много видели и много знаете и многое, наверно, Вас уже не испугает и не удивит.

Уже давно я пришла к мысли, что самоубийство — лучший, скорый и всегда возможный уход из жизни мучающейся. Раньше я пугалась ее, а теперь рассуждаю об этом хладнокровно и трезво. Много раз я перечитывала стихи Есенина последних лет его жизни. Они насквозь пронизаны прощанием с жизнью, которую он тоже любил, в них печаль и светлая усталость, подготовка к переходу в другой мир. Все в них мое. Когда читаешь их — кажется, будто играешь на грустной скрипке своей собственной души.

Когда-то я жалела его и думала, что он покончил с собой в минуту отчаяния. Теперь я понимаю — он шел к этому долго, постепенно и неотвратно. Горел, горел и угас, просто угас — нечему стало гореть — спичка кончилась.

Я люблю смотреть, как спичка горит, горит и угасает — когда нечему больше гореть. Так и я, хоть он и Великий, а я нет. Я тоже угасну, только тише — ведь я не горю, а только тлею. Жаль, я не мужчина — я бы тоже пила — чтоб забыться на время. Тот же возраст и то же страдание, безысходность. Я не представляю себя в старости, знаю, что умру молодой, и мне не страшно от таких мыслей. Какой прок от меня на земле? Я не мать и не любимая, не работник и не труженик, да в нашей стране их можно счесть по пальцам. Мы все здесь трутни, куколки на ниточках... Стоит ли за что-то цепляться — чтобы остаться дальше на земле?

Что может помешать? Любовь? Да! Если она глубока и настоящая. Но где она такая? Я люблю одного человека, которого сама же и оттолкнула — из-за рабского страха, как бы из-за чертовой неуверенности в себе. Молю Бога, чтоб Он услышал меня, почувствовал мое раскаяние и простил. Я не могу пойти к тому, кого люблю, не могу рассказать о своей любви. Я знаю, мужчины любят не так безоглядно, а женскую горячность и преданность воспринимают уже как бы насмешливо и отчужденно. Но мне сейчас уже все равно. Я думаю только о нем и ничего вокруг не слышу. Я совсем не знаю его и уже обидела, оттолкнула и терзаюсь оттого, что все-таки он, наверно, спокоен, а я переживаю горе и боль расставания.

Даже как женщина я не умею приносить счастья, и любовь эта будет несчастна и, надеюсь, пройдет.

Что ж остается? Родные и близкие? Родных по духу нет, по крови?.. Пока удерживает это. Мне жаль их, очень жаль, я люблю их, понимаю, сочувствую, но я никогда не смогу стать другой.

Ах, как хочется сорвать личину и хоть день побыть тем, что я есть на самом деле, а там все равно: можно уйти громко, с музыкой, можно тихо упасть, как падают листья, — все равно. Непутевое сердце, непутевая душа. Недавно прочла книгу Карнеги: «Как завоевать себе друзей, как научиться жить и т. д.»

Ерунда все! Эти приличия для холодных, расчетливых волков, ловащих добычу и ради нее одевших маски бабочек, готовы овцу облобызать за то, что у нее золотое руно и целый мешок денег.

Я способна видеть людей без прикрас и себя прекрасно вижу, может, оттого и мучаюсь. Для меня не главное, что говорят словами, я вижу чувства и мысли. Люди грубые, эгоистичные, завистливые. Вот мама мне говорит: была бы и у меня семья и мне бы некогда было тратить время на глупости. Но разве я перестала бы думать? Нет! Я была бы задергана бытом, вот и все, а душу возможно ли переделать? Не замужем, значит, плохой человек, плохой характер, засмеялась, значит, увлекает; оделась, значит, хочет понравиться, много думаешь — оттого, что не замужем. Круг какой-то! Никому нет дела до души — сыт, одет, природой не обделен, а душа не в порядке — кого это волнует? А ведь от внутреннего к внешнему и лишь самую малость от внешнего к внутреннему. Разве не так? Я хочу и любви, и понимания в жизни — и ничего больше. Это самое дорогое, но его нет. Может, плохо ищу или это не находится? В общем, я устала жить. Как у Есенина:

Пусть тебя ласкают нежным словом,  
Пусть острее бритвы злой язык.  
Я живу давно на все готовым,  
Ко всему безжалостно привык.

Так и у меня.

Я разочарована в людях и все равно их люблю. Я люблю зверей и цветы, люблю природу и красоту, но не смогу долго мучиться, я знаю, скоро догорит моя свечка, уж скорей бы! Молю Бога забрать меня ночью, быстро и безболезненно, но Он немилостив ко мне, а у самой пока еще недостает мужества.

Сейчас я дома пока одна, но скоро опять придется притворяться, улыбаться и делать вид озабоченности по поводу быта и по прочим поводам. Ах, как надоело!

До свидания, Виктор Петрович! Я не хочу говорить «прощайте». Я не со всем и не со всеми простилась. Только Вам открыла тайну и, надеюсь, мне станет полегче. Поверьте, я не рисуюсь — это время прошло, все серьезно и просто. Все, правда, не так как в жизни.

Я не жду ответа. Просто написала и мне стало полегче, и спичка вроде поярче загорела. Спасибо, что Вы есть. До свидания.

*Наташа,*  
г. Климовск

11.11.88 г.

Дорогой Валерий! (Винокуров)

Я безмерно рад был получить от Вас письмо и еще более потому рад, что Вы в «Смене», где меня любят, чтут и где меня начали печатать со... спортивного отдела! Чудеса, правда?! Тем более, что творения мои никакого отношения к спорту не имели, просто работник спортивного отдела по фамилии Эпельфельд — человек добрейший, ласковый, кого-то там замещал во время отпуска в отделе прозы, вроде бы Игоря Кобзева, и среди других попала ему в руки и моя блекленькая рукопись. Он ее прочел, ободрил меня обещанием «предложить журналу» и, спустя большое (мне показалось — бесконечное) время, творения мои появились в «Смене». Эпельфельд и потом еще раза два сумел меня «протолкнуть», а когда я попал в Москву, знакомил со всеми, кто был ему доступен, даже один раз покормил меня обедом в «правдинском» буфете, и денег не взял, чем потряс меня совершенно. После обеда я ходил к главному редактору Величко и входил в редакторски кабинет не так уж робко, как могло бы быть до обеда.

Величко послал меня спецкором на начавшуюся стройку Красноярской ГЭС. Там был такой бардак, что даже я, человек, прошедший войну, едва с глазду не съехал. Жили мы с одним инженером в палатке, потом к нам подселили артиста Евгения Лебедева из БДТ — их «бросили» развлекать строителей светлого будущего, но там было не до развлечений — на великой стройке царила безработица.

Нагнали уйму народу, угрохали деньги, а дела нет, и ничего нет...

И вот инженер мне говорит: «Не пишут правду! Врут все! И Вы, Виктор Петрович, наврете». А я молодой же был, прыткий, и говорю ему: «А вот и напишу! А вот и напишу!..»

И написал очерк, который прочитавши и раз, и два товарищ Величко впал в удручение и мрачно сказал: «Рано мы Вас, Виктор Петрович, послали. Вот маленько наладится дело на стройке, еще пошлем...» Но Тот, Кто руководит там, наверху (я не Кремль имею в виду, а Небо) нашим братом, еще на берегах Енисея шепнул мне тайным голосом, что «правда» твоя, да еще про «великую» стройку, никому не нужна и никто ее не напечатает. А вот напиши-ка ты, братец, что-либо «ударное», привычное, спору не вызывающее, а то ведь и за командировку отчитаться нечем будет, голодом семью уморишь...»

И тут я бах на стол редактору Величко боевой очерк с совершенно новым названием — «Строитель»! Эх обалдел товарищ Величко! «В номер! Немедленно в номер!» — кричит.

И на этом не кончилась, а только началась эпопея с ударным очерком «Строитель» — напечатали его очень скоро и высадили за него полторы с лишним тыщи! Я когда с почты деньги нес, все оглядывался — не бежит ли по городу Чусовому за мной товарищ Величко — с намерением вернуть деньги и даже оштрафовать меня за такую халтуру.

А жизнь-то, она вона какая разнообразная, в ей «сюрпризов» больше, чем вшей в полушубке пехотного Ваньки-взводного из окопов!

Проели мы полторы тыщи мигом — семья была большая да долги. И дожили до рублика. А тут кино идет, трофейное, детективное, и мы, стало быть, с моей прелестной супругой шасть в кино! Удовольствие получили! Тут же нас и раскаянье посетило: «Во какие дураки! — говорит Марья Семеновна, — сходили в кино, а завтра детей нечем кормить. И нянька наша потерпит, потерпит, плюнет и уйдет от нас. Чё будем делать?» А я ж оптимист! Я ж на юмор налегаю, хотя сердчишку и тесно в груди, и глазу зрячему моему единственному стыдно.

«А, — говорю, — не горюй, Маня! Счас вот придем, ворота отопрем, а в ящике газеты, а в газетах перевод...»

«Да откуда ему быть-то?»



«Оттуда, — говорю и показываю на небо. А ночь лунная! Погода зимняя. Идем домой, замедляя шаги, как бедокурившие ребятишки. Трясу газеты, а из них живым лепестком, вертятся и паря в воздухе, летит бланк от почтового перевода. — Вот, — говорю, — и все! А ты, дура, боялась! Двести пятьдесят рубликов откуль-то пришло!..»

«Да ну тебя, Витя! Шутки у тебя какие-то...» — А я ей в руку талончик денежного перевода!.. Заплаталась моя жена на крыльце и, почти лишившись чувств, шепчет: — «Витя! Глаз тебя единственный подвел! Тут не двести пятьдесят, тут две с половиной тысячи!» Я ей говорю: «У тебя шутки тоже ничё! Жгучие!», — а сам к свету, к фонарю.

Это, стало быть, исполнилось сорок лет родному комсомолу, и за изданную первую книжку рассказов я получил гонорар вполовину меньше, чем за доблестного «Строителя», и когда потом бедовал и голодовал, завоеывая место в литературе, не раз мне являлся вид падающего из газет серебристо под луной мерцающего квитка от почтового денежного перевода, и голос был: «Брось! Пожалей задницу и семью, не изнуряй больную голову, продолжай своего «Строителя» и будешь сыт, пьян и жопа в табаке, в турецком, ароматном...»

Вот и шлю я Вам отрывочек из новой книги «Зрячий посох» — «Смена» уже частично печатала из него отрывки и даже годовую премию за них отвалила! А этот просто так шлю, к разговору о житье-бытье, и о спорте тоже.

Альберту Лиханову (редактор «Смены») можете показать и письмо, и отрывок почитать. Мне ему отдельно уж не собраться написать, но скажите, что открытку его получил и за все его благодарю, и еще скажите, что если дома будет все в порядке (пока не очень), то в конце ноября я приеду с рукописью в Москву и мне обязательно нужно с ним повидаться, на сей раз по очень серьезному, моему личному делу. А пока — еще раз поздравляю Вас, Валерий, с переходом в «Смену» и желаю в ней закрепиться. Отчеты о футболе из Испании и из Англии Ваши я читал. Они написаны с блеском, каковой может допустить наша пресса. В ней шибко-то не разбежишься, не заблажишь и не развольничаешься.

*Ваш Виктор Петрович,  
г. Чусовой*

12.02.89 г.

Дорогой Евгений Григорьевич! (Попов)

Мы, русские люди, так разобщенно живем, что всякая попытка сообщества воспринимается уже как потрясение в жизни.

Когда я написал «Есенина поют», работая в глухой, угасающей вологодской деревушке, находясь в одиночестве, в хвори, написал разом, в один присест, после того, как услышал песню по радио, то долго не мог дознаться, кто автор? Где живет? Дочка ли моя, Царство ей Небесное (умерла полтора года назад, оставив нам двух сирот), была по природе музыкальным человеком, помогала пьяненькому отцу петь (а я пою с детства, вырос в песенной деревне), когда я забывал слова, подсказывала, когда сбивался с тона, «поправляла», севши за пианино. Она и сама имела довольно хороший голосишко. — И вот дочка моя сделала мне запись по радио, шумную, с помехами, и лишь здесь, в Красноярске, один меломан написал мне целую кассету, начав ее с Вашей песни «За окошком ветер...», а теперь вот и пластинка есть. Спасибо!

Я и сейчас не могу слушать эту песню спокойно, уже с первых слов, с запева баяна, горло мне стискивают слезы... потому что эта песня и про мою, сгоревшую на войне и в послевоенной нужде юность и молодость. Такая пространственная, пронзающая печаль!

Два точных попадания есть у Есенина: «Письмо к матери» и «Над окошком месяц», остальное близко, ближе всего «Отговорила роща золотая», но все же, все же. Вы совершенно правы: писать с Есениным вместе невероятно трудно, думаю я, как и все, что «просто» и кажется тобой самим «сочиненное», постичь порой невозможно...

Так и я не узнал, кто автор и где живет этот самый Попов. Был бы еврей — мгновенно все и все знали бы, да и прославили бы на весь свет. А русский?.. Кому он интересен? Тем более что не бренчит на гитаре и хоть Попов, а «не секёт» в поп-музыке. А они во всем секут, бренчат и сочиняют, не зная нотной грамоты, искажают облик человеческий, и чем больше его исказят, чем гуще напустят дыму и туману, чем срамней изобразят свои разнuzданные телеса и чем отвратительней окарикатурят голос, наплюют в лицо человеку, тем больше радости на лицах «обезьян», тем гнусней их плотское торжество...

Никак не могу собраться в Рязань, к Есенину. С тол-

пой к поэту ездить нельзя, это я уж доподлинно знаю, а у одного не получается. Но все равно соберусь, тогда и поболтаем, а то вон уж дверь дребезжит — пришел кто-то или, как бабушка говаривала: «Лешаки примчали!»

Давно меня зовет Нина Краснова, пишет мне славные письма, встретить и сопроводить сулится.

Посылаю Вам книжку, где есть и «Есенина поют», посылаю с благодарностью и надеждой на встречу.

Будьте здоровы! Преодолевайте робость «перед Есениным». Одна большая удача к Вам уже пришла, может, и еще Господь пособит Вам, а значит, и нам, боготворящим своего богоданного российского поэта, которого больше нет нигде и не будет, сколько бы ни пытались сконструировать да и подсунуть нам «нового гения» России. А он навеки будет с нами.

Поклон до земли Вашему хору и спасибо за такую нужную россиянам, не совсем еще оглохшим, работу.

*Братски обнимаю Вас — Виктор Астафьев,  
г. Красноярск*

9.03.89 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Пишет Вам поклонник вашего таланта, коллега по перу — казахский писатель Туткабай Иманбеков.

Любовь к родной земле, боль за судьбу народа и многострадальной природе в Ваших произведениях глубоко волнует и меня, поэтому очень близки по натуре все Ваши творения. Я тоже, по мере своей возможности, стараюсь в своих произведениях внести лепту в эти всечеловеческие проблемы.

Прочитав Ваш очерк в «Комсомолке», подался к размышлению по поводу названия реки «Виви». Если заглянуть в этимологию слова, может быть это «Биби», что означает «благородная девица», «принцесса», «суженая ханского сына». У нас в Казахстане есть мавзолей «Айша-биби».

Ведь реки на Алтае «Бия», «Катунь» берут же свои корни от слов «би» — «властная», «повелительница» и «Катунь» — «катын», что означает «женщина», «дама». Таким образом, «Властная женщина» послужила названием двух рек.

Это, конечно, к слову и частная догадка по «Виви». А в целом очерк, по-моему, как бы Ваша платформа к выбору и очень актуальна да глубоко человечна. Осмелюсь заранее поздравить Вас как Народного депутата.

Высылаю Вам «Печальный детектив» на казахском языке в моем переводе.

По итогам литературного года, обсуждение которого проходило недавно, этот перевод получил хороший резонанс.

Вместе с этим осмелился выслать и свою книгу «Большой дом». Хотелось бы и молю Бога, чтобы знакомство с моим творчеством не огорчило бы Вас.

*Искренне любящий Вас Туткабай*

5.04.89 г.

Уважаемая фрау Розе!

С удовольствием сообщаю Вам, что Ваше доброе письмо достигло Сибири и дошло до меня. Было радостно узнать, что люди, когда-то покинувшие Россию, не держат на нее зла и на русский народ, так много переживший бед и страданий, да и поныне еще неоправившийся от военных и всяких иных потрясений. Меня поразила Ваша строка о том, что Ваша мать умерла накануне войны и «слава Богу, не увидела ее». Да, приходится завидовать тем, кто не познал этого ужаса и человеческого позора, приведшего к озверению и нравственному развалу, который терзает сейчас род человеческий.

Очень рад, что в семье у Вас все относительно благополучно. Я дважды бывал в ФРГ, ясно представляю Вашу жизнь, и хотя знаю, что проблем везде, и в Германии тоже, очень много, все же радуюсь, что страна Ваша, кажется, первый раз за всю свою историю живет такой большой отрезок времени мирной жизнью, и в достатке живет, и порядок в ней трудовой, спокойный, все заняты делом.

Нам пока до надлежащего порядка и материального благополучия далеко, но появились надежды и лучшая часть трудящихся старается все сделать для экономического и нравственного возрождения страны, а мы помогаем, чем можем.

Я по-прежнему много работаю, и если бы не отвлекали всякие пустяки и семейные беды, сделал бы гораздо

больше, чем делаю. Почти два года назад умерла у нас дочь 39 лет и оставила двух детей-сирот. С мужем она была в разводе, и теперь дети разделены, внук живет у нас, а внучка у сына, в городе Вологде, — это очень от нас далеко. Но на лето внученька приедет к нам. Молим Господа, чтоб Он дал нам с Марьей Семеновной (так зовут мою жену) сил чтобы поднять детей хотя бы до того возраста, когда они смогут зарабатывать себе на хлеб.

Много времени и сил ушло на преодоление этого удара и горя, но жизнь идет и требует дела, забот. Вот и я через год уже начал работать, написал новые рассказы — главы в повесть «Последний поклон» и еще кое-что. Сейчас «Последний поклон» выходит в Москве в двух уже томах и, как только мне пришлют книги, я постараюсь послать Вам в подарок эту, мне самую дорогую книгу.

У нас началась весна, рано, в апреле уже сияет солнце, начинает зеленеть трава, — это на месяц раньше срока, но в Сибири весна коварная, все еще может быть, и холод, и снег. Если пойдет весна так, то я скоро уеду в деревню, она недалеко, в 18 километрах вверх по Енисею. Там у меня домик, и там я стараюсь быть с весны до осени, на деревенском кладбище покоится и наша дочь.

Будучи в ФРГ, я посетил могилу Генриха Белля и поразился ее скромности. Могилы многих бюргеров выглядят куда внушительней и «солидней». Но так, наверное, и должно быть: Белля весь мир знает по его книгам и делам, а бюргера только по могиле можно отличить от других смертных.

Я еще не оставил мечты написать книгу о войне. Но хватит ли сил и времени? А начинать надо. Многие начали забывать, что такое война, и надо им об этом постоянно напоминать, чтоб у них не чесались руки бить друг друга.

Я и мои домашние кланяются Вам и Вашим детям. Желаю Вам доброго здоровья, процветания, успехов и мирной жизни!

Храни Вас Бог!

*Кланяюсь — Виктор Петрович,  
Красноярск*

19.04.89 г.

Дорогой Виктор Петрович! — добрый, терпеливый...

Как Вы назвали наше кино? Слово-то! — в нем и народность, и беспартийность, и здравый смысл, и историческая перспектива. Воистину — «гребаное кино»!

Пока шевелились наши глубокомысленные дельцы (то бишь художественные руководители), пока сценарий читали то одни бесстыжие глаза, то другие, — система наша перешерстилась и стала похожа на полного дурака!

Прокат теперь не дает денег на производство фильмов: ищите, мол, спонсоров, они — прогрессивная финансовая сила, вот и пусть раскошеляются, пусть делят с вами заботы, доходы, убытки, ответственность, шишки и премии, — сами, дескать, снимайте свое кино, сами продавайте копии, сами же и заманивайте зрителя в кинотеатры.

Вот и двинулся творческий люд на запах денег — протянув пустую и голодную руку. Ренита Григорьева, например, гнет шею перед митрополитом Волоколамским и Юрьевским, профессором Питиримом («Помоги, владыко, снять «Мальчиков» Достоевского!»), кто-то подался в сторону Дальневосточного морского пароходства, а кто-то — к текстильщикам города Иваново, к рисоводам Кубани...

А этот новый еврей — Фима Спонсор — со вниманием глядит в сценарий: есть там юные проститутки — годится, пойдет зритель! есть наркоманы, голые бабы, мордобой, мафиози, забеременевшие семиклассницы, — на этом можно заработать денюгу!.. А нравственные проблемы? — их ведь в стакан не нальешь, на кусок не намажешь...

Таков курс.

Гляди, мол, умный человек, в творческое объединение «Ладыя»:

там на одних «Ворах в законе» заграбастали столько, что вернули в банк ссуду, кинули мясистую кость на нужды родной студии, и еще при деньгах остались: хватит, чтоб снять два-три огнестрельных боевика.

«Трещина» (по прикидке) стоит 650 тысяч. Это — если две серии. Если ужаться до одной — около 500 тыс. Деньги не так уж и велики, но «иде их узять?»

Впрочем, есть у меня кой-какие вариантишки... Да и директор студии (и зам. по производству, зам. по финансам) — они к сценарию хорошо относятся, тоже пособить могут.

А Вас я прошу, Виктор Петрович... — Вы, конечно, человек азартный, пружинистый... но не берите на себя эти дурные тяжести, не гробьте время, не транжирьте нервы, здоровье...

Я посылаю Вам экземпляр — перепечатку Вашей рукописи. Поглядите на досуге. Сценарий, конечно, длинен, — в нем не две, а три серии, так что идеи по поводу сокращений я буду обнимать, целовать и приветствовать!

Странно, что, будучи в Москве, Вы не смогли до нас дозвониться. У телефона почти постоянно кто-то сидел: таково было задание. Видимо, вмешался рок... — упрямый дяденька, который, если захочет сделать пакость, непременно ее сделает.

Мы поздравляем Вас — Народного депутата! Надо, надо, чтоб люди решали проблемы страны... — нелюдей-то мы уже досыта насмотрелись и наслушались. Успехов Вам, Виктор Петрович, а главное — могучих сил, неувыдания, здорового, широкого настроения — во благо семьи и литературы.

Сердечный привет, поклон низкий — милой Марии Семеновне!

Болець — запрещаем! — с сердитым видом... — все мы: Дина, Арина, Женя, Лера...

*И Ваш покорный — Борис Григорьев*

**24.04.89 г.**

Дорогие друзья-русисты,  
Эгава Таку! Хара Такуя! Кудо Юкио! Кувано Такаси!  
Цумано Мицуюси!

С праздником весны и солидарности народов — Вас, с 1-м Маем! Всем здоровья доброго! Успехов в труде и творчестве! Благополучия в доме и семье!

Постараюсь ответить на вопросы журнала «Синнихон Бунгаку».

1. Смотрю, как на последнюю надежду наладить нормальную жизнь народа нашей страны, экономику, культуру и экологическую обстановку.

2. Жизнь за это время ушла очень далеко. Обстановка в стране и мире сильно изменилась. Все мы, люди земли, стоим перед роковой чертою — «быть или не быть?». В пятидесятые годы и экологическая, и военная обстановка еще не брали человечество так жестоко за горло. Сейчас уже время не терпит ни в нашей стране, ни в мире — нужно немедленно «умнеть» и разоружаться, одновременно лечить землю и небо, иначе никакие перестройки никому не помогут.

3. Думаю, что более всего духу перестройки соответствует наша публицистика, но и литература, театр, кино пытаются содействовать перестройке. Пока же все это больше происходит внутри самой «культурной среды», получившей свободу слова, действий, мыслей и не умеющей ими распорядиться. А неумение это происходит оттого, что долгое время подавлялись демократия и свободомыслие в стране, и сейчас много сил у творческих людей уходит на преодоление «самого себя», на «перестройку в себе». Процесс этот оказался непростой и болезненный. Впрочем, он всегда и во всем мире был таким.

4. У нас, в России, говорят: — «Поживем-увидим», — тем более, что при моей жизни, на моей памяти это не первая перестройка.

5. Весь анекдот состоит в отсутствии анекдотов. Вот такого на моей памяти еще не было!

Кланяюсь. Еще раз всем доброго здоровья!

*Виктор Астафьев*

26.04.89 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Всенародное уважение к Вам как литератору и общественному деятелю позволило мне обратиться непосредственно к Вам и группе таких же видных деятелей отечественной культуры с просьбой проявить максимум внимания и чувства братской солидарности с татаро-язычным населением Башкирии, которое как в прошлом, так и в настоящем времени терпит недопустимые ущемления своих гражданских прав со стороны башкирской административной власти.

Вначале коротко о себе. Зовут меня Халимов Борис Назметдинович. Башкирский поэт. Литературный псевдо-



ним Айдар Халим, 1942 г. р., член СП СССР. Член КПСС. По образованию журналист. Автор более десяти книг, вышедших в Уфе и Москве. По паспорту я башкир. По национальному самочувствию знал и чувствовал себя как метис, которому по крови башкирский и татарский народы близки и родные. Беззакония, допущенные в отношении татарского населения в Башкирии за последние десять лет со стороны бывшего руководства во главе с Шакировым, заставили меня в контексте защиты прав башкир встать, естественно, и в защиту татар, обделенных застоем, что и выразилось в моей статье «Язык мой — друг мой...», опубликованной в шестом номере «ДН» за прошлый год. Лыщу себя надеждой, что Вы с ней знакомы, а если не знакомы, то, надеюсь, соизволите с ней познакомиться, чтобы понять, насколько серьезна поднимаемая автором письма проблема.

Я не буду рассказывать, каким притеснениям и унижениям со стороны административного аппарата я был подвергнут после выхода статьи. Они частично заметны в редакционном комментарии к письмам читателей, опубликованном «ДН» в мартовском номере за 1989 год. Скажу только, что меня лишили возможности работать по специальности, ответного слова оппонентам, права печататься вообще. Лишенный куска хлеба, я в возрасте 48 лет вынужден был пойти на тяжелейшую работу — помощником бурильщика на буровую, где продолжаю трудиться в настоящее время.

А теперь, умышленно отстраняясь от обид личного порядка, позвольте мне, уважаемый Виктор Петрович, перейти к болям народным, неразрешение которых, на наш взгляд, является сдерживающим элементом оздоровления общественного климата во всем Урало-Волжском регионе, равно и тормозом в перестройке всех общественных, в том числе, межнациональных отношений в нашей республике.

Татарская проблема в Башкирии была создана еще в 1922 году, когда единым росчерком сталинского пера почти полутораmillionное татарское население Уфимской губернии без его согласия было включено в состав «Большой Башкирии». Таким образом завершилось расчленение единоплеменного татарского народа между Волгой и Уралом: татары, превышающие башкирское население по численности почти в три раза, оказались в республике,

носящей этническое название лишь последнего. При этом такой беспрецедентный в истории Союза факт не был гарантирован конкретными государственно-правовыми нормами этнической самостоятельности татар в составе Башкирской АССР. Если верить официальной статистике, татар в настоящее время в Башкирии около миллиона. Учитывая то обстоятельство, что 30 процентов т. н. «западных башкир», переведенных из татарской национальности в башкирскую, считают своим родным языком татарский, можно заключить, что татары сегодня в Башкирии представляют численность (1 млн. 300 тыс.) в два раза превышающую количество этнических башкир.

Между татарами и башкирами в нашей истории никогда серьезных межэтнических трений не было. За последние годы они появились и получили довольно зримые очертания лишь потому, что башкирская администрация из года в год, негласно и под давлением сверху, проводила политику насильственной башкиризации татар. По Конституции 1978 года официальный статус татарского языка на территории республики был отменен. На основе этих незаконных действий в 1978—86 гг. сотни и сотни татарских школ насильственным образом были переведены на башкирский язык обучения, что вызвало бурное негодование со стороны татарской общественности. Как Вы знаете, практика башкиризации татарских школ на Февральском (1988) Пленуме ЦК была подвергнута серьезной критике.

Однако случилось обратное: новое руководство, особенно идеологический аппарат обкома во главе с А. М. Дильмухаметовым, вместо того, чтобы продуманно и безболезненно решать накопившиеся в сфере межнациональных отношений проблемы, к величайшему сожалению, путем запрещенных в пору гласности приемов создает новый очаг межэтнической напряженности. Больно видеть, как политическое недомыслие отдельных руководителей, подсказываемое шовинистической чесоткой местного характера, ведет целый народ на грань безъязычия, первобытного бескультурья и тем самым вывел проблему, ставшую региональной по его же вине, уже на масштаб всей страны. Возврат татарских школ на собственный язык обучения, обусловленный Февральским пленумом, приостановлен. Недавно Минобразование БАССР по указке обкома приняло решение, в котором татарский язык в пределах

Башкирии паспортизован как «Татаро-язычный диалект башкирского языка», и на основе этого «документа» под видом того, что «там население башкирское», начата невиданная до сих пор кампания по переводу сохранившихся татарских школ на башкирский язык обучения. В результате в татаро-язычных районах создалась напряженная ситуация перед новой волной башкиризации. Башкирские средства массовой информации полны материалов, унижающих достоинство татарского народа. Некоторые из них доходят до прямой травли народа. По радио и в газетах публикуются «организованные» заметки, в которых родители-татары и их дети «по собственному желанию» пишут и говорят о том, что «башкирский язык лиричнее, красивее и удобнее для изучения, чем татарский язык», и вся эта дребедень выдается ими за «желание всего татарского населения». Выходит, что татарское население трудится и заполняет бюджет БАССР лишь для того, чтобы башкирские средства массовой информации могли унижить национальное достоинство братского народа за собственный же счет.

Можете ли Вы представить, что полутораmillionное население не имеет до сих пор передач и концертов по радио и телевидению на собственном языке, что слово «татар» у нас находится под запретом и звучит как оскорбление? Можете ли Вы представить, что всем десяти бригадам Башгосфилармонии (правда, недавно создана одна татарская бригада), в которых более половины артистов составляют татары, велено пропагандировать лишь башкирское искусство, а если исполнять татарские песни — то лишь на башкирском языке? Единственному в республиканском масштабе печатному органу на татарском языке газете «Кызыл тан» поднимать собственные, национального плана проблемы запрещено, и газета под давлением аппарата превращена в инструмент воспитания в татарском населении башкирского самосознания с шовинистическим душком. Все это вызывает массу протестов со стороны общественности, но аппарат, действуя безнаказанно, принимает против татарского населения все более новые, изощренные формы репрессивных мер. В миллионном городе, где проживает триста тысяч татар, нет ни одной татарской школы, ни одного клуба или ячейки, куда могли бы прийти пообщаться татарские трудящиеся. На активистов недавно созданного клуба татарс-

кой культуры и Уфимского татарского общественного Движения за перестройку выпали и выпадают немалые доли преследований. Власти упорно отказываются признать их официально, выдавать паспорт и расчетный счет, хотя первому через год мытарств удалось все же получить паспорт с фиктивными правами. Организаторы и члены не имеющего даже комнаты «клуба» в официальных документах Обкома получают лишь ярлыки. Автор настоящего письма, например, является «подрывником основ жизнедеятельности советского строя — дружбы народов СССР».

Чтобы описать все унижения, переживаемые татарским населением в Башкирской АССР, нужны тома. Не буду утруждать Ваше внимание подобным анахронизмом. Такое депрессивное состояние души татарского, равно чувашского, марийского, удмуртского и т. п. населения республики, естественно, отвлекают их энергию и чувства от других насущных проблем перестройки.

Завершая свое письмо, убедительно прошу Вас, дорогой Виктор Петрович, используя весь свой авторитет, весь свой талант и мужество, заступиться устно и печатно за законные права татарского населения в Башкирии и призвать башкирские власти к уважению элементарных прав всех народов и народностей, населяющих Башкирскую советскую республику.

*С уважением Халим Айдар,  
член СП СССР, член КПСС, помощник буровщика  
Бирского управления буровых работ,  
заместитель Председателя правления  
Уфимского татарского общественного движения  
за перестройку*

[1989 год]

Дорогой Виктор!

Я так думаю, что к празднику ты уже не получишь этот пакет: все в России пришло в расстройство и почтовое дело тоже... И все же я рад послать тебе весточку и сказать, что все мы тут все еще полны твоим таким коротким, но памятным приездом!!!

Посылаю в память о тех днях фотокарточки, какие получились. Жаль только, что не побыли мы с тобой наедине, не поговорили о самом-самом...

Поедешь ли ты на Пленум СП? Я — нет. Что-то не хочется соваться в эту пустую говорильню. И вообще в Москве стало скверно, противно: все смотрят в глаза: с кем ты, за кого ты?

Большой, большой привет Маше. Обнимаю и целую —

*твой Женя (Носов)*

Да, Вить, пришли, если можно, твой «Зрячий посох», а то у меня нет.

[1989 год]

Дорогой Виктор!

Получил твои светлые, чистые, как облака, книжки «Последнего поклона», а еще хорошее, умиротворенное, ровное письмо, похожее на поставленную свечу в тихой часовне. Я страшно всему этому обрадовался, весь ослабел, даже обессилел от радости. И только билась мысль: надо ответить поскорее. Но сразу не смог — не хватило сил, а время уходит. Чувствую, что я не успею написать тебе ответное большое письмо до твоего скорого отлета в Москву. Я знаю, что ты днями едешь в Одессу, а оттуда пароходом до Киева, поэтому и спешу ответить тебе хотя бы открыточкой. Сказать тебе спасибо за добрые слова, а еще сказать, что я неизменно и тихо люблю тебя и надеюсь хоть мельком увидеть тебя в Киеве, куда тоже собираюсь поехать на славянский праздник. Буду рад повидать тебя, тем паче — поговорить.

*Твой Женя (Носов)*

13.09.89 г.

(КОПИЯ)

НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА

По поводу заседания 11.09.89 г.

Копия: «Ленинградская правда»

**Открытое письмо**

Товарищи депутаты Ленсовета!

Я обращаюсь к Вам с надеждой, что мой голос будет услышан. Я обращаюсь к ветеранам войны и блокады с просьбой: НЕ ПРЕДАВАЙТЕ АНАФЕМЕ ЧЕСТНОГО

ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА АСТАФЬЕВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА! Вас будет потом мучить совесть.

Да, была блокада. Были те проклятые 900 дней, и город выстоял. Выстоял, но вовсе не потому, что в нем тысячами, сотнями умирали женщины, старики, дети. Они умирали не на баррикадах, не с оружием в руках. Они умирали большей частью в холодных постелях, на лестницах домов, на улицах города. Они умирали, преданные Сталиным, Ворошиловым, Ждановым. А город отстояла армия.

Как мало было сделано руководством и страны, и города с первых дней войны для спасения людей, и как много подготовлено к сдаче города. И то, что не солдаты, призванные воевать, а беззащитные невооруженные люди остались погибать от холода и голода (число смертей неизвестно и сейчас) — ПРЕСТУПЛЕНИЕ, тяжкое преступление перед человечеством. Что могли делать мирные жители во время артобстрелов, бомбежек, голода? До зимы 41-го еще что-то могли. А потом? Потом не было сил.

Совсем недавно стало известно, как в болотах под Чудовом погибла 2-я ударная армия, полегла лишь потому, что предатель Сталин лишил ее продовольствия и боеприпасов. А ведь эти сто тысяч солдат так могли помочь спасению города. Так что историкам еще предстоит немало сказать и о блокаде, и о Ленинградском фронте.

Если следовать кликушеству, царившему в Ленсовете, то следует проклясть одесситов, севастопольцев, киевлян, минчан, сдавших свои города. Но мы славим и будем славить солдат и моряков, защищавших эти города.

Нам, ленинградцам, раньше всегда казалось (так работала пропаганда), что смертью сотен тысяч горожан мы должны лишь гордиться, оставляя без всякого исторического анализа гигантский размер трагедии, постигшей наш город. Но я никогда не забуду, что после войны мы поселились в комнате, где на постели в блокаду умерла женщина с тремя маленькими детьми. Что это? Подвиг? Нет, это не подвиг, но это очень страшно. И не могу я согласиться со всем криком против Астафьева. Он, пишущий о войне фронтовик, поднял очень важный сегодня вопрос о цене каждой человеческой жизни. Каждой, понимаете, каждой! Мы привыкали счет убитым на войне и в лагерях вести на миллионы. Это безнравственно. Это и есть — сталинщина. Человек живет один раз и вовсе не для того, чтоб умереть по воле ждановых, сталиных и иже с ними.

Все сказанное не умаляет моей любви к Ленинграду, боли за него и преклонения перед солдатским подвигом. Я уверена, что то же самое на склоне лет хотел сказать людям тяжелобольной, полуослепший, талантливый писатель-воин.

Вспомните, как летом 41-го радио и газеты уговаривали ленинградцев не покидать свой город, вспомните маленькие детские скелеты, обтянутые кожей, вспомните обреченные слова Тани Савичевой... И если после этого Вам не захочется, хотя бы помолчать, то какие же Вы депутаты своего народа!

*Жуковская Юлия Захаровна, член КПСС,*  
196211 пр. Космонавтов 21-2-12

13.09.89 г.

Виктор Петрович!

Не знаю, в какой степени Вы знакомы с тем, что 11 сентября на сессии Ленинградского Совета Вам было уделено внимание, выразившееся в стихийных эмоционально резких порицаниях многими депутатами Вашей оценки блокады Ленинграда.

Это совпало с мыслями авторов письма Ленинградского совета ветеранов, опубликованного в августе с. г. в ленинградских газетах.

Хочу высказаться по этому поводу и я. Но начну чуть издалека. Хотя я постарше Вас, с Вашим творчеством познакомился всего лет 12—15 назад и воспринял его как радостное открытие. Ваши автобиографические вещи мы читали семейно. Облик Вашей чудесной бабушки — ярчайший образ мудрой и доброй женщины в русской литературе вообще.

Я — блокадник, участник войны, ветеран труда — многократно выступал с рассказами о блокаде. Прочитав о том, какое впечатление на Вас произвела разгрузка ледников с трупами ленинградцев, я не раз в начале беседы цитировал Вас, с благодарностью воспринимая Ваше глубокое протяжение и бережное уважение к блокадникам.

И вдруг плевок в души еще живых блокадников (раньше Вы писали, что нельзя ковыряться в этих кровоточащих душах авторским пером), брюзжание по поводу бессмысленного мужества почти миллиона ленинградцев,

похороненных на братских кладбищах (8 сентября впервые у нас был проведен День памяти).

Как Вы могли дойти до такой низости? Может быть, возраст сказывается, и Вы стали уже брякать (Брякнуть — 3. Неосторожно сказать, чего не следует. Словарь Ожегова)? А может быть, дело хуже? Вы — народный депутат и забыли о том, что надо беречь авторитет и не спешить со «сломом стереотипов». Вы-то должны понимать, что злодеяния Сталина не могут искажать оценку жизни, мужества и труда честных советских людей.

Превозможите амбицию и упрямство и устыдитесь.

*Ленинградец профессор Пинчук Владимир Иванович*

*Примечание:* Наслышан о Ваших «закидонах», поэтому поясняю — фамилия моя от черниговского деда Ильи.

27.09.89 г.

Газете «Вечерний Ленинград»

Копия: В. П. Астафьеву.

Удивляюсь шумихе вокруг интервью В. П. Астафьева. Вот и «Вечерний Ленинград» не остался в стороне. Полностью согласна с Виктором Петровичем в его рассуждениях о войне и человеческой жизни. Смотрите «Правду» за 30.06.89 г. — «Не знает сердце середины». Только Ленинград здесь при чем? Речь идет, по-моему, о цене жизни и бессмысленности войны (выделено заглавными буквами). Вот и все.

Астафьев прошел через войну, а она прошла через его сердце. Нам надо дорасти до такого взгляда на вещи, а мы беремся судить и рядить. Когда в нас достанет ума учиться у своих пророков, а не низвергать их? Неужели и на этой боли — боли потерь — будем зарабатывать гонорары в газетах? Вот и написал бы О. Носов лично Астафьеву, а не через газету. Так нет, надо через газету. Сколько бы ни писали, а лучше Астафьева не напишут, потому что думают иначе, не доросли до него.

Советую вам, редакция, не тревожить души людей ненужными возражениями и спорами.

А Виктора Петровича после его выступления в «Правде» люблю еще больше. На таких держится земля, в том числе и ленинградская. Астафьев поднимает человека, верит в него, а главное, любит его.



Как Вам живется, Виктор Петрович, как здоровится?  
Помните: мы с Вами. Низкий Вам поклон.

*Волкова*

[Сентябрь 1989 года]

Уважаемый Виктор Петрович!

Прежде, чем послать Вам копии этих писем в «Правду» и депутатам Ленсовета, а также ответ из «Правды», я считаю своим долгом сказать Вам вот что:

Поздней осенью в газете «Смена» была полоса о том, что у нас в Питере, в парке Победы (там до войны был кирпичный завод с тоннельными печами), — был крематорий и в этих самых печах сожгли не меньше миллиона человек. Жгли ночью. В основном женщин. Зимой, когда трупы были мерзлые, из города приходили голодные, чтоб отрезать у покойников ягоды. Весной жгли трупы обожившие и полуразвалившиеся. За это давали допцапек и спирт. Но и за это не все могли...

В карьере, где раньше брали песок и глину, плавали черепа — они не совсем сторали, а по пеплу мы, беспятные, уже почти полвека ходим.

Трупы учитывала женщина — писарь. Снимут брезент с машины, посчитают по головам — и в печь...

Так что не в чем Вам перед дураками из Ленсовета каяться. На Пискаревке, выходит, лишь часть захоронена.

Те, кто жег трупы, письма властям писали, просили памятник поставить, а не аттракционы — качели-карусели с музыкой, не вняли им. Не вняли.

Хотели в парке водрузить здоровущий памятник Сталину. А он сдох. Не успели. Памятник тот грузины купили и в Гори уволокли. Там он и стоит по сей день. На этих днях мне говорят, прибудет к нам «десант» из «Нашего современника» и «Молодой гвардии» — будут нести всякую чушь о возрождении домотканой Руси. Говорят, и Вы с ними приедете — громить инородцев и «породненных» с жидами, стало быть, и таких, как я. Надоело мне это мракобесие. А бежать мне некуда и незачем. Здесь мой дом, здесь будет и моя могила.

*Юлия Зах. Жуковская. Не болейте. Извините.*

[1989 год]

Уважаемый Геннадий Философович!

Читал я роман Леонида Лиходеева в «Звезде» и захотелось мне и Вас, и журнал ваш поздравить с такой прекрасной прозой. О романе в периодике ни слова — не до него. И пока страшная литература, из лагерей выкопанная и закордонная, часто претенциозная, вымоченная в чужой воде и фруктовым уксусе, рыба эта будет питать нашего дорогого читателя, и хиленький роман «Жизнь и судьба» будет возноситься выше Толстого, не в чести будут такие труженики слова, как Лиходеев, и критика не заметит их. Вот уж устанет советский человек от разоблачений Сталина, вождей, партии, от услаждения подвигами проституток и дельцов теневой экономики, да от блуда педерастов и наркоманов, тогда, может, и снизойдет и критика наша бойкоязыкая, и дорогой читатель до текущей литературы.

Попутно я по привычке посмотрел поэзию в журнале и обнаружил, что она не опускается до полупоэзии или слегка зарифмованных газетных заметок. Поэтому и решил доверить посмотреть вашему поэтическому отделу стихи о Ленинграде одного очень одаренного начинающего поэта из Красноярска, у которого бабка живет в Ленинграде, вот побывал у нее и отразил в своих стихах все питерское, по-моему, совершенно отличное от стихов самих петербуржцев, восторженно задышающихся от одного лишь названия своего города, да еще старинного прежнего названия.

Посмотрел и публицистику, и критику — и она на хорошем профессиональном уровне, не без перехлестов, конечно. Но что сейчас без перехлестов? А дама, печатающая свои труды в «Звезде», вон считает, что антисемитизм — это плохо, а сионизм так и ничего, а по мне и то, и другое стоит друг друга. А вояка Хустик так и вовсе о сионизме плохого мнения, да ведь он и не одинок, вот загвоздка, и давно уж не одинок, или «век иной — иные песни», да?

Кланяюсь и еще раз благодарю за роман Лиходеева! Желаю много сил и доброго здоровья!

*В. Астафьев*

[1989 год]

### Уважаемый Виктор Петрович!

Ваша книга «Последний поклон» стала в нашей семье настольной книгой. Мы обращаемся к ней и в трудные минуты, и в минуты отдыха, на даче, — возим ее с собой всюду, даем почитать родственникам и знакомым, когда у них трудности, болезни и, поверьте, она хорошо возвращает душевный покой, вкус жизни.

Мы читаем ее вслух — мой муж почти ослеп, вырос в Ужуре и, когда мы читаем или вспоминаем, он будто побывал на родине, дома. Детство, какое бы оно не было тяжелое, — пора прекрасная, особенно у деревенских детей. Из рассказов мужа я их всех представляю. Муж мой — худенький, умный мальчик с одним глазом. Дети других близких родственников в жару и в дождь, когда овцы неотличимы от тумана, тогда особенно трудно приходилось отцу, пасли также утят, гусей, коров. А родители на кошаре. Один раз сели впятером на коня и поехали на станцию, на пути оказалась перекладина, их стало заносить назад, но конь — умница Карька, подогнул ноги и ребятишки благополучно слезли с коня.

Старшая сестра Феня выучилась на телефонистку и стала работать на железной дороге, и с тех пор у нее любовь к дисциплине, она очень обязательна и ответственна. Очень переживает, что зять занялся торговлей, комбинат их работает вполсилы, и она боится, что разучится работать.

Последние годы она ухаживала за отцом, перешла туда жить и, опять же, утешала его чтением вслух Вашего «Последнего поклона». Когда отец умер, мы даже не смогли полететь на похороны — попрощаться с отцом — авиарейсы на Красноярск отменены.

После «Печального детектива» вспомнился Черногорск, барак, где жила наша Фенюшка. Вечером выйдут посидеть на лавочке, секретов ни у кого никаких нет, похороны, именины, пожалеют тех, кто пришел из тюрем, порадуются за вернувшихся из армии солдатиков...

У моей двоюродной сестры был пьющий муж и три дочери, не три, а пять! И она, как заведенная, — работала киномехаником. Все бегом: афишу вывесит, коров подоит, сварит еду, по ягоды сбегает. Дома, конечно, разлито, раскидано, зато всего полно, все хозяйничают. И к технике способная — муж-золотые руки, пока не пил, всему

обучил. Придет домой: теленок в сени забрался, молоко выпил, кто-то из детей плачет, надо бежать кино крутить. Если «индийское» — все село придет и будут смотреть два сеанса подряд...

Потом все выросли, обзавелись семьями, зимой одна кукует, летом съезжаются — пятнадцать внучат — богаче всех!

Ваша бабушка, Екатерина Петровна, казалось, была строгая, а ведь это благо для большой семьи, — все по справедливости, найдет выход из, казалось бы, безвыходных положений, не растеряется перед суровой действительностью.

Моя мама такого же склада, из всех нас она оказалась самой морально стойкой и к восприятию «рыночной» жизни. Все мы находим у нее поддержку, утешение, а с виду — строгая, даже суровая женщина, когда она рядом — душа успокаивается, даже болезни отступают.

Так вот, Виктор Петрович, после Ваших книг мы вспоминаем всех и каждый свое детство...

Я люблю Абакан, особенно, когда он весь в черемухе; люблю дорогу на Дивногорск, грозный Енисей — особенно в серую, ветреную погоду. Жаль мне наших детей, что у них не было такого детства, близкого к природе, и когда человек не боялся человека. А теперь боимся и за них. Этим летом съездили в Абакан и поразило огромное множество пьяных. Чувствуется какая-то уже смиренность с тем, что лучше уже не будет...

В семье же, если чего-то не получается, муж в плохом настроении (человек весь день дома), — спрошу: «Почитаем Астафьева?» — и уже ожил человек, настроение выровнялось, и опять жизнь раскрылась во всей полноте, наполнилась голосами: Катерины Петровны, Августы, Левонтия, дружной слаженной песней.

И правда, нет слезливей народа, чем сибиряки. Летом съехались, порадовались встрече, кого-то уж и помянули да и затянули песню: и золовки, и зятя, и племянники да племянницы, деверь — все плачут. Поют и плачут... И я с ними. А ведь родня-то у нас такая уж разная по национальностям: хакасы, украинцы, русские, якуты — разных мастей, но рода Сабуровского!

Виктор Петрович! Низкий поклон Вам за Ваши книги! Дай Вам Бог долгой жизни и всего доброго Вам и семье Вашей, и близким!

«Последний поклон» даю почитать всем заболевшим,

расстроившимся, впавшим в уныние, и, знаете, — помогает, человек успокаивается.

Другая любимая книга «Пешком с войны» Марии Корякиной. Купила случайно, но не знаю, откуда родом писательница?

*С благодарностью — Людмила Сабурова,  
Якутск*

[1989 год]

Дорогой Виктор Петрович.

Не решилась бы беспокоить Вас, когда бы не прекрасный этот повод: от всей души, сколько ее ни есть во мне, поздравляю Вас с наградой. Знаете, прочитала в газете, обрадовалась и подумала: вот бы под рамочкой с этим указом да еще один указ, что-то вроде «О возрождении и сохранении Сибири с последующим присвоением ей статуса Заповедной зоны им. Астафьева». Чтобы хоть что-нибудь, имеющее значение для Вас...

Простите, дорогой Виктор Петрович, что не так как-то пишу. Не умею я писать красивых, торжественных слов. А шутки, как известно, в конверт входят только плоские. Зато нет в моих неуклюжих словах ни фальши, ни лицемерия. Ну да Вы ведь и так все понимаете и видите, в том числе, «всякую душу, кроме одноклеточной» (все помню).

Перед Вами невозможно притворяться или таиться, поэтому решила я написать Вам все-таки несколько слов, которые скрыла, не посмела произнести вслух.

У Вас в Красноярске, на выступлении, я назвала Вас (простите!) живущим национальным достоянием. Но Вы еще и мое заветное достояние. Не знаю, как лучше сказать. Вы мой сокровенный, мой насыщенный писатель. Простите, что так открыто говорю; понимаю, что надо бы хоть не так в лоб-то. Да не выходит у меня. Я никогда в жизни не была на исповеди, но мне кажется, что в настоящей исповедальне человеку должно быть вот так, как возле Вас. Чтобы так надежно, спокойно и тревожно, тепло и чисто было душе, что обнажиться ей самой хотелось бы нестерпимо. А уж моей-то душе грешной, самой жизнью Вам обязанной, совершенно противоестественно перед Вами выпендриваться. Просто нет сил думать, как бы этак сказануть: «Тут — не до жиру! — тут бы высказать...»

Да разве выскажешь, разве это можно объяснить, что для меня и со мной сделали Ваши книги! Знаете, самым лучшим, самым мудрым, гордым, мучительным и отрадным, что есть в моей жизни и мироощущении, я заразилась от них. Именно благодаря им я остро, ясно и безысходно, каждой клеточкой существа моего, всей шкурой моей ощутила, что значит русский человек, как это видеть, понимать все в мире по-русски, по-русски в нем жить. Они помогли мне увидеть, как удивительно глубока и многосложна так называемая простая человеческая душа, как она может быть всеобъемлюще действенно-милосердной, сострадательной, мудрой, щедрой, бесконечной во всем. Какое может таиться в ней непоказушное благородство, истинное великодушие, достоинство, честь, совесть. И как больно, какой прочной пуповиной повязаны мы все со всеми и со всем вокруг. И многое, многое еще подарили мне Ваши книги.

Всякое случалось: и ночь прореветь, и промяться бессонницей, и продумать-передумать над Вашим словом столько, что ни в сказке сказать, ни в письме написать.

А теперь ведь я еще и знаю (и от этого почему-то невыразимо сильнее хочется жить!), что каждая строка — не что-то со стороны подсмотренное «соколиным глазом», а с кровью, с мясом вырванный кусок живой души Вашей, проживающей и переживающей за всех, в том числе, за меня. (Господи, благослови ее за это!)

Нет, не могу всего сказать, чтобы кратко и умно, — недостает таланту и ума, а чтобы полно и складно — слов и времени (Вашего-то жаль!)

У Вас и так все пожирают его немилосердно, и я тоже... А Вы так бережны и тактичны с нами, так перед нами беззащитны, так не привыкли беречь себя... Мне показалось, единственный человек, к которому Вы безжалостны, даже беспощадны, — это Вы сами. Я не имею права о Вас заботиться, я понимаю. Но мне так страшно за Ваше сердце! Я просто не могу с этим справиться, ей-Богу. Болит за него душа, как за дитя родное, когда представляю только, как же это ему уместить в себе и вынести столько труда, муки и страдания, столько любви и такое одиночество, да вдобавок такое знание, о котором жутко подумать. Остается только догадываться, чего ему стоит, по-детски бескорыстному сердцу Вашему, Ваша бесстрашная, отважная открытость нашему миру, такому жестокому и несовершенному, что стыдно за него, почти как за

себя. А еще реликтовая, самоотверженная какая-то нежность и доверчивость к людям, почти необъяснимая при Вашей пронизательности. А ведь ему еще предназначено такое сострадание со всеми-всеми, со всем народом и со временем (не умею сказать...). Простите, простите меня за бесперемонность, за путаность — за все, пожалуйста, простите! Я от страха и тревоги так глупею. Помнится, некая экзальтированная девица предложила какому-то известному человеку (то ли Глезосу, то ли Пелтиеру), обреченному на слепоту, свои глаза. Такая жалость, что невозможно предложить Вам про запас свое сердце. Невозможно, потому что и дураку ясно, что Ваше сердце ничьим не заменишь. Есть в нем что-то редкостное, точнее, уникальное, потому что это что-то только в Вас единственном и есть на свете. Я иногда думаю, что, может, сама истина выбрала и отметила Вас. Были же на Руси подвижники. Ну вот что-то вроде этого. Не знаю этому чему-то названия. Только чувствую.

Боже мой, ну что, что можно сделать, чтобы Вы не болели и жили долго-долго?..

Знаете, я бы очень хотела быть Судьбой или Богом, чтобы уберечь, защитить Вас. Только вряд ли бы Вы позволили...

Господи, как же повезло этой жизни и нам всем, что Вы есть!

Как странно и радостно, что Вы среди нас живете!

Спасибо Вам за терпение и доброту к нам.

Никогда в жизни я не чувствовала столько заботы, внимания и доброго участия к себе, как этим августом у Вас.

Спасибо, что у меня теперь есть, кому верить.

Я догадываюсь, что множество людей говорят Вам то же самое или гораздо больше. Но не смогла не сказать и я. Никогда никому даже в гимназической молодости не писала восторженных писем, а тут прорвало видать. Простите. Вот и еще об одном смолчать нету сил. Вы действительно человек особенный в моей судьбе и (опять же, не знаю, как сказать, чтоб не так вызывающе самонадеянно звучало) необъяснимо родной мне человек. Наставник говорит, что пока человек некрещен, душа его как будто и не живет совсем, нет ее в мире — и все тут. Так считается, если по вере. Это удивительно справедливо, если судить по мне! Я, кажется, теперь чем-то иным себя в

жизни ощущаю, что-то иное значу на свете, и, пожалуй, только теперь (к стыду и радости своей) начинаю жить.

Спасибо Вам, мой Крестный Отец.

*Поэтесса — Любовь Яковлева*  
из Черкасс

[1989 год]

Многоуважаемый Виктор Петрович!

Прошу Вас, помогите мне пробить такую брешь, как запустение земель — общенародного достояния.

Я работала в землеустроительных экспедициях на съемках, знаю зеркало водохранилища. Коллеги мои отбирали компенсационные земли, казалось бы, все должно быть хорошо. Но я тогда засняла на планшет залежные земли, не дожидаясь приемки, вычертила контуры залежи. Меня заставил начальник соскоблить условные знаки и контуры. Со слезами на глазах я доказывала, что это залежь, а не пашня. Прошло тридцать лет. У нас все заросло, компенсационных земель нет, водохранилище зарастает, работа пропала, начался отток населения в город, запустели села. Горожане родом из крестьян стали скупать за бесценок поблизости полуразвалившиеся дома, засаживать картофелем, разъезжать на машинах по рынкам, продавать по баснословным ценам овощи, ухитряться захватывать по два участка земли, засаживать ее цветами, от реализации продукции стали превращаться в бизнесменов. И еще, — получая по два участка — на мужа и на жену, застраивая и продавая, обогащаясь в личных целях, государству же ни копейки.

Вот уж кое-кому вольготно зажилось на Руси! С коих это пор у нас земля стала обесцениваться, а деньги — перекачиваться в руки дельцов-предпринимателей! Даже исполком райсовета помогает таким предпринимателям набивать карманы — отводит участки под парки и цветники. А много ли заложено и насажено парков, культивировано цветов? Большинство трудящихся из треста зеленого хозяйства засаживают, в основном, цветы и овощи для себя, поработают «в поле» два-три часа и далее — делают свой бизнес! Вот так мы выполняем продовольственную программу. А в зеленом, с позволения сказать, увлекаются только цветами. Но ведь цветы не едят! Скажешь иному «цветоводу»-любителю: — «Здорово ты вы-



полняешь продовольственную программу!». А он: «Иди, пока голова цела!» — и «разрешениями» размахивают, и милицией пугают. Вот причины дороговизны нашего рынка — Вам объяснять это не надо. И держимся мы частично на оставшихся энтузиастах.

Когда крестьянские буренки стояли по колено в грязи? Говорят, не работает транспортер с жижесборником и навозоочистителем... А трудящиеся то пьянствуют, то по барахолкам шляются...

Я не однажды писала о «делах земельных» и в газеты, и в высшие инстанции. М. С. Горбачев поставил однажды вопросы ребром: не будет отдачи, будут приняты меры. Однако надстройка не желает сдавать позиций с перекачиванием в свой карман, в результате чего многие ЛПХ задолжали государству и не знают, как выйти из положения...

Я о многом могла бы рассказать Вам, да разве обо всем расскажешь, да и у Вас времени на творчество тогда вовсе не останется. Я 8 лет работала в колхозе, во время войны была бригадиром, потом по землеустройству и 20 лет в проектно-институте, две отрасли знаю хорошо, только кто меня послушает? Многие предприятия лишились специалистов. Но разве можно сравнить работу уролога с наладчиком телевизоров или шахтера с учителем?.. Да и вы, депутат и писатель не сможете ответить, почему мы, русские, скоро станем нерусскими, дети крутят рок-музыку, не зная ни одного иностранного языка, ничего не зная о настоящей культуре, странные, ни к селу ни к городу телефильмы и телепередачи, все это опустошает ребенка, он же еще не имеет понятия о гордости нации, красоте и певучести русских, родных напевов, женщина уже мало чем похожа на женщину.

По состоянию здоровья мне пришлось сменить работу, теперь работаю картографом в Гипролестранс и почти сразу обнаружила: в лесу хозяин медведь, на которого все спишется. Штаты же раздуваются, и большинство из них с легкостью перекадывают деньги из одного кармана в другой и вовсе не ожидали, да и понимать не хотели хозрасчетного порядка — и пришли с миллионными кредиторскими задолженностями, опустошив сырьевую базу. На мой взгляд, уж если ЛПХ и объединения оказались нерентабельными, многие колхозы и совхозы, меньшая часть из них еще работает — они никакими затратами государства не залатают прорех, пока не заставят или не

дадут возможности работать по-настоящему, но многие уже и разучились работать. Трудная задача стоит перед страной и вопросы эти надо решать. Ведь в Китае решили же многие сходные проблемы, но они трудолюбивы.

Виктор Петрович, убедительно прошу Вас — поднимите на пленуме мой вопрос — это боль не только моей души и не для себя я прошу. Мне 63 года, я очень больная, и мне ничего не надо, но людям нашим надо жить — у всех жизнь одна и не для издевательства она дана человеку.

*Т. Ананьина*

[1982 год]

Дорогой Виктор!

Получил от тебя весточку и рад обнять и поздравить тебя ответно, хотя нет у меня ощущения, что приближается очередной Новый год, и потому не бьешь копытом, как когда-то в молодости. Я уже давно не праздную никакие календарные праздники, разучился ходить в ногу и живу только тихой случайной радостью внутри себя, какую удастся залучить, как в клетку.

Вот родилась у Ирки внучка, назвали Настей — это мое солнышко, к ней повернут всей душой. А это верный призрак старости. Только для нее Бог придумал такое утешение — внуков.

Женькин сын, а мой внук, как-то и не внук, — выше отца ростом. Позавчера пришел из школы — табачищем несет — говорит, мол, это еще когда в колхоз убирать картошку гоняли — насобачился курить, да никак не отвыкнет. А на миру стало пакостно. Про сахар власти говорят — на самогонку разбирают.

Обнимаю тебя, дорогой, держись изо всех сил! Ты нужен не только внукам. Большой-большой привет Маше! Мы ее всегда помним и всегда любим.

*Твой Женя*

Милый, родной Витя, тронут теплым сердечным словом в «Литроссии», спасибо, дружище.

*Обнимаю — Женя (Носов)*

---

## ИЗ БЕСЕДЫ С В. М. ДОВБНЕЙ

[1989]

*Из писем В. М. Довбни из города Усмани  
В. П. Астафьеву*

«Дорогой мой Виктор Петрович! Вот и дождался весточки от Вас. И хотя сообщения Ваши не очень радостны — в недугах какое же утешение! — все же радостно сознавать, что и творческий родничок Ваш не иссякает, и кое-что на бумагу прорывается и даже на страницы журналов... Очень сожалею, что нет у нас возможности встретиться лично. Как много бы хотелось поведать Вам! Чем больше копится в душе, тем острее чувствуешь необходимость излить все кому-то. Да всякому ли можно довериться? Всякий ли поймет все до конца?..»

«(...) Писатель должен ясно представлять, что из продуманного им уже дошло до читательского сознания, а что еще требует усиления или повторения. А уж как это сделать — должен судить не читатель, пусть даже и самый тонкий, а только сам писатель, ибо он один может знать естественные истоки каждого своего замысла. Именно поэтому я и обратился к Вам со своими письмами. Мне очень хотелось поведать Вам, какое воздействие оказало Ваше творчество на мою читательскую душу. Хотелось поведать, в чем именно почувствовал я силу Вашего дарования. (...)»

«(...) Вы спрашиваете, как я смотрю на то, чтобы часть моих писем к Вам появилась на страницах «Литературного обозрения». Знаете ли, вопрос для меня оказался слишком неожиданным. Ведь все, что я Вам писал, не имело единой целевой установки. Это всего лишь — беседа с тем, перед которым хотелось распахнуть свою душу. (...)»

...Говорим об интеллигенции...

— Интеллигенция?.. По совести говоря, был бы рад, если бы кто-нибудь взялся мне объяснить, что это такое.

Спорим, решаем: интеллигенция — это «прослойка» или все-таки «класс»? А может — просто: «люди умственного труда»? Но какой, скажите на милость, труд является «не умственным»? Труд пахаря? Кузнеца?.. Говорят: образование. Хорошо. Академик Велихов — интеллигенция? Да. А какой-нибудь главначпулс современный? У него-то тоже нынче диплом, а то и степень... Нет, интеллигенции как социальной категории у нас не существует. Кстати, примерно это отмечал Бердяев, которого лично я считаю великим мыслителем. В своей работе «Философия неравенства», кажется 18-го года, он писал, что подлинный аристократизм может быть свойствен и простому рабочему, в то время как в среде тех, кто именует себя аристократами, можно встретить сколько угодно хамов, невежд и так далее. Собственно, о том же говорил еще и Герцен, замечавший в некоторых представителях крестьянского сословия черты природного аристократизма... Да, они говорили об аристократизме, верно, но разумели-то, в сущности, что-то близкое к нашему пониманию интеллигентности... Я много над этим думал и пришел к такому выводу: интеллигенции — нет. Есть интеллигентность. Как внутреннее, надсоциальное свойство человека, являющееся величайшим проявлением разума...

— Конечно же, наши основные нравственные представления связаны с космосом! Иначе и быть не может. Природа стремится к устойчивости, к равновесию, к сохранению и воспроизводству жизни. Что мы понимаем в тех силах, которые поддерживают и развивают жизнь на земле, которые направлены к нам из космоса? Пока еще очень мало. Зрением их не увидишь, кожей не ощутишь... Однако они существуют, они не хаотичны, имеют определенное циклическое строение, они создают собою поля вокруг того, чем порождаются. Люди всегда чувствовали воздействие этой невидимой части мира, природу которого не могли понять. Так возникло понятие Бога — почему и говорят, что Бог непостижим. И в некотором смысле Он действительно существует — как соединение вот этих разнообразных сил в единую, вечно животворящую силу. И в ее существовании я не вижу никакой мистики: это структура и тому подобное. Вот почему я и думаю, что какие-то начатки нравственных представлений, представ-

лений о добре и зле, были вложены в человека матушкой-природой — как проявление вот этой животворящей силы, как ступень на пути от биосферы к ноосфере...

Человек — это малая клеточка бесконечной огромности, которую мы называем Космос. Он — частица, слагаемое этой огромности. Но так же, как целое воздействует на свою частицу, так же и частица в какой-то мере воздействует на целое. Организованность всей структуры зависит от организованности каждого из нас. Вот отсюда, от освоения этой истины и начинается то, что я называю интеллигентностью. Интеллигентность — это не просто сумма каких-то качеств, это живое осознание себя действующей частицей мироздания, которое предполагает развитое чувство ответственности, способность к самоограничению. Надо помнить, что человек пришел в этот мир не потреблять — постигать, развиваться, раскрывать свою человеческую сущность и этим способствовать усовершенствованию мира...

Повоевать Виктору Мироновичу довелось чуть меньше года.

— Меня, собственно, даже не «взяли» в плен. Подобрали — истекающего кровью, в бессознательном состоянии.

— Это Харьковская операция. Смотрите: немцы прорываются из Барвенково на город Изюм и на Балаклею, замыкают окружение огромной территории с нашими войсками. А наша часть вот здесь — под Екатериновкой и Алексеевкой. После окружения началась отчаянная бомбежка. Меня ранило в руку. Один осколок военфельдшер Федченко умудрился извлечь на месте, другой, маленький, извлекли спустя 35 лет уже здесь, в Усмани... На попутке меня отправили в «тыл», то есть искать полевой госпиталь. По дороге машина была разбита минометным огнем, я был ранен в ногу. Придя в себя, я, безоружный, пополз в сторону леса...

Побывал в нескольких лагерях. Четыре (!) раза бежал. Ловили, избивали, возвращали...

— Почему я никак не мог смириться с судьбой покорного узника? Говорить о какой-то особой смелости, отваге не приходится — это значило бы романтизировать лагерную действительность. Было отчаяние, доведенное до какого-то невыносимого предела, — оно-то и заставляло действовать... Первым пунктом, куда нас доставили после пленения, была станция Лозовая. Оттуда в набитых бит-

ком вагонах нас через Павлоград и Шепетовку отправили в лагерь, находившийся в польском городе Ченстохове. Там — о счастье! — мне впервые оказали медицинскую помощь: раны гноились, врач (он был русским) удивлялся, как это мне удалось избежать гангрены.

Лагерь делился на несколько блоков, отделенных друг от друга колючей проволокой. Я работал внутри лагеря, некоторые бригады (здесь их называли командами) ежедневно отправлялись для работ за пределы лагеря. У входивших в такие команды была, видимо, возможность общаться с местным населением, во всяком случае, они приносили с собой много такого, что было недоступно остальным: табак, соль, сырую свеклу и картофель, а иногда даже кое-какие инструменты — небольшие молотки, ножи, точильные оселки, зубильца и т. д. Все это выменивалось у поляков на вещи, приобретенные на внутрилагерных «базарах», которые устраивались вечерами в каждом блоке и между блоками, через одинарное проволочное ограждение. Основным меновым эквивалентом являлась, конечно, лагерная пайка эрзац-хлеба — эдакий клинышек, граммов на 50, из смеси бурачной муки, древесных опилок и до пыли истолченных ржаных отрубей. Таких паек на день полагалось две.

Днем в лагере хозяйничали немцы и полицаи, ночью — подонки из числа вчерашних уголовников, те, кому Сталин и Берия предоставили возможность «искупить свою вину перед Родиной», переместиться из мест заключения в действующую армию. Оказавшись в немецком лагере, эти «социально близкие» «друзья народа» быстренько вспоминали то, чем занимались в лагерях советских — терроризировали более слабых, отнимали все, что только можно было отнять, издевались, глумились...

...Вдруг на «базаре» стали появляться мясные котлеты. Откуда такая роскошь? Побрел слушок, будто котлеты готовят... из человеческого мяса. Будто бы у только что умерших вырезают куски из ягодиц. Я не мог, не хотел верить, но... В нашем бараке доживал последние дни какой-то парнишка из Одессы. Уже дважды мы, его соседи, добивались выдачи на него хлеба и баланды, доказывали, что он еще не умер. А ночью проснулся от его голоса:

— Братцы, не режьте, я еще живой...

И — две тени, копошащиеся над ним. И — голос соседа: «Молчи! А то и до нас доберутся...» Но тени, слава Богу, исчезли. Под утро я зачем-то сполз с нар, выбрался

наружу и пополз по пустынному блоку в сторону ворот. Не знаю, что мной руководило. Там, возле ворот, была поросшая мягкой травой полянка. Лежу на траве и, как последний идиот, высасываю из травинки влагу... В тот день я и решил во что бы то ни стало уйти из лагеря. Хотя я готовился к нему довольно долго и старательно все продумывал, но побег был прежде всего актом отчаяния.

А когда бежишь — что в это время чувствуешь? Страх. Настоящий животный страх. Но это — не боязнь быть убитым, а страх быть пойманным. Потому что, если тебя поймают, рассчитывать просто на выстрел в упор не приходится. Стрелять в безоружного и тщедушного беглеца — что за удовольствие для истязателей? Нет, они станут тебя именно истязать, не упуская возможности использовать превосходство в силе...

В тот первый побег я сильно рассчитывал на то, что удастся хотя бы на время укрыться у кого-нибудь из местных — все-таки братья-славяне. Действительно, выбрался к какому-то селению. Хозяин дома, старик, встретил меня с доброй улыбкой, лопотал что-то по-польски, я понимал отдельные слова, которые похожи на украинские. Угостил молоком, хлебом. Устроил мне в сенцах удобную постель. Думаю, подхарчусь тут у него немного, стану помогать ему в хозяйстве, а чуть окрепнув, разведаю возможность податься на восток, к нашим — в лагере шли упорные слухи, что в белорусских лесах вовсю орудуют партизаны. С этими мыслями и уснул. А проснулся — голоса, поляк-то мой уже успел сбегать, куда надо...

В тюрьме от соседа по камере узнал, что за каждого пойманного беглеца немецкое командование выдает вознаграждение в размере сорока злотых и восьми килограммов муки.

— ...Где-то весной сорок третьего в среде военнопленных распространился слух: в плен попал генерал Власов. Вскоре этот слух подтвердила газетенка, которая издавалась специально для нас, кажется, называлась она «Заря». Там же сообщалось, что состоялась встреча Власов с Гимлером и что бывший советский генерал выразил готовность сотрудничать с немецким командованием.

А потом в лагерях стали появляться пропагандисты-зазывалы.

О власовской идее скажу так: она мне с самого начала представлялась несерьезной. Армия, сколоченная из разнопородной публики, давно уже утратившей боевой дух,

моральную стойкость, растерявшей чувство воинской дисциплины...

Почему же я все-таки согласился, вернее, решил пойти в армию Власова? Мне бы хотелось, чтобы этот поступок был бы понят верно. Болтовня пропагандистов меня не занимала совершенно. И не за жизнь свою я цеплялся, хотя в лагере вряд ли бы выжил. Я хотел помочь нашим, и у меня родился план, как это сделать. Потом я, увы, убедился, что мой план оказался профессионально незрелым, и даже, осуществись все, как я хотел, все равно мне бы вряд ли поверили...

В общем, власовцам я отрекомендовался картографом, заявив, что ни в чем ином полезным быть не смогу. Начальник штаба дивизии подполковник Николаев удовлетворил мое ходатайство: я был назначен в картографический отдел. Возглавлял его некто Токаренко, в чине, как помнится, фельдфебеля. Держал я себя строго, работал добросовестно, ни в какие увольнения не отпрашивался — словом, всегда был под рукой, чем и добился расположения и доверия к себе.

Таким образом мне удалось добыть план обороны дивизии, хотя он менялся не раз. Скопированный на кальку со всей фланговой и тыловой обстановкой, он был вмонтирован в обложку записной книжки со стихами, которую я постоянно носил с собой и охотно всем показывал. Вот этот-то «трофей» я и хотел принести нашим.

Всю оборонительную ситуацию я знал наизусть, но подвело меня то, что я не мог знать постов боевого охранения — их-то назначали командиры рот. На этом и попался, где-то метрах в 300 от передовых позиций. Меня арестовали, поместили в походную гауптвахту — крытую машину типа обычного «воронка». При обыске ничего не обнаружили, кроме записной книжки — но чего она стояла в руках опытного человека!..

От верной гибели меня спасла заваруха, поднявшаяся в двух полках. Солдаты отказались воевать против своих русских собратьев. То есть случилось то, что и должно было случиться. Командир дивизии Буняченко был вынужден снять эти полки с позиций, но за ними самовольно побежали другие. Началась невероятная неразбериха. Солдаты бежали к грузовикам, находящимся в тыловом эшелоне, захватывали в них места. Немало ошалелых от паники набилось и в тот «воронка», где я ожидал своей участи.



Как Буняченко удалось уладить конфликт и сохранить личный состав — не знаю. Пользуясь темнотой и общей сумятицей, я поторопился подальше унести ноги... Дивизия, как я узнал уже потом, отправилась на юг, в Чехословакию, а ее место тут же было занято спецвойсками СС. То есть мои сведения в любом случае уже негодились...

Ну вот, дальше было еще немало всяких мытарств, пока я наконец не добрался до наших...

— По моей статье — «измена Родине» — нормой было 25 лет заключения. А дали только десять. Детский срок, как тогда говорили... В протоколах следствия было меньше всего моих собственных показаний и объяснений, зато сколько угодно свободного домысла опытных следователей. Один из самых первых допросов — группа из трех человек, старший хрипит: «Ты нам очки не втирай, мы отлично знаем, как все происходило!» После этого он буквально диктовал им же изобретенную версию, а другой следователь записывал. Следователи менялись, а версия оставалась прежней. Мои возражения были бессмысленны, никого не интересовали. Следователи выполняли свой «служебный долг», как он тогда понимался, истина их не интересовала. Последний из них, майор, — фамилию его, к сожалению, не помню — даже не скрывал этого. «Послушай, — говорит, — ты же умный парень. Я, может быть, верю, что тебя не судить, а в пример ставить надо. Но ты пойми: нельзя тебя отпускать на свободу, ты же станешь невольным пропагандистом вредных сведений». Вот так.

— А где было тяжелее: «у нас» или «у них»?

— Везде тяжелее. Только «у нас» больше. За что?.. Ладно, я, по их представлениям, власовец. А сколько тех, на ком и этой тени не лежало? Но главное — даже не безвинность. А вот то, о чем еще Солженицын писал в «Одном дне Ивана Денисовича», — всех под одну гребенку! Будь ты полицай или, наоборот, жертва полицая, — одна баланда! У полицая нередко даже погуще — он-то не связан никакой там «нравственностью»!..

«...Почти во всех книгах о лагерях, которые мне удалось читать, обращалось внимание на ужасы лагерного быта и труда пленных, но почему-то упускалась из виду социальная структура лагерей, то главное, что вырабатывало своеобразную психологию людей в столь экстремальных условиях. Поэтому, как мне кажется, непосвящен-

ным читателям не всегда понятно, почему возможности сопротивления оказывались предельно ограниченными. В самом деле — упоминают чаще всего Бухенвальд, Дахау, 2—3 лагеря в Прибалтике... А лагерей-то были сотни, тысячи! И крупных, и помельче. Что же мешало создавать группы сопротивления? Приходилось слышать много доводов и даже, представьте, такой, что народ наш, дескать, больно продажен, ничего никому доверять нельзя, обязательно донесут, продадут за окурки... Да, доносчики в нашей среде действительно были, я даже некоторых знал в лицо. И все-таки их наличие никоим образом не выражает особенностей национального характера. Доносами занимались единицы, а в основной массе царил дух презрения к подобного рода склонностям...

Но вот что бросалось в глаза. Естественное для нашего народа чувство коллективизма в условиях плена резко меняло свое содержание. Массовость подменялась ограниченной групповщиной. А деление на небольшие группы происходило не столько по национальному признаку, сколько по признаку непосредственного землячества. Пленные держались небольшими группками из 2—5 человек и всеми силами стремились сохранить постоянным состав этих группок. Порой получались совершенно неожиданные сочетания, в которых, как ни странно, прослеживалась отнюдь не классовая и даже не сословная принадлежность, а какая-то общность региональных привычек и интересов. Я долго исподволь наблюдал, как строились отношения между разными группами. И пришел к твердому убеждению, что социальная дифференциация лагерных обитателей определяется их мерой отдаленности или приближенности к верхушке, то есть к тем, кто практически осуществляет власть над всем составом пленных.

Меня интересовали не столько спонтанные принципы социальной дифференциации лагерного населения, сколько истоки тех нравственных пороков, которые только и можно разглядеть в условиях плена или лагеря. Это впоследствии помогло мне понять, откуда берут начало некоторые негативные стороны нашей жизни... Ничто не обескровливает волю человека так неисцелимо, как осознание собственной обреченности. Пожалуй, нет ничего страшнее для человека, чем утратить веру в себя, в свои силы, свою находчивость и решительность. Тот, кто ее утрачивает, погибает сразу. А те, в ком еще теплится наде-

жда, в лучшем случае пытаются вырваться из железной хватки капкана, в худшем — идут на откровенное при-  
способление к своеволию мучителей. При этом, видимо,  
не слишком задумываясь, что это — нравственная гибель,  
причем гибель навсегда... Так вот, именно осознание боль-  
шинством военнопленных своей обреченности и было тем  
тормозом, который мешал единению людей в общей беде  
и, стало быть, мешал организовать какое-то сопротивление...  
Сейчас идет широкая кампания — изменить отно-  
шение к тем, кто побывал в плену. Ну а представьте, как-  
ким могло быть отношение к таким, как я? На мне-то  
пятно еще серьезней. Вот я и решил — после апрельского  
Пленума, после Двадцать седьмого съезда — объяснить,  
так сказать, с властями начистоту. Попробовать убедить  
их, что я никакой не враг Советской власти, что всю жизнь  
только об одном мечтал — быть полезным своей Родине,  
народу...

С 54-го года работал прорабом, руководителем строи-  
тельных организаций, преподавал в техникуме. Думаете,  
наш край был благословенным оазисом среди пустыни  
застоя? Я не считал нужным скрывать ни своих мыслей,  
ни взглядов. Понимаете ли, длительное пребывание в ус-  
ловиях вынужденной несвободы — оно по-разному на лю-  
дях отпечатывается. Один спрячется в себя, в свою скор-  
лупу... А у другого, я бы сказал, вырабатывается обес-  
тренная способность чувствовать любые проявления не-  
справедливости, доходящая чуть не до болезненности... А  
«выводы» — пожалуйста, всегда наготове. Коли ты власо-  
вец недобитый и чем-то еще недоволен — это в тебе гово-  
рит твоя вражеская сущность. А коли несправедливо по-  
страдал — что ж, озлобился, значит. Озлобился!.. Да вправе  
ли я сетовать на свою судьбу?!

Нет, и не под чуждым небосводом,  
И не под защитой черных крыл —  
Я была тогда с моим народом  
Там, где мой народ, к несчастью, был, —

я эти строчки из ахматовского «Реквиема» уже лет двад-  
цать про себя твержу. А еще до этого и сам нацарапал  
такое:

Одно мне удалось наверняка понять  
Изо всего, что пережито было:  
Беда лихая не ограбила меня —  
Напротив, щедро наградила...

«Мне трудно сейчас передать все те чувства, которые буквально всколыхнули душу и продолжали нарастать изо дня в день по мере того, как я вдумывался в глубинный смысл четко наметившегося процесса в нашей стране. Не хочу лукавить: мое мировидение и мое миропонимание, конечно, в чем-то не совпадают с официальной идеологией. Но имеющиеся отличия касаются лишь способов восприятия объективных законов природы и поэтому не содержат в себе ничего вредного по отношению к нашему социальному строю... Для меня была неприемлема не сама наша действительность, а именно то, что вносило в нее некое противоречие с естественными запросами народа...

Теперь в полный голос заговорили о человеческом факторе, о необходимости перестроить саму психологию, мышление наших людей, — но ведь именно эти проблемы и составляли основу моих мыслей... Меня радует, что наше партийное руководство осознало необходимость решительно пересмотреть пережившую самое себя традицию отношения к человеку. Но я предвижу в этом процессе немало трудностей, и потому совесть моя не позволяет мне остаться в стороне от намеченной и уже начатой перестройки... Моя судьба, как мне кажется, может послужить наглядной иллюстрацией к тому, куда вели допускаявшиеся перегибы, как возникали условия, порождавшие все то, что принято называть «инакомыслием». Но вместе с тем она ставит и другой вопрос: всякое ли инакомыслие следует считать вредным и опасным?.. Я все это пишу отнюдь не в заботе о личной судьбе, а только затем, чтобы заострить ваше внимание на истинном смысле того, что происходило и чего следовало бы избегать в дальнейшем... Полагаю, что работа по выявлению конкретных причин, порождающих недовольство наших граждан, должна составлять одну из самых важных задач. Любое недовольство — это первопричина спонтанного недоверия, а значит, потенциальной враждебности. Об этом не следует забывать. Никакая враждебная пропаганда не может сделать того, что может сделать рядовой чиновник, проявляющий бездушно-издевательское отношение к обращающимся к нему людям...

— Из публикаций последнего времени самой значительной я бы, наверное, назвал «Доктора Живаго». Сильное впечатление на меня произвела «Плаха» Айтманова. Вот у кого поистине «ноосферное» видение мира, кто и

чувством, и разумом понимает связь между судьбой планеты, культуры и жизнью каждого из нас! Он удивительно умеет увидеть в песчинке — космос, постичь связь между нашими дисгармониями и нарушением, распадом гармонии мировой... Вы, кстати, не читали статью о «Плахе» в каком-то из последних номеров «Нашего современника»? Нет? У меня она вызвала некоторое недоумение. Критик подходит к произведению с какими-то заданными представлениями, учит писателя, что хорошо, что плохо. Я такого подхода совершенно не понимаю: надо, дескать, так, а у тебя написано иначе. Да кто ж кроме писателя знает, как надо и что следует сказать? Нет уж, ты постарайся понять писателя, его задачу, ну, истолкуй все это, как ты понимаешь. А другие — пусть истолкуют по-своему. Вот это будет критика.

Прочитал «Детей Арбата» Рыбакова. Понравилось. Хотя последняя часть, по-моему, слабее предыдущих... Мне трудно говорить о последних публикациях — многое просто не удалось прочесть. Даже из главного. Не прочитал Гроссмана, не читал «Котлован», «Чевенгур»... Большая подписка мне не по силам, так что вся надежда на тех, кто что-то принесет почитать. А круг общения у меня сузился в последние годы до предела... Может, и появился писатель, который способен стать вровень с этими тремя, а я его не знаю, не читал. Но я смотрю, новых писателей что-то не больно печатают...

— Так что я не думаю, чтобы последние публикации сильно изменили мое представление о ведущих силах современной литературы. Но я отнюдь не настаиваю на своих оценках. Это — мое восприятие. Может, кто-то назовет других писателей.

Что объединяет для меня это «трио» — Астафьева, Распутина, Быкова? Подчеркиваю: для меня. Они ведь действительно очень разные. Лирическое начало, конечно, резче всего выражено у Астафьева. Он ведет партию, наверное, скрипки. Распутин — это более жесткий и более обобщенный подход к нашей жизни... Виолончель — задумчивая, тоскующая... А партия Быкова — это, определенно, фортепиано: четкая завершенность каждого аккорда...

Что между ними общего? Мне кажется, они одухотворены какой-то идеей. Идеей добра, любви... У них общая боль, понимание ответственности человека за его пребывание на земле, некая общая философия... Все это слыш-

ком туманно, но я, наверное, больше понимаю, чем могу выразить в беседе. Тут целый трактат нужен!

И еще. Я совсем не хочу умалить значения других писателей, но, понимаете ли, при чтении зачастую не могу отделаться от ощущения какой-то сословной отдаленности, официальной отодвинутости или даже приподнятости писателя надо мной. Не собеседник, открытый душою, а наставник, не солдат — полководец. А с этими писателями именно душой общаешься... Что такое художник? Это не просто мастер. Мастерство — это все-таки лишь высшая ступень ремесла, владение техникой. А художник... Недаром говорят — «милостью Божьей»! Нет, правильно мудрый Анатолий Франс утверждал, что искусству угрожают два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который не является художником!

Говорят, что вас частенько заносит в публицистику. Может быть и верно: мог бы кое-когда и сдержаться. Но тогда не было бы великолепной астафьевской прозы, в которой каждое слово на своем месте, как прочно вбитый гвоздь. По-моему, критики не сумели в достаточной мере оценить удивительного своеобразия публицистики, обнаруживающейся в его художественных произведениях; за грубоватой подчас откровенностью не расслышали рыдающий голос его души. Он ведь никому ничего не навязывает, а только просит сочувствия и милосердия. В этом для меня и состоит его неподражаемая самобытность...

— В литературе — вообще в искусстве — более всего ценю то, что они дают возможность увидеть мир другими, не твоими глазами, а значит, понять в нем значительно больше, чем это доступно силам лишь одного человека. Именно с искусства начинается великая общность людей друг с другом, оно — соединяет... Меня мало убеждают слова о «социальном заказе». Искусство, осознающее себя «на службе» у той или другой общественной идеи, — это все-таки нечто иное... Искусство — не результат, это — процесс, сложный и скрытый от внешнего наблюдения процесс постижения истины, одновременно формирующий и, так сказать, отражающий особенности миропонимания художника. А результат — это произведение искусства. Вот от этой путаницы в понятиях пошла, как мне кажется, многие наши беды — как в теории литературы, так, увы, и в ее практике.

Воссоздает ли художник жизнь своими образными

средствами? Думаю, это — глубочайшее заблуждение. Жизнь невозможно воссоздать никакими средствами. Да и нужно ли? Литература не жизнь воссоздает, а выражает авторское видение, понимание этой жизни. Пусть спорное, не совпадающее с общепринятым, вызывающее что-то возражения, но — свое, индивидуальное. В этом и ценность.

— А ведь «застой» так называемый — это тоже дух сталинских лагерей, метастазы в будущее. И мафия, и все эти вельможи советские, хозяева жизни... Эта «туфта» на всех уровнях... Спросите у любого, кто побывал в зэчьей шкуре, что она такое, лагерная нравственность? «Умри ты сегодня, а я завтра», «Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав»... Вот вам истины! Совесть, честь, достоинство?.. Да ты рви, пока дают! Пользуйся!.. Лагерь не только напитал людей этой вот подлой психологией, мироощущением латарей — он все время выбрасывал это мироощущение наружу, за проволоку, за зону. Вот в чем весь ужас. Происходило то, что происходит, когда мы сбрасываем в реки ядовитые вещества. Читаю я про Рашидова, Адылова, Щелокова или вот у Друзэ про Молдавию — лагерь, лагерь, его следы! Дорвался — так пользуйся! Живи сам и давай жить другим — то есть таким же, как ты... Воюем с чиновниками — а ведь чиновник в его современном виде такое же порождение командно-административной системы, как и системы ГУЛАГа. А наша озлобленность, отношение к человеку?.. А отношение к природе как к бессловесному зэку, из которого надо выжать все, покуда он еще тянет?.. Следует понять, что все это растет из одного корня. И поэтому, когда я сегодня читаю, слышу, например, что экологические проблемы — это, конечно же, серьезно, но не лучше ли в первую очередь заняться человеком, а уже потом окружающей средой, — мне кажется, это неверный подход. Вроде бы гуманно, ничего не попишешь, а — неверно.

Понимаете ли, я вижу колоссальную задачу нынешней литературы и культуры вообще в том, чтобы воспитать, пробудить, поддержать в человеке его гуманистическое начало, которое в принципе неделимо на гуманность по отношению к тому или другому. Это гуманистическое чувство — именно чувство, потому что оно глубоко должно сидеть в человеке, — связано и с осознанной потребностью в самоограничении, и с милосердием, и с заботливым отношением к окружающей среде. Это же твой дом,

ты должен думать о нем! Думать о будущем — что ты подаришь детям? Ты покупаешь какие-то тряпки, цапки — любишь своего ребенка. Да ты подари ему будущее! Тряпки изнасятся и выбросятся, а будущего-то у него не будет. Ты его не купил, не подарил, не воспитал в нем! Вот ведь в чем трагедия сегодняшнего дня. И не только наша, специфическая, — общемировая. Хотя в нашем варианте у нее свои особенности.

Мы живем во времена резкого столкновения культуры и цивилизации. Культура — это постоянное воспроизведение, стремление к сохранению природного равновесия. А цивилизация — потребление, насыщение, перенасыщение... Вот клочок земли. Крестьянин — если он настоящий крестьянин — думает не только о существовании своем собственном. Он думает и о детях, и о том, что эту землю он должен сберечь. А сберечь ее можно, только ухаживая, оплодотворяя ее своим умом и своими руками, чтобы она отплатила ему и его потомкам. А чтобы это стало возможным, он начинает ее изучать. И даже если при этом не думает ни о каких высоких целях, а только о практической выгоде, все равно познает ее за счет хозяйственной деятельности. За этим скрывается поддержание природного равновесия, которое необходимо, чтобы земля не тощала. Земля должна родить, это ее дело. А дело крестьянина — ухаживать за ней так, чтобы она родила больше. Понимаете? В природе заключено восстановительное начало, только ей надо обязательно помогать, и тогда она отплатит сторицей. Вот это и есть культура: когда ты думаешь о природе как о своем продолжении. Или себя чувствуешь ее продолжением. У меня гвоздем в мозгу торчат слова распутинской старухи из «Последнего срока»: «Кто вам сказал, что вы рождены для счастья? Вы рождены для пользы!..» А мы все поем: «Будет людям счастье, счастье на века!» Ничего не будет, если каждый станет стремиться лишь к этому самому «счастью»!

Культура должна уравновесить стремление цивилизации брать, брать, брать — иначе мы просто погибнем. Цивилизация — это единственный продукт истории человечества, она необходима, но — под зорким оком культуры. Человек должен уметь побеждать в себе животную натуру. Вот это и есть — интеллигентность. А интеллигентный человек — это тот, кто живет с сознанием, что потакание своим дурным или неразумным склонностям — урон не только тебе, но и всему роду челове-



ческому. И не просто живет с таким сознанием, а старается его передать другим людям. И никто в этом плане не может заменить писателя, литературу.

Всякий национализм, шовинизм и так далее органически чужды моей, с позволения сказать, философии. Природа создала нас разными, но все мы — ветви одного ствола. Самые тяжелые годы я провел в среде людей разных национальностей и, смею вас уверить, любого «инородца», обладающего человеческой порядочностью, предпочту десятку непорядочных людей своей нации. Человечеству — и особенно сейчас — надо искать пути к объединению, а не к размежеваниям по разным признакам... Ни одна культура, ни одна литература не может существовать, замыкаясь сама в себе.

Но противоречит ли этому тот факт, что, например, мне, человеку, рожденному и воспитанному этой землей, ближе и роднее именно традиции русской культуры? Думаю, нет. Тем более что одна из этих традиций — открытость, нет, не к прямому заимствованию, но к творческому усвоению инокультур. Русский народ по природе своей не склонен к шовинизму — вспомните, ведь еще митрополит Илларион в своем «Слове о законе и благодати» — одиннадцатый век! — высказал мысль о равенстве всех народов.

Видимо, национальное и интернациональное в литературе тяготеют к тому же соотношению, что индивидуальное и общечеловеческое в творчестве отдельного писателя. Уберите индивидуальность — что останется от его творчества? А без общечеловеческого содержания его произведения вряд ли будут кому-нибудь интересны, кроме него самого...

— Можете считать меня розовощекиим оптимистом, хотя я на него, кажется, непохож. Но я верю в то, что добрые, созидательные начала, обычный здравый смысл, наконец, — что все это восторжествует в нашей жизни. Все могло и должно было пойти другим путем, если бы не роковые обстоятельства.

Вы давно читали работу Ленина «Очередные задачи советской власти»? Там он говорит, что все политические проблемы — это производное от экономических возможностей. Почему, как вы думаете, Ленин не стал генсеком созданной им же партии? Потому что наиболее серьезными были в ту пору проблемы экономические. Вот он и возглавил совнарком. Что было бы, если бы его экономи-

ческую политику удалось реализовать до конца? Государство, окрепнув экономически, сумело бы в сто раз легче решать политические проблемы. А что получилось? Экономика, только-только начавшая подниматься из руин, была снова подорвана отменой нэпа. И дальше пошло-поехало. Сталинская экономика грабила народ, забирая у него как будто бы займы деньги, которых ему и так не хватало. Мы были вынуждены торговать драгоценнейшими ресурсами страны, нашим будущим. Были созданы чудовищные условия для существования людей: сельское хозяйство не могло выполнить свое основное назначение — кормить страну, а полуголодный рабочий, несмотря на то, что он горел подлинным энтузиазмом, который еще и все время подогревали, не способен был трудиться в полную силу. Сталин уничтожал «кулака как класс», но как класс кулак был уничтожен еще при Ленине. А Сталин, по сути, уничтожал не класс, а живых людей, которые, в отличие от него, были прекрасными хозяевами. Но для него, видимо, живой человек был куда большей абстракцией, чем классы...

Вот мы до сей поры и расхлебываем результаты этого чисто сталинского невежества. Он называл себя диалектиком, но понимал диалектику лишь как борьбу противоположностей, начисто отвергая их единство. Он, я думаю, совершенно искренне не понимал, что социализм нельзя строить на костях. Не понимал, что общество, которое уважает себя, должно прежде всего уважать своих граждан...

«Всю жизнь я стремился быть полезным своему отечеству, своему народу» — такие слова сказал мой собеседник... Бездна труда, мыслей, мучений — и ни одной напечатанной строчки. Так что же — все прах, жизнь не осуществилась?

Усмань — Москва

*Леонид Бахнов*

*«Литературное обозрение», 1989, № 3*

---

*Николай Волокитин*  
**СОПРИКОСНОВЕНИЕ**

Очерк

**БАНДЕРОЛЬ**

В декабре 1966 года в Красноярске проходил семинар молодых литераторов. Я тогда жил в подтаежном селе Казачинском, работал заместителем редактора районной газеты, начинал писать очерки и короткие рассказы о природе и представил на семинар сразу две рукописи: публицистику и лирическую новеллистику.

Руководили семинаром: московский критик Галина Алексеевна Колесникова, автор трилогии «Хмель» Алексей Тимофеевич Черкасов, Николай Иванович Мамин, Анатолий Ефимович Зябрев, работники книжного издательства. Был приглашен из Вологды и Виктор Петрович Астафьев.

Не знаю, как уж так получилось, по каким критериям шел отбор рукописей, но только я вместе с енисейским лопманом Борисом Водошняновым попал в группу к Николаю Ивановичу Мамину. Бывший моряк Мамин сразу же по-братски радостно и цепко ухватился за Бориса и, восторженно заглядывая в глаза, почти не выпускал из рук его локтя, а на меня, деревенщину, поглядывал как на некое недоразумение, явившееся на семинар непонятно каким манером и неизвестно зачем.

Уделив мне в кулуарах лишь минутку внимания, пробасил почти на бегу:

— Вот ты пишешь все о цветочках, о букашках-козявках, о том, как всех их надо беречь. А сам-то поди охотник заядлый?

— Охотник.

— Вот-вот! — сморщившись как от муторной хины, погрозил мне пальцем экспансивный руководитель. — Все вы деревенские лицемеры. Растите, скажем, теленочка-поросеночка, поите ёго молочком, чешете за ушком, едва не целуете в попку, а потом чик по горлу ножом и в жаркое!

«Ну и что?» — хотел спросить я, но Николай Иванович уже бежал на другой конец зала.

В общем туто бы мне пришлось на том семинаре, если бы не работники издательства, прямо-таки стеной вдруг вставшие за меня, и не Виктор Петрович Астафьев, сказавший лишь одну, причем довольно отвлеченную фразу о вреде предвзятости, но этой фразой резко изменивший весь тон обсуждения и заставивший в конце концов даже самого Николая Ивановича поднять обе руки и сказать: «А я что же? Я как и все! За издание, так за издание».

С Виктором Петровичем на семинаре мне не удалось обмолвиться даже словом. Из-за своей почти патологической застенчивости я не осмелился к нему подойти, хотя и видел его и слышал часами подряд. В обсуждении рукописей на заседаниях он почти не участвовал, больше просто слушал да кидал короткие реплики, зато в гостинице «Огни Енисея», где мы жили, до полуночи слышался его голос. Окруженный плотной стаей молодняка, он постоянно что-то рассказывал, читал, произносил тосты, смеялся, был живою душой возбужденно-егозливому и немного нахального общества.

Позже он скажет:

— Странно, но я тебя в этой свалке совершенно не помню.

— А я в нее и не лез, — признаюсь я с сожалением.

Прошло после семинара три года. К тому времени в Красноярском книжном издательстве у меня вышла небольшая книжица «Казачий луг» и как-то совершенно неожиданно написалась и тут же безо всяких помех, почти экстренно в первом номере «Сибирских огней» за 1970 год напечаталась повесть «На реке да на Кети».

Я не то что не поверил в успех, просто чуточку ошалел. И чтобы проверить, не сон ли это, решил себя ущипнуть — показать свои публикации кому-то из крупных писателей. Но кому же, кроме Астафьева? Во-первых, я его видел живого. А во-вторых, он мне был дорог по духу — я зачитывался его «Перевалом», «Стародубом», «Звездападом», «Кражей» и рассказами «Синие сумерки».

Я смастерил бандероль и направил ее как Ванька Жуков бабушке на деревню — «город Вологда, отделение Союза писателей».

Теперь-то я понимаю, насколько здорово я рисковал. И совсем не потому, что не знал точного адреса Виктора Петровича. Позже мне доведется писать и известным прозаикам и не менее известным критикам: посылать книги, просить у них совета, восторгаться их работами — но за всю жизнь ответят мне только двое: профессор Литературного института Всеволод Алексеевич Сурганов и поэт, а также литературовед, Игорь Леонидович Волгин, автор удивительнейшей работы «Последний год Достоевского». Остальные представители доблестной нашей интеллигенции, совесть и сердце народное, были и остаются по сей день свехвежливо немые и глухие.

От Виктора Петровича ответ пришел почти тут же.

«Дорогой Николай Иванович! Я был в Новосибирске, когда пришло Ваше письмо, журнал и книга. Там я заболел гриппом и сейчас тяжело лежу, но как поднимусь, прочту сразу же и повесть Вашу, и книгу. Все Вам отпишу и, если найду в вещах Ваших искру Божью, даже рецензию напишу куда-нибудь. А пока извиняйте и терпите. Поклон мой родной земле. С приветом В. Астафьев».

Почерк у Виктора Петровича ужасный, я его до сих пор разбираю с превеликим трудом, но то короткое письмо я расшифровал мгновенно от начала и до конца. Расшифровал и стал ждать. Ждать с великой надеждой и почти с нечеловеческим страхом.

И опять прошло совсем мало времени — недели полторы или две.

Однажды в редакцию заходит почтальонка и проходит прямо ко мне в кабинет. Надо сказать, что к тому времени я из замов «вырос» в редакторы и имел отдельную комнатку под названием «кабинет». Так вот, проходит почтальонка прямо ко мне и вручает небольшого бандероля.

Я лишь глянул на обратный адрес, на почерк и сразу все понял. Ну не все, правда, но многое. А когда трясущимися руками разорвал пакет и увидел второй экземпляр чего-то отпечатанного на машинке, то и вовсе... Короче, то была статья «Течет речка, течет жизнь», посвященная моей повести, и начиналась она таким словами:

«Сибирская речка Кеть, в которой «вода коричневая, как чай, пахнет живой рыбой, илом и моченой древеси-

ной», течет себе, течет, «вспыхивает, искрится, словно расслабившись после тяжелой работы, свободно и вольно раздается вширь.»

Главное действующее лицо повести молодого писателя Николая Волокитина, тетю Олю Типсину, я никак не могу решиться назвать героем или героиней. Портрет ее, что ли, неподходящ для этого высокого и уже затертого нашей литературной критикой слова?

«Сгорбленная и чуточку косолапая, как и все рыбацки-чалдоны, большую долю жизни проводящие сидя в лодке», она еще кроме всего прочего курит трубку, еще и слов крутых не чуждается, и много чего грубого, мужицкого сотворить умеет, особенно в работе».

А в сопроводительном письме говорилось:

«Дорогой Николай! Пока я хворал, много чего перечитал и прочитал вновь. У больного есть такие преимущества — никто ему не мешает читать и думать. Из-за хвори не поехал и на съезд, все еще болит голова и слабость большая.

Повесть Вы написали славную, непринужденную, и все что я мог сказать доброго, сказал, а копию рецензии отправляю Вам. Самое рецензию отошлю в «Литературку», и если там почему-либо не напечатают ее, передам в журнал «Наш современник». Словом, рецензия где-то все равно будет напечатана.

Само собой разумеется, в рецензии я старался поддержать Вас, обратить на Вас внимание критики и просвещенного читателя, а потому и вылавливал самое лучшее, что есть у Вас и что следует Вам хранить и развивать в себе.

В письме же я позволю себе немножко поворчать, ибо знаю, что в селе Казачинском, хотя оно и прекрасное село, никто Вам профессионально ничего сказать не сможет. Знаю, потому что сам прожил 18 лет в глухой периферийной местности и варился, как говорится, в собственном соку.

О повести. Вы еще пока плохо владеете композицией произведения. Конструкция повести случайна во многом и, несмотря на то что она, повесть, невелика по размеру, кажется рыхловатой. Много людей в повести, зачастую совсем необязательных. Одну простую вещь усвойте — чем в доме меньше народу, тем ему, этому народу, удобней и вольготней жить, тем больше у вас возможностей рассмотреть каждого, остановиться на каждом и написать

его подробней. Пока же цельным и полнокровным получился лишь образ тети Оли. На ней стоит и держится повесть. Остальные тени и отмечены лишь внешними черточками, а характеров персонажей нет или они слабо и опять же внешне намечены.

Но это издержки производства. Будете дальше писать, сами многое поймете и усвоите. Талант Ваш несомненен. Только он, талант, нуждается в постоянном развитии и подживлении. Напряженно надо будет Вам работать и писать много, особенно публицистики, чтобы развивать мысль свою и углублять чувство и восприятие окружающей Вас жизни.

Книга Ваша первая несет в себе почти все недостатки первых книжек нашего брата. Главнейший ее недостаток — она поверхностна. Вы в ней еще скользите по верхам и снимаете глазом пенки с жизни. Слов нет, пенки вещь вкусная — это все мы с детства знаем, но пенками одними не проживешь и не пропитаешься, литература — это черный хлеб и зачастую трудно добываемый.

Люди в Ваших рассказах почти все резонеры и бодрячки. Мало того, что они сплошь и рядом совершают благородные поступки, они еще и говорят о них бодренько, а автор еще и похвалит их, да и пояснит читателю, что шибко хороший это человек. Видно, нет уверенности, что читатель сам может разобраться в этом.

Постарайтесь мысленно избавляться от газеты всякий раз, как садитесь писать «для себя».

Я требую от Вас многого? Но что делать! Вы выплываете на литературный фарватер и тут уж надо беречься, чтоб не понесло Вас по течению или вовсе из лодки своей не опрокинуло.

По письму судя, Вы человек искренний и серьезный. Таким и будьте. Но строже, строже в работе. Кому много дано, с того много и спрашивается. Поэтому я комплименты Вам не говорю, толку от них мало, а предостерегаю от тех ошибок, которые, сам совершал в одинокой литературной молодости и которые, будучи запущенными как болезнь, с болью же большой и искореняются потом.

Теперь вот что. Я чуть помню село Казачинское, если это то, которое ниже или выше Казачинских порогов. Место прекрасное. Весна у меня занята, летом сын из армии вернется, и лишь осенью, либо зимой или в 71-м году весной мог бы я приехать.

Напишите мне и не сердитесь на мою воркотню. Я

хочу Вам только добра и всегда буду рад поддержать Вас где угодно и в меру сил помочь Вам. Мой адрес: Вологда, 11, улица Урицкого, 71, кв. 49. Будьте здоровы. Желаю Вам настоящих, больших успехов в работе».

Но как раз работать в этот день я уже и не мог.

Меня захлестнула невыносимая радость. Не будь то рабочее место, я бы наверно пустился в присядку.

Десятки раз я читал и перечитывал письмо и рецензию, смеялся и чуть ли не плакал.

Естественно, что по молодости лет я тогда пропустил — просто не мог не пропустить — мимо ушей всю «воркотню» Учителя, до меня дошло лишь самое приятное, почти фантастическое то, что положительная рецензия самого Виктора Петровича Астафьева на мою повесть будет в центральной прессе, и еще то, что Виктор Петрович — сам Виктор Петрович Астафьев! — приедет ко мне.

Первое сбылось спустя всего лишь полмесяца — рецензия под названием «И в поселке Тагул тоже...» появилась в «Литературной газете» 15 апреля. Второго пришлось ждать больше года. Но и второе, как я ни сомневался, сбылось.

#### ЧЕРНАЯ РЕЧКА

— Колька! Да ты никак пьяный? — хохотал он. — Ну, Колька, ну, Колька, вот это дает!

В ответ я лишь улыбался, ничего не в силах сказать. Да и что тут можно было сказать! Передо мной в густой дорожной пыли стоял Он. Такой простой, такой близкий, такой обыкновенный до невозможности. В сером мешковатом костюмчике, в темном, похожем на те, что раньше носили московские таксисты, картузе. Стоял и похохатывал своим неповторимым астафьевским хохотком.

А я и в самом деле был пьян. И от встречи, и от вина.

В последнее время письма от Виктора Петровича были редки, да и в тех, которые приходили, ничего не было о том, что он ко мне собирается. И я все чаще стал думать, что он не приедет. А потом и вовсе убедил себя в этом: мало ли других дел у такого писателя, как Астафьев! Мало ли у него других друзей и знакомцев, а также других добрых мест, где он может провести свой досуг!

И вдруг утром в редакции раздается междугородный длинный звонок. Поднимаю трубку и слышу голос работника краевого радио Виктора Евграфова:



— Старик, здорово! Хочешь с Виктором Петровичем Астафьевым поговорить?

Думаю, шутит, но в трубке слышится знакомый еще по 1966-му году отрывистый говорок:

— Николаша... мы выезжаем... К тебе, в Казачинск...

В телефоне и так то шелестело, то шебуршало, а тут и вовсе разговор оборвался. Сколько я ни звонил на станцию, сколько ни просил восстановить связь, ничего из этой затеи не получилось.

Стал пытаться работать и ждать.

От Красноярска до Казачинского, если на легковой машине, езды не больше четырех часов, но прошло и четыре, и пять, а гостей моих как не было, так и не было. Вот тут-то я и не выдержал и дернул сухого винца, которого по тем временам в наших орсовских магазинах было довольно. А дернув, позвал шофера Толю Золотавина и объяснил ситуацию.

— Так чего проще, — сказал покладистый и легкий на подъем Толя, — садитесь и поехали им навстречу.

— А как мы их машину узнаем?

— Узна-а-а-ем! — заверил меня Анатолий. — Не так уж много легковушек ходит по тракту. А они же не на лесовозе едут и не на самосвале.

Сели, поехали, Промчались и десять, и тридцать, и шестьдесят километров, но ни одной подозрительной машины не встретили, хотя вообще машины массаами валили навстречу. Остановились в деревне Бобровке, где у Толи жили родители, попросили водички.

И вдруг, кинув взгляд на пробегающий мимо замызганный ГАЗ-69, я заорал:

— Толя, они!

За пыльным лобовым стеклом автомобиля передо мной явственно мелькнуло лицо виновника моих треволений.

Толя не допил свою воду и бросился за баранку.

Мы мчались, выжимая все, что можно, из своей редакционной дряхлой, но довольно выносливой колымаги.

В машине, где ехал Виктор Петрович, ничего, понятно, не знали о нас, и, мягко говоря удивились, увидев, что их упорно обгоняет какой-то обшарпанный газик, а шофер этого газика на бешеной скорости машет им через полураскрытую дверцу кепчонкой и что-то кричит.

Затормозили, остановились.

Мы с Толей выскочили на обочину, и они вышли, уже заранее примерно догадываясь, что происходит.

— Ну ты даешь, ну ты даешь, Николаша! — смеялся полминуты спустя Виктор Петрович, обнимая меня.

А у меня и язык отсох, по выражению Золотавина Толи. Я даже забыл спросить, почему они запоздали. Только позже выяснилось, что их задержали в городе какие-то неожиданные дела.

Так на пыльно-знойном июльском тракте Красноярск—Енисейск состоялась моя первая, так сказать, индивидуальная и самая памятная встреча с Учителем.

\* \* \*

Я трудно привыкал к его близости. К его обезоруживающей простоте и в то же время какой-то внутренней ехидной хитринке, к его неожиданным сногшибательным вопросам и к таким же неожиданным для меня откровениям, к его манере разговаривать с собеседником, когда он смотрит поврежденным на войне глазом куда-то мимо, в пространство.

В день встречи, когда рядом был Виктор Евграфов, еще ничего, а вот назавтра, когда мы остались один на один, мне не раз пришлось вздрогнуть и покрыться противеньским потом.

Началось это прямо с утра.

Жены с дочерью дома не было, они гостили в это время в Новосибирске, и я вечером после обильного застолья, естественно, не убрал со стола. А рано утром, когда Виктор Петрович еще спал, вынес всю грязную посуду на улицу. Недалеко от крыльца, рядом с колодцем стояли у нас на травке две обыкновенных дюралевых ванны. В одной жена стирала белье, другая — новая, чистая, была для посуды. Летом в деревне бесперечь печки не натопишься, воды не нагреешь, а в ванне всегда вода была сравнительно теплая, если ее, конечно, налить туда загодя.

И вот я, свалив в ванну все тарелки, вилки и ложки, стал их потихонечку ополаскивать.

Ополаскиваю, задумавшись, мурлычу себе под нос и вдруг чувствую рядом чье-то присутствие.

Оборачиваюсь — на крылечке Виктор Петрович. Стоит в светленькой маечке, в потертых, с пузырями на коленках трико, щурится на красное солнышко и, уставя руки в боки да еще притопывая носком разбитого тапочка, с этакой веселенькой подковырочкой говорит:

— Правильно, Коля, сперва ж... помыл, а теперь в той же ванне посуду.

Первые мгновения у меня не то что слов не нашлось, воздуха для дыхания не было. А очухавшись, я начал оправдываться, объяснять и доказывать, бия себя в грудь кулаком, но что было толку! Поезд, как говорится, ушел, и счет один ноль совсем не в мою пользу оставался невыблемым.

Позже такие конфузы будут случаться со мной почти ежедневно: то я вареное яйцо своему гостю подсунул гнилое, то скатерку грязную постелил. Комментарии были незамедлительны. «Ну Колька, ну Колька, неужели хотел отравить?» Говорилось это вроде весело, с хохоточком, шутейно, но в то же время било по мне какой-то безжалостной резкостью. А может быть, по врожденной мнительности мне все это просто казалось.

Первое, что он сделал уже назавтра — это «самочинно», безо всякой моей просьбы — я просто не успел даже об этом подумать — подписал все свои книги, что были в моей скромной библиотеке.

Вот два автографа:

«Коле Волокитину многострадальную «Кражу» на память, дружбу мужскую-чалдонскую и в добрый путь ему работать, свершая свои нелегкие «Кражи».

«Коля! В этой книге («Синие сумерки», Советский писатель, 1968, Н. В.) есть самый мой любимый рассказ «Ясным ли днем» — это моя грусть о тех россиянах, которые уходят в вечность не оглядываясь, и горько, горько провожать их прощальным взглядом и сладко, сладко писать о них. В. Астафьев. Казачинское. 1971 г.»

А спустя какое-то время мы сидели тихим вечером на травке возле крыльца, и Виктор Петрович о чем-то рассказывал. Надсадно звенели комары, и чтобы они не так донимали, я то и дело подживлял разведенный тут же, в ограде, небольшой дымокур. Вдруг Виктор Петрович, глянув в раскрытую дверь квартиры, прервал рассказ и воскликнул:

— Гляди, как здорово смотрится!

Прямо по ходу коридора была моя рабочая комната, и заходящее солнце сейчас било точно в нее, озаряя алым светом книжные стеллажи. Разноцветные корешки книг сияли, искрились. Было в самом деле здорово, почти фантастически.

— Ну надо же так! — не унимался Виктор Петрович.

Потом, немного помолчав, неожиданно, вроде совсем не к месту спросил:

— А ты в Союз писателей почему не вступаешь?

Я пожал плечами.

— Даже и не думал об этом.

То была самая что ни на есть сущая правда. Какой Союз, когда за душой всего одна книжица и журнальная публикация?

— Куй железо, пока горячо, — сказал назидательно Виктор Петрович. — Ты сейчас на слуху, критикой нашей замечен.

Он, видимо, имел в виду напечатанную в «Правде» от 21 июля 1970 года статью Виктора Васильевича Петелина «Вышла первая книга», в которой наряду с произведениями других молодых литераторов той поры было сказано несколько добрых слов и о моей повести.

— У тебя есть в Красноярске хорошо знакомые писатели, которые могли бы за тебя поручиться? — не давал мне опомниться Виктор Петрович. — Звони им, езжай к ним, не медли. А я тебе рекомендацию завтра же напишу.

Назавтра и правда, когда я прибежал из редакции на обед, рекомендация уже лежала у меня на столе.

\* \* \*

У Виктора Петровича всегда был при себе довольно странный блокнот: объемистый, пухлый, потрепанный. В этом блокноте одни странички были исписаны от руки, на другие были наклеены журнальные и газетные вырезки, между третьими и четвертыми эти вырезки были просто-напросто вставлены.

Вечерами, когда я возвращался с работы, мы устраивались в моей комнате на диване, Виктор Петрович брал этот блокнот и начинал читать хриловатым, чуть взволнованным голосом, перед этим сказав:

— А вот послушай-ка Тютчева, Николаша!

В блокноте были стихи — десятки, а может, и сотни прекрасных стихов, собранных Виктором Петровичем за долгие годы.

Чтение перемежалось беседами.

— Не пойму, до сих пор не пойму, — говорил Виктор Петрович, например, о Лермонтове, — как можно было в двадцать семь лет достичь такой космической отрешенности и глубины!..

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть:

Я ищу свободы и покоя!  
Я б хотел забыться и заснуть!

Нет, такое мог написать не просто гений, такое мог написать только полубог!

И снова начинал листать страницы блокнота.

Захватившие, покорившие меня стихи я запоминаю почти мгновенно, как правило, с первого, от силы со второго чтения, и сильно тогда Виктор Петрович обогатил и мои чувства, и мои мысли.

До сих пор строчка в строчку помню рубцовское:

Доносились гудки  
С отдаленной пристани.  
Замутило дождями  
Неба холодную просинь.  
Мотыльки над водою,  
Усыпанной желтыми листьями,  
Не мелькали уже —  
Надвигалась осень.

А вот, например, одно из стихотворений Анатолия Передреева, прочитанное мне тогда, более двадцати лет назад, я могу повторить, даже разбуженный среди ночи, — так оно поразило меня.

Эта полночь тиха и пустынна...  
Ты ко мне прислонилась плечом...  
Ты конечно, ни в чем неповинна,  
Неповинна, конечно, ни в чем.  
Ты ни в чем неповинна... Но, Боже,  
Что свело на земле этой нас?!  
Никому не рассказывай больше  
Все, что ты рассказала сейчас.  
Это все я один понимаю  
В пустоте, в темноте, в тишине...  
Но и мне — я прошу, обнимаю, —  
Не рассказывай больше и мне.

— Очень умный и талантливый парень, — сказал тогда Виктор Петрович.

Думаю, в данном случае комментарии даже самого Виктора Петровича были излишни.

\* \* \*

Теперь я хочу чуточку рассказать о том, что связано с местом, название которого вынесено в заголовок этой заметки...

Наш дом в селе Казачинском стоял на краю села, и с

одной стороны его, примерно в полукилометре, проходил Енисей, а с другой — почти сразу за огородами — протекала речка со странным названием Черная. Я говорю, со странным потому, что ничего черного в этой речке не наблюдалось, наоборот, это была очень светлая, очень прозрачная, очень веселая речка, в которой на дне, даже на глубине в полтора и два метра, видны были каждый камушек, каждая галька. Помню, я как-то чуть не полдня стоял над одной из солидных проямин, будто в уютном, пронизанном солнцем аквариуме наблюдая за игрой молоденьких хариусов, веселившихся у самого дна.

Речка, окаймленная по берегам зелеными кружевами пышных, радостных тальников, текла через суходола и просторные, поросшие редкой бояркой поляны, а на левом берегу ее, за этими суходолами и полянами, высился Камень — длинный и светлый, весь в золотистых соснах угор, за которым пряталось вечерами заходящее солнце.

На речке имелись и шумные перебаты, и резвые омуты, и даже заломы, но были и дивные, приветливо-тихие плесы, где купаться — одно удовольствие. Такой плес приютился как раз напротив нашего дома и пришелся Виктору Петровичу особенно по душе.

Целыми днями, пока я работал в редакции, Виктор Петрович находился на плесе. Стояла пронзительная июльская жара, и, прибегая домой на обед, я уже знал, где искать гостя.

Иногда он, сидя на травке, читал.

Иногда, задумчиво глядя в воду, пел старинные, мне незнакомые песни.

Очень часто купался. Шумно, гамно, самозабвенно-весело, как мальчишка. До сих пор вижу его того, еще сравнительно молодого, чуть кривоногого, в белых плавающих под нависшим, уже тогда большим животом, бегущим с гиканьем по приветливой отмели и поднимающим над собою фонтаны радужных брызг.

Каждый день он приносил в дом новый букет, и комната моя всегда была наполнена запахами медовых лугов.

Вообще сколько знаю Виктора Петровича, всегда у него неутихающая страсть к таежным цветам.

Прожил он у меня две недели, позднее не раз признаваясь, что те две недели как бы оживили его.

Случилось перед этим страшное: погиб сын бабушки из Сисима, сама измученная бабушка попала в дом пре-

старелых, еще что-то нехорошее произошло у родни, и Виктор Петрович перед поездкой ко мне был в таком состоянии, что — как он выразился — жить не хотелось.

Мне очень лестно по сегодняшний день, что те две казачинских недели помогли ему преодолеть хандру и вновь приобрести присутствие духа.

### НА ЕНИСЕЕ И В ЕНИСЕЙСКЕ

Во время того казачинского гостевания мне довелось организовать по просьбе Виктора Петровича два очень нужных для него путешествия: на Казачинские пороги и в Енисейск.

На пороги готовились основательно: Толя Золотавин подкручивал гайки старенькому редакционному газыку и ладил закидушки, я загодя отправлял тассовские статейки в набор, чтобы в субботний вечер не задержаться в газете, как обычно, до полуночи, Виктор Петрович перебирал привезенные с собой блесенки и мормышки, а вернувшись из Новосибирска жена хлопотала среди знакомых чадонов насчет свежей рыбки для ухи у костра, не очень-то надеясь на наши тощие интеллигентские снасти, в чем, как всякая женщина в практических делах, оказалась права: на Енисее, особенно в районе Казачинских порогов, давно уже не было такой дурной рыбы, которую бы можно было зацепить на крючок...

День стоял ведренный, чистый.

Пропетляв часа полтора по узким лесистым проселкам, мы выскочили наконец на вольный берег чуть ниже поселочка Подпорожье и оказались лицом к лицу с грандиозной и прекрасной стихией. В те годы Казачинские пороги еще не были окончательно изувечены преобразователями природы с их мощной взрывчаткой, и то, что мы увидели, действительно сохраняло еще черты и грандиозности, и прекрасной стихийности. Бурлила и клокотала кипящая вода, наскакывая на лобастые камни-быки, пенились, брызгая, водовороты и омуты, дрожали в мареве на противоположном берегу скалы, казалось, вот-вот готовые рухнуть под напором пьяно-бешеных струй. И шумело, шумело, шумело вокруг, как при сильном ветре в сосновом лесу.

Мы расположились на песчаном откосике между веселым прозрачным ручьем и полукруглым, вдающимся в воду останцем, с которого хорошо было любоваться ре-

кой и очень удобно закидывать в упругую, будто живую бездну наши ненужные снасти.

Толя Золотавин упорно сидел с удочкой, а Виктор Петрович, популяя малость свою блесну и вскоре профессиональным рыбацким чутьем уловив бесполезность этой забавы, откинул в сторону спиннинг и просто стал посиживать на камушке или подтрунивал надо мной насчет моего увлечения охотой, бросал советы моей жене, хлопотавшей у костра, по поводу приправ к вареву, а после богатой тройной ухи и вовсе завалился под кустик вздремнуть.

— Осторожней, Виктор Петрович, здесь много змей, — предупредил Анатолий.

— Ну! — отмахнулся Астафьев. — Меня никакая змея не возьмет! — Однако, поерзав минуты три на песочке, вдруг бодренько вскочил и потянулся за чаем. — Не спится!

Попив чайку, он снова стал подтрунивать надо мной, а потом и над собой — как перетрусил, услышав шуршанье песка возле уха.

Ни на какие восторги окружающей красотой, ни на какие охи и ахи с его стороны не было в этот день даже крохотного намека, и я малость разочаровался в госте и обиделся на него: вот звал, звал на пороги, тростил, тростил о них, а оказывается, они ему вовсе до лампочки. То ли дело, когда я привозил сюда однажды случайно залетевшего в наш район московского журналиста. Вот уж где было громких эмоций и благодарностей!

Сдержанные, но мощные астафьевские эмоции я обнаружу позже, несколько лет спустя, когда прочитаю его «Царь-рыбу» и с волнением увижу, что в этой сильной книге «нашла свое отражение» и наша поездка. Все, что нужно было Виктору Петровичу от нее, он взял сполна, не упустив ничего.

Об одном я сожалею, что не было тогда со мною фотоаппарата, что я не запечатлел Виктора Петровича на фоне порогов. И вообще у меня почти нет фотографий Виктора Петровича и особенно таких, где бы и я был, за исключением нескольких случайно-любительских, расплывчато-гусклых. Я как-то, в отличие от других, никогда не придавал этому значения и, может быть, зря.

Вернулись мы домой относительно рано и вечером долго сидели в ограде у дымокура.

Было как всегда очень тихо на нашей окраине, но в



моих ушах и в тот вечер, и ночью не умолкал оглушительный шум кипящего между скал и камней Енисея.

\* \* \*

Енисейск я знал хорошо (как-никак пять лет подряд, будучи студентом-заочником местного пединститута, по долгу жил там зимой и летом), и поэтому мы с Виктором Петровичем уверенно ходили по старинным, с массивными «губернскими» особняками «проспектам», где вперемежку с автомобилями резво бегали по асфальту запряженные в телеги лошадки, а так же по не менее старинным пыльно-дремотным улочкам с вросшими в землю и черными от прожитых десятилетий, а то и веков деревянными избами.

Виктор Петрович все время что-то говорил, шутил и даже смеялся, но я чувствовал, как он внутренне напряжен, как он где-то сейчас очень, очень далеко от меня.

Подшли к скверу, где была танцплощадка, и обочь которой топорщилось странное полуразрушенное сооружение со снесенной когда-то макушкой, на месте которой преспокойно зеленели молодые деревья, не помню теперь точно какие, но кажется, что березки. По стройности и грациозности остова, по овальным проемам бывших окошек и по яркой белизне еще не отвалившейся внешней штукатурки на стенах нетрудно было догадаться, что здесь когда-то был храм, который пытались снести, не осилили, да так изуродованным и оставили. Невыносимо тяжело и жутко было видеть почти в центре города эти руины с беспечной зеленью наверху.

Виктор Петрович ничего тогда не сказал, но я хорошо представил себе его монолог, если бы он вдруг заговорил по этому поводу.

Дальше мы отправились на гору, где когда-то обнесенный прочной кирпичной оградой стоял монастырь, с храмами, всевозможными службами и кельями для монахов, а теперь за этой оградой дымил пивоваренный завод, ни больше, ни меньше. Но не он нас, конечно, интересовал, мне хотелось показать Виктору Петровичу старинное кладбище, что располагалось возле монастырской стены.

Лучше бы мы туда не ходили!

До сих пор, как вспомню, мороз меня дерет по спине.

Видимо, совсем незадолго до нашего приезда на месте древнего кладбища решили что-то построить, загнали на площадку бульдозер и снесли как ножом все надгробья,

свалив в безобразную кучу. Деревянные, каменные, чугунные. На всю жизнь врезалось в память одно — с выбитой в мраморе эпитафией: «Любимой и незабвенной жене моей Прасковье Макаровне от безутешного мужа». И подпись: купец такой-то гильдии, кажется, Спиридонов. И вот теперь это поруганное надгробие — человеческая память и боль — валялось в куче, как хлам.

Виктор Петрович крестился. И бормотал что-то наподобие:

«Господи! И до какого же первобытного скотства мы опустились! И когда это кончится? И кончится ли вообще до того, как грянет Суд Страшный?»

Но были в этой поездке и добрые встречи — с моими однокашниками по институту, с преподавателями. Друзья и теплый вечер организовали, и уютный ночлег.

А наутро мы снова бродили по городу, и Виктор Петрович снова шутил и смеялся, но в то же время как-то трепетно и внимательно присматривался ко всему, что нас окружало.

Я все еще не знал цели его приезда в Енисейск, а спрашивать не решался. Во-первых, я вообще считал себя не вправе лезть со своими вопросами в его сокровенное, а во-вторых, у меня уже был пример того, как резко отрицательно Виктор Петрович относился к бесцеремонности. Как-то один из дотошных и не очень умных любителей российской словесности спросил у него при мне: «Виктор Петрович, а почему вы рассказ «Ясным ли днем» начали: «И в городе падал лист», — а не просто: «В городе падал лист», — на что Виктор Петрович вспыльчиво бросил: «Если бы я был академический литературовед, я бы на это ответил. Но я писатель, и умею ПИСАТЬ, а не объяснять, что и как я пишу».

Все стало ясно только в «Метеоре», когда мы ехали из Енисейска обратно в Казачинское. Между прочим, ехали несколько «романтично» — иногда стоя, иногда притулившись на ступеньках в проходе между салонами. «Метеор» был переполнен, и попасть в него помог только астафьевский писательский билет.

Тогда еще было вольготно на транспорте насчет «коего», да и не только на транспорте. Мы купили в судовом буфете бутылку шампанского и распили ее на лесенке, одолжив в том же буфете стакан. Потом потомились, потомились в неуютности и распили вторую.

И Виктор Петрович сказал, что в восьмом номере жур-

нала «Наш современник», а через год в молодогвардейском одностомнике будет опубликована его новая повесть «Пастух и пастушка», над которой он работал долго и трудно и до сих пор продолжает работать, и что главный герой этой повести — Борис Костяев — родом из Енисейска...

#### РЕДАКТОР

В одной из моих заветных папок лежат несколько страничек машинописного текста с правкой Астафьева. Я берегу их вот уже третий десяток лет, и когда мне бывает очень тяжело и что-то не получается, достаю эти листочки и в тысячный раз изучаю...

Не раз уже говорили умные люди, что первая книжка литератора, даже и очень заметная, еще мало о чем говорит, и зачастую настоящий писатель начинается гораздо позднее. А иной и вообще не начинается никогда... Как бы то ни было, но первая книжка — это порыв, это страсть, все на интуиции, все как-то само собой. И только дальше уже начинается кропотливая, долгая и сознательная работа. Не всякий на такую работу способен. Да и вещи, вероятно, бывают упрямые — не даются и все. Выскальзывают из рук, расплываются, и тебя постоянно уводит куда-то. И оттого и язык в произведении получается вялый и тусклый, и фабула рыхлая, и действия людей какие-то неживые.

Свою первую повесть «На реке да на Кети» я даже не помню, как написал. Помню только, что сильно заболел и врачи держали меня на больничном месяца полтора, оберегая от почти круглосуточной, изнуряющей редакционно-райкомовской суетни. Вот за эти полтора месяца, оставаясь днями в квартире один — жена на работе, дочь в школе, — я безо всякого напряжения, безо всяких потуг и настроил свою повесть.

А вот вторая — «Студеное утро» — не давалась никак. Я ее и так начинал, и этак, несколько раз переписывал, несколько раз бросал в печку и уже обгоревшую по краям обратно выхватывал, не помогало ничего. Скажу откровенно, что повесть потом все же была опубликована и в альманахе «Енисей» и трижды издавалась в Красноярском книжном издательстве, но только спустя почти пятнадцать лет она, кажется, получилась, во всяком случае удовлетворила меня. Этот окончательный вариант, сокра-

щенный мною почти в четыре раза по сравнению с первым, вошел в мою книжку «Заветная елань», изданную «Современником» в 1988 году.

А тогда, в Казачинском... я показал свои опусы Виктору Петровичу и, спустя несколько дней, по прочтении их он мне сказал, что особой радости они ему не доставили. Во-первых, не нова тема да и сам «колорит» военного нарымского детства, — меня тут опередил Владимир Кольхалов со своим романом «Дикие побеги», а во-вторых, мне надо серьезно работать над стилем и языком. Пока что они далеко «не на уровне».

— Я не люблю марать чужие тексты, — повинился передо мною Виктор Петрович, — но ради примера все же дерзнул. — И взял из рукописи несколько испещренных страничек. — Посмотри на досуге, так сказать, в одиночестве и тишине...

Я посмотрел и в первые мгновения пришел в ужас. Половина текста — целыми абзацами! — была безжалостно перечеркнута, а на полях красовались жирные астафьевские автографы:

«Учись сокращаться беспощадно!»

«Много, очень много пояснений, лишних жестов и фраз».

«Банальностей много!»

«Смотри внимательно эту страницу, ее можно сделать лучше».

«Убрать половину фразы, и все станет ярче!»

И так далее, и так далее.

Когда шок прошел, и я стал вглядываться и вдумываться в каждую правку, то открыл для себя такое, что не смогли бы мне дать и тысячи абстрактных лекций по логике и стилистике.

Вот у меня написано: «Было еще совсем темно. В окне едва-едва серело». Виктор Петрович выбрасывает второе предложение, и получается конкретней, точнее. Действительно, как это: совсем темно и едва серело? Вот у меня два предложения: «Дядя Ермила ждал его на завалинке, курил самокрутку. Был он в брюках галифе, в броднях, в старенькой куртке и кепке-восьмиклинке». Виктор Петрович больше половины слов убирает, оставляя фразу: «Дядя Ермила курил на завалинке самокрутку», — и ниже спрашивает: как это я увидел и галифе, и кепку-восьмиклинку, и особенно старенькую куртку, если было темно и в окне лишь серело?

Действительно, как?

Виктор Петрович меня «успокоил»:

— Да ты не переживай. Я вон «Пастуха и пастушку» восемь раз переписывал. А что стоит тебе это сделать?

#### ИЗ ПИСЕМ В КАЗАЧИНСКОЕ

1971—1973 гг.

«Дорогие Николаша и Тамара!

Вот я уже и дома, и несколько дней уже, а написать сразу не собрался — ждала масса необходимейших дел, и в первую очередь гранки «Пастушки», которые надо было срочно читать. Прочел. Повесть едва ли пойдет, а надеяться надо.

В Москве мы вечером посидели все вместе — был и Вася Шукшин, очень симпатичный человек, оказавшийся и в самом деле лицом немножко похожим на меня, чему я прежде не верил.

Мозги у меня все еще нараскоряку и поэтому не могу собрать мысли воедино и толково написать все. Вот-вот должна быть верстка однотомника, тоже работа большая, да и с «Пастушкой» еще горя хвачу. Но сил я у вас поднабрался и могу ломить теперь. Вот вернулся домой, вздохнул облегченно вроде бы, а на сердце какая-то тоска и несбыточная мечта: мою бы Вологду с ее добротой и зеленью и квартирой четырехкомнатной перетащить бы в Сибирь и поставить супротив Караульного бы быка... Вот бы да бы!.. Маниловщина! А сладко помечтать.

С удовольствием вспоминаю вас, Казачинское и особенно речку Черную, где под сенью ракии и возле огорода много прожито и переговорено за короткий срок. Ах! Куда вы делись сладкие денечки?! Зимой все это обратится в тоску. Ну, низко вам кланяюсь. Еще раз спасибо за все.

*Обнимаю. Виктор Петрович*

...

«Дорогой Коля!

Я тут приболел немножко. Ходил по дивному осеннему лесу с ружьем и разопрел в теплой одежде, а потом попил холодного и спать лег в нетопленной избе, на завтра же и зачихал, и домой поехал, добывши одного рябчика. Но уже очухался, ничего особенного — катар верхних дыхательных путей, по-мужицки просто — простуда. Вот

я и читал всласть стихи, окунался в русскую поэзию — это диво дивное. Даже и жалко людей, лишенных этой чудесной страны, — бедные они просто и сами себя лишают, может, самого большого после любви наслаждения, а так как наслаждений ноне раз-два и обчелся, то вдвое обидно за людей, не полюбивших поэзию. Вот пишу тебе, а в голове звучит совершенно потрясающая строчка Тютчева: «О, Господи Дай жгучего страдания!» Не дожили эти ребята до наших дней! Они б молили Господа, чтоб Он хоть маленько поубавил сих страданий. Правда, они молили все о страданиях возвышенных, нам вовсе недоступных и непонятных, как свинина казаху.

Нового я ничего не написал. Добил лишь большой рассказ о космонавтах — вся надежда на зиму, надо бы роман замесить и повесть небольшую, да все недосуг, все дела более «важные». Рукописями заваливают меня молодые со всех концов — из двух одно: или вывелись хорошие люди, готовые жертвовать собой и временем во имя молодых или же молодежь настырная и одолевает всех своими рукописями.

Ну вот, пишу-то я без повода, а без повода русские люди ничего не умеют, даже прогуляться на двор и то им надо, чтоб попутно в нужник завернуть, вот и расползся я и ничего путного не сказал тебе, а все представляю, как притих сейчас Казачинск среди пожухлых лугов, нарядного, уже сквозящего леса и как неотвратимо надвигается на вас всех тоскливая, долгая и воюще-печальная зима. Зато сейчас пора прекрасная! Выдаются солнечные дни, в лесу маслята, рыжики, а у вас грузди. Утки тревожатся, ласточки и стрижи улетели, скворцы клубятся в небе и перед вечером поют в палисадниках молодые, готовясь к будущей весне. Будем и мы мечтать о ней и согреваться мечтой о тепле и солнце в зимнюю стужу. Поклон мой низкий Тамаре, дочке твоей, Енисею-батюшке. Обнимаю тебя. Прости за грустный тон письма — это немножко от хвори и немножко от осени.

*Твой Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Николай!

И я радуюсь тому, что стал ты членом организации, в которой имею честь состоять я и мои товарищи. Да, радуюсь, и не только потому что, как говорится, «руку к сему

приложил», но и потому еще, что верю в нашу захлавленную, не раз уже распроданную с молотка, замордованную и все-таки живую литературу.

Счет у нас пока еще на единицы, однако эти единицы составляют сейчас суть и все в литературе, и они в большей степени, чем рвущая зубами мясо и деньги приспособленческая орда, влияют на формирование общества, на его совесть, честность и здоровье. Пусть внешне это еще не столь ощутимо, как хотелось бы, но и не столь ничтожно, чтобы с ним не считались. Во всяком случае я по себе знаю, как на меня и на моих друзей надеются, ждут многого от нас и боятся, чтобы мы не предали свою душу и перо. А распродать то и другое и прожить легкую — вот легкую ли?! — жизнь в нашей литературе очень просто.

Вчера появились в газетах портреты Корнейчука с дежурными словами скорби. У меня был как раз режиссер из Киева и сказал страшную на мой взгляд вещь — никто, ни один человек не помянул покойного добрым словом, все почему-то в день его кончины вспоминали о нем мерзости, а сам он, умирая от рака крови, кричал: «Отдам миллион, только спасите!» Вот и ни званья, ни миллионы не нужны сделались, как смерть подступила.

Все это я к тому пишу, что нашел ты путь сложный, трудный, трудности которого, сколь бы я тебя к ним ни готовил, будут всегда пробующими твой позвоночник на прочность. Сейчас у тебя в душе праздник, в голове туман и растерянность, как в половодье, — плыви в любую сторону, ведь просторно! Хорошее состояние, но оно пройдет, начнется работа, работа, работа. Тебе нужно очень много сделать и, прежде всего, в направлении самоусовершенствования. Жить нужно напряженно, особенно периферийному писателю. Ему, горемыке, все время приходится ходить с котомкой и нести груз той самой продукции, тех знаний и информации, за которыми в столице лишь стоит через улицу перебежать и вот они.

Не дай Бог тебе заболеть чванством и самолюбованием, какая бы на тебя слава потом ни свалилась, но не дай Бог остаться робким и застенчивым провинциалом, которых у нас просто готовы на руках носить, потому что провинциал — он же ребенок, которому можно и соску дать и по попке похлопать ласково и идти в нужную сторону научить, держась за руку дяди, ласкового дяди из журнала или издательства, который дни и ночи не спит и все

думает, как «несмышленишу» глазки «открыть» и ходить его ножками научить. Ходить надо самому, и как можно тверже, говорить своим голосом, но как можно реже и только по делу. И помнишь две заповеди — первая житейская: «Жизнь свою держи за узду, на жребий свой не ахай, и если тебя посылают в ..., ты посылай на ...» Вторая — литературная:

Орел был у нас председатель,  
Зайчишка был наш издатель,  
А критиком был медведь.  
Чтобы быть российским писателем —  
Ба-а-а-льшее здоровье надо иметь.

Вот и помни всегда о нем, о здоровьи. Я вот с фронта его еще немного привез, а потом не жалел, развеивал и не всегда на работу, но было и на застолья. Конечно, я не жалею о том, чего было не так уж и много — о гулянке, но вот хворать стал все чаще, и хворь из-за стола надолго вышибает, а там уж и старость костями постукивает — через два года пять-де-сят! Третий день пробую садиться за стол, а и то накоротко, а сделать хочется еще много.

Книжка «Затесей» вышла с хорошей фотографией, я надеюсь вам ее подписать уже в Сибири, а пока вместе с моим самым горячим поздравлением я шлю тебе гравюры Бурмагиных, вологодских художников, в память и на память, чтобы как-то хоть отметить и чем-то важное такое событие в твоей жизни. Здесь есть ряд гравюр, которые и на стене не стыдно повесить. Делается это просто (Юра Куранов научил. Знаешь такого хорошего писателя?): вырежь размером с гравюрку стекло и белым лейкопластырем узенькой полоской закрепи его с картоном, меж которого и заложишь гравюрку. Петельку к картону тоже хорошо прикрепить лейкопластырем.

Ну, написал я тебе семь верст, читай знай. Тамаре и Лене по низкому поклону. Крепко тебя обнимаю. В добрый путь.

*Твой Виктор Петрович*

\*\*\*

«Дорогой Николаша!

Из Гагры, из дома творчества шлю тебе, Тамаре и Лене приветы и поздравления с праздником, к которым подсоединяется и Марья моя, здесь со мной пребывающая. Из дома я уже давненько, был в Боржоми, пил воду, пытаюсь



подлечить брюхо гнилое, но мало пил воду, а больше пил вино с хитрыми грузинами. Затем несколько дней был у приятеля в Сухуми и оттуда уж в Гагру переехал, где нам удалось хорошо отдохнуть. Я ничего не делал, написал лишь предисловие к повести одного томича и все, да несколько писем. Тепло здесь было, и я до 3-го ноября купался. Вот какая есть сторона! И какая наша страна! В Верхоянске минус 41, а здесь вода как в лучший месяц в Енисее — 18—19 градусов тепла.

Письмо твое мне сюда переслали. Рад, что у тебя все хорошо пока идет, что пишется, что легче дышится, а на дураков внимания не обращай. Когда я жил в г. Чусовом и писал, на меня смотрели, по крайней мере, как на проходимца, а теперь гордятся и трезвонят, что я написал «у них», на «уральской земле».

Здесь, в доме творчества, работает и отдыхает критик Виктор Васильевич Петелин, который когда-то писал о тебе в «Правде», и он очень хотел бы иметь от тебя книжку.

Кстати, ставши членом, ты получил все права ездить в дома творчества вместе с семьей и без оной. И надо этим пользоваться весной, а лучше осенью, в октябре, продлить можно лето на месяц и хорошо здесь поработать. Каждому писателю или семье дается отдельная комната у самого моря — тишь, благодать, кормят на убой и еще кино показывают. Я не пользовался этими «дарами» Литфонда прежде и жалею об этом, ибо от горя и работы дожил почти до полного нервного истощения и психоза.

Написал я «Оду русскому огороду», и ее в «Наш современник» № 12 быстренько поставили, но так «изредактировали», напуганные тем, что с 10-го номера цензура сняла рассказ Жени Носова, и мне пришлось протестовать, ругаться по телефону, словом, снова и снова тратить нервы.

За роман пока не принимался. Видимо, прежде напишу большой рассказ о войне «Ванька взводный», а потом уж, взявши «разговор», где-то зимой и роман «ковырять» примусь. Он ведь у меня вчерне-то написан и нужно теперь главную и самую нужную работу продолжить: доводку, отделку и прочее.

Может быть, в связи с изданием книги доведется быть в Красноярске и повидаться с вами со всеми, а пока обнимаю всех вас, желаю теплой зимы, доброго здоровья, а тебе писучести и всего самого хорошего.

*Твой Виктор Петрович*

### «Дорогой Николаша!

Сегодня я купил тебе и себе, конечно, по несколько разнообразных пластинок, и серьезных, и душещипательных, памятных по детству, для разнообразия настроения. Надо сказать, что от моего южного настроения не осталось и следа — все взяла текучка, почта, какие-то сумбурные, никому не нужные дела.

А на дворе слякоть, мразь. После холодов легких и белого снега раскисло все, туман, сырь, все кости болят и на душе такая слякоть! Не знаю, куда бы себя дел. Из рук все валится, потому что ложь кругом, паскудство, и с годами видишь это отчетливей, переживаешь острее. Начал писать статью для «Избранного», дошел до смерти мамы и так стало плохо, так больно, так заболело сердце, что и жить-то уж как-то даже не то чтобы не хочется, а тошно. Пишу и поэтапно вижу, как разрушалась и уничтожалась наша семья, большая, безалаберная, и среди всех жертв самая невинная, самая горькая и невозвратная, — моя мама.

А биографию надо написать. Пишут все и врут, либо нажимают на «жалостливые» и «выигрышные» моменты: «тяжелое детство», «солдат», «рабочий» и вот вам — писатель, ай-лю-ли, ай-лю-ли, как его мы довели! Обрыдло все это. Так маскируют трагедию личности и литератора, значит, и всего общества, так охотно и поспешно теряющего свое нравственное и национальное достоинство.

Хочется с кем-то поговорить, поболтать. А с кем? Живу я все же в чужом краю, с чужими людьми. А где они, родные-то? И Родина где? Овсянка? Это уже не моя родина, это лишь ее тень, напоминание и могилы, заросшие крапивой, без догляду и слез оставленные. Я только и плачу еще про себя обо всем — и о Родине моей, и о могилах родных. А сколько их, слез-то моих? Тут и моря мало, чтобы затопить все горе людское.

Биографию я все же напишу, пересилю себя. Большую, беспощадную, и из нее уж выберу сокращенное изображение для «Избранного».

Клею повести, правлю, пишу выступление к 50-ти годам, и страшное мое ощущение и отношение к этому — по длине жизни чувствую, что мне лет полтора и в то же время кажется: не заметил, как все это было. Видимо, самый «длинный» отрезок времени — это юность. И отнятая, убитая, сожженная, она пеплом своим стучит в сер-

дце, требует какого-то возмещения, «компенсации», но компенсацией может быть только сама юность, а она бывает раз.» Ах, юность, юность, нет к тебе возврата, не воскресить — зови иль не зови! На дне души светло и виновато лежат осколки дружбы и любви!» Осколки! Разве из них что склеишь? Я же не археолог, а всего лишь литератор, иногда впадающий в детство и умеющий более или менее выдумать юность чью-то, воображая ее своей, и прилепить к этой воображаемой юности воображаемую любовь, потому что любовь есть самое естественное чувство, и изображенное на бумаге оно уже становится словом, а слово есть всего лишь слово. Музыка еще способно добраться до тех чувств, из которых берет начало любовь...

Боюсь сбить тебя с толку, заразить своим нытьем — у тебя сейчас ведь хорошая пора. Ах, как я был счастлив в эту пору, хотя у меня был полон дом прожорливых ртов, и жилья не было, а все равно петухом на заборе чувствовал себя, и хвост распушен!

Пиши, ради Бога пиши! Это ведь я так, раскис. Очень уж болит все, раны ноют. И как мне хочется жить возле вас, возле Енисея! Я бы, наверно, вышел на берег и мне бы лучше стало, а может, наоборот? Может, все уж в воображении только, но я умирать все равно в Овсянку приеду. Я тут начал писать поэму! Да-да! И называется она «Прощание с собой». В стихах. И серьезную. Мне ее надолго хватит, до смерти, она так и задумана, чтобы прощаться с каждым уходящим днем и с дорогими людьми, которые все падают и падают, как солдаты на марше.

Отправляю тебе вместе с пластинками «Оду русскому огороду». Я уже подготовил расклейку сборника для Красноярского издательства. Дело за «Пастушкой». Жду письма: не разрешат ли мне ее издать в целом виде. Так хотелось бы всю целиком издать! Или все же придется по расклейке однотомика?

И еще, Коля, — просьба! Я в Томске покупал рюкзак орехов кедровых, но уже все исщелкал. Судя по лету, нынче в Сибири должен быть урожай. Будь добр, пришли мне орешков. Привык к ним, и они как-то отвлекают и утешают.

Настроение наладится, начну «пахать». Делаю заход на «Звездопад», захотелось мне его доработать. За роман не брался. Нет сил и настроения. Тамару и Лену поцелуй.

*Твой Виктор Петрович*

Гляди, чего я вычитал сегодня у Юрия Леднева в сборнике «Подорожники»:

Я к тому клоню, что весело  
Не всегда бывает мне,  
Что наследники дантесовы  
Тоже ходят по земле.  
К ним хранители приставлены,  
Хоть и нелегко хранить.  
Им доспехи даже справлены,  
Чтобы Пушкина убить.

Видишь вот, жизнь идет, катится.

\* \* \*

«Дорогой Николаша!

Вот я и дома. Больных много, мест мало, на мою радость меня и отпустили из больницы. Сегодня я впервые за месяц вышел на улицу, аж кругом пошло. И сегодня же пришлось начать работать — надо сдавать книгу, время жмет, а еще не выслал «Пастушку». Вот читаю и вижу, и душа стонет оттого, какая ощипанная повесть попадет к читателю, повесть, по существу, с отсеченными крыльями и перебитой ногой. Ах, как трудно все же работать в нашей «таратуре», как ее называл покойный Сamed Вургун, а кино он еще лучше называл — «кьибиниматография», и когда люди покатывались, он недоумевал и сердился.

Пишу тебе вот чего. Пробовал я тут закинуть удочку насчет «Молодой прозы Сибири» и убедился, что ты сам себе палки в колеса суешь. Ты тогда мне написал, что не надо обращаться к Лиханову, я ведь подумал, что вопрос уже решен помимо него и поэтому не поговорил с главным редактором Новосибирского издательства насчет тебя, а сейчас, когда спросил в письме насчет твоей книжки у одного из редакторов, он ответил, что нет тебя в плане и уже поздно в него попадать — серия заканчивается.

Ну, парень! Так тебе в карман накладывают и хлеб изо рта вынут. Нельзя так! Надо немножко пожестче быть. Я сам мягкотел, добер и уступчив чересчур, да и застенчив тоже, вот и могут мне иногда позволить говорить всякие снисхождения и хлопать по плечу, выбивая пыль из пиджака. Не хочу, чтоб в этом ты походил на меня, изжуют, проглотят, как пельмень.

Ну, ладно об этом. Теперь слушай сюда!

Перепечатай на машинке старые повести, приложи новую и пришли ко мне. Дело вот в чем. Будучи в декабре

в Москве, обласканный любящими меня людьми в «Молодой гвардии», я воспользовался благостным моментом и выговорил место в новинках молодой прозы для автора, которого буду сам рекомендовать и напишу одну из двух рецензий. Я имел в виду одного очень хорошего парня из Перми, но по прочтении увидел, что книжка его не тянет и с уверенностью ее рекомендовать нельзя, а место, мной выговоренное, пустует. Теперь, когда я узнал, что нет твоей книжки в «Молодой прозе Сибири» и в Красноярске ты «опоздал» (Бл...тво какое! И когда это кончится?), так, значит, шли мне рукопись, первый экземпляр, и я постараюсь хоть в год 1974-й или 75-й пристроить ее, что, между прочим, не мешает ей быть изданной в Красноярске, равно как и напечататься в альманахе, а затем и в журнале, была бы вещь настоящая.

Вот. Давай не тяни с этим делом. Привет Тамаре и Лене. Обнимаю.

*Твой Виктор Петрович*

#### СИБИРСКИЕ АФИНЫ

Когда-то Чехов назвал Томск Сибирскими Афинами. И хотя я родился на территории, административно подчиненной этому городу и даже в свое время закончил Томский индустриальный техникум, я никогда не предполагал, что мне придется жить в благословенных Сибирских Афинах.

Но так случилось, что я на целых три с половиной года накрепко связал свою судьбу с этим городом. И опять же при самом непосредственном содействии Виктора Петровича Астафьева.

Еще гостя у меня в Казачинском, Виктор Петрович не раз говорил:

— Прокиснешь ты, парень, в этом захолустье, точно прокиснешь. Надо тебе обязательно в город, поближе к собратьям по перу, к определенной среде, атмосфере.

Легко сказать «надо»! Но как это сделать практически? В Красноярск мне в то время путь был напрочь закрыт. Руководила тогда идеологией в крае Полина Георгиевна Макеева, «полковник в юбке», как назвал ее в одной из повестей Роман Солнцев, и у этой боевой женщины было два кредо, два убеждения: первое — нет и никогда быть не может «пророка в своем отечестве», второе —

каждый литератор, и особенно молодой, должен где-то служить. «Вот и служи в своей казачинской редакции, — сказала мне Полина Георгиевна на приеме, — то есть, там, где тебе доверила партия. Ты нам в данный отрезок времени нужен в селе, а не в городе...»

Виктор Петрович об этом ее приговоре хорошо знал и поэтому, путешествуя летом 1972 года с группой писателей по томскому Приобью, «закинул удочку насчет моей томской прописки» аж самому Егору или Юрию, как называли его томичи, Кузьмичу Лигачеву.

Сейчас к этому человеку отношение в обществе, да и у меня, далеко не восторженное, особенно после обнародования «эпопей» с Колпашевским яром, однако я не хочу кривить душой и в угоду нынешней конъюнктуре скрывать то, что отнесся тогда Лигачев к просьбе Виктора Петровича, а также лично ко мне исключительно хорошо. Даже по нашим советским понятиям — чересчур. С таким размахом и княжеской удалью.

Однажды в моей казачинской квартире раздался междугородный телефонный звонок.

Звонивший назвался помощником Лигачева Романовым и от имени Юрия Кузьмича, то есть от имени первого секретаря обкома партии предложил мне переезжать в Томск, при этом как бы по секрету сообщив, что накануне Юрий Кузьмич запросил в библиотеке мои публикации, прочитал их и остался доволен.

Я был сражен. Я впервые слышал, что партийный начальник такого высокого ранга читал художественные произведения да притом никому не известного автора.

Буквально на следующий день я вылетел в Томск для конкретных переговоров.

В воскресенье в полдень я был на квартире писателя Владимира Анисимовича Кольхалова, тогдашнего томского ответственного секретаря, а уже на завтра, в понедельник, в 16.00 мы с Владимиром Анисимовичем входили в кабинет Лигачева.

Плотный, энергичный Егор Кузьмич поднялся нам навстречу, с улыбкой крепко пожал руки, поздравил меня с приездом. Потом пригласил сесть, сел сам, стал расспрашивать меня о делах, о семье. Узнав, что моя жена врач, а дочь — пока шестиклассница, воскликнул:

— Прекрасно! Врачи нам нужны, и с работой — безо всяких проблем. Да и дочери после окончания школы бу-

дет куда пойти — в Томске и университет, и институтов довольно.

Во время нашего разговора в кабинет несколько раз заходили какие-то люди, видимо, высокопоставленные работники аппарата, и каждому из них Егор Кузьмич меня представлял. Притом с таким пафосом, как будто я был невесть какой знаменитостью.

Мне было не то что стыдно, а как-то неудобно, неловко, как при церемонии, когда получаешь еще не заработанный аванс или вовсе — берешь деньги в долг.

Егор Кузьмич в это время нажал на кнопку селектора и вызвал председателя горисполкома по фамилии Калаба.

— Ты знаешь, что в наш город на постоянное место жительства приехал Николай Иванович Волокитин? — с напором спросил.

— Знаю! — с пионерской готовностью отчеканил Калаба и на всякий случай спросил: — Это тот инженер?

— Ха-ха-ха! — расхохотался Егор Кузьмич, видимо, весьма довольный вышколенной бодростью своего подчиненного, и пояснил: — Не инженер, а писатель...

— Да, да, писатель! — поправился председатель горисполкома.

— Ты сейчас чем занимаешься? — перебил его Лигачев.

— У меня исполком.

— Когда кончится?

— Часа в четыре, полпятого.

— Хорошо. Тогда ровно в пять будь с автомобилем возле отделения Союза писателей, возьмешь Николая Ивановича, Владимира Анисимовича и поедешь с ними по городу. В любом в ближайшее время сдающемся доме любую трехкомнатную квартиру, — рубил Лигачев, делая упор на «любом» и «любую», — по выбору Николая Ивановича запишешь за ним.

— Есть! — едва дослушав, «kozyрнул» председатель.

На этом мы распрощались с Самим.

Когда я рассказал о томской встрече своим друзьям в Красноярске, мне не поверили. Да и сейчас, по-моему, не очень-то верят. «Странно, — сомнительно улыбнулся недавно один из коллег. — Я знаю Томск тех времен, там же была такая адская напряженка с квартирами». И тем не менее, уже через несколько недель после того, как мы с Калабой предварительно выбрали «хату» в пятиэтажном кирпичном доме «Облсельхозтехники», я в окружении семьи и новых друзей справлял новоселье.

Три с половиной года спустя, уже после того, как меня избрали ответственным секретарем писательской организации в Красноярске, мне довелось еще раз побывать у Егора Кузьмича на приеме, который оказался не столь любезным, чем первый...

Я упаковал вещи, когда в квартире раздался телефонный звонок.

— Здравствуйте, Николай Иванович! — слышалось в трубке отрывисто, резко. — Это звонит Лигачев.

Честное слово, только лишь какое-то чудо удержало меня от возгласа: «Да пошел ты на...!»), потому что я принял этот звонок за классический розыгрыш. Но это ни было для меня неожиданно, непривычно и дико, звонил все-таки Егор Кузьмич Лигачев. Лично. Сам. Безо всяких вступлений и предисловий помощников и секретарш.

— Я слышал, вы уезжаете в Красноярск?

— Да-а...

— А кто вас туда отпускал?

— Но меня там избрали... — начал лепетать я.

— Жду вас завтра ровно в четырнадцать, — приказал Егор Кузьмич, и в трубке закивало.

Не буду останавливаться на нашем том разговоре. Скажу только, что после того разговора меня едва не пришлось откачивать. Благо, заведующим отделом пропаганды обкома работал тогда мой бывший техникумовский преподаватель, относившийся ко мне дружелюбно, чтивший, так сказать, наше бывшее знакомство. Он меня и отвез тогда на обкомовской машине прямо к жене в поликлинику.

Егор Кузьмич заявил, что куда бы я ни уехал, меня все равно «достанут» и «вернут в партийном порядке».

Полгода, уже работая в Красноярске, я находился «между небом и землей», потому что по приказу Лигачева меня не снимали с партийного учета.

Самостоятельности, а тем более «неблагодарности» начальники не выносят.

Но довольно об этом.

Из Томска я постоянно перезванивался и переписывался с Виктором Петровичем. В Томск приезжала и гостила в нашем доме дочь Астафьева Ира...

А в первое томское лето по приглашению Виктора Петровича я участвовал в славном путешествии по Енисею.



Встреча была назначена в Красноярске, на квартире редактора книжного издательства Виктора Ермакова; и так получилось, что первым «на явку» прибыл я. Потом подъехал новосибирский писатель Евгений Городецкий.

Вологодская «группа», в которую кроме Астафьева входили поэты Виктор Коротаяев и Александр Романов, должна была прилететь самолетом, но что-то там у мужиков не вышло с билетами, и они из Москвы ехали поездом. Насколько я помню, поезд тогда от столицы до Красноярска шел трое суток. Ждать было долговато.

Но вот наконец-то нужный день наступил, и фирменный экспресс затормозил у перрона.

Виктор Петрович вышел из вагона в добром здравии, самостоятельно, а вот Виктора Вениаминовича и Александра Александровича пришлось придерживать за локотки, помогая.

— Надоели они мне за трое суток, как горькая редька, — рассказывал со смехом Астафьев, удивительно здорово изображая попутчиков, особенно бородатого импульсивного Коротаяева. — И не только мне, но и бедненькой проводнице, молоденькой да симпатичной. Они ей все свои книжки, которые брали на всякий случай, раздали за трое суток. Шлепнут бутылочку и пошло: «Танечка, позвольте я вам подпишу свой новый сборник стихов!» — «Да вы уже подписали, и точно такой же». — «Ну ничего, еще один вам не повредит». И так на дню раз по восемь. У милой Танечки в ее закуске образовалась целая стенка из одинаковых книжек.

Виктор Петрович, естественно, сгущал краски, но делал это так по-астафьевски непринужденно и ловко, что мы с Ермаковым и Городецким хватались за животы.

Хвататься за животы то и дело нам пришлось и на завтра, когда мы всей компанией очутились в Овсянке.

Часто я там бывал и до того, и особенно после, во многих праздничных событиях участие принимал, но не помню больше такого веселья, такой непосредственности, даже детскости поголовно у всех: и у нас, и у многочисленной астафьевской родни, — как получилось тогда. Даже и не знаю, чем объяснить. Наверно, общим добрым настроением, радостью встречи да еще игривым характером Виктора Коротаяева.

Я его видел впервые. С Александром Романовым мы

познакомились еще в декабре 1971 года в Москве, куда меня приглашали на пленум Союза писателей РСФСР по работе с молодыми. Кстати, там же на пленуме я близко сошелся и с другими вологодцами — прозаиком Анатолием Петуховым и критиком Василием Оботуровым, а также с близкими им по духу владимирцем Геннадием Никифоровым и ныне покойными — великолепным беллетристом, другом Алексея Фатьянова, Сергеем Никитиным и с поэтом Владимиром Ковалевым. Войти в такой широкий круг литераторов и войти сразу помогла мне, конечно же, репутация астафьевского ученика да еще то, что на пленуме в докладе помянул меня добрым словом Григорий Коновалов, что так же произошло не без косвенного отношения к этому Виктора Петровича: не будь его статьи в «Литературной газете», не было бы и этого ничего.

Так вот, в отличие от Романова я Коротаяева только узнал. И он меня покори́л. Все овсянские встречи все прогулки, все засто́лья он превратил в какой-то непрерывный, разудалый концерт. То, тряся смоляной бородой, он читает вперемежку со своими дерзкие стихи Николая Рубцова, то приглашает на клоунский танец двоюродную сестру Виктора Петровича Галину Николаевну Краснобровкину, то чего-то такое рассказывает, что все валяются под столы, то на ходу придумывает какие-то новые и новые фокусы.

В то время еще были живы и дядя Коля Потылицын (Кольча-младший), и тетя Августа, и тетя Апроня. С тетей Апроней, например, Виктор начал разыгрывать жениха и невесту, а всю нашу компанию заставил изображать роль участников их «сердечной помолвки».

До сих пор поражаюсь, что тетя Апроня, эта пожилая, много испытывавшая в своей жизни и с виду очень суровая женщина, приняла игру Коротаяева и выглядела в импровизированном спектакле и непосредственнее, и смешнее главного придумщика и героя.

Даже Александр Романов, такой сдержанный, такой скупой на эмоции, и тот хохотал.

И Виктор Петрович был весел и, чувствовалось, очень доволен тем, что ни его приятели, ни его родичи не подкачали, и встреча в Овсянке получилась не только сердечной и доброй, но еще и по-русски размашистой и озорной.

— Ну, вологодские лапотники, ну, овсянские гробовозы! — поднимая рюмку, качал головой.

А два дня спустя мы уже стояли на палубе грузового теплохода «Дмитров», и теплоход, толкая впереди себя три мощных баржи с пиломатериалом, катил нас вниз по течению. До этого была беготня по красноярским речным конторам, по причалам, знакомство с разными флотскими командирами, устройство и другая всякая суэта. Не знаю, кому принадлежала идея поездки именно на грузовом теплоходе, но человек этот оказался истинным мудрецом. Во-первых, чем тише едешь, тем не только дальше будешь, но еще и больше увидишь, а во-вторых, в отличие от пассажирского транспорта никаких тебе шума и гама, никаких посторонних вокруг — только команда и мы.

Облокотившись о поручни, я смотрел в блистающую водную даль.

Сколько ни езжу, никогда не перестаю восхищаться Енисеем, хотя мне куда дороже Обь, на которой родился, у которой даже запах особенный.

Енисей всегда поражает какой-то внутренней мощью. И вроде не так уж широк, и горы, набегающие на него с обеих сторон, не такие уж и горы, а сопки скорее, но что-то вот есть во всем этом грандиозное, даже подавляющее чуть-чуть. Какое-то чувство беспредельной водной глубины, что ли.

— Во, только в нашей любимой стране и можно такое увидеть! — услышал я голос Астафьева и повернул голову в ту сторону, куда он показывал.

Из береговой скалы торчала над водою труба диаметром в метр-полтора, и из нее хлестала в Енисей какая-то серо-мутная жижа. Я бы, пожалуй, не обратил на нее внимания, если бы не Виктор Петрович. Он постоянно неожиданно для меня цепляет глазами такое, что, казалось бы, к данному моменту не имеет ни малейшего отношения.

— Вот еще удивляются, откуда за границей про нас все знают, — возмущался он между тем. — Да тут никаких спутников, никаких аэрофотосъемок не надо, проехался вот так на теплоходе и уже ясно, что за скалою или под скалою что-то такое... И как только им, разгильдяям, природы не жалко, и как только не стыдно — бузуют отраву прямо в открытую!

Прошло немало времени, прежде чем он успокоился, да и мы вместе с ним.

Вологодцы не переставали выражать восторги по поводу енисейских красот. Началось это у них еще с того момента, как автомобиль, везущий нас в Овсянку, остановился на горе перед селом, и вспыхнула неопишуемая панорама гор, Енисея, четких рядов домишек между уреза воды и подножия гор.

— Да-а!!! — только и сказали тогда, повода глазами, оба поэта.

А Виктор Петрович не без внутренней, этаким едва уловимой рисовочки и лукавинки молвил:

— Вот все говорят, что я здорово сочиняю. Да что тут сочинять-то, ребята, среди такой красоты, когда она, эта красота, сама бежит на страницы. Тут и дурак, извините, напишет.

Может, он сознательно или бессознательно ждал возражений, но не до возражений в эти минуты было нашим гостям...

— Смотрите, смотрите! — вскричал кто-то, кажется, Коротаяев.

На нас с бешеной скоростью надвигались Казачинские пороги, ко встрече с которыми мы уже давно готовились, но которые, как это частенько бывает в подобных случаях, выплеснулись перед глазами совсем неожиданно. Впрочем, с воды, с середины Енисея пороги выглядели совсем не так, как когда-то с суши. Просто бешеное, необузданное течение кипящей воды, зажатой между узкими скалистыми берегами, и только. Наш двухвинтовой теплоход вместе с могучими баржами несло, как пушинку. Какой-то миг, и пороги уже позади, а вместе с ними и притулившийся возле берега мощный туер «Енисей», что при помощи лебедок и тросов помогает подняться вверх по течению сильно уж перегруженным караванам и маломощным судам.

— Коля, а ты помнишь старый туер — «Ангару»? — вдруг спросил Астафьев.

Как же мне было не помнить! Этот старинный туер, смененный «Енисеем» сравнительно недавно, был приписан к Галанинскому затону Казачинского района, и я не единожды, приезжая по газетным делам в мастерские затона, видел в ремонте диковинные детали еще дореволюционного туера. Особенно меня поражали крупные, с полено, березовые болванки-зубья для какого-то громадного, своеобразного зубчатого колеса. Этим зубьям надлежало быть именно березовыми, и их во множестве из-

готовяляли каждую зиму. Экзотика в нынешний электронно-компьютерный век!

— И где она сейчас, эта «Ангара», не знаешь случайно? — снова поинтересовался Виктор Петрович.

— Где же ей быть? — пожал я плечами. — Как всегда, сняли что мало-мальски годится, отвели куда-нибудь в протоку да бросили. У нас вон на Оби вся пойма забита ржавеющими корпусами. Даже на металлолом распилить недосуг.

— Господи! — опять закипятился Виктор Петрович. — Всякие памятники сооружаем, дворцы-музеи новоявленным политическим гениям оборудуем, скоро сортиры начнем собирать, в которых они оправлялись когда-то, а тут... Почти век, если не больше, промолотила труженица-старушка на Енисее, такую работу провернула не на теперешних, а на прежних, настоящих порогах, и — будто не было ничего. Вот бы что привести в Красноярск да поставить у бетонного причала как истинный памятник истинным делам человеческим...

«А ведь и вправду», — подумал я с горечью и смутился, потому что передо мной, когда-то местным жителем и жителем в общем-то далеко не последним, такие мысли даже и не маячили. Вот что значит наша вечная закомплексованность, духовная зашоренность и заторможенность! Не будь рядом таких, как Астафьев, мы бы многого вокруг нас, наверно, не только не понимали, но и просто не видели.

Как-то незаметно из-за острова показалось Казачинское, и тут уж мне стало не до философствований, сердце рухнуло, затрепыхалось.

Что ни говори, а тринадцать лет, прожитых здесь, кое-что значили. Да притом каких лет! Самых лучших, самых «неповторимых» — с двадцати двух и до тридцатипятилетнего возраста. Здесь началось мое сознательное восхождение в жизнь, здесь я заочно одолел институтскую программу и от десятника леспромхоза «дорос» до редактора районной газеты, здесь я приобрел искренних, пожалуй, самых верных друзей, здесь стал отцом, здесь написал свои первые книжки, здесь познал волнительные часы, дни и ночи общения с прекрасной, тогда еще такой богатой природой — по веснам заходящие на посадку пролетные утки и гуси свистели крыльями прямо над домом, а туманными теплыми августами маслята и грузди можно было собирать едва не за пряслом.

Виктор Петрович тронул меня за плечо.

— Ну что, Николаша, не упорхнуло еще сердчишко совсем?

— Да как вам сказать...

Я был благодарен ему за чуткость, за понимание. Уже тогда я очень хорошо знал, что Виктор Петрович с одинаковым успехом может поражать как пронзительной отзвучивающей, так и не менее пронзительным равнодушием. Я лишь догадываюсь о причине второго. Скорее всего это от его постоянной внутренней загруженности, от невидимой работы, от занятости души и ума, но случилось — и довольно нередко! — когда он совершенно не понимал не только меня, но даже элементарные, сугубо очевидные вещи. И даже не пытался понять!

Село, а вместе с ним и все виденное-перевиденное, хоженое-перехоженое, вскоре осталось за поворотом.

После Казачинского, а точнее, после города Енисейска для меня, как и для друзей-вологодцев, начинались совершенно неведомые края.

Уже на другой день, встав рано утром и выйдя на палубу, я не узнал Енисея. Это была совершенно другая река. Она стала широкой, медлительной, плавной, берега как бы осели, приплюснулись, порой лишь чуть-чуть возвышаясь над гладью воды. Пошли многочисленные острова, косы и почти сплошняком — тальники, тальники, тальники.

Откуда-то появились чайки. Большущим клубящимся облаком они преследовали наш теплоход. Я сбегал на камбуз, взял корочку хлеба и бросил за борт. Господи, что тут содеялось! Свалка, драка с шумом и гамом.

Потом я увидел лося. Только не за кормой, а впереди теплохода. Лось переплывал Енисей и совсем, видимо, не рассчитывал встретиться с нашей машиной, которая, вывалив из-за поворота, надвигалась на него неумолимо и грозно. Мне стало жалко зверя, такого крохотного по сравнению с Енисеем и с нами. Капитан, стоявший в это время на вахте, наверно, тоже испытал подобное чувство, потому что теплоход вдруг стал сбавлять ход. Лось, кажется, на последнем пределе сил добрался до берега и, выбравшись на сухое, какое-то время стоял мокрый, беспомощный, отрешенный. Бока его ходили ходуном, ноги дрожали. Потом лось сделал шаг, другой и стал подниматься на яр.

Тут наш капитан дал короткий гудок, и лось пошел в мах, скрывшись в осиннике.

— Не вынесла все же душа россиянина, пукнул! — услышал я специфический хохоток.

На палубе стоял неизвестно когда появившийся Виктор Петрович.

А к вечеру корабль стали одолевать тысячи сереньких бабочек-липунков. Они липли к поручням, к рубашкам, к рукам и ко лбу, и некуда было от них подеваться. К комарам, которые нас одолевали и днем, и ночью, и на палубе, и в каютах, мы стали вроде бы привыкать, но тут вот новая напасть появилась.

Вологодцы и наши горожане со стажем — Ермаков с Городецким — чесались, а Виктор Петрович смеялся.

— Терпите, ребята. Берите пример с деревенских.

Одно за другим проплывали старинные приенисейские села: Анциферово, Остяцкая, Колмогорово, Назимово, Ворогово. Вскоре миновали мы и Подкаменные Тунгуски: и селение, и знаменитый правый приток Енисея.

\* \* \*

Капитаном нашего теплохода был Николай Андреевич Драган, моложавый, стройный мужчина, в чертах которого промелькивало что-то кавказское. Однако к Кавказу он не имел ни малейшего отношения, был коренным сибиряком и, несмотря на свою моложавость, имел стаж работы на линии Красноярск — Диксон без малого четверть века.

Серьезный, спокойный. Голоса никогда не повысит, не скажет грубого слова. На трудных речных участках, особенно ночью ведет теплоход только сам.

Виктор Петрович с ним сразу же подружился, и нередко их можно было видеть вдвоем. Мы их так и называли между собою — два капитана.

Вообще вся команда на этом теплоходе была подобрана что надо, вся под стать капитану. Деловая, ровная, доброжелательная. До сих пор, хоть и прошло почти двадцать лет, хорошо помню молодого первого помощника капитана Владимира Васильевича Шуткова или просто Володю, как мы называли его, всегда отзывчивого, готового объяснять что-то непонятное нам хоть часами, смешливого моториста Борю, родившегося на Нижней Тунгуске и влюбленного в север, юную и симпатичную повариху Нину, к которой мы шли в столовую как на праздник, и не только потому, что она была красива и гостеприим-

на, но еще и потому, что умела исключительно готовить не только стерляжку уху, но и обыкновенную пшеничную кашу.

Команда нас приняла и даже поставила на совместное пищевое довольствие, что обходилось каждому из нас всего по одному рублю в сутки. Да и немудрено, если рыбаки тогда сами — как, интересно, сейчас? — подплывали на моторках к нашему теплоходу и продавали живую красную рыбу по полтора рубля килограмм. Бытовые условия у нас тоже создались очень хорошие — в команде был недокомплект, на теплоходе пустовало несколько кают, и их любезно передали в наше распоряжение.

Мы частенько собирались в рулевой рубке, хотя для такого теплохода, как «Дмитров», слово рубка не совсем подходящее. Это было просторнейшее светлое помещение с приборами и локаторной установкой, где не было даже привычного по кинофильмам штурвального колеса, которое заменял какой-то куценький рычажок. Так вот, мы частенько собирались в рубке и любовались Енисеем, вели разговоры. К нам нередко присоединялся капитан, кто-нибудь еще, свободный от вахты, вспоминали интересные случаи из своей флотской практики, благо, было что вспомнить, особенно капитану.

Равнинные берега нет-нет да и вновь сменялись гористыми, скальными.

Как-то среди бела дня Николай Андреевич самолично встал за штурвал, и мы насторожились, не сомневаясь, что ожидается что-то неординарное. Так и было. Крутые берега стали быстро сужаться, течение превратилось едва ли не в шумящий поток, нас подхватила его мощная сила и понесла. Всеми жилками ощущалась под ногами, под теплоходом живая, норовистая сила.

Капитан был напряжен, серьезен, немногословен.

Но объяснил:

— Проходим Осиновские щеки или Осиновский коридор. Течение в этом месте до пятнадцати километров в час.

— Да-а, — как бы про себя проговорил Виктор Петрович, — На таком тысячесильном теплоходе, как наш, хоть и с грузом, чего не ходить и по порогам и по щекам! А вот помню, как везли нас в Игарку на «Яне Рудзутаке» — была такая печально знаменитая посудинка на Енисее в тридцатые годы — пришлось потрястись! Хорошо, что основной «контингент» везли в трюме, сильно не засмот-



ришься, а то бы... Как подхватило в этом месте вшивенький колесный пароходишко, как поперло прямо на скалы! А он, бедненький, будто скорлупа, боком, боком, шлепает плицами, а от его шлепанья только брызги да пена...

В это мгновение и нашу «сцепку» начало заносить бортом к берегу, потому что Енисей здесь забирал круто вправо. Однако Николай Андреевич быстро выправил положение, чуть развернув теплоход.

— Глядите внимательно! — предупредил Виктор Петрович, показывая вперед.

Перед нами высились два великолепнейших небольших островка, по форме чем-то напоминающих остроносые лодочки. На макушках их красовались темно-зеленые лиственницы и золотистые сосны, а по окаему береговые кручи покрывало кудрявое чернолесье. Стрежень с размаху бился о камень — и невозможно было оторвать взгляда от всей этой дико-сказочной прелести.

— Кораблик и Барочка! — объявил взволнованно Виктор Петрович.

— Что — Кораблик и Барочка? — не поняли мы.

— Острова называются так.

Капитан улыбнулся.

— Помните, значит?

— Как же не помнить, дорогой мой, как же не помнить!.. — скороговоркой ответил Виктор Петрович, думая о чем-то своем.

А вечером в столовой — она же и «красный уголок» — состоялась, так сказать, официальная встреча команды с писателями. Собственно, если уж по большому счету, то это была встреча с Астафьевым, потому что все вопросы в основном адресовались ему, и весь разговор вертелся вокруг его имени и его книг.

\* \* \*

К Туруханску мы подошли в два часа пополуночи, но вокруг было светло, будто в легкие, зыбкие сумерки. В эту пору на здешних широтах было царство белых ночей.

Капитан приказал спустить шлюпку, и после сердечного прощания с бодрствующей частью команды мы были доставлены на берег, где тут же устроились в деревянную одноэтажную гостиницу, густо наполненную злыми приполярными комарами.

Что больше всего запомнилось мне из того посещения Туруханска?

Прежде всего, прорва бездомных собак у гостиницы, у магазинов, просто на улицах. Собаки были безмолвны, ласковы и доверчивы. Их можно было трепать за уши, шлепать по бокам и спине, их можно было сколько угодно заставлять прыгать, чтобы лизнуть поднятую ладонь. У меня сохранилась фотография Астафьева с громадным туруханским псом, который на зависть целой своре дворняжек и лаек помельче панибратски упирается ему лапами в грудь.

На правах «старого северянина» Виктор Петрович давал пояснения с характерной астафьевской ворчливинкой в голосе:

— О неблагодарность людская! Это только вот летом собаки голодны и бездомны. Зимой им всем найдут дело — какую на промысел, какую в упряжку. И попробуйте потом к любой из них где-нибудь в тайге подойти, если не будет рядом хозяина!

Еще запомнилась поездка на лодке по Нижней Тунгуске, синяя вода, мгновенно обжегшая мою руку своей стынью, когда я опустил руку за борт, высоченные колонны белого известняка, нависшего прямо над головою, и хрустальная чистота упругого воздуха.

Покосы запомнились.

Знойные солнечные луговины, благоухающие испарениями сочных трав и радужных переливов цветов, косилки, снующие со стрекотом взад и вперед...

Надо сказать, что местные власти не избалованны особым вниманием гостей — Туруханск не чета Игарке или Дудинке, — встретили нас исключительно тепло и делали все возможное, чтобы показать в полной мере экзотику края. Самым экзотичным здесь, возле полярного круга, были покосы. Оказывается, туруханские травы — наивитаминнейшие не только в Союзе, но едва ли не в мире, и молоко, и масло, полученные от коровок, вскормленных этими травами и сеном из них, обладают неопенимыми целебными свойствами. Жаль только, объяснили нам, что косят здесь траву только на вывоз да и выкашивают, может, всего одну тысячную из того, что имеется, потому что своих коровок в Туруханске не держат. Давно уже исключили их из перспективного плана развития края. А когда-то держали! Когда-то, говорят, даже легендарная Мангазея пила местное свежее молочко, а не консервированную прогорклую сгущенку.

— Туды-т твою мать! — ругался Астафьев. — И чего

только не натворили наши доблестные преобразователи мира!

В один из дней мы втроем — Виктор Петрович, Городецкий и я — поехали на лодке в соседний поселочек к читательнице Астафьева, о которой он много говорил еще в Красноярске и, кажется, даже в Казачинском, что вот де живет на севере старая, много испытавшая женщина, читает его книги и пишет рассудительные, умные письма.

Встретила нас скромная, неприметная северянка спокойно, без всяких охов и ахов, так характерных для современных горожан, особенно москвичей. Но просидели мы у ней в ее вдовьем домишке на берегу Енисея за разговорами целую ночь! И разговоры то были обстоятельные, несуетливые, очень нужные и полезные не столько, может быть, Виктору Петровичу и той женщине, сколько нам с Городецким, тогда еще зеленым, начинающим литераторам.

Вот все единодушно говорят о глубокой народности творчества Астафьева, его писательского характера, а в чем они заключаются, в чем выражаются? Тогда, в ту ночь в деревенской избе, мне пришла в голову мысль, что народность вовсе не в таланте создавать эпохальные сцены, не в способности манипулировать толпами, а в умении вот так вот на равных разговаривать с простой женщиной из глуши на протяжении многих часов и понимать ее и самому быть понятым. И еще в памяти и в обязательности. В той памяти, которая не дает забывать простого человека, раскрывшего когда-то перед тобой свою душу, в той обязательности и совестливости, которые не дают тебе права пройти мимо этого человека, если ты волей судьбы оказался поблизости.

На визите к астафьевской читательнице, пожалуй, и кончилась наша совместная туруханская эпопея, потому что на завтра мы с вологодцами и Ермаковым улетали «на материк», а Виктор Петрович с Городецким оставались еще порыбачить да, может быть, если удастся, наведаться в Игарку.

Позднее я найду отголоски этой поездки и в «Затесах», и в других вещах Астафьева, и мне, как и после поездки на Казачинские пороги и в Енисейск, будет очень приятно сознавать, что я был очевидцем тех встреч и событий. И еще мне будет приятно оттого, что та поездка и для Виктора Петровича была неповторимой, особенной, потому что оказалась первой после долгой разлуки с Се-

вером, с Родиной. Впоследствии будут постоянные визиты к полярному кругу, будет фильм «И прошлое кажется сном», и много чего будет. Но первое — это первое.

ИЗ ПИСЕМ В ТОМСК  
1976—1980 гг.

«Дорогой Николаша!

Я обретаюсь в деревне Быковке, на Урале, где у меня осталась избушка. Уж очень разогнался в работе и сделалось в городе тяжело быть, вот я и рванул сюда. Записался в доску! Давно я так сильно и столько не работал. Но заболела голова в затылке очень сильно, и все полопалось во рту: десны, небо, — а это верный признак, что начала сдавать контуженная голова, и забарахлило сердце. И немудрено, я в отдельные дни писал до 50 страниц. Рука, как у лесоруба, уставала.

Сегодня сделал перерыв и пошел на речку. Поймал первых в этом году 4-х харюзков, а потом ходил за почтой в соседнюю деревню. Переслали мне из дому кучу поздравлений и писем. Среди них — и твое письмо.

Здесь я пробуду до начала июня и потом домой, а июня 20-го думаю быть в Красноярске, и очень, очень хотел бы, чтобы и ты подъехал. Много писать не могу, свету здесь нет, уже стемнело, а я утром рано еду в Пермь, откуда, объединившись со своей женой, едем в Чусовой...

У меня, Коля, из писанины всей вырисовывается вторая часть «Последнего поклона». Вот как — сам не ожидал.

Поклон Тамаре и Лене. Обнимаю и целую.

*Ваш Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Я на Украине, угодил в больницу, откуда и пишу тебе. Сегодня жена переслала мне письма, в том числе и твое. В больнице уже полмесяца и еще пролежу дней 10—15.

Приехал я сначала в Киев с семейством. Дети мои и жена «дывылысь» этим замечательным городом, я выслушивал всевозможные советы по доделке сценария. Потом семью отослал домой, а сам с режиссером отправился в село Соколец на реку Буг, где и засел работать, надеясь потом поездить по местам боев, посмотреть и отдохнуть,

но где-то попал на сквозняк, и недолеченная пневмония свалила меня. Я еще с зимы чувствовал себя плохо. Вологодские бестолочи не долечили меня зимой. Сейчас температуры нет, я уже хожу и даже пишу сидя, а то пластом лежал — дышать было нечем.

Вспоминаю, как красивый сон, Нижнюю Тунгуску, где хоть и съедали насмерть комары, я все же поймал 10 сигов (двух хороших, килограмма на полтора) и штук пятнадцать средненьких хариусов. Спиннинг даже не вынимал из чехла — такой был комар жуткий. Он-то и выгнал нас с берега — бежали с попутным катером, а улетали самолетом и летали долго, непогода гоняла, а потом еще пожил в родном селе один, отдыхивался... Главное, вывез я рассказ с Нижней Тунгуски под названием «Сон о белых горах», и весь он уже сложился, сесть бы да писать, но «голова не пускает». Рассказ этот войдет в новую повесть «Царь-рыба», которая стоит из-за болезни. И все стоит, только дни бегут и здоровье утекает. Поставили мне диагноз уже — хроническая пневмония. Плохой диагноз — я знаю. Это значит, что все время жди, что свалишься от простуды, сквозняка и лишний раз на рыбалку уже не съездишь, а без нее да без природы какая жизнь?

Ну ладно, кто про что, а шивый все про баню. Привет Володе Кольхалову, Сереже Заплавному, Эдуарду Владимировичу Бурмакину и всем, всем, всем.

*Твой Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Николаша!

Пишу тебе из глухой вологодской деревушки, где сегодня на болоте потерялась старуха — ходили по клюкву, народу много было, а она как в воду канула. Весь вечер искали — затемняло, деревенька в тень погрузилась, а старухи нет, и спичек у нее нет. Жива ли? Такая жадная старушенция — все ей хапнуть хочется, вот и хапнула клюковки! Не жадная, конечно, а труженица-страдалица. Слушал я тут ее жизнь, так ой-е-ей... Завтра искать будем. Сейчас время половина десятого, а кажется, ночь. Осень тут нынче какая-то небывалая — всего много: грибов, ягод, рыбка ловится...

Но я-то, приключенец, лишь недавно из дома вырвался. Поехал тут на озеро, где база строителей, чтоб поработать. Дома не дают, телефон гремит без умолку, и на-

род, народ без конца, и я от работы совсем оторвался с юбилеями-то и со всякой штукой, и «Царь-рыба» моя начала прокисать. Вот я на озере ломался да разламывался и уж разгон начал брать, как бац! — опрокинул кастрюлю с огня и обварил ногу жирным супом. Поначалу-то мне смефуечками это показалось и я трое суток прокантовался еще на базе, а потом все, шабаш — полтора месяца лежал в бинтах, и репа кверху. Озлился, раскис, работать не мог, но потом все же, чтобы не выйти совсем из формы, стал писать короткие рассказы-пустячки.

Вот сегодня как раз отделявал один и после начал тебе письмо. Рассказы легонькие, непринужденные, давно я не писал так вот, «без морали», просто для души и собственного удовольствия. Сделал восемь штук.

Днями поеду в Москву на съезд книголюбов и после уж капитально засяду за «Царь-рыбу», а также за военную вещь. Поездка в Польшу по причине ноги сорвалась. Да и Бог с ней, может, на будущий год съезжу. За орешки спасибо, сегодня грыз их и работал, но себя не затрудняй — ты ведь знаешь, как я не люблю загружать людей и отнимать их время.

Теперь о твоей книге. В Иркутске на семинаре была Гнездилова Ирина Михайловна и зав. отделом Яхонтова Зоя Николаевна, женщины-добрячки и к нашему брату с душой относящиеся, мы говорили о твоей молодоговардейской книге, и Ирина Михайловна попросила: если твоя новая повесть получится, написать предисловие ко всей книге, — я согласился. Так что дело за небольшим, чтоб одобрили твою повесть.

В Красноярске я видел отредактированную твою рукопись — мне, Коля, не понравилось, что ты согласился дать переименовать «Глухомань» — это первая у тебя, по существу, хорошо названная вещь и вдруг какая-то безликая и немая замена! Не будь ты уж таким уступчивым и робким, оскаливайся хоть иногда.

Как тебе моя книжка, красноярская? Правда, недурно издана? Однако, ошибок в ней, ошибок! Читают корректоры безобразно, а сам я из-за спешки издательства верстку даже не видел. Но дорого яичко ко Христову дню!

Решил я, Коля, обосноваться капитально — купить машину и дом в деревне, с этой целью вот и сюда прикатил. Вроде бы намечается выпуск моего собрания сочинений в 5-ти томах, но это будет не скоро, года через четы-

ре, и гадать еще рано, однако уж само предложение было приятно. Авось и доживем до этих хороших дней! Много дала мне литература радости, гораздо больше, чем горестей, но и без них не обойдешься — из-за последних глав «Поклона» шибко я поцапался с коллегами из «Нашего современника».

Вот пока и все вроде бы.

Всем томичам приветы, Тамаре, Лене персонально. Обнимаю крепко, желаю хорошей зимовки и работы спорой.

*Твой Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Что же это ты стал так часто и тяжело болеть? Молодой ведь еще. Надо тебе всерьез заняться своим здоровьем. Писателю современному нужно много здоровья, чтобы работать и выносить все, что вокруг и внутри литературы творится.

Тебе надо бы съездить в Кисловодск. Костя Воробьев, прекрасный писатель и многострадальный человек, которому недавно раздолбили голову в больнице (все остальное раздолблено в войну), говорил мне как-то, что Кисловодск творит чудеса, а ему можно верить, — сердце его изношено: два раза сидел в смертных камерах, и в немецкой, и в нашей, а держался и даже писал до последнего времени много — «Убиты под Москвой» «Крик», «Вот пришел великан», «Почем в Ракитном радости» и т. д.

Я же настолько вышел из колеи, что никак не могу начать серьезно работать, народ одолевает, звонки, а тут еще покупка избы — купил ее в хорошем месте за 650 рублей, строители составили смету на ремонт и вышло на 2500 рублей — это ж, если учесть наш еще труд и расходы, получается почти стоимость дачи Володи Колыхалова, а есть она всего лишь обыкновенная изба. Да и денег у меня таких дурных нет. Придется как-то выкручиваться, искать другие возможности отремонтировать дом.

А пока буквально заставляю себя сесть за стол и так наловчился (опыт!), что просижу за ним день, ничего не делая. А меня уж поджимает срок сдачи книги, в которой «козырной» вещью должна быть «Царь-рыба» — ее и так уж по моей просьбе перенесли с 75-го на 76-й год. Такие

вот дела. Мне и раньше после больших перерывов приходилось большим усилием преодолевать страшное сопротивление внутренней работе, думаю, преодолею и сейчас, но когда? Взять бы только разгон на чем-нибудь...

Коля! А ведь, наверное, не поздно вернуть название красноярской книжке? Или лучше назвать так книгу в «Молодой гвардии»? Я думаю, лучше. Название хорошее, и фига в нос провинциальным издателям. Ну, обнимаю тебя, не болей. Шлю горькое и поучительное последнее интервью Шукшина — почитайте все. Полезно!

*Ваш Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Получил твоё письмо и поздравление — спасибо! Я уж думал, грешен, что ты на меня рассердился, напел кто-нибудь чего-нибудь, а это у писак часто водится, знаю, что парень ты ранимый, ну, думаю, ещё одного дорогого мне человека потерял, а они с возрастом, как листья осенние, облетают, становятся все больше и больше нетерпимы друг к другу.

Добиваю «Царь-рыбу», повесть самую у меня большую, аж на 20 листов! Конечно, она меня измотала — год безвылазно в деревне, работал почти ежедневно, и в декабре, едучи на съезд, наверное, увезу готовую рукопись в журнал, а будут ли её печатать — не уверен. Ты же знаешь, что я ничего не писал из того, что видел и знал на родной земле в наше время. Накопилось! Выложил! Высказал! Самому порой страшно, и все не в жилу с тем, что бается и пишется о Сибири. Ну да Бог с ним, было б написано.

Писал и ещё кое-что, но последнее время так уж мало осталось сил, что и на письма не отвлекался, только на деловые когда. Дома у меня не все ладно, поэтому в деревне долгое время жил и живу один, но завтра выезжаю в город, нужны словари, справочники, атласы, карты — все проверять, сверять и т. д., да и надоело печи топить, варить еду, обихаживать избу.

Андрейка, закончив университет, нажил болезнь желудка, лежал долго в больнице, сейчас работает по распределению в Вологодском музее, зарплата ему 75 руб. Иринка с мужем живут отдельно, получили однокомнатную квартирку. Живут вроде бы ничего, она зимой сбби-



рается рожать. Работает же она в заводской многотиражке, а муж ее, Генка, на грейдере строит дороги. Привез я отца из Астрахани. Теперь вот все на Марью навешаны.

Дел накопилось — тьма. Надо в декабре сдать книгу новую и большую в «Молодую гвардию», два театра — им. Ермоловой в Москве и наш, Вологодский, изготовились ставить давно написанную мной пьесу и ждут, как я высвобожусь, чтобы довершить работу со мной совместно. Тем временем подперла книга публицистики, запланированная в издательстве «Современник», и сборник рассказов в «Детской литературе». Я надеялся «Рыбу-то изловить еще в прошлом году, ан человек предполагает, а Он, Господь-то, располагает...

А что касаясь отношений в вашей писательской организации, то могу тебя успокоить лишь одним: нигде, и у нас тоже, нет идеальных отношений. Люди вообще сейчас живут плохо друг с дружкой, а «творцы» и всегда жили по-волчьи.

Я, Коля, очень тоскую здесь, глушу лишь работой грызть сердешную, все мне здесь чужое, но и Родина-то ведь давно уже живет лишь в моем воображении той, которой я ее знал, а не съездил нынче и заедает меня тоска. Охота и с тобой повидаться. Может, ты хоть на съезд приедешь? Тогда сходим в «Молодую гвардию», там ко мне хорошо относятся все добрые, умные, на глазах состарившиеся бабушки.

Ну, Коля, пишу-то я наработавшись, рука устала, может, чего и забыл написать, прости, а я обнимаю тебя. Клянюсь Тамаре, приветствую Лену — даст Бог здоровья, увидимся, мне очень хочется побывать в Колпашеве, который почему-то больше всех обских городов в душу запал.

*Целую тебя — твой Виктор Петрович*

#### ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОВСЯНКЕ

Было раннее утро, в доме все еще спали, когда раздался звонок. Я пошел открывать, ворча про себя: «Кого бы в такую рань нелегкая принесла?»

У порога стоял Виктор Петрович Астафьев.

Первые мгновения я не мог ничего понять: уж не приснилось ли?

Нет, не приснилось. Усталый, с бледноватым лицом, Виктор Петрович сказал, что он только что с самолета.

— Почему же не дали телеграмму? — вскричал я. — Почему не захотели, чтобы вас встретили?

— Так получилось.

— А если бы меня не было дома? — суетился я, помогая ему снять пальто. — А если бы вы сейчас вообще у нас никого не застали?

— Пошел бы к Галине, в Овсянку бы двинул.

Я еще что-то говорил, упрекал, но по мне уже разливалась приятная теплота и не менее приятное самодовольство: не о сестре Галине и не об Овсянке он все же сперва подумал, а обо мне!

Соскочила с постели жена, поднялась гостившая у меня мать, по-быстрому собрали на стол. Виктор Петрович изъявил желание пропустить рюмочку, ежели, конечно, такая имеется. Рюмочки не было. Слава Богу, выручили соседи — удружили «взаимообразно» бутылочку какой-то буро-сладкой марочной дряни.

— Ну, как ты тут? — спросил Виктор Петрович, закусывая винегретом сомнительный напиток.

— Да... по-разному... всяко... — пожал я плечами.

Уже год как я жил в Красноярске, уже год как «руководил» писательской организацией, одновременно редактируя альманах «Енисей», и мне было очень несладко. Не потому, что большая нагрузка. Нет. Все дело в том, что писательская организация переживала тогда свою «митинговую перестройку» и я в этой «перестройке» по врожденной своей мягкотелости часто не знал, к какому берегу притулиться, и делал глупость за глупостью. Виктор Петрович предупреждал меня еще раньше, звоня из Вологды в Томск, — это после того, как я написал ему, что получил приглашение в Красноярск: «А ты там в Атаманово, братец, не попадешь?» — В Атаманово располагалась знаменитая на весь край психбольница...

— Ну ладно, ладно, ладно! — глянув искоса на меня, прервал сейчас этот разговор Виктор Петрович. — Давай о другом.

Начали о другом. Оказалось, что Астафьев так неожиданно приехал в Красноярск, во-первых, потому что за зиму очень соскучился по родине, во-вторых, потому что на месте нужно было срочно решить какие-то дела с местным издательством, и в-третьих, потому что надумал он в окрестностях Красноярска построить или купить дом с усадьбой и необходимо было обговорить эту идею с влас-

тями. Пробыть в городе Виктор Петрович рассчитывал не меньше недели.

На следующий день жена с матерью уехали в Новосибирск, куда у них уже давно были взяты билеты, и мы остались одни.

Не помню уже, как мы перебивались с едой, но вот то, что одну ночь нам не пришлось сомкнуть глаз, помню отлично.

В те времена по весне и по осени в Красноярске, в окрестностях колхозного рынка проводились помпезные ярмарки, а мой дом как раз стоит в окрестностях этого самого колхозного рынка. Подготовка к «мероприятию» начиналась еще с полуночи, и вот около полуночи прямо под нашими окнами поставили грузовик с живыми поросятами и, кажется, тут же начали их продавать.

Визг стоял такой, что стены дрожали, не то что наши барабанные перепонки.

Я не знал, куда деваться от злости, бессилия и конфуза, а Виктор Петрович, ворочаясь, до утра повторял одно и то же короткое предложение:

— Ох, тудыт-твою мать! Ох, тудыт- твою мать! — правда, с другим, более крепким словом, следующим за междометием.

Утром мы поехали в Овсянку.

И не только потому, что нас выжили из дома злополучные поросятники. Был канун Первого мая, а в этот день, как известно, Виктор Петрович появился на свет, и он решил отгулять именины на родине.

О приезде Виктора Петровича в Красноярск в Овсянке уже знали. Знали и то, что свое село он никак не обойдет, и всюю готовились к встрече.

Застолье в этот раз было в доме у тети Августы, и гостей набралось человек около тридцати, среди которых неродственником был только я — невольно позавидуешь этакому мощному клану!

Виктор Петрович восседал в центре стола в красной, модной по ту пору рубаше — перед отъездом из Вологды сын подарил, — при галстукке, который я видел на нем первый раз. Между прочим, галстук этот перед застольем Виктор Петрович никак не мог завязать, стал просить сестру Галю, та тоже не смогла и посоветовала: «Пусть вон Коля завяжет!» — «Да что твой Коля умеет!» — комкая галстук, в сердцах бросил Виктор Петрович (не знаю по-

чему, но он всегда был убежден, что я в быту недотепа), однако я взял да и завязал: хоть в чем-то да переплюнул кумира! Он только хмыкнул, зыркнул на меня косо и ничего не сказал.

Сперва, как всегда, говорили неуклюжие короткие тосты, пили да ели, делая это чем дальше, тем с большим энтузиазмом. А потом кто-то из женщин вроде робко, вроде бы вовсе случайно затянул что-то старинное, кондовое, многие подхватили... И началось!

Сколько я ни бывал в овсянских компаниях, я никогда не переставал удивляться и восторгаться умением овсянцев петь песни. Особенно женщин, особенно теток Астафьева. Ни одно застолье не обходилось без песен, и пели так ладно, так пронзительно и душевно — не пели, играли, — что приходилось склонять голову, дабы никто не заметил влажного блеска в глазах. Все держалось на какой-то интуиции, на внутреннем чувстве прекрасного, и вовсе не казалось невероятным, что эти простые деревенские люди прекрасно обходятся без дирижера и каждый отлично знает, когда вступить, когда подтянуть, когда оборвать свой голос даже на взлете. Песни все были протяжные, неизвестные, давние, извлеченные откуда-то из глубин памяти, и почти все они были песнями-беседами, песнями-монологами, рассказывающими о чьей-то, часто горькой, судьбе.

Я всегда был готов слушать эти песни хоть часами, хоть сутками, и вот теперь напрягся, ужаснулся весь и сидел не шелохнувшись, наслаждаясь переживал за кого-то, мучаясь чьей-то болью. Но и посматривал на поющих.

Тетя Аня — жена дяди Коли, Галинина мать, — выводила слова самозабвенно и отрешенно, зажмурясь, вся как бы уйдя куда-то из реального мира, тетя же Апронья исполняла свою «партию» задумчиво, строго, без всяких внешних эмоций, а шустрая, бойкая тетя Августа и в песне была непоседливой: то обнимала соседку, то гладила ладошкой скатерку, то вертела головой, отвлекаясь на что-то еще.

Виктор Петрович пел тоже. Он любит петь и поет довольно неплохо, но на этот раз чувствовалось, что многих слов он просто не знает или подзабыл, и потому сидел и просто подтягивал, слушая.

Перепели, наверно, целую дюжину песен, прежде чем снова подняли рюмки во здравие.

А потом, уже по сумеркам, всей компанией ходили на

Енисей, просто по улице, завлекая к себе встречных, шутили, смеялись. По случаю праздника во всех концах села слышались песни, веселые взвизги гармошек, топотание отчаянных плясунов. Вообще в Овсянке умеют гулять. С выдумкой, с причудами разными. Помню, как-то гостевал я там на Пасху, так в полночь едва не ошалел от ружейной стрельбы. Это у овсянцев обычай такой — палить на Пасху из двухстволок в черное небо...

Утром мы с Виктором Петровичем пошли в гору, в окрестный смешанный лес.

С гор отлично просматривались и Овсянка, и блистающий в ранних лучах Енисей, и противоположный утесистый берег. Было тихо и хорошо. И оттаивающая земля, и не зазеленевшие еще деревья, и даже скалы источали неповторимый запах весеннего пробуждения.

Виктор Петрович вдруг произнес, обращаясь ко мне:

— Правильно ты сделал, что приехал в Красноярск. Что там у вас хорошего в Томске — болота да кочки!

Я ничего не ответил. Дело было совсем не в болотах.

#### «КУДА НЕ ЗАЛЕТАЮТ ЧАЙКИ»

Теперь уж не помню, как и с чего это началось, но только в один распрекрасный день, приехав на речку Ману, я не узнал этой Маны. По всему берегу были понатыканы «юпитеры», топорщились какие-то деревянные строения, тянулись кабели, сновали люди, а на самой речке, притупившись к берегу, стояли диковинный плот с не менее диковинной на нем избушкой, возле которой суетилось несколько человек в одеждах сплавщиков.

— Внимание! Скоро вы там, наконец? — орал кто-то через усилитель настолько сердито и громко, что вовсе не пугливые сибирские воробьи горохом сыпались в траву с окрестных деревьев.

Я уже знал, что известный режиссер Булат Мансуров снимает здесь фильм «Куда не залетают чайки» по повести Астафьева «Перевал», собственно, ради этих съемок сейчас сюда и приехал — посмотреть, а заодно и повидаться с Виктором Петровичем, который уже неделю как прибыл из Вологды и, по словам овсянских родственников, с утра до вечера был с киногруппой, — но меня к съемочной площадке даже на пушечный выстрел не подпустили.

Какая-то молоденькая симпатичная женщина с силь-

ной косиной в глазах сказала, что Астафьева сегодня здесь нет и не будет, и бесцеремонно выдворила меня за пределы территории, обозначенной колышками с узловатой старой веревкой.

Я ужасно обиделся. И хоть никогда в жизни не видел, как снимаются фильмы, — да и кто уж из простых смертных шибко-то видел? — и прямо изнывал от желания хоть мельком взглянуть, решил, что ноги моей здесь больше не будет даже в том случае, если меня станут приглашать со слезами в глазах. А то, что приглашать будут — ну пусть и не со слезами, но будут, — я даже не сомневался.

Смешно, но так оно и вышло позднее. Лишь с разницей в том, что у меня совсем ненадолго хватило характера, чтобы удержаться на взятой позиции.

Виктор Петрович в ту пору переехал из Овсянки в поселок Усть-Мана, поселившись у своей дальней родственницы Антонины Иннокентьевны Вычужаниной и ее мужа Карпа Авраамовича, и позвал меня как-то к себе. Я приехал раз, потом другой, а потом, близко познакомившись с добрыми хозяевами, вообще зачастил в гостеприимную избу, где всегда водилось в изобилии домашнее сухое вино и где всегда сутились какие-то гости.

Однажды я застал в Усть-Мане горластую компанию человек в пятнадцать, если не больше. Это были киношники. Шел затяжной нудный дождь, погода несъемотная, и киношники пожаловали почти всем скопом во главе с Булатом и Павлом Петровичем Кадочниковым на астафьевский огонек из Дивногорска, где жили в местной гостинице.

Компания была уже в хорошем подпитии. Хозяинничал за столом сам Астафьев. Смеялся, сыпал шутками и подковырками в адрес то того, то другого, часто не очень приятными.

Кстати, сколько доводилось мне бывать в компаниях с Виктором Петровичем, всегда получалось так, что он сразу становился не то что тамадой, но самим хозяином застолья, даже в том случае, если был приглашен. И всегда получалось как-то так, что за столом выступал только Виктор Петрович, а остальные почтительно слушали или вставляли иногда восторженное словцо, но опять же только о нем, о книгах его. В противном случае могло произойти непредсказуемое, до откровенной жестокости. Помню, как-то Виктор Петрович до того распалился по поводу непочтительного замечания в свой адрес одного молодого чело-

века, что в самый разгар гулянья с грохотом покинул компанию, чем ее и расстроил в мгновение.

На этот раз говорили все. И Виктор Петрович был лоялен и снисходителен как никогда. Даже несмотря на то, что рядом сидел Павел Петрович Кадочников, с которым, как я заметил позднее, у них — «двух медведей, оказавшихся в одной берлоге» — не всегда все было гладко.

— О, Николаша! Здорово! — приветствовал меня Виктор Петрович и тут же начал знакомить со всеми.

После нескольких тостов и обильной деревенской закуски, на которую особенно налегали киношники из тех, что помоложе, вышли на улицу подышать свежим воздухом, благо дождь перестал, и я начал подписывать всем присутствующим свою книжку. Книжка только что вышла в местном издательстве, и я постоянно таскал в сумке по полтора-два десятка экземпляров на случай.

Дошла очередь до той женщины с косиной — не то звукооператора, не то осветителя или кого-то еще, — и я спяну встал в позу.

— А вам я не подпишу!

«А мне и наплевать!» — как я сейчас думаю, сказать бы той женщине. Да и плюнуть при этом. Однако она вспыхнула и ошарашенно-испуганно прошептала:

— Это почему?

— Потому что вы турнули меня от съемочной площадки, как какого-нибудь... распоследнего...

— Но простите... Я же не знала...

Виктор Петрович закатывался. То были времена, когда он все еще относился ко мне как к мальчику, любимому своему «выкормышу», и многое мне прощал.

Короче, после этого случая, а особенно после сближения с Булатом Мансуровым я мог приезжать на съемки в любое время и беспрепятственно.

\* \* \*

Насмотрелся я на эту адову работуху вволю. Особенно меня поразило то, с какой методической, упрямой маньячностью производятся многочисленные повторы репетиций и съемок одного и того же. Раз за разом, дубль за дублем... Не нервы, а стальные канаты надо иметь, да еще добрый фанатизм, чтобы не то что спокойно, а вдохновенно сутками двигаться как бы по кругу.

Однажды три дня подряд я наблюдал съемку малень-

кой сценки: герои фильма — сплавщики — на плоту собирались обедать: ставили на свой грубый стол чайник, приносили буханку хлеба, что-то еще. Так вот, на третий день я не выдержал и потрогал эту буханку — она стала каменной. А киношникам хоть бы что. Даже пожилому, седовласому Павлу Петровичу Кадочникову.

Как-то долго готовили к съемкам сцену с видением мальчиком Витей давно погибшей матери, которую играла Любовь Полехина. Сцена по замыслу режиссера, да и по логике, должна была быть романтической, сказочной — ведь мальчик почти не помнил маму свою, вернее, помнил, но не как реальное земное существо, а как нечто божественное.

С вечера выбрали в лесу прекрасную поляну с огненно желтеющими жарками, для «колорита» пересадили на нее еще довольно много жарков, приготовили все как положено. Туманно-лазурным утром по этой поляне и должна была пройти, даже не пройти, а как бы проплыть в длинном платье и, кажется, с длинной косой Витина мама — Люба Полехина.

И вот когда ранним утром съемочная группа с аппаратурой и со всем необходимым прибыла на поляну, поляна была изувечена какими-то местными идиотами. Прекрасно зная о том, что место приготовлено для съемок кинофильма, они повырывали все до единого цветочка, поизрыли землю, попримяли траву. Для чего? А просто ради милого озорства!

Пришлось начинать все сначала.

А это опять изнурительная работа. И время, время.

Но фильм был снят. И снят довольно удачно. И быстро — почти в одно лето.

Все лето я видел, как волновался Виктор Петрович. Кажется, «Куда не залетают чайки» был чуть ли не первым добротным фильмом по произведению Астафьева. Да к тому же он и снимался на его родине: на Мане, на Енисее, — как тут было не волноваться?

Не всегда все нравилось Виктору Петровичу. Были какие-то «производственные столкновения» с Булатом Мансуровым, Но это все мелочи. В основном же, чувствовалось, он был рад и горд и почти во всех случаях к отснятому материалу относился с восторгом.

Я этих восторгов порою не понимал.

Просмотры проходили в маленьком кинозальчике не



то местной киностудии хроники, не то местного телевидения — не помню сейчас, — и аппаратура там была приспособлена под обычную пленку. А Мансуровский фильм делался широкоформатным. Может, я объясняю что-то не так и пусть специалисты простят меня — дилетанта — за это, но факт тот, что при просмотре на экране все получалось каким-то деформированно-сжатым: вытянутые деревья, вытянутые дома, вытянутые фигуры и лица. Притом многие эпизоды — если не все — были еще не озвучены — какие уж тут, извините, восторги?

Но... я видел одно, а Виктор Петрович внутренним зрением видел другое, свое. И потому не единожды повторял:

— Ах, как тонко схвачено! Ах, как здорово получилось!

\* \* \*

Где-то в начале зимы в Красноярск приехала небольшая группа киноработников, привезя с собой для показа уже готовый фильм. Из актеров были только Павел Петрович Кадочников и совсем короткое время — Любовь Полехина.

Показывали фильм на Усть-Мане, в Овсянке, в Дивногорске и один или два раза в самом Красноярске. Ни Булат Мансуров, ни Виктор Петрович с фильмом не приезжали. Жаль, конечно. Но в этот раз я очень близко сошелся с Павлом Петровичем Кадочниковым.

Все началось, по-моему, с одного замечания, сделанного мной даже неожиданно для себя. После просмотра фильма в Дивногорске мы обедали в ресторане и в который уж раз под водочку перемалывали косточки фильму, делая все новые и новые в этом фильме открытия.

— А вы знаете, — вдруг сказал я. — В самом конце показан Исусик (есть такой весьма гнусный персонаж, как в астафьевской повести, так и в фильме)... Так вот, понимаете... Он ни слова не говорит, не делает ни одного движения, одни глаза... Но, честное слово, по одним этим глазам видно, как после всех передрыг перерождается этот малый!

Никто на мое «открытие», кажется, не обратил внимания.

Но, Павел Петрович вдруг кашлянул еле слышно. Отложил вилку. И опять же тихо, с нескрываемым волнением сказал:

— Коля очень точно подметил. Между прочим, самый первый и пока что единственный, — и повлажневшими глазами посмотрел на меня.

Исусика в фильме играл его родной сын, а я и не знал...

Теперь на просмотрах мы всегда сидели с Павлом Петровичем рядом. И каждый раз, когда фильм доходил до одного довольно смешного места, Павел Петрович сокрушался и чуть не стонал.

А место было такое. Наутро после доброй сплавщицкой выпивки герой Кадочникова — пожилой человек, уже старичок, — очень страдает с похмелья, и мальчишка Витька подает ему специально заначенную для него еще с вечера похмелку. Но похмелка эта — в банке из-под червей. И вот, прежде чем поправить свое здоровье из этой банки, Павел Петрович, то есть старик, кажется, крестится и произносит какие-то там бедово-хлестские астафьевские слова.

Но... Именно в этом месте кончается часть, начинается новая и при переходе и кусок эпизода, и кусок монолога — впрочем, самые малюхонькие, постороннему незаметные вовсе, — как бы сглатываются, как бы смахиваются кем-то с экрана.

— Ну надо же было угодить на самый конец части, ну надо же! — не переставал терзаться Павел Петрович, не смотря на то, что зал и так содрогался от смеха...

Однажды произошел ляпсус, который до сих пор не дает покоя и от горького вкуса которого я не могу избавиться даже спустя много лет. А все моя привычка бухать что-то, не думая. Бухну, а потом уже соображаю, что бухнул не то. Оттого сейчас частенько и помалкиваю на всяких собраниях-заседаниях.

Не то в Дивногорске, не то в Овсянке Павел Петрович попросил меня как-то спуститься с ним к берегу незамерзающего здесь Енисея, чтоб искупаться. Я уже знал, что он морж, и потому последовал за ним не только с охотой, но с интересом. Павел Петрович разделся, поплавал, потом, попросив меня загородить его плащом, передел сухие плавки, натянул брюки и вдруг без майки, прямо на голое тело стал напяливать свитер. Я сам почти никогда не ношу маек и в поступке Павла Петровича не находил ничего из рук вон выходящего, однако почему-то спросил:

— А что это вы этак?

— Да просто не ношу никогда нижнего белья да и все, — ответил Павел Петрович.

— Вот и я такой же дурак! — с радостным пафосом оповестил я.

Оповестил и тут же обомлел, — задним числом осознав, что сгородил. Слава Богу, Кадочников был человеком интеллигентным и сделал вид, что ничего не услышал. Может, и не услышал, но мне от этого, честное слово, не легче. Даже, повторяю, спустя много лет.

После одного из просмотров вновь собрались у меня дома, теперь уже в очень малом кругу: была редактор киностудии, были Павел Петрович и Любовь Полехина. Никогда раньше не знал, что Любовь Полехина не только замечательная актриса, но и удивительная исполнительница народных песен, притом песен, которых я сроду не слыживал. Обычно профессиональные актеры редко соглашаются «являть свое искусство» в компаниях. Но Любовь Полехина охотно пела весь вечер. Может, потому что ее просил сам Павел Петрович? Ведь кто бы там что ни говорил, для нее, молоденькой тогда киноактрисы, он был живую легендой. Да и не только для нее, для всех нас. А для меня — так особенно.

Самые сильные впечатления — впечатления детства. А в детстве я, как и многие люди моего поколения, был без ума от кинофильма «Подвиг разведчика». Так вот, сколько бы я ни сидел рядом с Павлом Петровичем, сколько бы мы ни разговаривали с ним, сколько бы ни вспоминал я сейчас о тех сидениях и разговорах, не могу до сих пор поверить в то, что соприкасался именно с тем самым «разведчиком». Честное слово!

Как реликвию храню крупную фотографию. На фотографии — Павел Петрович в роли астафьевского старого сплавщика. Подпись: «Коля, спасибо за все доброе, что в Вас есть. Я очень рад нашей встрече. П. Кадочников. 12.03.78 г.».

Я, кажется, отвлекся от темы. Но нет, это только лишь кажется. Рассказывая в этом маленьком этюде о Павле Петровиче, я хотел лишь подчеркнуть, что сблизился с этим замечательным человеком и актером только благодаря Виктору Петровичу Астафьеву, а в конечном итоге еще раз сказать, как много он, Виктор Петрович, для меня сделал.

Однажды договорились назавтра сходить по грибы, и я взял с собой на Усть-Ману гостившую на институтских каникулах дочь. Добрались мы до поселка уже поздно, и я все боялся, что усть-манские грибники давно ушли в лес, однако Виктор Петрович едва только встал: у него свой, непонятный мне до сих пор режим, и утром он любит поспать.

Карп Авраамович или просто, как все его вокруг звали, Карпо и двоюродный брат Астафьева — глухонемой Алеша, описанный Виктором Петровичем неоднократно в повестях и рассказах, нетерпеливо толпились в ограде, уже готовые выходить. Однако Антонина Иннокентьевна предложила всем еще раз позавтракать за компанию с Виктором Петровичем.

Виктор Петрович в это утро был в преотличнейшем настроении, можно сказать, в каком-то ударе, и за столом разговорился, а разговорившись, начал сыпать одну историю за другой. Рассказчик он отменный, юморист, каких поискать, и потому все на какое-то время забыли и про грибы, и про еду, хохоча без умолку. А моя дочь так просто соскальзывала с табуретки под стол.

Впоследствии я понял, что, рассказывая, Виктор Петрович как бы на слух апробирует свои новые, только что задуманные, но еще ненаписанные вещи. И честное слово, во всяком случае для меня лично, эти устные рассказы были в десятки раз прелестнее, чем потом, изложенные на бумаге. Объяснить это, видимо, можно так: попробуйте, например, перечитать миниатюру, услышанную когда-то из уст Геннадия Хазанова. Вы уже просто не ощутите той самобытности голоса, той неповторимой интонации, тех жестов. И что-то безвозвратно исчезнет, растает. Чтобы понять это до конца, надо самому испытать счастье хоть раз, хоть ненадолго послушать живого Астафьева.

Вот он, например, только что приехал в Красноярск прямо с какого-то выездного писательского секретариата, проходившего на Волге, на теплоходе, что шибко часто практиковалось в так называемый застойный период.

— Ну как? — спрашиваю я его.

— А ни хрена путного, — отвечает отрывисто. — Пьянка сплошная была. Один не то рязанец, не то ярославец до того допился, что шлепнулся с верхней палубы в Волгу. Багром доставали... гения.

И вот это последнее слово произносится таким тоном, с таким вроде и небрежным, и в то же время глубоким ехидством, с таким выражением астафьевских глаз и с такой непосредственной миной, что я роняю книгу и долго катаюсь по дивану, не в силах уняться.

На этот раз Виктор Петрович больше всего говорил о похождениях своего бедового папы и о характере не менее бедового одноглазого дедушки Павла, того, который впоследствии в одной из глав «Последнего поклона», в «Карасиной погибели», разъяренный непокорностью сопливого налимишки, будет кричать на все озеро, возводя руки к небу:

— В стога и в спаса! В печенки и в селезенки! В бога и в богородицу! И в деток ее, в деток! В ангелочков бееленьких, если оне там, курвы, е-э-эсть!

Веселое застольное настроение не проходило и, углубившись в лес, мы и к сбору грибов приступили как-то легко, играючи и со смехом. Виктор Петрович все подшучивал над моей дочерью, над тем, что она студентка не какого-нибудь там медицинского или педагогического института, а торгового: «У-у-у, торговый институт — это да-а-а!»

Наконец, когда девчонка нашла целую охашку опят и все заахали от восторга, он совсем «добил» ее замечанием:

— Конечно, счастье всегда подваливает только тем, кто сопричастен торговле!

— Ну, Ви-и-иктор Петрович! — взмолилась Елена.

А день стоял удивительный. Солнечный, светлый, но и не жаркий, один из тех благодатных дней предосенней поры, которую в народе зовут бабьим летом. Воздух, кажется, звенел чистотой. Березки кое-где уже схватывала круглыми пятнами желтизна. Но еще полно было поздних цветов. И Виктор Петрович, балагурия, собирал в букет эти цветы, а к грибам был совсем равнодушен.

Я уже знал, что Виктор Петрович страстный любитель цветов и совсем не грибник, и потому в отличие от Елены совершенно спокойно воспринимал его «праздность». Так же, как и Карпо, как и Алеша.

Почему-то вспомнился наш недавний летний поход с Виктором Петровичем к Шалунину быку, к тому месту, где нашли когда-то его утонувшую, унесенную стреженью мать, рассказ о том, как храпел конь, пятился и не хотел везти телегу с покойницей, и навалилась на меня непо-

нятная тягучая грусть, та, что всегда приходит после веселья и хохота. А может, грусть по совпадению навевал астафьевский яркий букет? В ту печальную прогулку у Виктора Петровича тоже была охапка цветов. А может, потому что я подспудно почувствовал скорее расставание — ведь через несколько дней Виктор Петрович снова должен был уехать в свою далекую Вологду.

Виктор Петрович тоже резко переменялся, затих. И даже тогда, когда мы, взобравшись на один из окрестных холмов, присели отдохнуть, любуясь раскинувшимся внизу поселком, Манюю, Енисеем, тоже ни слова не произнес. Сидел и как-то отрешенно смотрел на все это. Мы все тоже молчали. И лишь странноватый, совсем неразговорчивый Карпо вдруг начал рассказывать какую-то притчу мудрого царя Соломона.

#### ИЗ ПИСЕМ В КРАСНОЯРСК 1976—1980 гг.

«Дорогой Коля!

Поздравляю тебя с повестью. Сегодня ночью я ее прочел (на День Победы, так, может, это и символично будет в ее судьбе), повесть мне понравилась. В ней больше «воздуху», света и простора, чем в прежних повестях. Она написана свободно и как бы даже легко (Я-то знаю, как дается ощущение этой легкости и непринужденности!). В повести много доброго, естественного юмора, а владение юмором в письме — это наивернейший признак талантливости вещи и владения «секретами» мастерства.

Словом, молодец, дай тебе Бог здоровья!

Повесть я отправляю в «Наш современник» с просьбой прочитать ее редколлегии и решить судьбу, буде наши не захотят ее печатать, что случается довольно часто, будем ее пристраивать в «Новый мир», в «Знамя» или «Москву», а может, и в «Октябрь» — я уверен, что повесть твоя увидит свет в столице, и тебе пора печататься здесь. Заранее могу тебя предупредить, что будут сниматься излишнее пьянство и насчет заключенных — судя по тому, как истреблялся в моей «Царь-рыбе» всякий намек на заключенных, не было их у нас и нету, и хотя язык, как известно, вращается вокруг большого зуба, это мало кого касается — была бы видимость благостного порядка и благополучия, вот что сейчас главное, чем озабочены охранители чести литературы.

Ну, Коля, еще раз с удачей тебя! С прошедшим праздником Победы, с весной. Мне очень хочется быть вместе с вами, да плохому танцору... Привет Тамаре и Лене.

*Обнимаю тебя — Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Я все еще в деревне и все еще не шибко здоров, расшвелели контузию в больнице, и все тебе знакомо: плохой сон, тошнота, головные боли, аж уши выдавливает и звон-перезвон...

Я не пишу и даже очень мало читаю. Марья Семеновна привезла почту и с нею твое письмо. Вот коротенько и отписываю, ибо она сей же момент уезжает — дома ждет внук, тоже Витя, и вертись баба теперь между двумя Витями, когда и с одним-то было мороки!

Отвечаю на главное — готового у меня сейчас ничего нет, но в заделе последние четыре главы «Последнего поклона», одна довольно большая — около 80 страниц — уж более или менее. Я и поеду на Родину с целью послушать, понюхать, посмотреть да завершить «Поклон», теперь уж совсем завершить и полностью потом перейти на военную тематику. Думаю, что осенью или зимой закончу я эту работу и отдам тебе большую-то главу, очень светлую, звонкую — о деревенских играх, она так и называется «Гори, гори ясно!» — можешь объявлять на будущий год. А вообще-то выбей ставку редактора и двинь туда толкового человека, тогда тебе сделается легче. На первый же случай добудь где-нибудь толстый роман «про рабочий класс» и заткнись им на время, чтоб оглядеться и очухаться. Ах, как жаль, что нет меня поблизости, я б тебе так смог помочь, ведь все равно трачу время, здоровье и силы на помощь всякой хевре, разбрасываюсь во все стороны.

Обратись за рассказами в Новосибирск к Володе Сапожникову, а за литературоведческими статьями к Николаю Николаевичу Яновскому — это на сей день умнейший критик и литературовед в Сибири. Могут помочь и Валя Распутин, и Витя Потанин, и Витя Лихоносов — я с ними поговорю на съезде.

Ну, желаю быть здоровым.

Поклон твоим женщинам.

В Грузии вышла «Пастушка», и в Братиславе вышла

большая книга. В Болгарии намечают выпустить мой двухтомник. В Москве узнаю о твоих «Россыпях» и сразу напишу, что и как.

*Обнимаю, целую. Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Лишь вчера вечером вернулся домой — ездил в Молдавию, на декаду — был небольшой отрезок времени перед редакцией книги, хотел погреться в солнечной Молдавии, ибо целое лето прокисал от дождей, но тут лихо пришлось, поехали «изучать жизнь» по районам, дождина, холод, а мы в ботиночках и парадных костюмчиках. Вернулся в Москву — закупорка! Не подписывают журнал с новой повестью Вали Распутина, стоит книга его в «Молодой гвардии», стою я, дожидаясь очереди на редактуру, — редактор у нас один. И так вот болтался в Москве, осатанел от тоски и тех, кого видел и слышал. Тем временем остановили номер «Роман-газеты» с «Царь-рыбой». Кто? Где? Почему остановил? Нынче не узнаешь. Меня просили остаться в Москве «хлопотать», но за себя я хлопотать не умею, да и легкие мои болят, желудок расстроился еще в Молдавии (Один раз в центре Москвы прихватило, во театр!) и, словом, чувствую: надо улетаться домой, иначе запылю горькую от душевного гнета.

Общее настроение, Коля, хреновое. Литературу снова прижимают к стене, побаловали малость и довольно! Сейчас чувствую себя нехорошо, надо бы в деревню поехать, а дела не пускают: на несколько дней хватает мелочей, потом из Ленинграда чтец приезжает, читает «Последний поклон», просит его послушать, 15 октября премьеры моей пьесы в Вологде, которую театр им. Ермоловой успешно возил на гастроли по Сибири и был в Томске, где особенно ее хорошо принимали.

Идет жизнь. И осень идет. К концу уже, а я все не съездил в Сибирь, и надо бы, но боюсь. Какая там будет погода? Выехать я могу не раньше 20—25 октября. А что как дождь, да еще со снегом? Узнай, Коля, прогноз погоды хоть приблизительный. Надо хотя бы одежду нужную, по сезону взять.

Теперь о делах. Повесть твоя «Нашему современнику» не пришлась. Они ее держат, но чувствую — бесполезное дело. Давал читать в «Москву», но Алексеев, главный ре-



дактор, отсутствовал и повесть вернули. Я предложил ее Гале Дробот в «Лит. Россию», она обрадовалась и, как кончит семинар в Переделкине, сразу же прочтет. Если и она «забодает», я хочу еще в «Октябрь» или в «Новый мир» показать, а ты, без ссылки на меня — иначе хана повести! — можешь сам ее предложить в журнал «Молодая гвардия». Словом, время идет, и я понимаю твое беспокойство, но что же делать? Такая сейчас «полоса» в литературе, совсем бы ничего не писать — вот бы все с облегчением вздохнули. Чем хуже дела, тем больше боятся слова, особенно в России. Всегда так было, но нынче уж и вовсе боязнь слова достигла неслыханных сфер и высот, цензура сквозная, как хиус на Енисее зимой.

Коля! Ты только не затяни с письмом. Маленько, но сразу напиши. До встречи, надеюсь, скорой. Тамаре и Лене поклон.

*Обнимаю — Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Нет, не пробил я твою повесть в Москве. Побывала она во многих местах, последнее — я обращался прямо к Ананьеву в «Октябрь», и вот перед тобой его отрицательный ответ. Больше мне обращаться некуда. Я не согласен с замечаниями редакций, но что делать? У именитых печатается всякая херня, поэтому от неименитых ждут чего-то выдающегося. Не расстраивайся, такова уж писательская доля — у одного сразу и везде все идет, у другого дела налаживаются постепенно, и горы он берет пешим ходом, да своим, а не на вертолете и не с помощью литературного эскалатора.

Я живу все время на грани больницы. Давно бы уж надо залечь, да неохота, да и внучек с дочерью все еще лежат в больнице, у внучка никак не наладят стул. 12-го я уеду в Москву на редколлегию, 15—16-го — пленум, так, может, и увидимся, если меня к той поре не завалят в больницу.

*Целую тебя — Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Спасибо тебе за «Енисей» — главное тут то, что Валя Курбатов получит хоть немного денег, бедствует парень и

все потому, что умен, сотворен нестандартно. Я когда-нибудь расскажу тебе о нем. Родом он из города Чусового и меня первого в жизни видел «живого писателя», когда учился в 9-м классе, а я выступал в «качестве писателя».

Сам я только что из леса — срочно читал верстку новой книги, которая к лету выйдет, и «Роман-газету» № 5, где печатается сокращенный вариант «Царь-рыбы». Завтра еду в Ленинград навестить однополчан, зовут, и давно, да и читателей у меня там очень много, тоже хотят, и давно, встретиться со мной, а читатель в Ленинграде строгой формации — умный, тонкий и чуткий.

Вернувшись домой, я снова забираюсь в леса и спешу дописывать последние главы «Поклона», а уж доделывать, отделять буду неторопливо на Родине летом, на «живой», так сказать, земле и при живом языке.

Это ближайшие планы. В апреле же поеду в Ялту подлечить легкие. Сейчас вот морозец, у нас сухо, и я орлом себя чувствую, а как сыр, и я — мокрая курица.

Видел я на пленуме Ананьева, и он меня ошарашил: «Витя! Повесть-то Волокитина славная, там еще маленько поработыть и порядок. Пусть он нам что-нибудь присылает»... Век доживаю, ни хрена не понимаю! Ты все же попробуй послать еще повесть в «Сибирские огни», а если до лета не пристроишь никуда, вместе подумаем, как ею распорядиться.

Книга твоя в «Молодой гвардии» железно стоит на 77-й год — ее скоро сдадут в производство.

Поклон всем.

*Целую тебя. Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Почти месяц прожил в деревне и месяц лил дождь, снег, было холодно, а в тот день, как мне уезжать, — выяснело! Только два раза и выходил в лес, где по колена снега, а теперь его размыло дождиками и по пояс воды. Но я закончил «Поклон»! И после праздников сразу же, 10-го ноября, еду в Москву.

Буду жить в Переделкине, редактировать книгу, наносить визиты и похожу по театрам. Словом, постараюсь отдохнуть, хотя отдых мне нужен глубокий. Я снова сплю со снотворными и хожу с утра как дурак или полупьяный.

Поездка в Сибирь мне помогла во всех отношениях, в частности, закончить главы «Поклона», а та глава, где присутствует Шалунин бык, аж звенит от внутреннего напряжения. Хотелось мне сделать гимн Родине, пока она еще жива.

Коля, я тебе посылаю очень любопытный словарь. Ты им пользуйся непременно в работе. Я-то пользуюсь. Далем и Кирилловичем, выработал свою систему, громоздкую, сложную, но мне подходящую, и пользуюсь. Книгу свою я тебе зимой пришлю. А пока всех с праздником. Тамаре поклон, пусть скорее поправляется, Лене будешь звонить — тоже поклон.

*Обнимаю тебя — твой Виктор Петрович»*

\*\*\*

«Дорогой Коля!

Не знаю, приедешь ли ты на пленум 22-го июня, и пишу тебе на всякий случай. С пленума я сразу же еду в Горький на секретариат — отказаться не удалось: секретариат по горьковским традициям в литературе нашей, и я оказался, к моему изумлению, главным в этой традиции. Из Горького я намереваюсь сразу же двинуть в Красноярск и на Усть-Ману — у меня много работы. Надеюсь, родная земля не подведет?

Мне ведь сдавать «Последний поклон» — полностью обе книги, а остается всего ничего, ну июль, ну август и все: в начале сентября, кровь из носу, — книгу на стол в издательство!

Саше Щербакову скажи, что стихи его отослал «лично» Викулову и на пленуме узнаю, что и как. Ну, поклон Тамаре и Лене. Остальное при встрече. До нее! Или «до того!»

*Целую — Виктор Петрович»*

\*\*\*

«Дорогой Коля!

Я привез рукопись в Москву. Сдал. Нахожусь в доме творчества в Переделкине. А пишу я вот чего. Смотрел план «Современника» на 1979 г. Ты там стоишь, и мне сказали «железно» с книгой на 20 листов. Но уже сейчас тебе надо готовить рукопись, с тем, чтобы если не в нача-

ле, то хотя бы в середине 1978 г. сдать ее. Включи туда «На реке да на Кети», «Россыши», «Глухомань», рассказы и новеллки о природе. Постарайся побольше вставить нового, тогда и деньжонок получишь побольше. Книга большая, подготовку ее не затягивай.

Моя пьеса «Черемуха» пошла по стране. Надо бы как-то попросить Бориса Васильевича Гуськова — поклон ему! — чтобы красноярцы включили ее в репертуарный план будущего года, ибо мне очень хочется, чтобы что-то к моему переезду маячило в городе и как-то бы я там «обживался» — текст пьесы я скоро пришлю тебе, а ты передашь Гуськову, но вполне может быть, что в театре он уже есть — отдел распространения рассылает ее по всем театрам.

Вот коротенько и все. Поклон Тамаре. Как она, поправилась?

*Обнимаю и целую тебя — твой Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Меня тут так закрутили и завертели, что и письма написать некогда — житье близ Москвы и Ленинграда, с одной стороны, дает определенные преимущества, а с другой, их, эти преимущества, «пожирает» сторицей. Вот повалил народ среди зимы и все такой, которому не откажешь. Был Булат Мансуров, привозил картину («Куда не залетают чайки» — Н. В.). Картина получилась великолепная. Есть в ней песня, называется она «Ох ты, Манарека». Слова написал я, музыку Саша Луначарский. И вся музыка к фильму хорошая. Мне оставили пленку, и я ее крутил несколько дней подряд... Потом приехали из «Молодой гвардии» З. Н. Яхонтова и И. М. Гнездилова.

А до этого два совещания, семинар по защите мира, собрание по приему в Союз, где приняли и мою Марью Семеновну. После собрания (приняли четверых — накопилось!) пошли в ресторан и маленько посидели, мы вернулись домой, а ребята, разгулявшись, сидели еще ночь, потом к нам в гости пришли. Один «молодой» член, 62-х лет, жил в деревне, поехал домой, сошел с поезда и, не дойдя до деревни, свалился в снег, уснул, замерз, четыре дня никто не хватился, потом жена нашла. Ах, как у нас, у русских, все это бывает до нелепости просто!

Кстати, послал ли ты рукопись в «Современник»? Если нет — поднажми. Они сейчас, правда, там погрязли в дрязгах, но книги-то все-равно выпускать надо.

Поклон Тамаре и Лене.

*Обнимаю тебя — твой Виктор Петрович*

\*\*\*

«Дорогой Коля!

Я совершил наконец-то давно задуманную поездку по фронтовым друзьям. Вместе с М. С. побывали в семи городах. Из Свердловска Марья С. поехала поездом домой, а я на самолете в Москву обсуждать творчество очень хорошего писателя Николая Фотьева из Благовещенска.

Я получил очень хороший заряд бодрости и устойчивости, пообщавшись с фронтовыми братьями. Какие чистые, какие превосходные люди получились из битых-перебитых ребятишек! Возле них душа светлеет, тело очищается от скверны. Много говорили и все о главном в жизни. Вот уж воистину ум, честь и совесть нашей эпохи — эти рано состарившиеся парни.

Сейчас я привожу в порядок бумаги, разгребаю почту, занимаюсь мелочами. Не пишу ничего, кроме «Затесей». Да и тоскую очень. Смотрел наш фильм, он заканчивается на Усть-Мане, на боне парнишка прощается с бригадой и уплывает вниз, и далее видно манскую гривку, а за ней ведь мое село... Ну так бы вот и полетел! Зачем? Почему? Кто особо и ждет-то? Видимо, я болею особым видом какой-то острой ностальгии.

Под воздействием тоски написал «затесь» под названием «Падение листа» — и так назову всю книгу. Шел это я от Усть-Маны до запани и увидел, как падает первый, первый маленький лист с придорожной березы, вот о нем и написал восемь страниц, как это он падал и какой в этом есть глубокий смысл. Даст Бог, прочитаю. Всего набросал 20 штук «затесей» и даст Бог еще напишу. Тамаре поклон. Лене напишите поклон.

*Обнимаю — Виктор Петрович*

\*\*\*

«Дорогой Коля!

Май—июнь я, вероятно, буду лечиться в Ялте, если до того не свалюсь совсем. Вот после сдачи «Поклона» и

московских ливней так отсырел, что и лежал, и хворал, и в деревню греться на русской печке ездил, — хреново стал совсем переносить зимы, сижу много, а куда пойдешь-то? Вот и смотрю телевизор да читаю всякую херню. Одна отрада — внук. Этаким диссидент маленький, уже дерется и бьет все об пол.

Лена на каникулах небось? Радует родительские сердца? Желаю доброго здоровья. И сообщите, как живете? Что едите? У нас с харчишками пока получше, не очень хорошо, но все же получше, чем в прошлом году.

*Обнимаю и целую вас всех — ваш Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Николаша!

В литературной жизни тоже приключений не меньше, чем дырок в терке. Прислал мне однажды из Железноводска человек стихи, адрес в середине не написал, а я, находясь в «рабочем состоянии», иногда «отсутствую» (недавно, находясь в деревенской бане прямо «из-за стола», задумался о «проблемах» и сунул руку в кипяток, досе кожа сходит), так вот, «в состоянии задумчивости» я конверт выбросил и адреса у меня не стало, а стихи-то хорошие, да еще и про родное, сердцу моему близкое, и лежат они, и лежат, а автор редкий попался, не напоминает о себе, скромный, видать.

Коля! Приближается юбилей Игарки, и я просил бы тебя напечатать эти стихи в альманахе «Енисей», право, они там будут к разу. Ежели почему-либо сделать этого нельзя, покажи их в газету в молодежную, авось после публикации и автор сыщется. Он, видимо, с севера, в Железноводске был на курорте.

В любом случае — будут, не будут напечатаны стихи, — ты их должен сохранить до моего приезда, а ежели будете печатать, то и вводочку может дать: вот-де Астафьев прислал, просил...

Получил ли «Последний поклон»? Книжки воруют. Начинается подписка на собрание сочинений, а я собираюсь в Польшу и штурмую литературные высоты, чтобы, одолев их, сдать рукопись и передохнуть. Устал.

В Игарке юбилей 29-го июня. Хорошо бы поехать раньше и неторопливо. Я думаю появиться в Овсянке в начале июня. Тамаре и Лене поклоны. Тебя обнимаю. Позвони

сестре Гале и успокой ее — ей, школе и Овсянской библиотеке я подпишу собрание сочинений, более едва ли сумею.

*Твой Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дед Волокитин — звучит!  
Бабка Волокитина — звучит!

Ну, как вы в новой роли? Далеко от вас внучка-то? А то бы уже почувствовали, что это такое. Мой вот лупит и бабу, и мамку. Я ему говорю: «Чё же это, один ты мужик в доме остался и лупишь женщин?!» — «Се-рамно буду!» — говорит. А я давненько в больнице. Перемогался, перемогался с осени, а после гриппа обострение пневмонии, а потом и сердце сдало.

Я пролежу, вероятно, до женского дня, а потом надо бы в Москву и в начале апреля прилететь бы в Красноярск — надо в Овсянке-то закончить все с двором и домом.

Видел «Литературную Россию» с разворотом о Красноярске — убого все получилось, а шуму, шуму! Край! Рай! Прирастать, десятилетка, фуелетка! Галя пищит: ни хрена нет — ни продуктов, ни мыла, — а вот зато фуелетка есть.

Вышел сигнал 2-го тома собрания сочинений. Как появится тираж — вышлю, а скорее, привезу, если в мире мир не изменится. Не дай Бог!

Будете писать Елене, поклон передайте ей и поздравление.

*Обнимаю и целую вас — Виктор Петрович*

\* \* \*

«Дорогой Коля!

Ну вот, еще один билет приобретен, на этот раз прямой до Красноярска. Прилететь я должен 8-го утром рано, рейсом № 147 — из Москвы вылетаю 7-го вечером, в 21.25.

Я потому так подробно, что меня надо встретить с машиной. Чувствую я себя все еще плохо и мне надо сразу же уехать на Усть-Ману, отлежаться, прогреться, и тогда уж куда-то вылазить.

Сейчас я в деревне, духотища, грозы, даже воды не могу принести в гору. Ну, ладно. Надеюсь, письмо успеет

дойти. Сегодня только 31 июля. Целую. До свидания. Пожалуйста, никому, кроме сестры, не говори о моем приезде. Ладно?

*Твой Виктор Петрович»*

## НА РОДИНЕ

Итак, в один замечательный день Виктор Петрович стал красноярцем. Долго, очень долго, мучительно долго он готовился к этому, но день наступил.

Событие это одних привело в ликование, других в уныние, но оно на долгое время определило, прежде всего, покой и прочную стабильность в нашей писательской организации. Как-то постепенно прекратились грызня и склоки, потихоньку стали заглохнуть самовлюбленные, неприемлемо-яростные голоса непризнанных местных гениев. Поначалу вроде кто-то еще трепыхался, пытаясь что-то там отстоять, доказать, но со временем под действием мощнейшего авторитета Астафьева и он приумолк.

Этот авторитет теперь заставлял почти каждого из нас работать лучше, относиться к себе придирчивей и безжалостней, не все из написанного тут же тащить в редакцию и так далее и тому подобное, ибо рядом с нами появился теперь живой ориентир, мимо которого мы никак не могли проскользнуть, не сверя с ним хоть в какой-то степени свои скромные литературные результаты...

Именно того дня, когда Виктор Петрович «прописался» в городе Красноярске, я не помню. Но вот когда пришли его вещи, помню отлично, потому что эти вещи вместе со своей женой и сестрой Виктора Петровича Галей помогал разбирать. Мария Семеновна по каким-то причинам еще отсутствовала и потому Виктор Петрович, когда мы обустраивали квартиру, расставляли книги по полкам, лишь небрежно махал рукой.

— Не старайтесь вы шибко. Приедет Марья, все равно все по-своему переделает.

Помню и первую гулянку в новой, тогда еще совсем крохотной, трехкомнатной квартирке, когда Виктор Петрович угощал разгрузчиков контейнера — в основном своих родственников из Овсянки.

У меня в тот день было высокое кровяное давление, я тихонько сказал об этом Виктору Петровичу, и он сразу же предупредил компанию, дабы не приставала:



— А Коле нельзя!

— Это почему интересно? — удивился кто-то из овсянцев, сживавших со мной за столом не единожды.

Пререканий и всяких там объяснений в подобных случаях Виктор Петрович не выносил и потому бросил отрывисто и довольно сердито:

— Драться он пьяный стал. Как е...т сейчас, так и ноги протянешь!

Не знаю, удовлетворил ли ответ овсянского товарища, но вопросов он больше не задавал.

Чуть позже мне довелось присутствовать при «коммерческой сделке», когда Виктор Петрович за пять тысяч рублей покупал в Овсянке дом, ныне такой знаменитый, множество раз фотографированный и перефотографированный, воспроизведенный в книгах и на киноленте, посещаемый буквально всеми известными интеллигентными людьми, которые приезжают за чем-либо в Красноярск. Красивый, вполне симпатичный и крепенький домик с уютной усадьбой. Но это сейчас. А тогда, уже на второй или третий день после покупки обнаружилось, что он весь снизу гнилой, и если его в ближайшее время не отремонтировать, — рухнет: что там ни говори, а по хозяйственной части Виктор Петрович специалист никудышный. Спасибо Алеше глухонемому, столяру и плотнику по специальности, сделал он кое-что. Да и после Алеши не один еще строитель и не один добыватель пиломатериалов приложили свои усилия на протяжении довольно долгого времени, прежде чем домик приобрел современный вид и кондицию. Виктор Петрович только деньги платил. И сколько он их переплатил, только ему да Господу ведомо.

Поэтому, когда Виктор Петрович, показывая ту или иную шикарную двух-трехэтажную дачу какого-нибудь чиновника, категорически заявляет: «Воровано!» — я беспрекословно верю ему, потому что Виктор Петрович тут же и добавляет: «Уж кто-кто, а я-то знаю, сколько может стоить даже обыкновенный нормальный дом, если за него рассчитываться по совести».

Ладно. Это, кажется, уже совсем другая тема пошла.

Несколько слов о вечере, посвященном 60-летнему юбилею Виктора Петровича, том торжественно-теплом и по-семейному раскованном вечере в банкетном зале ресторана «Красноярск», где мне посчастливилось вместе с женой побывать. На вечере присутствовали Валентин Григорьевич Распутин и Владимир Николаевич Крупин, заве-

дующая редакцией прозы издательства «Молодая гвардия» Зоя Николаевна Яхонтова и редактор астафьевского четырехтомника Зинаида Трофимовна Коновалова, известные журналисты, художники, кинематографисты.

Было много прекрасных речей, а также поздравительных телеграмм, от Анатолия Папанова, Михаила Ульянова...

Особенно хорошо сказал Валентин Григорьевич Распутин. Его слова мне врезались в душу. Смысл их коротко в том, что он, Валентин Распутин, кое-что понимает в литературе, кое-что сам умеет, но вот когда речь заходит о мастерстве Астафьева, он не понимает решительно ничего. Самобытнейший талант Астафьева — это что-то сверх обычного понимания, это что-то от Самого Бога.

В самом деле. Будь мы, искренние друзья Виктора Петровича или скрытые недруги, соглашайся мы с его философией или не соглашайся, приемли мы содержание его повестей и рассказов или не приемли, но что касается языка Астафьева, его фразы и стиля, его неповторимейшей литературной речи, никто, ни один человек, думаю, не возразит против того, что это явление уникальнейшее, и тут хоть малость подобного Астафьеву писателя пока что нет на Руси и не было.

Но... я снова отклонился чуть в сторону, ибо в своих этюдах даже не помышлял хоть вскользь касаться сугубо литературоведческих вопросов. Не мое это дело.

Вспоминая сейчас тот юбилейный вечер, вспоминая наши многие-многие соприкосновения с Виктором Петровичем в буднях, я уже вроде и не верю, что Астафьев мог когда-то жить не в Красноярске.

#### «А ПОМНИШЬ...»

На теплоходе, когда мы ехали в Туруханск, я рассказал своим спутникам такой эпизод.

Работал у нас в районе директором нефтебазы Васильев Федор Васильевич (назовем его так), человек с образованием, в то время еще относительно молодой. Нефтебаза располагалась в глухом поселочке на берегу Енисея, никто туда, кроме получателей горючего, никогда не заглядывал, и мало-помалу Федор Васильевич заскучал. А заскучав, как издавна водится у русского мужика, стал на досуге частенько прикладываться к стаканчику с горькой.

Ну и естественно, как человек партийный да к тому

же начальник, попал на заметку. Один раз ему на бюро райкома по представлению местной партийной организации объявили «строгача», второй, третий...

И вот как-то прибегаю я на очередное заседание и снова встречаю в кулуарах Федора Васильевича.

«Что, опять?» — спрашиваю с испугом его, отведя в закуток.

«Опять», — печально отвечает Васильев.

Мне до того стало жалко этого несчастного, в общем-то и доброго, и работающего мужика, что я невольно воскликнул:

«Федор Васильевич! Да что у вас там за идиотская партийная организация? Что она вас ежемесячно на районный позор выставляет? Неужели на месте нельзя как-то все утрясти?»

«Эх, Николай Иванович! — ответил Васильев, едва ли не смахивая с глаза слезинку. — Все дело в том, что в нашей захолустной партийной ячейке всего три человека: это я, моя жена и моя теща».

И помолчав немного, совсем уж отрешенно добавил:

«Они меня дома пилят-пилят, пилят-пилят, ничего не выходит. Тогда они р-раз — и собирают собрание. Теща — председателем, жена — секретарем, и большинством голосов объявляют строгий выговор с занесением в учетную карточку»...

Мужики тогда хорошо посмеялись, а Виктор Петрович вдруг нахмурился (сроду не предугадаешь реакции этого человека!) и строго, с ворчливинкой стал меня раздумлять:

— Никогда не рассказывай писателям интересные эпизоды. Держи при себе. Не успеешь оглянуться, как твой эпизод кто-нибудь из них тут же подхватит и выдаст за свой, включив в очередное творение. Притом сделает это неумышленно... Просто у писателя натура такая. Что бы ни услышал, ему уже назавтра начинает казаться, что это его собственная творческая находка: он все это придумал, с ним все это было, а не с тобой...

Прошло несколько лет. Я уже жил в Красноярске. Приезжая из Вологды в родную Овсянку, Виктор Петрович частенько останавливался у меня.

Однажды прогуливались мы с ним по улице Горького, на которой мой дом; и на одном из перекрестков я вдруг вспомнил случай, происшедший недавно с одним из моих приятелей якобы именно здесь.

Шли — опять же якобы! — приятель со своим другом по этой вот улице и вдруг увидели впереди себя удивительной красоты и грации молодую женщину. Пораженные, друзья не могли оторвать от девушки глаз. И тут из-за угла вываливают два полупьяных субъекта. Глянув на красавицу, они тоже опешили и разинули рты.

«Ма-а-а-ма! — выдохнул один из них на всю улицу. — Какая девка, а! И ведь кто-то же ее... А?»

Красавица не остановилась и даже не сбила цокающего ритма своих каблучков. Она только повернула голову в сторону простодушного пьяницы и четко, спокойно произнесла:

«А такой же дурак, как и ты!»

Забыв о когдатошнем предупреждении Виктора Петровича, я не мог удержаться и пересказал ему этот случай.

Виктор Петрович долго и от души хохотал, а потом, позднее, еще дважды или трижды закатывался, вспоминая «сей инцидент».

Прошло еще десять лет. Теперь и Виктор Петрович давно уже как снова стал красноярцем. Однажды, забежав в писательскую организацию, я застал его там. Виктор Петрович был без машины и попросил меня:

— До дому надо добраться, проводи малость, заодно и такси поможешь поймать...

Мы прошли с ним пару кварталов и остановились на перекрестке. Такси очень долго не попадалось, была невыносимая июльская жарища, и Виктор Петрович, одетый в плотный костюм, то и дело вытирал платком шею, а я исподтишка за ним наблюдал. В последние годы мы виделись с ним не так уж часто, и теперь я с грустью отмечал, что за это время Виктор Петрович сильно изменился, огуруз, поседел, — годы никого не щадят, ни простых смертных, ни всемирно известных писателей.

А улица жила себе своей жизнью. Шумела, суетилась, спешила. То и дело пробегали мимо стайки студенток, упругих, быстрых, тревожащих и волнующих своей молодостью, женственностью, весельем.

Повернувшись ко мне, Виктор Петрович проговорил:

— До чего же красивы красноярские девчонки! Вот весь мир объездил, повидал всяких, от полячек до вьетнамок, а лучше наших красноярок нету нигде! — и вдруг блеснул глазами, коротко всохотнул: — А помнишь, как

мы прогуливались с тобой по улице Горького и встретили ту, которая цокала каблучками. Во фигурка была! И как она ответила тем алкашам!

Я ничего не ответил. Лишь засмеялся и закивал головой.

### РЯДОМ...

Чем старше я становлюсь, тем сильнее и сильнее чувствую необозримое расстояние между собой и им, Виктором Петровичем Астафьевым, хотя нахожусь вроде совсем рядом и в любое время могу поднять трубку и услышать такое знакомое: «Привет, Коля! Что надо?»

Не поднимаю. Боюсь.

Боюсь оторвать его от работы, боюсь сказать что-то не то и не так, боюсь вообще потревожить. Ведь это не просто дорогой мне человек, не просто старший товарищ, не просто Учитель, долгие годы упорно наставлявший меня, ведь это АС-ТА-ФЬЕВ! Человек, которого знает не только страна, которого читает весь мир! Ведь даже представить-то страшно...

Как-то, несколько лет назад, он сказал:

— Ты почему не звонишь? Ну можешь ты хоть раз в неделю мне позвонить? Просто так?

Ровно через семь дней я позвонил.

— Здравствуйте, Виктор Петрович!

— Привет Коля. По делу?

— Да нет... — замялся я, тут же почувствовав, что попал не вовремя, что он именно в эту минуту чем-то страшно занят, думает, пищет, а может, просто не в духе, и начал искренне извиняться.

— Ничего, Коля, ничего, — услышал в трубке отрывистое. — До свидания, дорогой!

И — весь разговор.

До конца дня я не мог уже ничего делать, все валялось из рук. Ну какой черт меня дернул звонить? Ну зачем я все это сделал? Ведь вот он, наверно, сидел и писал, а я его сдернул со стула, сбил с мысли. Ведь кто-кто, а я-то хорошо знаю, что случается, когда кто-то неожиданно сдергивает со стула и с мысли сбивает. Случается, потом неделю эту самую мысль не можешь поймать.

Ладно. Проходит еще семь дней, и я, верный слову, снова набираю номер Астафьева. И снова — точно такой же разговор, если еще не короче.

Третий раз испытывать судьбу я не стал.

Теперь звоню только сугубо по делу.

И это, знаете, очень здорово. Для меня.

Если Виктор Петрович не занят и в настроении, можно о том, о сем поболтать, если занят, сердит, тут же, извинившись, сказать:

— Виктор Петрович, на одной бумаге обязательно нужна ваша подпись. Без вашей подписи не получается ничего. Назначьте, пожалуйста, час, когда я могу подскочить.

Двойная выгода получается: не только перекинулся словом и здоровьем поинтересовался, но еще и о встрече договорился. Нечасто, к сожалению, такое случается, но зато без осечки.

Да, все это сейчас, повторяю, сейчас пришло, с возрастом, когда я кое-что стал понимать. А по молодости-то, что греха таить, не церемонился шибко и немало, наверно, принес огорчений Виктору Петровичу. Да и кто из нас, из пишущей братии, по-молодости особенно церемонился? Все мы по молодости если и не гении, и не классики, то уж во всяком случае близкие к этому. Издал первую тоненькую книжонку — и уже вроде на одной доске с самим Шолоховым, приняли в Союз писателей — и уже о самом Леонове можешь сказать что-нибудь этакое панибратски-небрежное...

С годами все приходит, с годами.

Да и то не у всех. Ой, не у всех! Иные и обзаведясь внуками, остаются на уровне того, извините, малограмотного, но нагловатого студента, который однажды по Красноярскому телевидению за так называемым «круглым столом» начал на равных рассуждать о конкретной науке с самим академиком. Как-то мой собрат по перу, уже давно убеленный сединами и оплешивевший, подойдя к Астафьеву, этак небрежно похлопал его по плечу: «Я рад тебя видеть, старик!» А чуть позже тот же собрат опубликовал в местной газете открытое письмо самому Солженицыну, назвав его на полном серьезе этак запросто, по-свойски: коллега.

«Коллега» и ни больше, ни меньше. А чего? Пусть перед Солженицыным преклоняется вся планета, а собрата, простите, и в собственной-то «губернии» читают и знают немногие, но — «коллега» и только!

Тонкая, оказывается, это штука — чувство внутренней субординации, чувство реальности.

Но что делать, что делать...

С годами и Виктор Петрович изменился. И очень.

Как возраст, так и бремя прижизненной славы наложили на него неизбежный свой отпечаток. Да и обстановка вокруг давно уж другая. Все течет, все меняется.

Теперь Виктор Петрович уж вряд ли бы пошел и во второй раз и в третий, скажем, на сдачу спектакля по «Краже» в Красноярском ТЮЗе, плюнул бы да сказал свое острое слово, а когда-то ходил. Безо всякого, лишь матерясь про себя. Долго тогда, в семидесятые годы, не принимали почему-то спектакль, придираясь то к одному, то к другому. Комиссии заседали человек по тридцать партийно-советских чиновников... Сейчас бы он этих чиновников!

Конечно, эти перемены доставляют мне чувство гордости за Виктора Петровича, но навевают иногда и чувство какой-то глубокой печали. Мне жаль, например, что в Викторе Петровиче не стало — и никогда уж не станет! — той безалаберности, непосредственности и простоты, когда он, трясая белым брюшком, бегал с гиканьем в плавках по отмели речки Черной и хохотал от восторга... Много еще чего в нем не стало... Много и появилось... Но это так, между прочим.

Заканчивая этюды, я хочу подчеркнуть лишь одно — мне в жизни здорово повезло. Не каждому даже и литератору довелось близко познакомиться с такой выдающейся личностью как Виктор Петрович Астафьев, не каждому довелось быть с Астафьевым в добрых отношениях вот уже третий десяток лет. А уж тем более, не каждому даже и литератору довелось быть учеником такого писателя как Астафьев!

Учить можно по-разному. И научиться можно далеко не всему.

Но я вынес из астафьевского учения одну непреложную истину, которая стоит тысячи постулатов: любой талант, любое дарование — это лишь на десять процентов дар Божий, а все остальное — работа, работа, работа. Изнуряющая, жуткая, каторжная работа! Астафьев показывает это на примере всей жизни.

Спасибо Вам, Виктор Петрович!

И пусть любой начинающий литератор, вступающий на тернистый писательский путь, никогда не надеется, что что-то свалится на его счастливую голову с неба само...

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПИСЬМА

1961—1989 годы	7
Из беседы с В. М. Довбней	387
<b>Николай Волокитин. Соприкосновение.</b>	
Очерк. К семидесятилетию В. П. Астафьева.	403

---

### ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

**АСТАФЬЕВ Виктор Петрович**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**Том четырнадцатый**

---

Художественное оформление

**А. Озеревской, А. Яковлева**

Редакторы

**А. Ф. Гремицкая, Г. И. Смысова**

Художественный редактор

**Е. В. Корнеева**

Технический редактор

**Н. Н. Шабли**

Корректоры

**А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина**

Оператор компьютерной верстки

**Н. А. Боброва**

**ЛР № 010162 от 03.06.97**

Подписано в печать 17.08.98. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1.  
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25.2. Уч.-изд. л. 26.37.  
Тираж 10 000. С-009. Заказ 73.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате  
«ОФСЕТ».

660049, Красноярск, ул. Республики, 51



